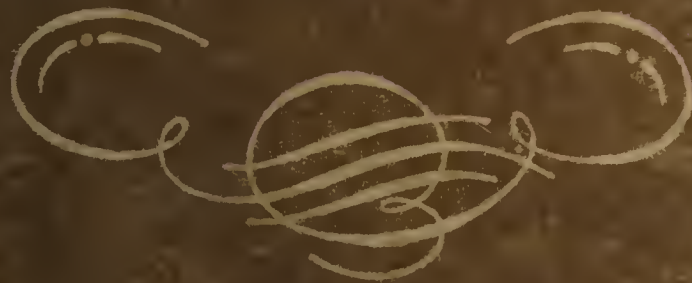


А. Н. ВУЛБФ

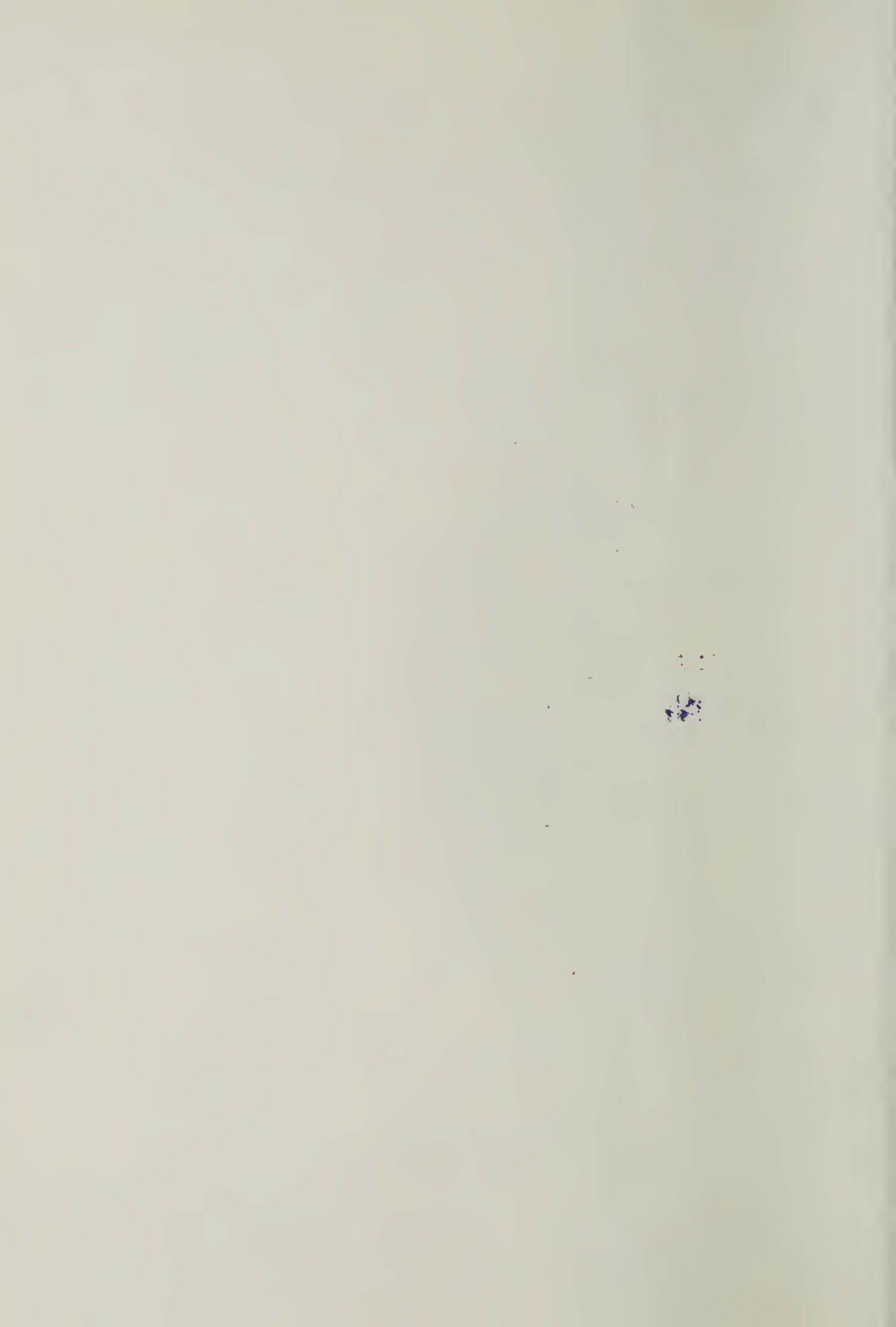


ДНЕВНИКИ



• ИЗВО • ФЕДЕРАЦИЯ •

ЛБ



The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

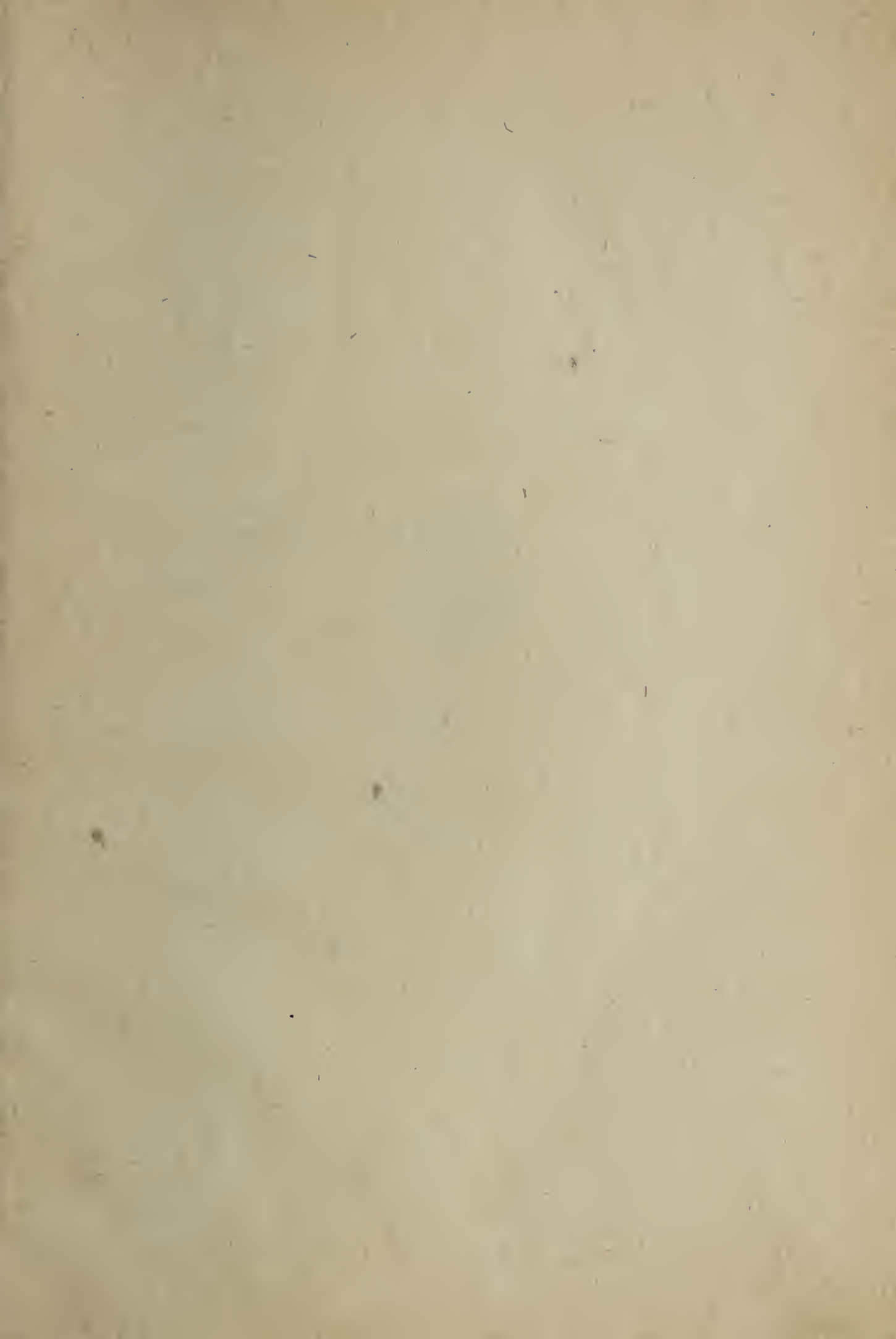
UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

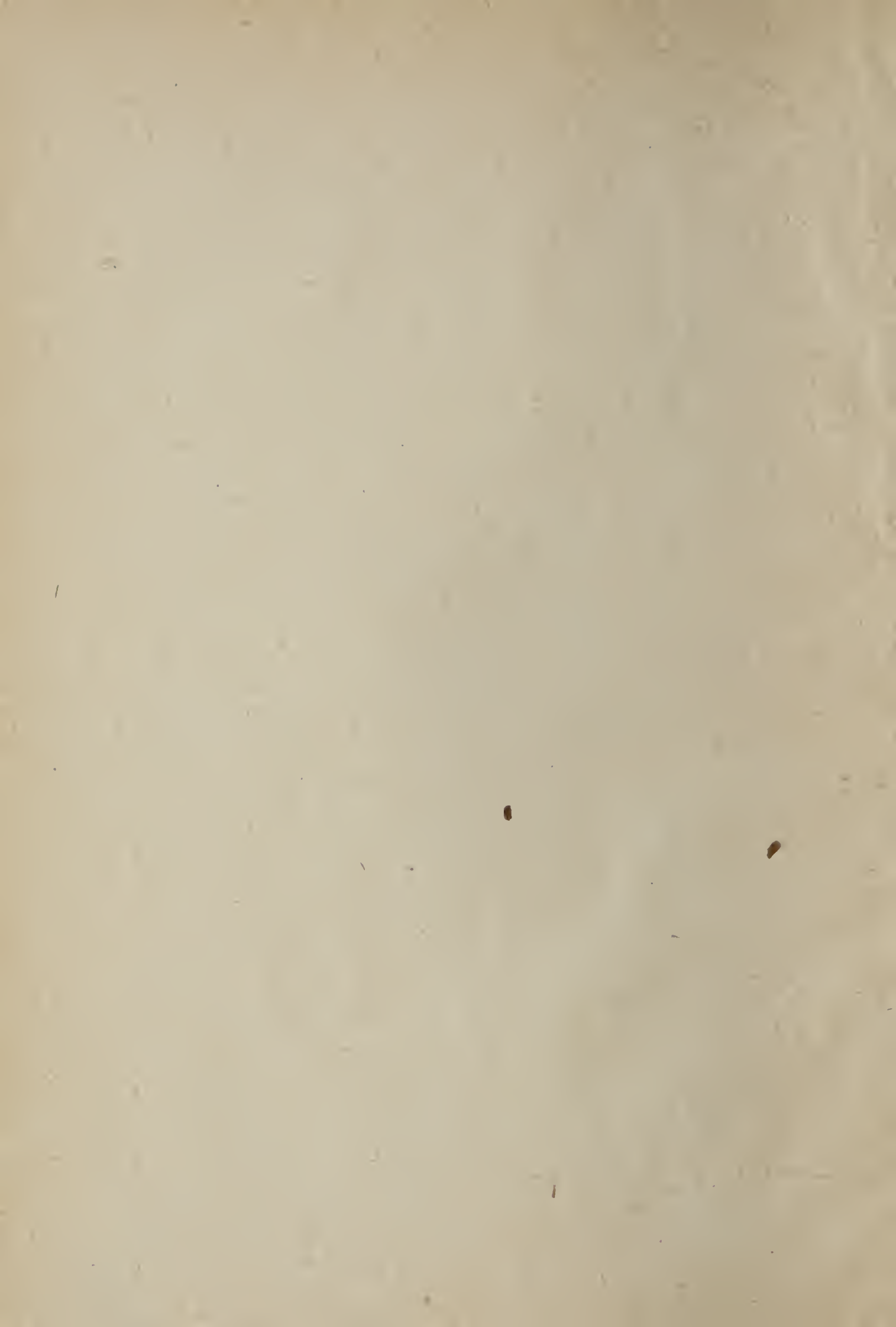
AUG 05 1982 JUL 10 1982	AUG 22 1991 JUN 13 1998	
APR 02 1998 MAR 12 1985	APR 02 1998 FEB 16 2002	
OCT 23 1986 JAN 22 1990		
MAY 29 1990 MAY 21 1990		
10/18/90		



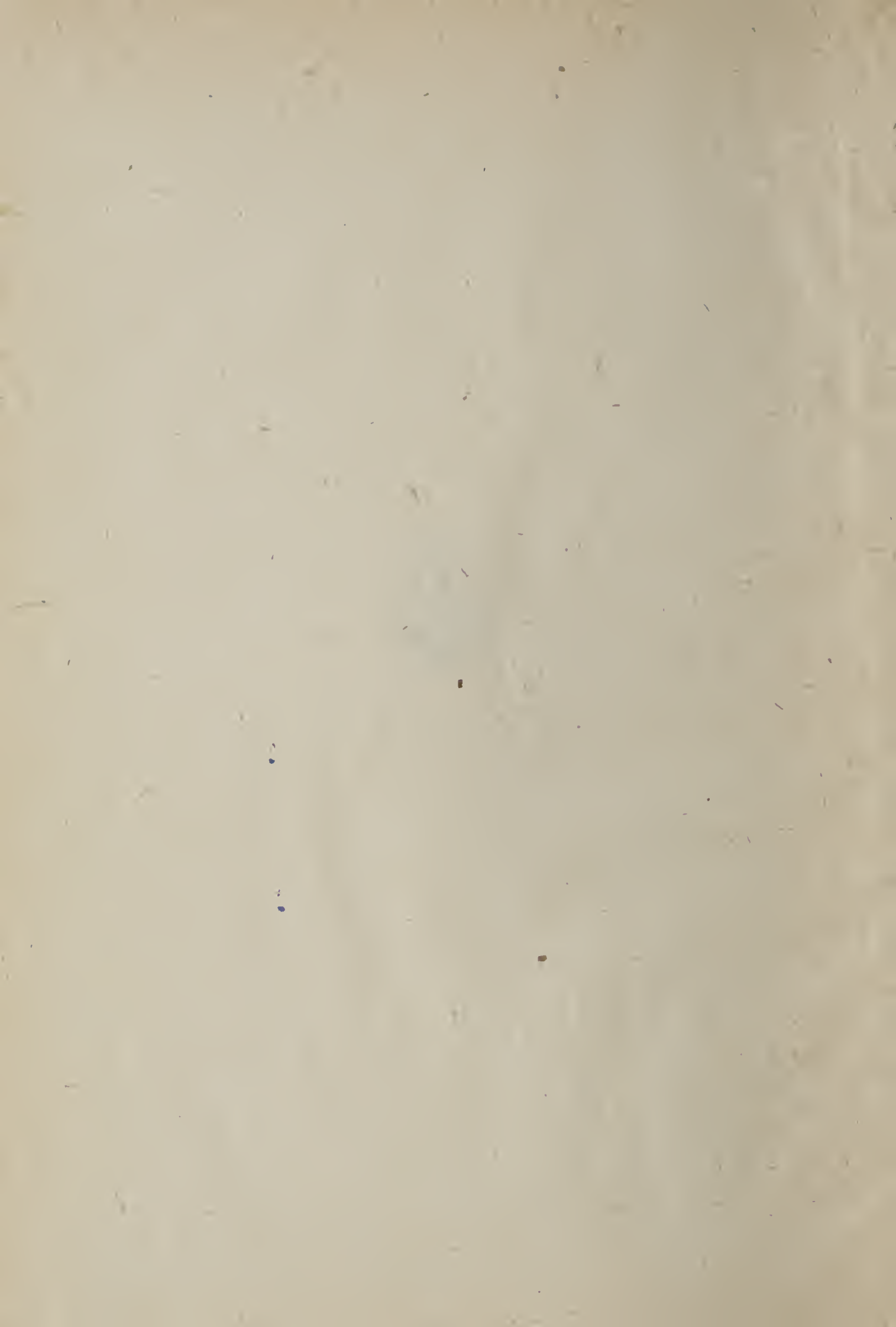
Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
University of Illinois Urbana-Champaign

<https://archive.org/details/dnevnikiliubovny00vulf>











А. Н. ВУЛЬФ

# ДНЕВНИКИ

*(ЛЮБОВНЫЙ БЫТ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ)*

СО СТАТЬЕЙ М. И. СЕМЕВСКОГО

„ПРОГУЛКА В ТРИГОРСКОЕ“

РЕДАКЦИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

П. Е. ЩЕГОЛЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ФЕДЕРАЦИЯ“  
МОСКВА 1929

Центр. полиграф. школа  
им. т. Борщевского. Москва,  
Сокольники, 2-я Рыбинская, 3.  
Тираж 5000. Фосп. № 141.

Главлит А-16640

291.73  
V.97  
5553

## ОТ РЕДАКТОРА

Первое знакомство русских исследователей с любопытнейшим мемуарным памятником, издаваемым нами, состоялось в 1899 году, когда академик Л. Н. Майков огласил „выдержки“ из дневника А. Н. Вульфа за 1827—1842 г. г. и дал характеристику самого Вульфа (Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб. Изд. Л. Ф. Пантелеева 1899—А. Н. Вульф и его дневник, стр. 163—222; до выхода книги в „Русской Старине“ в 1899 году). По совести сказать, работы Л. Н. Майкова о Вульфе должны быть отнесены к слабейшим и поверхностнейшим работам этого академика. Он просто недомыслил, проглядел колоритную фигуру дерптского студента и русского дворянина А. Н. Вульфа. Самые „выдержки“ из дневника, представленные академиком, были отобраны рукой, чересчур скромной и целомудренной, уничтожившей весь вульфовский букет и сумевшей из этого букета сохранить лишь опресненные запахи. Но и после этой немудрой кастрации дневник Вульфа был высоко оценен в среде специалистов, преимущественно, как источник для биографии Пушкина.

В 1915 году на страницах органа Пушкинской комиссии Академии Наук „Пушкин и его современники“ (вып. XXI — XXII) М. Л. Гофман опубликовал почти полностью найденные им в семейном архиве баронов Вревских тетради дневника за 1828—1832 г. г. Знакомство с полным, подлинным текстом дневника дало нам право на резкую оценку работы Л. Н. Майкова. Впечатление от знакомства с неурезанным текстом было ошеломляющим. Именно так охарактеризовал его

один из пушкинистов, М. А. Цявловский („Голос Минувшего“ 1916, № 2). Пришлось переоценить и историческое значение дневника Вульфа. М. Л. Гофман подчеркнул историко-литературное значение записей Вульфа: действительно, Вульф дает авторитетнейшие, ценнейшие сообщения к характеристике литературной деятельности и Пушкина, и Дельвига, и Языкова и других их современников. Но историко-литературная ценность дневника не покрывает еще всего его исторического значения. „Вопреки мнению М. Л. Гофмана, — говорит М. А. Цявловский, — мы считаем дневник прежде всего ценнейшим материалом для характеристики любовных нравов среднего дворянства 20-х и 30-х годов прошлого столетия. Наши представления об этом „добром, старом времени“, о патриархальном быте обитателей дворянских гнезд, в частности, „об уездных барышнях с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках“, требуют весьма существенных поправок. Как красноречиво свидетельствует дневник Вульфа сентиментально-наивная чувствительность соединялась у них с чувственностью и „платоническая“ любовь носила весьма своеобразный характер“. Мне кажется, что и М. А. Цявловский суживает значение дневника, фиксируя его на характеристике любовного быта. Дневник является простодушным и неприкрашенным памятником быта среднего русского дворянина, либерала и владельца крепостных душ 20—30-х годов прошлого столетия. Если любовные нравы и выпирали вперед, то таков был этот быт, из всех сторон жизни земельного собственника и душевладельца облюбовавший и изощривший любовные переживания. С каким засосом смаковались сердечные и романические истории в нашей дворянской литературе немного позже! Дневник Вульфа дает изображение дворянского героя (самого автора) во всю ширь, во всех проявлениях его помещичье-крепостной жизни, и с этой точки зрения за ним следует признать значение первостепенного исторического источника.

В настоящем издании мы даем полную сводку всех частей дневника, изданных как Л. Н. Майковым так и М. Л. Гофманом. К сожалению, подлинные тетради, которыми пользовался Л. Н. Майков, до нас не сохранились или, по крайней мере, пока не обнаружены

нами, несмотря на тщательные поиски; таким образом, мы лишены возможности восстановить пропущенные им места. Подлинный текст, по которому печатал дневник М. Л. Гофман, хранится в настоящее время в Пушкинском Доме; кое-какие пропуски мы могли восстановить по подлиннику. Надо сказать, что и М. Л. Гофман в своем издании должен был пожертвовать некоторым количеством страниц дневника, содержащих изложение военных действий и событий. Эти страницы не характерны для Вульфа и, кроме того, не содержат ничего исторически ценного. Мы пошли дальше Гофмана и значительно сократили военный отдел воспоминаний Вульфа.

Изданию дневника Вульфа мы сочли полезным предпослать воспроизведение статьи, являющейся прекрасным введением в чтение дневника, статьи, затерянной среди газетных фельетонов „С.-Петербургских Ведомостей“ и известной лишь записным специалистам— „Прогулка в Тригорское“. Автор „Прогулки“— М. И. Семевский воспользовался рассказами современников Пушкина, и в том числе и самого А. Н. Вульфа. Мы воспроизводим текст „Прогулки“ по тому самому экземпляру собрания вырезанных из газет фельетонов, который был поднесен автором А. Н. Вульффу (этот экземпляр принадлежал Б. Л. Модзалевскому).

Своеобразие в любовном быту Пушкина освещено в нашей вступительной статье.

Комментарии к „Прогулке в Тригорское“ и к дневникам выполнены И. С. Зильберштейном.

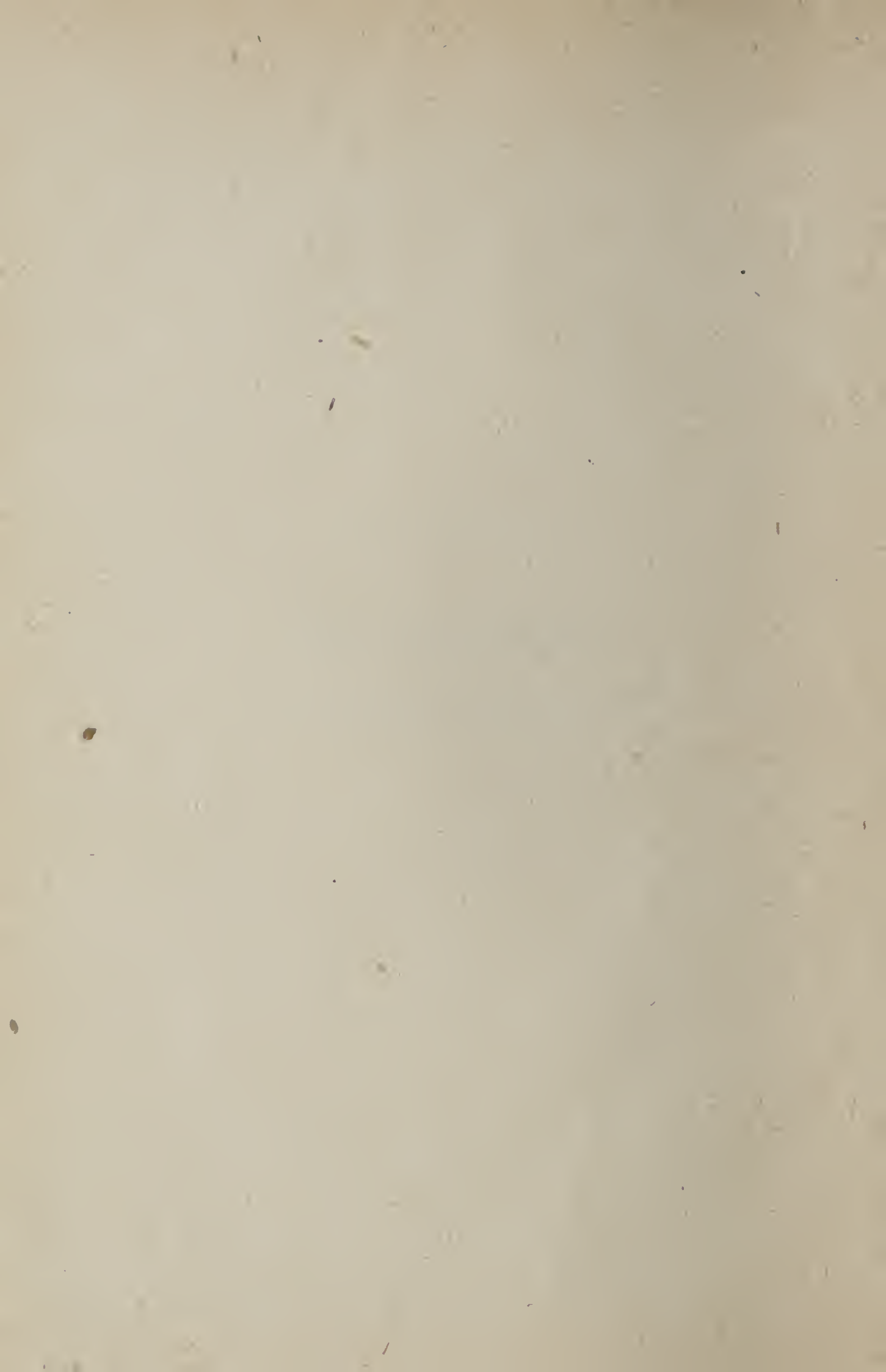
П. Щеголев.

1 июля 1928.



П. Е. ЩЕГОЛЕВ

*ЛЮБОВНЫЙ БЫТ  
ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ*







А. С. Пушкин в 1820-х г. г.

С карандашного рисунка работы Л. Vivien. (Подлинник в Пушкинском доме Академии Наук СССР).



Пушкин сблизился с Вульфом в 1824 году. Летом этого года поэт прибыл на подневольное житье в Михайловское, а Вульф проводил летние каникулы в расположенном по соседству имении своей матери Тригорском.

Тригорское жило в годы михайловской ссылки поэта шумной и веселой жизнью, в которой Пушкин принял самое живое участие. Дом Прасковьи Александровны Осиповой, в это время 43-летней вдовы, был полон женской молодежи. Все молоденькие барышни различных возрастов: дочери Осиповой от первого ее брака с Н. И. Вульф — старшая Анна, ровесница Пушкина, и младшая Зина (Евпраксия), 15-летний подросток; дочери ее от брака с И. С. Осиповым — совсем юные Екатерина и Мария; ее падчерица, дочь второго мужа — Сашенька — Александра Ивановна Осипова. В 1825 году наезжала сюда и ее сводная племянница (дочь П. М. Полторацкого и Е. И. Вульф) Анна Петровна Керн, двадцатипятилетняя женщина, состоявшая в несчастном замужестве за шестидесятилетним генералом. Керн производила на всех встречавших ее неотразимое впечатление. Даже сухой педант Никитенко, увидев ее в первый раз, растрогался. „Ее лицо, — пишет он, — мгновенно приковало к себе мое внимание. То было лицо молодой женщины поразительной красоты. Но меня больше всего привлекала в ней трогательная томность в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса“.

Мужской элемент в Тригорском был представлен Пушкиным и Вульфom. Одно лето гостил здесь универ-

ситетский товарищ последнего, поэт Н. М. Языков. В доме царила атмосфера влюбленности; романы разыгрывались во всех уголках. Пушкин был предметом преданной любви Анны Николаевны, и у молоденькой Зины тоже кружилась голова. Строгой матери, П. А. Осиповой, пришлось даже увозить с глаз Пушкина свою старшую дочь, а потом и племянницу Керн в избежание катастрофических последствий.

Вульф, 19-летний студент, только что вступавший в жизнь, не мог не покориться обаянию личности Пушкина. Поэт для студента стал образцом во многих отношениях и прежде всего оказался его учителем и наставником в науке страсти нежной, в привычках и нравах любовного обхождения. Изучение любовной науки не было только теоретическим, тут же происходили и практические упражнения при участии всей женской молодежи Тригорского. Ученик не отставал от учителя и даже выступал с решительным успехом в роли конкурента поэта.

Когда, по окончании университетского курса, Вульф начинал самостоятельную жизнь, вступив на службу в Петербурге, он мог сказать о себе, что он „напитан мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами“. В наступательном и оборонительном союзе против красавиц, Пушкин был Мефистофелем, а Вульф Фаустом. Так называли их молоденькие барышни, за которыми они ухаживали.

Вульф всю свою жизнь стремился поступать по „науке“, а наука, между прочим, исключала живую страсть. „Мне было бы приятно ей понравиться,— записывал в дневнике Вульф,— но никак бы не желал в ней родить страсть: это скучно. Я желаю только нравиться, занимать женщин, а не более: страсти отнимают только время; хорошо, ежели не имеют дурных последствий“. О сущности любовной практики Вульф делает следующее признание. Будучи уже в военной службе, Вульф приволокнулся за хозяйкой трактира. „Молодую красавицу трактира,— записывает он,— вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методу Мефистофеля, надо ее воображение занять сладострастными картинками; женщины, вкусив однажды

этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус; им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности. Для опыта я хочу посмотреть, успею ли я просветить ее, способен ли я к этому. Надо начать с рассказа ей любовных моих походов”.

Вульф говорит, что Пушкин знал женщин, как никто, и женщина не могла отказать ему в своих ласках. Но, характеризуя Пушкина в его отношениях к женщинам, Вульф не находит более подходящего определения: Пушкин — весьма цинический волокита. А когда Вульф получил известие о женитьбе Пушкина на Н. Н. Гончаровой, он записал в дневнике: „желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов,— это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену“. Односторонность этих заявлений Вульфа надо подчеркнуть. Вульфу была открыта лишь одна сторона жизни чувства в Пушкине — феноменальная, а ноуменальная была скрыта от его взоров, она была недоступна самой духовной природе Вульфа. Но с феноменальной стороны чувство любви было изучено Вульфом в теории и практике весьма разносторонне. Все виды любви были ему ведомы — от чисто физической до платонической. Последний термин, впрочем, надо понимать совершенно особенно. Платонизм Вульфа был весьма своеобразным и характеризовался таким положением, при котором „он“ считал себя непереступившим последней черты, а „она“ считала себя совершенно отдавшейся.

В своем дневнике Вульф рассказывает с нескромными подробностями свои романы. С этой стороны дневник Вульфа — произведение совершенно исключительное в русской литературе, и значение его для истории нравов, для истории любовного быта 20-х годов не подлежит сомнению. Любовные переживания Вульфа не были патологическими; они носят на себе печать эпохи и общественного круга, к которому он принадлежал. Если бы Вульф был исключением, то его дневник не представлял бы общего интереса. Но дело в том, что

рядом с Вульфом и за ним стояли ему подобные, ч в круг его переживаний втягивались девушки и женщины его общественной среды, что в этом общественном круге его любовные переживания не казались выходящими из порядка вещей. С этой точки зрения дневник Вульфа — целое откровение для истории чувства и чувственности среднего русского дворянства 1820-30-х годов. Самое обращение с женщинами и девушками такое, какое нам трудно было бы представить без дневника Вульфа. Правда, в письмах самого Пушкина хотя бы к жене, в его произведениях кое-где в письмах князя Вяземского к жене, уже встречались намеки на иной, не похожий на наш, любовный быт, но это были намеки, рассеянные подробности картины которую можно нарисовать только теперь при помощи дневника Вульфа.

Но все эти похотливые извилины чувственности эти формы чисто чувственной любви, характерны для Пушкина? Не слишком ли смело отождествить то у Мефистофеля, как ее рисует Вульф, и образ обращения с женщинами, которого придерживался Вульф с методой и образом обращения самого Пушкина? Вульфа есть прямые свидетельства, которые дают в известной мере право на такое отождествление. песни слова не выкинешь, и мы не должны скрывать от себя и закрывать глаза на проявления пушкинских чувственности. В исторической обстановке, которую можем восстановить по дневнику, эти проявления проявляют свою экзотическую исключительность. Пора отказаться от прюдничества в рассуждениях о Пушкине. Вскрытие чувственной стороны жизни поэта имеет особый интерес для изучения Пушкина. Очень хорошо вскрыто значение чувственного элемента Владимиром Соловьевым. „Сильная чувственность есть материал для творчества. Как механическое движение переходит в тепло, а тепло — в свет, так духовная энергия творчества в своем действительном явлении (в порядке времени и процесса), есть превращение низших энергий чувственной души. И как для произведения сильного света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества (по закону здешней, зем-

ной жизни) предполагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты“.

Помимо указанного специфического историко-бытового значения, романы, записанные в дневнике Вульфа, любопытны еще и тем, что героинями их были, по большей части, пушкинские женщины, имена которых хорошо известны не только специалистам-исследователям, но и всем любителям пушкинского творчества; эти женщины счастливы тем, что поэзия Пушкина сохранила их от забвения. Сообщения Вульфа добавляют много новых и ценных штрихов к характеристике воспетых Пушкиным.

## II.

Кто не помнит имени Анны Петровны Керн? Это имя благословенно в поэзии Пушкина. Если бы А. П. Керн не пересекла жизненного пути Пушкина, не был бы создан дивный гимн любви, обессмертивший эту женщину:— „Я помню чудное мгновенье“...

В глуши, во мраке заточенья  
Тянулись тихо дни мои  
Без божества, без вдохновенья  
Без слез, без жизни, без любви.  
Душе настало пробужденье,  
И вот — опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.  
И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

Сохранились свидетельства необычайного возбуждения всего организма, которое пережил поэт во время этой встречи с Керн в Тригорском. По словам биографа Керн Б. Л. Модзалевского, „мгновенный порыв страсти был чрезвычайно силен, ярок, и доходил до экстаза, до бешенства, переливаясь всеми оттенками чувства —

от нежной сентиментальности до кипучей страсти“. Стихотворение написано в зените чувства: любовь к Керн и самый ее образ вознесены до высот недостижимых. Но чувство не могло удержаться на этих высотах, и обыденная жизнь вступила в свои права, когда началась борьба за обладание. Неоцененные еще, как должно, письма Пушкина к А. П. Керн 1825 г.— памятник этой борьбы. Небесный образ Керн теряет свою прозрачность, и проступает образ земной, по земному очаровательный и притягательный. Уже в 1826 г. из-под пера Пушкина срывается в письме к Вульфу эпитет: „наша вавилонская блудница Анна Петровна“. Эпитет брошен в шутку, ибо Пушкин относился всегда с большой любовью к А. П. Керн и ее разностороннюю сердечную отзывчивость не ставил ей в вину. „Хотите ли знать, что такое г-жа Керн?— писал Пушкин.— У нее гибкий ум; она понимает все; она легко огорчается и утешается точно так же; она застенчива в приемах, смела в поступках, но чрезвычайно как привлекательна\*“.

В дошедшем до нас дневнике А. П. Керн записала фразу, где-то ею вычитанную: „Течение жизни нашей есть только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом любви“. Жизнь А. П. Керн не была скучным и унылым переходом; до преклонных лет она сохранила жар своего сердца и бестрепетно с упоением молодой страсти шла на встречу новым и новым обольщениям. В 1830 году она сообщила А. Н. Вульфу о своем новом увлечении. Это сообщение дало повод Вульфу занести в свой дневник следующую характеристику А. П. Керн: „Ее страсть чрезвычайно замечательна не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов (Анне Петровне, впрочем, было всего 30 лет!) сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Про сердце женщин после этого можно сказать, что оно свойства непромокаемого — опытность скользит по ним. Пятнадцать лет почти

---

\* Единственный резкий отзыв Пушкина о Керн находится в позднем письме к жене, но он вызван, повидимому, специальными соображениями и рассчитан на адресатку.



беспрерывных несчастий, уничтожения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение,— по сию пору оно как бы в первый раз вспыхнуло!

Отметим еще одно любопытное признание А. П. Керн, бросающее своеобразный свет на ее психологию: „Я не могу оставаться в неопределенных отношениях с людьми, с которыми меня сталкивает судьба. Я или совершенно холодна к ним, или привязываюсь к ним всеми силами и на всю жизнь“.

История отношений самого Вульфа к Анне Петровне весьма поучительна с точки зрения истории нравов. В письмах Пушкина к Керн 1825 года высказываются в шутливой форме ревнивые подозрения по адресу Вульфа. Действительно, двадцатилетний студент был по уши влюблен в свою кузину, и кузина ответила ему полной взаимностью, подарила ему свою любовь. Осенью 1828 года, когда Вульф жил в Петербурге, отношения его к Керн уже носили совершенно определенный характер. „Анна Петровна, — записывает Вульф 20 октября 1828 г., — сказала мне, что вчера поутру у ней было сильное беспокойство: ей казалось чувствовать последствия нашей дружбы. Мне это было неприятно и вместе радостно: неприятно ради ее, потому что тем бы она опять приведена была в затруднительное положение, а мне радостно, как удостоверение в моих способностях физических“.

Вот еще запись от 28 ноября: „Петр М. (отец Керн) у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни. Это дало мне случай ее жестоко обмануть; мне самому досаднее было, чем ей, потому что я уверил ее, что я ранее... а в самом деле не то было, я увидел себя... это досадно и моему самолюбию убийственно. Но зато вечером мне удалось так, как еще никогда не удавалось“.

Вульф не изменял своей любви к Анне Петровне и был уверен в постоянстве нежной ее любви к нему. Но и его верность и ее постоянство носят печать чрезвычайного своеобразия. Он был влюблен в Анну Петровну: „прощальным, сладострастным ее поцелуям уда-

валось иногда возбуждать его холодную и вялую чувственность“. Но связь с Анной Петровной не мешала ему одновременно вести ряд романов, „платонических“ и физических, на глазах Анны Петровны, с ее знакомыми, подругами и даже с ее родной сестрой. Романы имели свое, различное течение, но верный приют любовное чувство Вульфа находило всегда у Анны Петровны. Анна Петровна знала, конечно, о любовных историях Вульфа, и это знание не мешало их взаимным наслаждениям; в свою очередь, близкие отношения к Вульфу нисколько не мешали и Анне Петровне в ее увлечениях, которых она не скрывала от него. Они не были в претензии друг на друга. В их отношениях поистине царила какая-то домашность, родственность.

Вульф навсегда остался благодарен Анне Петровне за ее любовь. „Никого я не любил и, вероятно, так не буду любить, как ее“,— писал он в дневнике 1832 года. Но, зная Вульфа, мы можем сказать, что в его чувстве не было ни восторга, ни упоения, ни вдохновения, без которых Анне Петровне жизнь не в жизнь была и любовь не в любовь! Какой сухостью и сердечной скудостью веет от записи Вульфа: „Анна Петровна сообщает мне (в письме) проезд отца ее и, вдохновенная своей страстью (это было новое увлечение А. П.),— велит мне благоговеть перед святынею любви! Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться. Я не стану разуверять ее, ибо слишком легко тут сделаться пророком“...

Нет сомнения, что и Пушкин был осведомлен о любовных успехах Вульфа, но это не внесло холодности в их отношения. „Все было в порядке вещей“, и сам Пушкин в одно время с Вульфом был в самых близких отношениях с А. П. Керн, столь же близких, как и Вульф (об этом свидетельствует нескромная фраза в письме Пушкина к Соболевскому). И Пушкин продолжал относиться к А. П. Керн с великим уважением и любовью. Свидетельство уважения и любви—в замечательном стихотворении Пушкина:

„Когда твои молодые лета  
Позорит шумная молва,  
И ты по приговору света

На честь утратила права,  
Один, среди толпы холодной,  
Твои страданья я делю...

Не пей мучительной отравы;  
Оставь блестящий, душный круг.  
Оставь безумные забавы:  
Тебе один остался друг“.

Своеобразное в отношениях к А. П. Керн и Пушкина, и Вульфа, несомненно, отголосок эпохи, вернее, жизни определенного общественного круга, к которому принадлежали и Вульф, и Пушкин.

### III.

Не одна Анна Петровна Керн была для Пушкина и Вульфа общим предметом любви, вожделения и обладания.

В доме П. А. Осиповой вместе с ее детьми жила и росла ее падчерица, дочь ее второго мужа И. С. Осипова, Александра Ивановна. В семье звали ее и Алиной и Сашенькой. По годам она была, по всей вероятности, ровесница А. Н. Вульфа, и в годы появления Пушкина в Михайловском ей было лет под двадцать. Она произвела довольно сильное впечатление на Пушкина, и в михайловской жизни поэта был период влюбленного ухаживания за Алиной. Память об этой привязанности Пушкина сохранилась в его поэзии. Александре Ивановне Осиповой посвящено прекрасное стихотворение: „Признание“.

Я вас люблю, хоть я бешусь,  
Хоть это труд и стыд напрасный,—  
И в этой глупости несчастной  
У ваших ног я признаюсь.

Поэт шутливо сознается, что любовь ему не к лицу, не по летам, что ему надо быть умней, но по всем приметам он узнает болезнь любви.

Без вас мне скучно, я зеваю;  
При вас мне грустно, я терплю;  
И мочи нет, сказать желаю,  
Мой ангел, как я вас люблю!  
Когда я слышу из гостиной

Ваш легкий шаг, иль платья шум,  
Иль голос девственный, невинный,—  
Я вдруг теряю весь свой ум.  
Вы улыбнетесь,—мне отрада;  
Вы отвернетесь,—мне тоска;  
За день мучения—награда  
Мне ваша бледная рука.  
Когда за пяльцами прилежно  
Сидите вы, склонясь небрежно,  
Глаза и кудри опустя,  
Я в умиленьи, молча, нежно,  
Любуюсь вами, как дитя!...

Тайного, интимного значения исполнены стихи, в которых поэт вспоминает и ее „слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в Опочку, и фортепьяно вечером“. Поэт не смеет требовать любви, он просит ее лишь притвориться: ее

взгляд

Все может выразить так чудно!  
Ах, обмануть меня не трудно:  
Я сам обманываться рад!

Трудно по одному этому стихотворению составить сколько-нибудь отчетливое представление о самой Алине и о характере отношений ее к Пушкину. Но скудность данных не затруднила пушкинистов и не помешала им прокомментировать любовь поэта к А. И. Осиповой. „Шутливый тон послания — замечает глубокомысленно один из них — показывает, что тут не было и тени серьезного, хотя бы и недолгого увлечения; Александра Ивановна внушала поэту, восхищавшемуся ее первым девственным расцветом, нежную дружбу, которая, если и сопровождалась другим чувством, то самым слабым и мимолетным“. Все эти рассуждения прежде всего безосновательны, а затем и неверны. Дневник Вульфа и опубликованные М. Л. Гофманом данные из Вревского архива бросают свет на самую личность Сашеньки Осиповой и позволяют сделать заключение о характере отношений Пушкина к ней.

Анне Николаевне Вульф пришлось как-то жаловаться на воспитательную систему своей матери. Речь шла (в письме к сестре Евпраксии) о воспитании младших сестер, совсем молоденьких. „Как ей (т.-е. матери) не

стыдно и не совестно, право, их так воспитывать! Неужели ей мало, что наши все судьбы исковеркала. У нас, по крайней мере, был Пушкин, который был звездой добра и зла для Сашеньки“. Эта не совсем ясная фраза говорит об огромном значении, которое имел Пушкин в жизни Сашеньки Осиповой: он был ее руководителем; путь, по которому он вел ее, был путем добра и зла. Но кто такая была эта ученица Пушкина, Сашенька Осипова? Ответ на этот вопрос можно найти в откровенных рассказах Вульфа об его отношениях к сводной сестре, об его романе с Сашенькой.

Роман Вульфа с Сашенькой завязался в конце 1826 года, значит, после отъезда Пушкина из Михайловского в Москву. Целый год прошел „в спокойных наслаждениях“. В середине декабря 1827 года настал час разлуки: Вульф уезжал на службу в Петербург. Разлука со слезами, обмороками изрядно помучила Вульфа, но новые петербургские увлечения, о которых мы не будем говорить, и в особенности роман с сестрой А. П. Керн, заставили его забыть о Сашеньке. До Сашеньки, жившей в Малинниках, Тверской губ., доходили слухи о любовных похождениях Вульфа. В конце сентября в Старицу, по соседству с Малинниками, прибыла из Петербурга Лиза Керн, жертва своей страсти к Вульфу, живое свидетельство его успехов. Сашенька стала сейчас же поверенной Лизы Керн в ее сердечных делах или, как тогда говорили, ее наперсницей. Вульф записал в дневнике: „Лиза, зная, что я прежде волочился за Сашенькой, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен был знать, кроме нас двоих. Я воображаю, каково Сашеньке было слушать повторение того же, что она со мною испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же откровенностью“.

В декабре 1828 года Вульф вернулся в родные палестины, в Малинники. Здесь он должен был встретиться и с Лизой, и с Сашенькой. Сильно заботила его только встреча с Лизой, а о Сашеньке он не думал.

Действительно, первое свидание с Лизой в присутствии наперсницы вышло нервическим и не доставило удовольствия Вульфу; зато отношения к Сашеньке на-

ладились без особых о том стараний и сами собой по-шли по прежней колее. Уже через несколько дней после приезда, „возвращаясь с бала домой в одной кибитке“, Сашенька и Вульф вспомнили старину, как многозначительно записывает в дневник Вульф. На святках 1828—1829 года все ухаживания Вульфа за красавицами были совершенно бесплодны, совершенно неудачны.

„Встречая таким образом на каждом шагу неудачи, я принужден был возвратиться к Саше, с которой мы начали опять по-старому жить, то-есть до известной точки пользоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими“— записывает Вульф. Эти неплатонические наслаждения имели место как раз во время кратковременного пребывания Пушкина в Тверской губ., в январе 1828 года.

Вместе с Пушкиным Вульф вернулся в Петербург 18 января, справил все свои дела и 7 февраля вновь выехал отсюда в Малинники. Матери и сестры в момент его приезда не было дома. „Я нашел Сашу одну, большую горлом — вспоминал позднее Вульф.— После взаимных упреков в холодности, в изменах мы помирились. Я предложил ей воспользоваться неожиданно благоприятным временем, которое в другой раз может не встретиться. В небольшом нашем домике мать с сестрами занимали только две комнаты; в них мы были теперь одни, следовательно, ничто не мешало провести нам ночь вместе и насладиться ею вполне. Несмотря на то, все мои просьбы остались бесполезны, все красноречие мое не могло убедить ее в безопасности (с ее рассудком она не могла представить других причин), и бесценная ночь невозвратно пропала,— усталый от дороги, я спокойно проспал ее. Не знаю, как она? — но после часто раскаивался в своей нерешительности“.

Вульф и Сашенька скоро наверстали пропущенное, ибо в этот второй приезд Вульфа (до 8 марта, когда Вульф уехал в полк, надолго распрощавшись с родными), Саша явилась единственным об'ектом любовных вожделений Вульфа. „В Малинниках — вспоминал он впоследствии — я посвящал время единственно шалостям с Сашей. С нею мы уже давно прожили время уверений в любви и прочего влюбленного бреда: зная

друг друга, мы наслаждались, сколько силы, время и место позволяли“.

Нельзя не отметить двух характерных для Сашеньки Осиповой особенностей, подчеркнутых Вульфom. Несколько раз, в отличие от других красавиц, он упоминает об „уме“ или „рассудке“ Саши. Саша — умная. Другая особенность — безудержность в увлечениях. Только один мотив мог бы остановить ее на пути к удовлетворению страсти — соображения о безопасности свидания — так по крайней мере думает Вульф. Жар ее чувств был хорошо известен в семье П. А. Осиповой. По свидетельству Евпраксии Николаевны Вульф, отличительные черты Сашеньки — „воображение и пылкость чувств“.

1829 — 1833 год Вульф провел на военной службе. С Сашей он переписывался: о ней извещали его сестры. Один раз писал о ней Пушкин. Возвращаясь с Кавказа в Петербург, он завернул в Старицкий уезд и из Малинников 16 октября 1829 года писал со слов Анны Вульф, что „Александра Ивановна заняла свое воображение отчасти талией и задней частью Кусовникова, отчасти бакенбардами и картавым выговором Юргенева“.

Вульф был уверен, что Саша всегда будет любить его, но эта уверенность не мешала ему увлекаться другими, ни радоваться вестям о свадьбе Саши. Но годы шли, а Сашу не удавалось сбить с рук. „Письма Саши, — записал Вульф, — печальны и оттого очень нежны; она жалуется на судьбу, и точно жизнь ее нерадостна“. В 1831 году мелькнули было брачные возможности для Сашеньки, но не осуществились. В 1832 году Вульф приехал в отпуск в Тригорское, нашел сводную сестру еще не замужем, и тут вновь у Вульфа разыгрались „сцены с Сашенькой вроде прежних“.

В 1833 году Вульф получил, наконец, от сестры долгожданное известие о предстоящем и действительно осуществившемся замужестве Сашеньки, и записал в дневнике: „Дай бог ей скорее выйти, а ему, господину псковскому полицеймейстеру, Беклешову, дай в ней добрую жену. Она говорит, что ненавидит и ругает меня; но мне не мешает это ее любить и сделать все возможное, что будет зависеть от меня, к ее благополучию“.

Брак Сашеньки не был счастлив. Подумать только! После „энтузиастов, которые блестят и увлекают“ после Вульфа, Пушкина — господин псковский полицеймейстер! И к тому же вспомните ее „воображение и пылкость чувств“. „Она пугает меня своим воображением и романтизмом: и то, и другое прекрасно для провождения времени, а не в супружестве“, — писала Евпраксия Николаевна своему брату об Александре Ивановне. Нелады у Беклешовых начались вскоре после свадьбы. „Ежели Сашенька так ревнива, — писал в июне 1833 года А. Н. Вульф сестре Анне, — то должно ей еще благодарить провидение за такого мужа, как ее; и если она скоро не успокоится, то наверное можно полагать, что скоро выгонит из дому мужа; за это можно поручиться“. Выдержка из письма ее сестры М. И. Осиповой к Вульфу может дать представление о семейной жизни Беклешовой. „На-днях, то-есть три дня тому назад, отправилась Сашенька с детьми и своим супругом в деревню. Она провела здесь пять дней. Эти пять дней я прожила с нею. Этого короткого времени достаточно было, чтобы понять весь ужас ее существования. Он с ней иначе не говорит, как бранясь так, как бы бранился самый злой мужик. Вот уверяют, что хорошее воспитание не нужно для супружеского счастья: стал ли бы благовоспитанный человек браниться, как ямщик?“

Такой жестокой ценой платила Сашенька за свои увлечения энтузиастами, за свое воображение, за пылкость своих чувств...

---

В 1835 году в сентябре Пушкин приехал в Михайловское. Первым делом было навестить Тригорское. „В Тригорском, — писал Пушкин жене, — стало просторнее — Евпраксия Николаевна и Александра Ивановна замужем, но Прасковья Александровна все та же, и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно“. Поэту очень хотелось видеть Сашеньку Осипову, ныне Александру Ивановну Беклешову. Томительным призывом звучит его записка к ней: „Мой ангел, как мне жаль, что я вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпраксия Николаевна, сказав, что вы опять собираетесь



приехать в наши края. Приезжайте, ради бога; хоть к 23-му\*. У меня для вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться. Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сама в образе Марии Ивановны\*\*\*. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время,

И путешествие в Опочку,

и прочая. Простите мне мою дружескую болтовню. Целую ваши ручки“.

Но Беклешова не приехала. По этому поводу Евпраксия Николаевна писала своему брату А. Н. Вульффу: „поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал попрежнему, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие ее мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы“.

Какое начало жизни! Тригорское, Пушкин, энтузиасты...

Алина, сжальтесь надо мною!

...Этот взгляд

Все может выразить так чудно!

И какой конец! Псковский полицеймейстер, у которого нет с ней других слов, кроме бранных... И старость. Незадолго до смерти состояла учительницей музыки псковских Мариинских училищ I-го разряда. Умерла лет шестидесяти.

\* Хоть к 23-му... Конечно, 23 сентября — дню рождения П. А. Осиповой.

\*\* Марья Ивановна — сестра Александры Ивановны. „Как наружно, так и воображением и пылкостью чувств Маша становится похожа на Сашеньку“, — писала о ней Евпраксия Николаевна в 1836 году. Пушкин на молоденькую Машеньку (ей было лет 14—15) произвел неизгладимое впечатление в этот осенний приезд в Михайловское в 1835 году. Для Марии Ивановны эта осень навсегда осталась „L'automne mémorable“. Правда, после отъезда, ее благорасположение было отдано другому, некоему Н. И. Шенигу, и сестра ее Евпраксия была рада этой перемене: „Шениг, по ее словам, никогда не воспользуется этим благорасположением, что о Пушкине никак нельзя сказать“.

Но в эту старость доносились звуки чудного голоса из отдаленной и прекрасной юности.

И мочи нет, сказать желаю,  
Мой ангел, как я вас люблю!

Кто это говорит? Он, Пушкин.

Сашенька была земная, совсем земная женщина; она не будила мыслей о небе, о божестве, подобно Анне Петровне, но того, кто знал ее, тянуло вновь и вновь к ней. „Мой ангел, приезжайте, ради бога... Можно будет, на досуге, и влюбиться“. И вместе с тем, кого она обманывала, обманывалась и сама..

М. И. СЕМЕВСКИЙ

*ПРОГУЛКА В ТРИГОРСКОЕ*

Очерки М.И. Семевского, впервые целиком переиздаваемые в этом издании, печатались отдельными „письмами“ в 1866 году в №№ 139, 146, 157, 163, 168 и 175 „С.-Петербургских Ведомостей“; нами использован экземпляр вырезок этих статей, подаренный М. И. Семевским в переплетенном виде А. Н. Вульфу с надписью „Алексею Николаевичу Вульфу, от искренно уважающего автора. 24-го мая 1866 г.“ (этот экземпляр принадлежал покойному Б. Л. Модзалевскому).

Текст Семевского воспроизводится нами целиком; примечания его (см. под текстом) приводятся не все, так как часть из них устарела и потеряла свое значение в настоящее время. Все же неточности и недоговоренности, имеющиеся в очерках Семевского, исправлены и дополнены в особых примечаниях в конце книги.

Тексты писем и документов, находящихся в очерках, по возможности проверены нами по подлинным автографам, причем текст их, часто сохраненный Семевским по французски, дан нами в русских переводах; так, письма Пушкина до 1830 года включительно даны нами в переводах Б. Л. Модзалевского (из издания Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Том I. 1815—1825. Гиз. Л. 1926 г.; т. II. 1826—1830. Гиз. Л. 1928 г.), переводы же писем поэта к П. А. Осиповой и А. Н. Вульфу позднейших лет даны нами в переводах Е. Б. Зубовой (из публикации М. И. Семевского в первой книжке „Русского Архива“ 1867 года, где письма Пушкина, приведенные в „Прогулке“ в цитатах, были напечатаны целиком).

## I

...и в дали, в краю чужом.  
 Я буду мыслию всегдашней  
 Бродить Тригорского кругом,  
 В лугах у речки, над холмом,  
 В саду, под сенью лип домашней...  
 А. Пушк и н (из стих. 1825 г.  
 к П. А. Осиповой).

...Со смехом и шутками садилась наша веселая, молодая компания на поданные нам экипажи: на какую-то особую линейку, долгушу, уселось человек восемь: тут была и влюбленная чета, барон С. В. с бар. С. М. С., и мисс С. с очаровательными глазками, которые всю нашу молодежь сводили с ума, здесь же была и „la belle Hélène“, тут... для чего же, однако, любезнейший читатель, вздумал я перечислять всех тех прекрасных особ, которые уселись на *фараоновскую долгушу* (шутники уверяют, что на таких долгушах Фараон, царь египетский, преследуя израильтян, выкупался в Черном море); к чему вас и знакомить с этими очаровательными особами?.. Разве к тому только, чтоб убедить вас, что и пишуший эти строки, всю душою стремился занять местечко именно на этой же долгуше и нужен был какой-нибудь особенный случай, чтоб разом, так сказать, *осадить* его мечтания и дать им совершенно другое направление... Да, и „случай случился“. К под'езду была подана высокая, прочная, несколько старомодная коляска. „Это коляска поэта Пушкина“, сказали мне уважаемые хозяева радушного, незабвенного для меня села Голубова\*, из которого наше общество и отправлялось в увеселительную прогулку<sup>1</sup>...

— Да, — подтвердил спутник мой Алексей Николаевич Вульф: — это коляска Пушкина, он ее купил в 1830

\* Село это, принадлежащее барону Б. А. Вревскому, находится в Псковской губернии, в 40 верстах от уездного города Острова и близ погоста (в старину пригорода) Врева.

годах у лучшего в то время мастера, ездил в ней, а затем, после смерти поэта, я купил коляску у вдовы его...

Я чуть было не снял шляпу перед этой поэтически-археологической достопамятностью и с полным доверием влез в этот экипаж. Да и как было не поспешить занять местечко „в коляске поэта“, когда спутником моим был Алексей Николаевич Вульф, тот самый Вульф, лихой дерптский студент, потом не менее удалой гусар, сердечным, неизменным, наивернейшим другом которого был поэт Языков 1 — тот самый Вульф, которого приятелем был Пушкин, тот самый Вульф, наконец, которому принадлежит знаменитое *Тригорское*, воспетое и в стихах и в прозе, этот достославный приют, под сенью которого нашли столько вдохновения, столько поэтического огня музы наших знаменитых поэтов! Я, кажется, впадаю в некоторый пафос? Да простит мне „благоразумный читатель“. Что делать! Я, увы, не могу согласиться с теми критиками, по рецепту которых следует говорить о наших литературных знаменитостях прошедшего времени — полуснисходительно, полупрезрительно; я (еще больше пускаюсь в откровенность) даже с каким-то особенным чувством уважения (чуть-чуть не сказал *благоговения*) обращаюсь к людям, которых эти знаменитости считали своими приятелями и друзьями. Для меня Пушкин все еще гордость, честь и краса нашего Парнаса! Об этом-то великом жреце всероссийского Парнаса — у нас с А. Н. и не умолкала беседа в течение добрых двух часов, которые мы употребили на проезд 16 верст, отделяющих Тригорское от Голубова... Ниже я приведу если не все, то многое, что слышал от Алексея Николаевича о его друзьях — Пушкине и Языкове; теперь же позвольте мне полюбоваться на самое Тригорское.

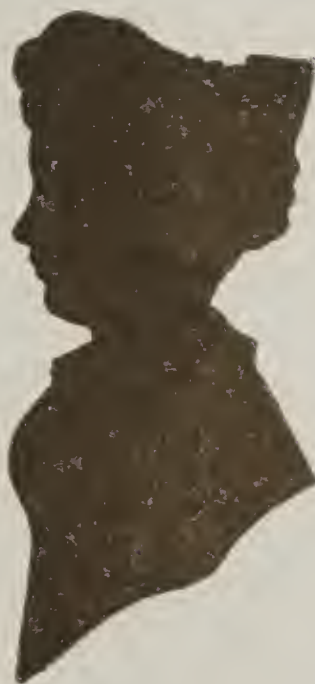
Переплыв на пароме извилистую, неширокую реку Сороть — близ сельца *Дериглазова* — мы пошли пешком. Под слово мы — разумею только себя с Алексеем Николаевичем и одну, весьма еще юную, тем не менее с весьма выразительным личиком, особу, которая также ехала с нами в коляске *поэта*; до авангарда нашего мне уже не было никакого дела; я весь превратился в слух внимая рассказам Алексея Николаевича, и смотрел на



Анна Петровна Керн.



Анна Николаевна Вульф.



Евпраксия Николаевна Вульф.

С силуэтов 20-х г.г., ныне хранящихся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.





дивную, очаровательную картину, открывшуюся предо мною... Над зелеными, низменными лугами, орошаемыми Соротью, поднимаются три обрывистые горы, пересеченные глубокими оврагами. Крутые скаты возвышенностей покрыты кустами и зеленью; там и здесь бегут вверх извилистые тропинки. На самом верху двух гор возвышаются две церкви; от них влево тянется ряд строений: этот, ныне довольно большой погост Воронич, некогда знаменитый пригород псковской державы. По преданию, пригород был так велик и так густо населен, что в нем было до 70 церквей. Дома жителей покрывали не только среднюю (собственно нынешнее городище), но и левую гору, где ныне погост, а также и низменные луга, расстилающиеся у подошвы гор. На лугах этих до сих пор видны ямы, попадаются камни и вообще видны следы бывших здесь в старину построек. Что же касается до населенности пригорода, то о ней можно судить уже по тому, что население это могло выдержать две осады грозного князя литовского Витовта, во время его вторжений в псковскую землю. Первый раз, в 1406 году, Витовт простоял под „Вороночем городом“ двое суток и ничего не мог сделать, так что в досаде своей враг отступит, „наметаша рать мертвых детей две ладьи“, не бывала, замечает по этому случаю летописец „пакость такова (как) и Псков стал, а то все за умножение грех ради наших...“ После того двадцать лет спустя Вороночь выдержал вторую, несравненно сильнейшую, осаду; вот как об ней повествует летописец: „В субботу рано (3-го августа 1426 г.) поиде Витовт (от Опочки, под которой он стоял два дня и две ночи) рано поиде к Вороночу, и стал под Вороночем в понедельник, месяца августа в 5, и стоял под Вороночем *три недели*, пороки исчинивше и шибаячи на град, а Вороночаном притужно бяше велми; и Вороночане и посадники их Тимофей и Ермола начаша вести слати ко Пскову: „господа Псковичи! помогайте нам и гадайте о нас; нам ныне притужно велми“. И Псковичи послаша с челобитьем Федора посадника Шибалкиначи, под Вороночь, ко князю Витовту в рать, и начаша челом биси князю Витовту, и он не прия челобитья псковского... И паки он, неверник христианские

веры, князь Витовт нача лестьми своими льстити Вороночанам о перемирии, занеже в то время в ночь бысть туча грозна и страшна велми молния и блистания и гром страшен зело, и взя перемирие с Вороночаны...“

Городище обнесено высоким валом; с задней стороны, то-есть с противоположной к реке Сороти, хорошо сохранилась так называемая „вышка“, т.-е. высокая насыпь, с которой обозревали местность и наблюдали за движениями неприятеля доблестные вороночане. В осыпях валов нередко еще, в недавнее время, находили ядра и кувшины с монетами...

Близ этого-то знаменитого городища, на том же берегу Сороти, наверху горы, стоит село Алексея Николаевича Вульфа — знаменитое *Тригорское*. Глубокий овраг, по дну которого идет дорога в село, отделяет его от Вороныча. Постройка села деревянная, скученная в одну улицу, на конце которой стоит длинный, деревянный же, одноэтажный дом. Архитектура его больно незамысловата; это — не то сарай, не то манеж, оба конца которого украшены незатейливыми фронтонами. Дело в том, что эта постройка никогда и не предназначалась под обиталище владелиц и владельцев Тригорского; здесь в начале настоящего столетия помещалась парусинная фабрика, но в 1820 еще годах — тогдашняя владелица Тригорского задумала перестроить обветшавший дом свой, бывший недалеко от этой постройки, и временно перебралась в этот „манеж“... да так в нем и осталась. Перестройка же дома откладывалась с году на год, едва ли не до тех пор, пока года четыре тому назад от неосторожного выстрела одного юноши сгорело в Тригорском несколько построек, и в том числе погибли руины дома, состоявшего „в вечном подозрении“, что-де наступит же время, когда его перестроят; пожар, однако, пощадил *временное* помещение обладателей Тригорского. Да и славу богу, так как именно этот, больно неказистый дом, и было то убежище, где физически, а еще более нравственно отдыхал бессмертный поэт наш и в живых, увлекательных беседах с хозяйками Тригорского черпал новые силы к своей поэтической деятельности... Обойдемте комнаты. Мария

Ивановна Осипова, нынешняя хозяйка Тригорского \*, хотя несколько и недовольна, что компания нагринула не предупредив, именно „в самый адмиральский час“, и она не успеет распорядиться угостить все общество таким обедом, каким бы хотелось хлебосольной хозяйке, но, будьте уверены, лишь только начнет она вспоминать о Пушкине, явится и доброе расположение духа, и любезность, и приветливость... Мария Ивановна была еще очень молода, когда Пушкин почти живмя-жил в Тригорском; но она свято чтит малейшее воспоминание о дорогом друге всей ее фамилии.

„Семья наша,— так рассказывала Мария Ивановна Осипова,— в 1824—1826 годах, т.-е. в года заточения Александра Сергеевича в сельце Михайловском\*\*, состояла из следующих лиц: маменьки нашей Прасковьи Александровны<sup>1</sup>, вдовствовавшей тогда повтором уже муже, а моем отце, г. Осипове, и из сестер моих от другого отца: Анны Николаевны и Евпраксии Николаевны Вульф<sup>2</sup>, и родных сестер моих Катерины и Александры Осиповых. Брат Алексей Николаевич был в то время студентом в Дерпте и наезжал сюда на святки и каникулы. Все сестры мои были в то время невестами, и из них особенно хороша была Евпраксия. Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек,— выйдем к нему навстречу... Раз, как теперь помню, тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся — я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мной погнался, все своими ногтями грозил; ногти ж у него такие длинные, он их очень берег... Приходил, бывало,

---

\* Марья Ивановна Осипова, младшая сестра Алексея Николаевича Вульфа, от разных отцов.

\*\* Зуево тож. Сельцо это находится верстах в двух от Тригорского. Достоинно внимания, что многие читатели и почитатели Пушкина, да нередко даже и биографы поэта, постоянно смешивали Тригорское с Михайловским и думали, что Пушкин собственно жил в Тригорском и, будто бы, оно ему принадлежало.

и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шаст и влезет в окно... Что? Ну уж, батюшка, в какое он окно влезал, не могу вам сказать: мало ли окон-то? он, кажется во все перелезил... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано... Покойная сестра Alexandrine, как известно вам, дивно играла на фортепиано; ее, поистине, можно было заслушаться... Я это, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин,—все пошло вверх дном; смех, шутки, говор—так и раздаются по комнатам. Я и то, бывало, так и жду его с нетерпением, бывало, никак не совладаешь с каким-нибудь заданным переводом; пришел Пушкин—я к нему подбегу: „Пушкин переведите!“ и вмиг перевод готов... Впрочем, немецкий язык он плохо знал, да и не любил его; бывало, к сестрам принесет книгу, если что ему нужно перевести с немецкого. А какой он был живой; никогда не посидит на месте, то ходит, то бегаёт! Да, чего, уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят: он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул... Мы ему говорим: „Пушкин, что вы шалите так, пора остепенится“,—а он смеется только. В комнате почти все, что вы видите, все так же было и при Пушкине: в этой зале стоял этот же большой стол, эти же простые стулья кругом,—те же часы хрипели в углу; а вот, на стене висит потемневшая картина: на нее частенько заглядывался Пушкин“<sup>1</sup>.

Картина действительно интересна; она, как видно, писана бог весть как давно—и сильно потемнела от времени; картина изображает искушение св. Антония,—копия чуть ли не с картины Мурильо: пред святым Антонием представлен бес в различных видах и с различными соблазнами; так, между прочим, лукавый в образе красавицы (лик ее, равно как и черты прочих персонажей картины, мухи нимало не пощадили) и, так бес в образе красавицы—подносит святому чару—надо быть—зелена вина; впрочем, тут не все черти в приличном виде, некоторые бесенята изображены художником *au naturel*... Картина, не бог весть какого замечательного достоинства, но—на нее смотрел Пушкин, и вспо-

миная ее, как сам сознавался хозяйкам (о чем одна из них мне и заявила) навел чертей в известный сон Татьяны\*; поэтому, вы не удивитесь, если скажу, что я долго и внимательно смотрел на эту достопамятность..

Подле зало большая гостиная. В ней, не только вся мебель, но даже мелкие вещи—подсвечники и проч.—все те же, как об'яснила мне Мария Ивановна, какие были во время Пушкина; тут же стоят и фортепиано<sup>1</sup>; я дотронулся до них—они задрезжали и зашипели; между тем, по этим самым клавишам, более тридцати лет тому назад, играла Александра Ивановна Осипова\*\*\*. Ее очаровательная, высокоартистическая музыка восхищала Пушкина, Языкова, бар. Дельвига и прочих посетителей гостеприимного Тригорского...

Из зало идет целый ряд комнат. В одной из них, в небольших, старинных шкапчиках помещается библиотека Тригорского; новых книг не много, но зато я нашел здесь не мало изданий Новиковских, довольно много книг по русской истории, некоторые библиографические редкости\*\*\*\*, старинные издания русских авторов: Сумарокова, Лукина, „Ежемесячные Сочинения“ Миллера, „Российский Феатр“, первое издание „Деяний Петра I“, творение Голикова, и проч.<sup>2</sup> Между прочим, по этому экземпляру, и именно в этой самой комнате, Пушкин впервые познакомился с жизнью и деяниями монарха, историю которого, как известно, Пушкин взялся было писать в последние годы своей жизни. Но самым драгоценным украшением библиотеки села Тригорского—экземпляр альманаха „Северные Цветы“ (1825—1831 годов), все песни „Евгения Онегина“—в тех книжечках, как они впервые выходили в свет, и с таким небывалым

---

\* ... Сидят чудовища кругом:  
Один в рогах с собачьей мордой,  
Другой с петушьей головой,  
Здесь ведьма с козьей бородой,  
Тут остов чопорный и гордой и пр.

\*\* Впоследствии она вышла замуж за г. Беклешова и скончалась в СПб в 1864 году.

\*\*\* Например, хоть эта книга: „Дневные записки путешествия из архипелагского, России принадлежащего, острова Пароса, в Сирию, и проч. Сергея Плещеева в исходе 1772 г.“ Спб. 1773 г. 8 д. — эта книжка прежде мне не попадалась под руку.

дотоле восторгом и любопытством перечитывавшиеся всею Россией\*, сочинения Баратынского, Дельвига—и все эти книги украшены надписями авторов: то „Прасковье Александровне Осиповой“, то „Алексею Николаевичу Вульффу“, с приписками: „в знак уважения“, „в знак дружбы“<sup>1</sup>, и т. п.

В старину, как сообщил мне хозяин, библиотека эта была довольна велика, и в ней было много книг с дорогими гравюрами, она была собрана отцом его матери Вымдонским, человеком, по своему времени, весьма образованным, находившимся в сношениях с Новиковым, едва ли даже не масоном и, как говорят, членом казанской ложи<sup>2</sup>. Вымдонский был прекрасный хозяин, любил читать и весьма хорошо рисовал. Рисунки его хранятся до сих пор в Тригорском... Впрочем, характеристику всех владельцев этого села мы сообщим ниже; теперь же да позволено нам будет кончить обход дома...

В одной из следующих комнат я обратил внимание на портреты А. С. Пушкина, представляющие его в нескольких видах и возрастах<sup>3</sup>; тут, например, есть довольно редкий портрет поэта, приложенный к одной из его поэм и изображающий поэта в детском возрасте<sup>4</sup>; тут же портрет Александра Ивановича Тургенева<sup>5</sup>, бывшего также другом Прасковьи Александровны, покойной владельницы Тригорского<sup>6</sup>. Тут же Мария Ивановна обратила мое внимание на толстую палку, которую долго носил с собою Александр Сергеевич после того, как потерял свою прежнюю, толстую же, железную палку... „Одевался Пушкин“, заметил Алексей Николаевич, „хотя, повидимому, и небрежно, подражая и в этом, как во многом другом, прототипу своему — Байрону, но эта небрежность была кажущаяся: Пушкин относительно туалета был весьма щепетилен. Например, мне кто-то говорил, или я где-то читал, будто Пушкин, живя в деревне, ходил все в русском платье. Совершеннейший вздор: Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз, заметьте себе — раз, во все пребывание в деревне, и именно в девяную

---

\* Если не ошибаюсь, первое издание *Онегина* печаталось в 1.200 экземплярах.

пятницу после пасхи, Пушкин вышел на святогорскую ярмарку\* в русской красной рубахе, подпоясанный ремнем, с палкой и в корневой шляпе, привезенной им еще из Одессы<sup>1</sup>. Весь новоржевский beau monde, с'езжавшийся на эту ярмарку (она бывает весной) закупать чай, сахар, вино, увидя Пушкина в таком костюме, весьма был этим скандализован...

Пушкин, живя в деревне, мало сталкивался с народом<sup>2</sup>; об этом мне еще прежде говорила бар. Евпраксия Николаевна Вревская. „Бывало, едем мы все с прогулки и Пушкин, разумеется, с нами: все встречные мужички и бабы кланяются нам, на Пушкина же и внимания не обращают, так что он, бывало, не без досады и заметит, что это на меня-де никто и не взглянет? А его и действительно крестьяне не знали<sup>3</sup>. Он только ночевал у себя в Михайловском, да утром, лежа в постели, писал свои произведения<sup>4</sup>; затем появлялся в Тригорском и в нашем кругу проводил все время“.

—А вот вам и еще достопримечательность,— сказала Мария Ивановна, подводя меня к шкапу, полному хрусталя и фарфора, и вынимая оттуда большие бокалы прекрасного хрусталя.— Это те самые бокалы, те самые чаши, из которых пили Пушкин, Языков, Дельвиг...

—Сестра моя Euphrosine,— заметил Алексей Николаевич,— бывало заваривает всем нам, после обеда жженку<sup>5</sup>: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку... и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете не мало упоминаний в посланиях ко мне Языкова — сидим, беседуем, да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был, как известно, страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится — куда пропадет застенчивость — и что за стихи, именно *Языковские* стихи, говорил он, то за „чашей пунша“, то у ног той же Евпраксии Николаевны!<sup>6</sup>

---

\* Монастырь Святые Горы находится в пяти верстах от села Михайловского.

— Пушкин — слова Марии Ивановны Осиповой — бывало, нередко говорит нам экспромты, но так, чтоб прочесть что-нибудь длинное — это делал редко, впрочем, читал превосходно, по крайней мере, нам очень нравилось его чтение... Как вы думаете, чем мы нередко его угощали? Мочеными яблоками, да они, ведь, и попали в „Онегина“; жила у нас в то время ключницей Акулина Памфиловна — ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы все до поздней ночи — Пушкину и захочется яблок; вот и пойдем мы просить Акулину Памфиловну: „принеси, да принеси моченых яблок“, — а та и разворчится. Вот Пушкин раз и говорит ей шутя: „Акулина Памфиловна, полно-те, не сердитесь! завтра же вас произведу в попадьи“. И точно, под именем ее — чуть ли не в „Капитанской дочке“ и вывел попадью; а в мою честь, если хотите знать, названа сама героиня этой повести... Был у нас буфетчик Пимен Ильич — и тот попал в повесть... А как любил Пушкин наше Тригорское: в письмах его к нашей маменьке вы найдете беспрестанные его воспоминания о Тригорском и постоянные сюда стремления; я сама от него слышала, кажется, в 1835 году (да, так точно, приехал он сюда дня на два всего — пробыл 8-го и 9-го мая)<sup>1</sup>, приехал такой скучный, утомленный: „Господи, говорит, как у вас тут хорошо! А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!“<sup>2</sup>

Близ дома, в Тригорском, вдоль его фасада находится очень чистый и длинный пруд. Языков упоминает о нем в одном из поэтических описаний этого села. По другой стороне пруда стоял именно тот старый дом, который более тридцати лет ждал перестройки и, не дождавшись, сгорел; близ него — как рассказывает Алексей Николаевич — он, вместе с поэтом, бывало, многие часы тем и занимаются, что хлопают из пистолетов Лепажа в звезду, нарисованную на воротах<sup>3</sup>.

— Вы, вероятно, знаете — сказал мне Алексей Николаевич, вспоминая о стрельбе своей в цель с Пушкиным, — Байрон так метко стрелял, что на расстоянии 25-ти шагов утыкивал всю розу пулями. Пушкин, по крайней мере в те годы, когда жил здесь, в деревне, решительно был помешан на Байроне; он его изучал



самым старательным образом и даже старался усвоить себе многие привычки Байрона. Пушкин, например, говаривал, что он ужасно сожалеет, что не одарен физической силой, чтоб делать, например, такие подвиги, как английский поэт, который, как известно, переплывал Геллеспонт... А чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы Пушкин вместе со мной сажал пули в звезду. Между прочим надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным, так называемым американцем Толстым... Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул! Пушкин заметил ему это. „Да я сам это знаю, отвечал ему Толстой; но не люблю, чтобы мне это замечали“. Вследствие этого, Пушкин намеревался стреляться с Толстым, и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе...

За прудом, на громадном пространстве, раскинут великолепный сад, в последние годы несколько уже запущенный. Тут указали мне: зал—так называемую площадку, тесно обсаженную громадными липами; в этом зале, лет 30 тому назад, молодежь танцевала; об этом же зале упоминает и Языков в одном из своих стихотворений. Полюбовался я и горкой среди сада, верх которой венчается ветвистым дубом; по четырем углам этой насыпной горки стояли ели, под которыми леживали Пушкин и Языков; ели те еще при жизни их были, срублены, по распоряжению Прасковьи Александровны так как они, будто бы, мешали расти роскошному дубу. Пушкин жалел об этих деревьях... Недалеко виднеются жалкие остатки некогда красивого домика, с большими стеклами в окнах. Это баня: здесь жил Языков в проезд свой в Тригорское в 1826 году, здесь и ночевывал и Пушкин<sup>1</sup>... Вот и береза, раздвинувшая свои два ствола так, что среди их образовалось кресло: здесь сиживал тоже Пушкин, в дупло этого дерева поэт опустил пятак на память; недалеко кустарник барбарисовый, в середину которого Пушкин однажды впрыгнул, да насилу вылез оттуда; сзади же остался небольшой прудок; на берегу его стояла береза—Прасковья Александровна вздумала ее срубить, но Пушкин выпросил березе жизнь. „Любопытно,—заметила Марья Ивановна,—

что в год смерти Пушкина в березу ту ударила молния...“ А вот и спуск к реке Сороти; на высоком, зеленом, в высшей степени живописном берегу этой реки, в саду, та именно „горка“ о которой так часто вспоминает Языков в своих стихах; это площадка, осененная деревьями; ниже к реке были липы—их теперь нет; подле были березы, исписанные стихами и прозой—березы тоже состарелись и их срубили; над самой рекой была ива, купавшая ветви свои в волнах Сороти и весьма нравившаяся и Языкову, и Пушкину, но и ивы нет... Но что осталось, так это дивный, необыкновенно очаровательный вид „с горки“ на окрестности. Здесь, на этой площадке, все обитательницы Тригорского и их дорогие гости пили обыкновенно в летнее время чай и отсюда восхищались прелестными окрестностями. Внизу—голубая лента Сороти, за ней, вдали—село „Дериглазово“; там—пашни, поля, вдали темный лес, вправо дорога в Михайловское, а на ней столь знаменитые, воспетые Пушкиным *три сосны*\* еще правей городище Воронич, за речкой часовня, на том месте, где, по преданию, стоял некогда монастырь... И все это обито золотистыми лучами заходящего солнца. Но что ж я делаю? Неужели возможно мне набросать перед Вами ту очаровательную картину, которая разворачивается „с горки“ сада Тригорского? Да и не безумна ли таковая попытка, после того поэтического описания, которое сделал певец Тригорского, Языков, в лучшую пору своей поэтической деятельности? Позвольте мне, прежде чем я сойду с этого места, напомнить вам хотя некоторые строфы из одного стихотворения Языкова (выписал бы и все стихотворения если бы не боялся занять слишком много места в газете). Итак, слушаем Языкова:

В стране, где Сороть голубая,  
Подруга зеркальных озер,

---

\* Кстати: теперь уж их *не три*, а только *две*; одну лет пять назад срубил староста села Михайловского и продал ее за 5 руб. на мельницу. Он уверял, что имеет на это полное право, так как дерево стояло на самой меже земли сел Тригорского с Михайловским; при чем, будто бы *полдерева* стоит на земле сельца Михайловского. Осиротевшие две сосны стоят еще: одна из них разветвлением своих стволов, совершенно походит на лиру.

Разнообразно между гор  
Свои изгибы расстилая,  
Водами ясными поит  
Поля, украшенные нивой —  
Там, у раздолья, горделиво  
Гора треххолмная стоит;  
На той горе, среди лощины,  
Перед лазоревым прудом,  
Белеется веселый дом  
И сада темные картины,  
Село и пажити кругом.  
Приют свободного поэта,  
Непобежденного судьбой,  
Благоговею пред тобой!  
И дар божественного света,  
Краса и радость лучших лет,  
Моя надежда и забава,  
Моя любовь, и честь, и слава —  
Мои стихи тебе привет!..

Описывая *утро* в Тригорском, Языков говорит:

... один, восторга полный,  
Горы прибережной с высот,  
Я озирал сей неба свод  
Великолепный и безмолвный,  
Сии круги и ленты вод,  
Сии ликующие нивы,  
Где серп мелькал трудолюбивый  
По золотистым полосам,  
Скирды желтелись, там и там  
Жнецы к товарищам зывали,  
И на дороге, вдалеке,  
С холмов бегущие к реке  
Стада пылили и блеяли...

Поэт, описывая картину *дня* в Тригорском, говорит о летнем *зное* и прекрасно описывает купанье в Сороти:

Какая сильная волна!  
Какая свежесть и прохлада!  
Как сладострастна, как нежна

Меня обнявшая Наяда!  
Дышу вольнее, светел взор и т. д.  
...„Что восхитительнее, краше,“ —

далее спрашивает поэт:

Свободных дружеских бесед,  
Когда за пенистою чашей  
С поэтом говорит поэт? . . .  
Прекрасно радуясь, играя,  
Надежды смелые кипят,  
И грудь трепещет молодая,  
И гордый вспыхивает взгляд!  
Певец Руслана и Людмилы!  
Была счастливая пора \*,  
Когда так веселы, так милы  
Неслись наши вечера  
Там *на горе*, под мирным кровом  
Старейшин \*\* сада вековых,  
На дерне свежем и шелковом,  
В виду окрестностей живых;  
Или в тиши благословенной  
Жилища Граций, где цветут  
Каменами хранимый труд  
И ум изящно просвещенный \*\*\*;  
В часы, как сладостные там  
Дары Эвтерпы нас пленяли,  
Как персты \*\*\*\* легкие мелькали  
По очарованным ладам;  
С них звуки стройно подымались,  
И в трелях чистых и густых  
Они свивались, развивались —  
И сердце чувствовало их! . .

---

\* Как увидим из следующих моих писем, Языков провел в Тригорском лето 1826 года (с 10-го июня по 1-ое августа) и тогда ежедневно виделся с Пушкиным; воспоминание об этом времени Языков хранил до могилы.

\*\* Эти старейшие уже вырублены, именно потому, что больно уже состарились.

\*\*\* Евпраксия Николаевна Вульф и другие обитательницы Тригорского.

\*\*\*\* Александры Ивановны Осиповой, впоследствии г-жи Беклешевой.

Но, нет, лучше не приводить отрывков из этого длинного, но в то же время поэтического описания „Тригорское“, лучше посоветовать вам, благосклонный читатель, самому развернуть последнее издание стихотворений Языкова (Спб. 1858 г., ч. I, стр. 72—80) и возобновить себе в памяти, во всей целости, художественное произведение поэта — произведение понятное в особенности тому, кто действительно хоть раз видел Тригорское!... Мы, однако, не прощаемся с вами, и об том же Тригорском не замедлим еще побеседовать.

20-го мая 1866 г.

## II

... „Ваша дружба пускай действует благотельно на нашего поэта“.

*В. Жуковский (из письма его к П. А. Осиповой, 12-го ноября 1824 г.)*

... „Верьте, что на земле нет ничего верного и доброго, кроме дружбы и свободы. Вы научили меня ценить прелесть первой“ ...

*А. Пушкин (из письма его к П. А. Осиповой, 8-го августа 1825 г.)*

Для того, чтобы понять отношения Пушкина к П. А. Осиповой и ко всему семейству владелицы Тригорского, нам надобно ближе ознакомиться со всею этою фамилией, а чтобы правильнее и толковее начать это знакомство, я должен буду начать... не бойтесь, не с потопа, а всего только со второй четверти XVIII века, с дедушки Прасковьи Александровны, с Максима Дмитриевича Вымдонского.

Вымдонские принадлежат к одной из русских коренных, дворянских, фамилий. Дмитрий Вымдонский в 1710 году был подпоручиком в семеновском полку, а в 1733 году произведен в поручики, но только в 1736 году выхлопотал себе на этот чин патент и проч. Впрочем, сын его Максим Дмитриевич был счастливее его по службе. В 1739 году подпоручик семеновского полка Максим Вымдонской в царствование Елисаветы Петровны принимает участие в одной весьма секретной командировке, имевшей тогда для нового правительства России громаднейшее значение: вместе с некоторыми другими лицами, уже капитан-поручик лейб-гвардии семеновского полка Вымдомской (будем писать его так, как теперь пишется эта фамилия) был в том конвое, под прикрытием которого перевезена, в 1742 году, бывшая правительница Анна Леопольдовна и ее семейство, вместе с развенчанным малюткой императором Иоанном VI Антоновичем, из крепости Динаминд в Ранен-

бург (Ораниенбург), ныне уездный город Рязанской губернии. Здесь злополучное семейство вместе с Вындомским, бывшим в числе его главных тюремщиков, пробыло почти до сентября 1744 года.

27-го июля 1744 г. действительный камергер Николай Андреевич Корф получил указ за подписью государыни—ехать в Раненбург, взяв с собою пензенского пехотного полка майора Миллера и, оставя последнего верстах в трех пред городом, самому, по приезде туда, вручить, из числа приложенных к сему указу еще двух других, первый лейб-гвардии семеновского полка капитану Вындомскому, а второй лейб-гвардии измайловского полка майору Гурьеву; затем, „припаса как наискорее коляски и нужные путевые потребности, отправить Вындомского вперед, для заготовления лошадей, и когда получится от него донесение о поставке их до Переяславля Рязанского, то тотчас, взяв ночью принца Иоанна сдать его с рук на руки майору Миллеру, тоже с приложенным особо указом, с тем, чтобы майор этот ни мало не медля отправился в назначенный сим указом путь\*. На другой же день, также ночью, взять принцессу Анну с мужем и остальными детьми (двухгодовалую Екатериною и годовалым ребенком—Елизаветою), а также с находящимися при них людьми, в том числе штаб-лекарем и с нужными на проезд и первое время лекарствами, ехать со всеми ими, в сопровождении майора Гурьева, прапорщика Писарева, трех унтер-офи-

---

\* Вындомской, между прочим, по приказанию Корфа, изготовил помещение для правительницы и ее семьи в Холмогорах (в архиерейском доме, принадлежавшем к Преображенскому собору), куда и прибыла Анна Леопольдовна 9-го ноября 1744 г. после крайне тягостного путешествия из Раненбурга. В 1745 г., когда Корф был отозван в Петербург, Вындомской был сделан главным помощником Гурьева в команде над оставленным при „фамилии“ конвое, а 19-го марта 1746 г. высочайше повелено Гурьеву возвратиться в Петербург, а капитану Вындомскому принять дела, известных персон и команду. Он один только мог входить к „принцу“, и он распоряжался всеми расходами по содержанию фамилии, на каковой предмет отпускалось от 5 т. до 6 т. руб. в год. Службой Вындомского императрица была довольна и, между прочим, в 1747 году капитан получил в награду 2 т. руб. См. „Чтения. Общ. Истории“ М. 1861 г., ч. 2. Смесь, стр. 1—58; смотри также статью: „Иоанн VI Антонович“ в „От. Зап.“ 1866 г., № 7.

церов и тринадцати солдат, к Архангельску, а оттуда — в Соловецкий монастырь“. Как ни интересно, однако, проследить путешествие злополучного семейства, которому, как известно, суждено было вместо Соловков — поселиться в другой тюрьме, в Холмогорах, тем не менее, мы, сберегая место, да и сознавая, что это к делу не идет, скажем в двух словах, что во всем этом печальном эпизоде Вындомской был одним из деятельнейших исполнителей воли императрицы Елисаветы и лиц, поставленных ею у кормила правления. Иоанн Антонович, как известно, около 1746 года был разлучен с родителями и перевезен в Шлиссельбург; но Вындомской оставался „при секретной комиссии“ (так на официальном языке того времени называлась брауншвейгская фамилия) до 1753 г.; был ли Вындомской при этой фамилии в остальное время — мы не знаем, но, кажется, что в последние годы царствования Елисаветы и при Петре III Вындомской, тогда уже секунд-майор, был комендантом Шлиссельбурга. Екатерина II, в первые же дни по восшествии своем на престол, озаботилась окружить шлиссельбургского царственного узника Иоанна новыми стражами, и поэтому удалила Вындомского, но удалила, по своему обыкновению, с полным почетом и щедрыми наградами. Вот рескрипт государыни ему подписанный. Подлинник хранится в семейном архиве села Тригорского:

„Господин Вымдонской!

„Мы все милостивейше приняв в уважение долголетние и верные Нам и отечеству, ваши службы, пожаловали вас вечною отставкою от всей военной и гражданской Нашей службы с награждением вам чина генерал-майорского, и сверх того наградили вас в вечное и потомственное наследное владение из нашей дворцовой волости в Псковском уезде\*, деревнями прозываемыми

---

\* Пожалованные Вындомскому деревни находились в то время (1762 г.) в Псковском уезде; при последующих же разделах губернии на новые уезды деревни эти отошли в Опочецкий уезд. Впоследствии указом сенату „секунд-майор Максим Вындомской произведен в генерал-майоры, и за его болезнями повелено быть в вечной отставке“; за труды его по службе, Максим Вындомской пожалован: „из дворцовой воронецкой волости, в Псковском уезде деревнями, прозываемыми Егорьевская губа“ ... Указ сей слушан в Сенате 30 июля 1762 г



Егорьевская губа, в которой по последней ревизии состоит 1085 душ, о чем в Наш Сенат и особый уже указ дали; а вам особенно чрез сие об'являем, что наше императорское к вам благоволение всегда пребудет. Санкт-Петербург. 1762 года июля в 29 день.

Екатерина\*.

Нынешний погост Воронич, в 1762 году считался в Псковском уезде, в границу которого, таким образом, входила и *Воронечская дворцовая волость*. Вообще в этих местах было много дворцовых сел, и некоторые из них в начале царствования Петра I принадлежали семейству царицы Прасковьи Федоровны. Тригорское (название, данное селу уже Вындомским) является, как видно из приведенного документа, даром императрицы Екатерины II Максиму Вындомскому, который здесь и поселился, здесь и умер. Но главным зиждителем Тригорского, основателем его сада и вообще лучшим хозяином в нем, был уже сын Максима — Александр Максимович Вындомской. По примеру отца, он служил сначала в лейб-гвардии семеновском полку, записанный туда с 1756 г.; затем в 1778 году был капитан-поручиком, а два года спустя уволен „в статскую службу с пожалованием чина армии полковником“. Мы уже упоминали об образовании этого человека, о его связях с Новиковым и любви Вындомского по книгам. Наследовав весьма значительное имение, Александр Максимович составил себе, как говорится, партию, женившись на Марье Кашкиной, дочери генерал-аншефа Евгения Петровича Кашкина, любимейшей питомицы Вожжинского, одного из приближеннейших лиц императрицы Елизаветы Петровны. Все эти связи, разумеется, нисколько не могли служить „к умалению чести и достатка Вындомского“, и как *честь*, так и достаток его преизбыточествовал. В холе и среди самых нежных забот умного и просвещенного отца, росла Прасковья Александровна Вындомская (род. в 1780 г.). Кажется, еще при жизни своего отца (умершего около

---

\* Последний тюремщик принца Иоанна — капитан Власьев, по смерти принца, в 1764 г., также был щедро награжден; если только не ошибаюсь, он получил поместья в Смоленской губ. в Гжатском уезде.

1813. г.)<sup>1</sup>. Прасковья Александровна вышла замуж за Николая Ивановича Вульфа<sup>2</sup>, человека мало чиновного (умер коллеж. ассесором), но почтенного, умного и весьма достаточного\*; потеряв мужа первого (от которого имела детей Анну, Алексея и Евпраксию)<sup>3</sup>, Прасковья Александровна вторично вышла за отставного чиновника почтамского ведомства, Ивана Сафоновича Осипова (умер около 1822 г.)<sup>4</sup>, от которого имела дочерей Александру, Катерину и Марию; обо всех их мы уже упоминали в предыдущем письме. Прасковья Александровна получила лучшее, по своему времени, образование; она в совершенстве знала языки французский и немецкий, любила читать, следила за литературой, искала и умела поддерживать связи с представителями отечественной словесности 1820—1830 годов. С семейством Пушкиных Прасковья Александровна, как ближайшая их соседка по имению, была знакома с самого детства; знакомство это было столь близко, что оба семейства принимали друг в друге самое родственное участие<sup>5</sup>. При посредстве Пушкиных Прасковья Александровна познакомилась и подружилась с А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским бар. А. А. Дельвигом; через тех же Пушкиных или, вернее сказать, при посредстве А. С. Пушкина — также с П. А. Плетневым, Е. А. Баратынским, И. И. Козловым и некоторыми другими „известностями“ своего времени; в Языкове она видела товарища и друга своего сына. Наконец, Прасковья Александровна знала и поэта Мицкевича...

С большею частью названных лиц владелица Тригорского вела переписку; альбомы тригорской помещицы были исписаны произведениями ее талантливых знакомых — ей посвящали стихотворения свои Пушкин, Языков, Дельвиг... Всего этого довольно, чтобы убедиться в том, что женщина эта имела ум, имела образование, имела и нравственные достоинства, которые вызывали к ней уважение и любовь таких людей, как Пушкин и его созвездия. Но — следует ли из этого, чтоб женщина эта была чужда недостатков? Недостатки

---

\* Отец его имел большое имение в Тверской губернии, Старицкого уезда, село Малинники, с деревнями; имением этим ныне владеет Алексей Николаевич Вульф.

в ней были и недостатки большие; она была довольно холодна к своим собственным детям, была упряма и настойчива в своих мнениях, а еще более в своих распоряжениях, наконец, чрезвычайно самоуверенна и, вследствие того, как нельзя больше податлива на лесть. Все эти недостатки особенно развились в Прасковье Александровне под старость, когда на сцену выступили и физические недуги; явилось и ханжество, а вместе с тем явились люди, которые, окружив оригинальную старуху, сделали закат ее жизни, поистине, крайне печальным. Притом, тогда же начались у нее неприятности по хозяйству. Хозяйство у нее вообще шло всегда довольно плохо, а пред ее кончиной\* до того дурно, что, если б не энергия и не находчивость Алексея Николаевича Вульфа, то знаменитое Тригорское пошло бы за бесценок в чужие руки<sup>1</sup>.

Но, позволяя себе, в качестве правдивого летописца Тригорского, не скрывать недостатков покойной его помещицы, мы тем с большею искренностью должны заявить, что по отношению к своим „знаменитым друзьям“, в особенности к Пушкину, эта, во всяком случае, весьма и весьма почтенная женщина, была самым нежным, самым добродушным, искренно любящим другом. Она любила Пушкина едва ли не более своего сына, и в бытность поэта в изгнании (1824—1826 г.г.) окружила его такою нежною истинно материнскою заботливостью, о которой тот, до конца жизни, вспоминал, с глубочайшею признательностью и любовью. Пушкин, как известно, почти не знал ласки родной матери, не видал любви и попечения о себе и от отца, пустого и довольно ничтожного человека; тем сильнее ценил он ласки и заботливость Прасковьи Александровны. Да и как было ему не ценить дружбу и любовь ее? В самый мрачный, в самый печальный период своей жизни, убитый тоскою ссылки, не видя впереди себя исхода из своего печального положения, Пушкин под кровом Тригорского находит столь живое участие; в среде просвещенного семейства Прасковьи Александровны поэт встречает девушку,

---

\* Прасковья Александровна умерла в 1859 году; тело ее почитается близ церкви на Воронежском городище.

исполненную красоты, ума и грации (Евпраксия Николаевна), воспламеняющую его сердце огнем чистой и возвышенной любви<sup>1</sup>; музыка, наука, поэзия, красота, природа, все соединяется в одно гармоническое целое, все составляет ту атмосферу, в которой отдыхает поэт после всей горечи прошедшей своей жизни, вполне счастливый в окружающей его среде, насколько можно быть счастливым человеку, не имевшему права отлучиться в какой-нибудь десяток верст без полицейского разрешения. Пушкин, не только не бросает в это время пера, нет, он пишет лучшие свои произведения и работает, работает так, как никогда до того времени не работал! Чарующее обаятельное влияние имел этот уголок на Пушкина! Истомленный, измученный в борьбе со всевозможными пошлостями и невзгодам последующей жизни своей в Петербурге, куда спешит отдохнуть Пушкин? — в Тригорское; где, мечтает поэт, и негодуя на пустоту окружающей его жизни в столице, найду я отраду и покой своей измученной душе? — под сенью того же Тригорского... Как же не помянуть нам добрым словом этот счастливый приют поэта, как не отозваться честным, искренним и добрым словом похвалы об его обитателях и обитательницах?

Письма Пушкина к П. А. Осиповой всего лучше покажут нам то громадное значение, какое имело для поэта Тригорское, и обнаружат глубокие и искренние чувства Пушкина к Прасковье Александровне. Кстати об этих письмах.

Писем этих дошло до нас *двадцать*\*. Все они, благодаря просвещенной готовности искренне уважаемого Алексея Николаевича Вульфа содействовать нашему труду, предоставлены в наше распоряжение; ни одно из них не было еще напечатано. Письма эти на французском языке. Пушкин имел слабость в письмах „к прекрасному полу“ постоянно прибегать к этому языку, которым, благодаря своему полуфранцузскому воспитанию, поэт владел в совершенстве. Читатели наши, наде-

---

\* 1825 г.—5; 1826 г.—2; 1827 г.—1; 1828 г.—2; 1829 г.—1; 1830 г.—3; 1832 и 1833 г. по одному; 1834 г.—2; в 1835—1836 г. по одному,

юсь, не посетуют, что мы позволим себе сделать сколь возможно большие выписки из этих писем, впрочем, большая часть писем довольно коротки<sup>1</sup>.

Первое письмо Пушкина из этой коллекции помечено 25-м июля; оно относится к 1825-му году, и писано из Михайловского. Летом этого года Прасковья Александровна, с старшими своими дочерьми и с племянницей, г-жею А. П. Керн, отправилась в Ригу. Цель поездки была повидаться с стариком-генералом, мужем красавицы Керн, которая жила с ним все это время розно. Прасковье Александровны хотелось примирить супругов, чего она и достигла. Письмо от 25-го июля Пушкин начинает извещением, что он препровождает два письма, полученные в Тригорском на имя Прасковьи Александровны — одно из писем было к ней от Плетнева<sup>2</sup>. „Надеюсь,— продолжает Пушкин,— что когда получите эти письма, вы уже будете в Риге, после веселого и благополучного путешествия. Мои петербургские друзья были уверены, что я вам буду сопутствовать. Плетнев сообщает мне довольно странную новость: решение его величества показалось им недоразумением, почему и было решено снова доложить ему об моем деле\*. Друзья мои так обо мне хлопчут, что дело кончится заключением моим в Шлиссельбург, где, конечно, уже не будет соседства Тригорского, которое,— как бы пустынно оно ни было в настоящую минуту, служит мне утешением.— С нетерпением ожидаю от вас известий,— дайте мне их, умоляю вас. Не говорю вам ни о чувствах моей почтительной дружбы, ни о вечной моей благодарности. Приветствую вас от глубины души. 25 июля“.

Мы было хотели распределить наши выдержки из писем Пушкина к Прасковье Александровне, как говорится: „по материи“; но некоторые из этих писем имеют интерес в своей целостности: эта смесь шутки с серьезными известиями о самой судьбе пишущего (как, например, в только что приведенном письме), почтительная любовь и глубокое уважение к своему другу — все это так интересно именно в своей целостности, что мы не решились вых-

---

\* О назначении Пушкину местом постоянного жительства сельца Михайловского.

ватывать места из писем разных годов и распределять их в наших заметках по однородности содержания... Но обращаемся к самим письмам. В первом из них Пушкин, между прочим, извещает о хлопотах его друзей выпросить ему освобождение. Действительно, в первое время по водворении своем в деревне, молодой поэт особенно сильно жаждал свободы и сильно хлопотал о ее получении. К этому же предмету относится и второе письмо Пушкина к Прасковье Александровне, писанное им спустя четыре дня после отправки первого послания; препровождая при нем, между прочими письмами, полученными в деревне на имя г-жи Осиповой, письмо от матери, Пушкин говорит:

„Вы увидите, какая чудесная душа Жуковский. Между тем, так как решительно нельзя, чтобы Мойер делал мне операцию, то я только что написал ему, умоляя его не приезжать во Псков. Не знаю, что дает повод матери моей надеяться, я же давно уже не верю никаким надеждам<sup>1</sup>.

Рокотов приезжал повидаться со мною на другой день вашего отъезда; было бы любезнее оставить меня скучать одного<sup>2</sup>. Вчера я посетил Тригорский замок, его сад и его библиотеку. Тамошнее уединение поистине поэтично, так как оно полно вами и воспоминаниями о вас. Его любезные хозяева должны были бы поспешить возвращением туда; но это желание слишком отзывается эгоистическим чувством семьянина; если Рига доставляет вам удовольствие, — веселитесь и вспоминайте иногда Тригорского (т.-е. Михайловского) изгнанника: вы видите, что я путаю места нашего жительства — и это все по привычке. 29 июля.

Ради неба, сударыня, ничего не пишите матушке моей касательно моего отказа Мойеру: из этого выйдут только бесполезные толки, так как я уже принял твердое решение“\*.

---

\* Письмо на осьмушке, рукой Пр. Ал. Осиповой помечено: „1825 г.“ Писано из Михайловского. Следующее за сим письмо Пушкина, от 1-го августа того же 1825 г., из Тригорского я не привожу; это — коротенькое письмецо, в котором Пушкин извещает, что он только что приехал в Тригорское и принят малюткой (Катер. Иван., дочерью Прасковьи Александровны) очень любезно; затем жалуется на сквернейшую погоду и просит принять уверение в своих чувствах<sup>3</sup>.

Объясним, не пускаясь в большие подробности, со слов Алексея Николаевича Вульфа, некоторые места приведенного письма. Пушкин пытался уехать в это время за границу; чтобы получить на это право, он писал своим друзьям и родным, что сильно страдает расширением жилы в ноге, и что, под этим предлогом, не позволят ли ему поехать за границу, или предварительно в Дерпт, к знаменитому оператору и профессору тамошнего университета Мойеру, который дал бы ему, как предполагал Пушкин, необходимое свидетельство на получение заграничного паспорта для излечения от болезни. Мойер, почтенный ученый и прекрасный человек, был женат на Протасовой (кажется, не путаю?), свояченице тогдашнего профессора русской литературы в дерптском университете, Воейкова<sup>1</sup>. Известна тесная дружба, соединявшая Жуковского с Протасовыми, а по ним, и с мужьями их... Как бы то ни было, но ходатайства и родных, и друзей по делу Пушкина не привели ни к чему и только добрый Жуковский, серьезно думая, что молодой друг его, михайловский затворник, болен, просил Мойера приехать в Псков, где он должен был встретить Пушкина и сделать ему операцию<sup>2</sup>. Разумеется совершенно здоровый Пушкин, лишь только увидал, что затея его не привела ни к чему, стал открещиваться от устраиваемого ему заботливым Жуковским и родными с'езда с доктором...

„Друзья мои и родители“, писал Пушкин по этому же делу в Дерпт, в сентябре 1825 г., к Алексею Николаевичу Вульфу, „вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Моэру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал, и опять отослал назад эту бедную коляску.— Вразумите его.— Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад был с ним познакомиться. А о коляске сделайте милость напишите мне два слова, что она? где она?“ ест... И в следующем письме к тому же, Алексею Николаевичу и о том же деле: „Милый Алексей Николаевич, чувствительно благодарю вас за дружеское исполнение моих препоручений, и проч. Почтенного Мойера благодарю от сердца, вполне чувствую и ценю его благосклонность и намерение мне помочь—но пов-

торяю решительно: ни в Пскове, ни в моей глуши лечиться я не намерен. О коляске моей, осмеливаюсь принести вам нижайшую просьбу. Если (что может случится) деньги у вас есть, то прикажите, наняв лошадей, отправить ее в Опочку, если же (что также случается) денег нет — то напишите, сколько их будет нужно. На всякий случай поспешим, пока дороги не испортились“\*.

— К этому же времени,—говорил мне А. Н. Вульф,—относится одна наша с Пушкиным затея. Пушкин, не надеясь получить в скором времени право свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу. Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах; к счастью, судьбе угодно было устроить Пушкина так, что в сентябре 1826 года он получил, и притом совершенно оригинально, вождеденную свободу... Но об этом после... Теперь же обратимся к прерванному обзору писем Пушкина к Прасковье Александровне.

„Вчера,—пишет к ней поэт наш 8-го августа 1825 г.,—получил я, сударыня, ваше письмо от 31 (июля), писанное на другой день после вашего приезда в Ригу<sup>1</sup>. Вы не можете себе представить, как тронут я этим знаком вашего расположения и памяти обо мне; он дошел прямо до души моей, и от самой глубины души благодарю я вас за него. Ваше письмо получил я в Тригорском. Анна Богдановна<sup>2</sup> сказала мне, что вас ждут туда к половине августа. Не смею на это надеяться. Что же сказал вам г. Керн касательно отеческого надзора за мною г-на Адеркаса? Положительные ли это приказания? Значит ли г. Керн что-нибудь в этом деле?“<sup>3</sup>

---

\* Из письма Пушкина к А. Н. Вульфу, от 10-го октября 1825 г. из Михайловского. Приводимые нами письма Пушкина к Вульфу, обязательно мне сообщенные Алексеем Николаевичем, также не были еще нигде напечатаны, за исключением одного отрывочка, о котором упомяну в своем месте.



Или это только одни слухи в публике?\* Я полагаю, что вам в Риге лучше известно, что делается в Европе, чем в Михайловском. Что же касается новостей Петербургских, то я ничего не знаю, что там творится. Мы ждем осени, однако у нас еще было несколько хороших дней, а благодаря вам, на моих окнах постоянно цветы. Прощайте, сударыня, примите уверение в моей нежной и почтительной преданности. Верьте, что на земле нет ничего верного и доброго, кроме дружбы и свободы. Вы научили меня ценить прелесть первой.— 8 августа“.

Письма следовали за письмами. Три дня спустя по отправке предыдущего письма, Пушкин вновь пишет к Прасковье Александровне:

„Нужно ли мне говорить вам о моей признательности? Право, сударыня, с вашей стороны весьма любезно, что вы не забываете своего отшельника. Ваши письма столь же приводят меня в восторг, сколько великодушные обо мне заботы — трогают. Не знаю, что ожидает меня в будущем; знаю только, что чувства мои к вам останутся на веки неизменными.— Еще сегодня я был в Тригорском. Малютка совершенно здорова и прехорошенькая<sup>1</sup>. Как и вы, сударыня, я полагаю, что слухи, дошедшие до г-на Керна, не верны; но вы правы, что ими не следует пренебрегать. На днях был я у Пещурова<sup>2</sup>, „лукавого ходатая“, как вы его называете; он думал, что я в Пскове (NB). Я рассчитываю еще проведать моего старого негра-дедушку, который, как я предполагаю, на этих днях умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него Записки, относящиеся до моего прадеда<sup>3</sup>. Свидетельствую мое почтение всему вашему милому семейству и остаюсь, сударыня, вашим преданнейшим.— 11 августа“.

Мы видели выше то участие, какое принимал В. А. Жуковский в положении Пушкина. Прасковья

\* Все это имеет отношение к романической привязанности Пушкина к г-же А. П. Керн. Об этом эпизоде в жизни поэта мы, разумеется, не станем распространяться; впрочем, более любопытным рекомендуем обратиться к статье самой г-жи Керн „Воспоминание о Пушкине“; статья напечатана в „Библиотеке для Чтения“ 1859 г., № 3-й, стр. 111 — 144. Пушкин написал, между прочим, к г-же Керн прелестное стихотворение: Я помню чудное мгновение: Передо мной явилась ты... и проч.

Александровна, зная это и будучи давно знакома с Жуковским, с которым встречалась неоднократно в Дерпте и в Петербурге, просила его похлопотать о разрешении Пушкину уехать за границу; но письмо г-жи Осиповой, должно быть, было весьма неясно и неопределенно; по крайней мере, вот что отвечал ей Жуковский<sup>1</sup>:

„М. Г. Прасковья Александровна. Я имел честь получить письмо ваше, которое, признаюсь, привело меня в совершенное замешательство: я не знал, что делать, кого просить и о чем. Слава Богу, что все само собою устроилось. Лев Пушкин уверял меня, что письмо к Адеркасу остановлено \* , и что оно никаких следствий иметь не может. И жаль мне: ничего теперь делать не нужно, и я этому сердечно рад, ибо уверен, что мог бы скорее повредить, нежели принести пользу. Из письма Алек. Пушкин заключаю, что печальное его положение сделалось еще для него тягостнее от семейственного несогласия<sup>2</sup>. И кажется мне, что в этом случае все виноваты. Я увижусь с Сергеем Львовичем и скажу ему искренно, что думаю о его поступках; не знаю, поможет ли моя искренность. А ваша дружба пускай действует благодетельно на нашего поэта.

Примите мою благодарность за доверенность, которой вы меня удостоили. Усерднейше прошу вас уведомить меня о следствиях, которые имело письмо к Адеркасу: я не надеюсь, чтоб Александр взял на себя этот труд. Он слишком для этого беспечен. С совершенным почтением и проч.<sup>3</sup> Жуковский“\*\*\*.

Заклучим настоящую статью выдержками из двух писем барона А. Дельвига, к той же Прасковье Александровне. Оба письма эти относятся к описываемой нами эпохе жизни Пушкина, т.-е. к 1824—1826 годам. Дельвиг приезжал к другу своему в Михайловское гостить зимой 1825 года и, разумеется, был ежедневным и дорогим

\* Если не ошибаюсь, Адеркас управлял Псковскою губернией перед поступлением на это место Пещурова; о каком письме к Адеркасу идет дело—в точности не знаю.

\*\* Письмо от „12-го ноября. Спб.“ писано на четвертушке, адрес: „Ее выс. П. А. О. через город Опочку в село Тригорское“. Отметка Прасковьи Александровны: „получено 21-го ноября 1824 года“. Письмо сообщено нам А. Н. Вульфом, и нигде не было напечатано.

гостем у радушных хозяек Тригорского. Вот как вспоминает об этом Дельви́г в письме к Прасковье Александровне из Петербурга, от 5-го июня 1825 г.:

„... Мне совестно даже за перо приниматься, так я виноват перед вами. Но вы не вините в неблагодарном молчании мое сердце. Оно каждый день вспоминает дружеское гостеприимство жительниц Тригорского. Всею виновата излишняя деятельность моего воображения. Она обыкновенно столько наговорит мне, за несколько дней до почты, письменных фраз, столько наготовит форм, что наскучит уму, напугает лень, и писание письма откладывается до неопределенного времени. К этому же замешалась любовь, и любовь счастливая. Ваш знакомец Дельви́г женится на девушке, которую давно любит, на дочери Салтыкова, сочлена Пушкина по Арзамасу<sup>1</sup>“...

Дав затем отчет в исполнении некоторых поручений Прасковьи Александровны, относившихся до покупок нот, припасов и пр. Дельви́г продолжает:

„Очень благодарен вам за живое участие в судьбе Баратынского; к моей радости, жду его сюда<sup>2</sup>. Альбома Анне Николаевне не посылаю; доставлю его прямо в Ригу со стихами Баратынского<sup>3</sup> и моими“ \*...

И в следующем году, мы видим Дельви́га исполняющим разные комиссии Прасковьи Александровны; в одном из писем своих к ней (7-го июня 1826 г.), отдав отчет о произведенных им для нее закупках, барон продолжает:

„Мне благодарить вас за память, а вас трудно забыть! У меня теперь одна молитва к моим Пенатам: нельзя ли заманить в нашу (?) обитель тригорскую гостеприимную хозяйку (?). Пушкина верно пустят на все четыре стороны; но надо сперва кончиться суду. Что за времена! Я рад моему счастью, рад подруге моей, которая научила меня прелестям тишины домашней и ей, по всем вероятностям, обязан я удовольствием покупать для вас вина и надеяться на свидание с вами... Не забывайте и

---

\* Письмо оканчивается поклонами всем членам семьи Прасковьи Александровны Осиповой. Письма Дельви́га (числом шесть) к Осиповой также сообщены нам А. Н. Вульфом и приводятся здесь впервые.

любите вас истинно любящего и уважающего барона Дельвига“.

День снятия опалы с поэта был близок! Друзья его ждали этого дня с нетерпением. Между тем, в ожидании вожделенного часа, все лето 1826 года Пушкин провел особенно весело. Вместе с Языковым, он бывал каждый день в Тригорском. Множество стихотворений Языкова, относящихся к этому времени, составляют поэтическую летопись этого золотого, полного жизни и упоения, времени в жизни обоих поэтов. В следующем письме мы возвратимся к этому времени, столь счастливому и в жизни обитательниц Тригорского; настоящую же статью заключим стихами Пушкина, написанными им в 1825 г., к П. А. Осиповой<sup>1</sup>:

Быть может, уж недолго мне  
В изгнании мирном оставаться,  
Вздыхать о милой старине  
И сельской музе в тишине  
Душой беспечной предаваться.  
Но и в дали, в краю чужом,  
Я буду мыслию всегдашней  
Бродить Тригорского кругом,  
В лугах, у речки, над холмом,  
В саду, под сенью лип домашней.  
Когда померкнет ясный день,  
Одна из глубины могильной,  
Так иногда в родную сень  
Летит тоскующая тень  
На милых бросить взор умильной\*.

26-го мая 1866 г.

---

\* Соч. А. С. Пушкина. Спб. 1859 г. Т. I, стр. 325 — 326. Вслед за этим стихотворением напечатано известное восьмистишие Пушкина: „Если жизнь тебя обманет...“ Стихи эти были написаны поэтом в альбом Евпраксии Николаевне Вульф, о чем, однако, не оговорено ни в одном издании<sup>2</sup>.

### III

Здравствуй, Вульф, приятель мой!  
Приезжай сюда зимой,  
Да Языкова поэта  
Затащи ко мне с собой  
Погулять верхом порой,  
Пострелять из пистолета.  
Лайон, мой курчавый брат  
(Не Михайловский прикащик),  
Привезет нам, право, клад...  
Что? — бутылок полный ящик.  
Запируем уж, молчи!  
Чудо — жизнь анахорета!  
В Троегорском до ночи,  
А в Михайловском до света:  
Дни любви посвящены,  
Ночью — царствуют стаканы;  
Мы же — то смертельно пьяны,  
То мертвецки влюблены <sup>1</sup>.

Так начинается Пушкин небольшое письмецо свое в Дерпт к Вульфу — 20-го сентября 1824 года<sup>2</sup>:

„В самом деле, милый, — продолжает поэт — жду тебя с отверзтыми объятиями и с откупоренными бутылками. Уговори Языкова, да отдай ему мое письмо; так как я под строгим присмотром, то если вам обоим за благо рассудится мне отвечать, пришли письма под двойным конвертом на имя сестры твоей А. Н.\*. Досвидания, мой милый, А. П.“

---

\* Т.-е. Анны Николаевны Вульф, ныне уже умершей.

„Александр Сергеевич,—приписывала старшая сестра Алексея Николаевича,—вручил мне это письмо к тебе, мой милый друг. Он давно собирался писать к тебе и к Языкову, но я думала, что это только будет на словах. Пожалуйста отдай тут вложенное письмо [к] Языкову и если можешь, употреби все старание уговорить его, чтобы он зимой сюда приехал с тобой. Пушкин этого очень желает... Сегодня я тебе писать много не могу, Пушкины оба у нас, и теперь я пользуюсь временем как они ушли в баню... Пожалуйста, моя душа, ежели можешь пришли мне книг... “ и проч.<sup>1</sup>

Письмо это было в числе первых, посланных Пушкиным по приезде или лучше сказать по присылке его, на основании высочайшего повеления 2-го июля 1824 г. из Одессы на жительство в Михайловское, под присмотр полиции. К сожалению, не могу указать числа, когда поэт прибыл в Михайловское<sup>2</sup> повторю только, вслед за его биографом: „что Пушкин приехал сюда в тревожном состоянии духа“. Но если это и было так, в чем, впрочем, нет основания и сомневаться, — то тревожное состояние продолжалось недолго: „в деревне он нашел теплую дружбу, и гармонию душевных сил, и главное: наслаждения творчества, сбереженного целиком, благодаря тишине, окружавшей поэта“\*. Тишину эту, однако, пылкому, непоседливому, страстному Пушкину — хотелось нарушить с первых же недель своей деревенской жизни, и вот он, имея уже подле себя доброго, любимого брата Льва, ветренника и гуляку не последней руки, зовет к себе дерптских студентов: Вульфа и Языкова.

В приведенном письме читатели, вероятно; заметили словцо, брошенное вскользь, о строгости полицейского надзора над поэтом: если этот надзор и мог быть строг, то разве очень недолго, потому что мы видим Пушкина, в том же году начинающего вести громаднейшую переписку с своими литературными и прочими друзьями, и родными, и (если только не ошибаюсь) в письмах к

---

\* Матер. для биографии А. С. Пушкина изд. П. В. Анненковым Спб. 1855 г., т. I. стр. 115.

ним он нигде не жалуется на строгость надзора над ним относительно собственно переписки<sup>1</sup> . . .

Плохой студент в деле учения, но славный характером, дорогой собутыльник — поэт Языков уже составил себе к упоминаемому нами времени (1824) известность поэта, весьма даровитого. В журналах 1822 — 1824 годов: „Новости русской литературы“ и в „Соревнователе Просвещения“ с удовольствием уже отводили местечко бойким, сильным стихам Языкова. Пушкин знал уже произведения пера дерптского студента: „Мое уединение“, „Песня короля Регнера“, „Песнь Баяна при начатии войны“, „Песнь Барда во время владычества татар в России“, „Услад“, несколько элегий, песней, и проч. Внимательный к поэтическим талантам своего времени, и охотно, нередко с излишним увлечением, отдававший им дань похвалы, Пушкин, еще в бытность свою в Одессе, обратил внимание на стихи Языкова и писал бар. Дельвигу<sup>2</sup>: „...Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского...“

...Так ты, Языков вдохновенный,

поминал его Пушкин в IV главе „Онегина“, которую писал в это время:

„В порывах сердца своего,  
Поешь, бог ведает кого,  
И свод элегий драгоценный  
Представит некогда тебе  
Всю повесть о твоей судьбе...“

Как бы то ни было, но летом 1824 года двум поэтам не суждено было встретиться. „Языков, — по словам его друга Вульфа, — был не из тех, которые податливы на знакомства; его всегда надо было неволею привести и познакомить даже с такими людьми, с которыми внутренно он давно желал познакомиться, до того застенчив и скромн был этот человек, являвшийся по стихам своим господином совершенно иного характера“. Таким образом, ни летом 1824, ни в следующем году, Языков

не был доставлен в Тригорское—Михайловское. Только в июне 1826 года он увидел предметы своих последующих песнопений: Тригорское и „приют свободного поэта“<sup>1</sup>... А между тем в этих местах Языкова нетерпеливо поджидали и в 1824 и 1825 годах. Привожу письма Пушкина к Вульфу, относящиеся к сему времени, в них изгнанник Михайловский частенько вспоминает о Языкове:

„Любезный Алексей Николаевич—Благодарю Вас за воспоминанья. Обнимаю вас братски, также и Языкова—Послание его, и чувствительная Элегия—прелесть—в послании после *тобой хранимого певца*, стих пропущен. А стих Языкова мне дорог<sup>2</sup>. Перешлите мне его“.

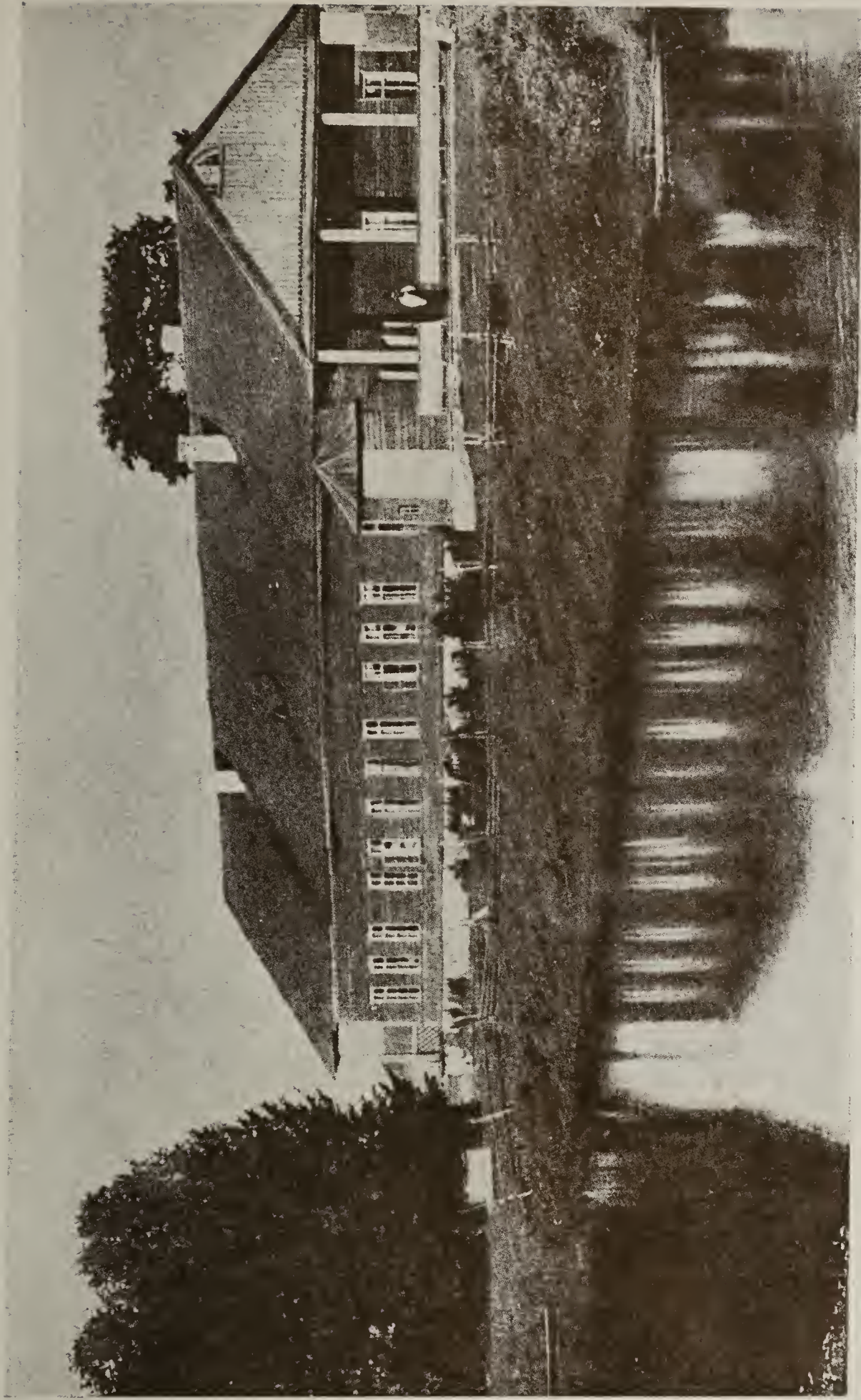
„Очень хорошо бы было—приписывала Прасковья Александровна—когда б вы исполнили ваше предположение приехать сюда. Алексей нам нужно бы было потолковать и о твоём путешествии\*. Хотя я не имею чести знать Языкова, но от моего имени пригласи его, чтобы он оживил Тригорское своим присутствием“.

Языков не приехал в это лето, но зато совершилось другое явление: в июне 1825 г. Пушкин встретил в Тригорском, после шестилетней ризлуки, А. П. Керн, племянницу г-жи Осиповой. Г-жа Керн была удивительная красавица. Пушкин страстно в нее влюбился, она—отвечала взаимностью. Минуты счастья были коротки: в том же июне месяце Прасковья Александровна, как мы уже знаем, уезжает в Ригу, увозит с собою и А. П. Керн. Пушкин, погруженный в усидчивую, самую усиленную работу, лишь изредка посещает милое ему селение, где вспоминает о близких сердцу его обитательницах, и о „прелестной К.“ Мы видели также, что это время Пушкин особенно хлопотал об освобождении его из заточения, видели также и то, что хлопоты его были безуспешны; особенно досадны были ему неловкие и непрошенные заботы его родных об устройстве свидания его с доктором Мойером; мы уже читали сетования Пушкина по сему предмету в письмах к Вульфу:

---

\* То-есть о предполагавшейся тогда поездке Алек. Ник. за границу, куда, как мы заметили во II главе нашей статьи, Вульф думал было увезти Пушкина,





Дом П. А. Осиповой в Тригорском.

С фотографии конца 90-ых г.г.



„Любезный Алексей Николаевич. Я не успел благодарить вас за дружеское старание о проклятых моих сочинениях, чорт с ними и с Цензором и с наборщиком и с tutti quanti — дело теперь не о том“...<sup>\*</sup> и обращается к сетованиям на „проказы“, как выражается Пушкин — своих родных, отправивших его коляску к Мойеру, и т. п. „Vale,— заключает Пушкин свою грамотку — *mi filio in spirito*<sup>1</sup>. Кланяюсь Языкову — я написал на днях подражание элегии его „Подите прочь.“<sup>2</sup>

В следующем письме к Вульффу<sup>\*\*</sup> Пушкин, делая свои распоряжения о той же злополучной коляске, продолжает: „Что скажу вам нового? Вы, конечно, уже знаете все, что касается до приезда А. П.<sup>3</sup> Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились. Желал бы я очень исполнить желание ваше касательно подражания Языкову, но не нахожу его под рукой, вот начало...“ (следует четыре стиха несомненно скромного содержания, которые мы опускаем).<sup>4</sup> „Не написал ли Языков еще чего-нибудь в том же роде или в другом? Перешлите нам — мы будем очень благодарны“.

Обмениваясь с молодыми людьми, дерптскими приятелями, шутками и фривольными стихами, тот же Пушкин к Прасковье Александровне продолжал обращаться с почтительными письмами, в которых изящным французским языком выражал к ней чувства любви и уваже-

---

<sup>\*</sup> Едва ли здесь дело идет не о первом издании „Стихотворений Александра Пушкина“, которое поэт замышлял издать; первоначально он чуть ли не в Дерпте хотел их напечатать, но это дело оказалось неудобным и издание вышло в свет в Спб. в 1826 г. [б. д. л. XII и 192 стр.]. В эту книжку вошли 99 небольших произведений Пушкина элегии, разные стихотворения, эпиграммы, надписи, подражания древним, послания и девять подражений Корану. Подражания эти посвящены „Прасковье Александровне Осиповой“, с именем ее перепечатаны и в последующих изданиях.<sup>5</sup>

<sup>\*\*</sup> Письмо на полулисте, из коего сложен пакет, адрес: „Его благородию А. Н. Вульф, в Дерпт“, рукою Вульфа отмечено: „10-го октября 1825 года, село Михайловское“. Сего рода примечания — мы выписываем главным образом из чувства страха перед нашими почтенными библиографами. Кстати о сносах вообще: в предыдущей статье мы забыли сделать одну против письма Пушкина, в котором он говорит о своем дяде арапе. Дядя этот — был последний сын знаменитого родоначальника фамилии Ганнибалов: генерал — майор Петр Абрамович Ганнибал. См. „Матер“. 1855 г. ч. I, стр. 43. Этот человек был совершенно черен, умер 80 лет от роду. Жил он по соседству от

ния\*; всегда признавая в ней женщину умную и интересующуюся лучшими произведениями современной литературы, Пушкин спешил делиться с ней тем восторгом, какой вызывали в нем плоды поэтического вдохновения его собственных друзей; из них, как известно, он особенно высоко ценил талант Баратынского... Вот что писал Пушкин об одной из поэм Баратынского в февралю 1826 года к бар. Дельвигу: „Прасковья Александровна уехала в Тверь. Сейчас пишу к ней и отсылаю „Эду“. Что за прелесть эта „Эда“. Оригинальности рассказа наши критики не поймут: но какое разнообразие!... Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по своему. А описание финляндской природы! А утро после ночи! А сцена с отцом! Чудо!...“\*\*

Прасковья Александровна, приехав в сентябре 1825 года из Риги, ту же зиму отправилась со старшей дочерью на короткое время в Тверь. Сюда-то и послал Пушкин то письмо, о котором упоминает он в письме к Дельвигу:

„Madame, вот новая поэма Баратынского, только что присланная мне Дельвигом. Это — образец грациозности, изящества и чувства<sup>1</sup>. Вы будете в восторге от нее. Полагаю, что вы теперь в Твери. Желаю вам проводить время приятно, но не настолько, однако, чтобы совсем забыть Тригорское, где, погрустив о вас, мы начинаем уже вас поджидать“\*\*\*.

---

Михайловского в с. Петровском, ныне принадлежащем г-ну Компаньону. У этого Ганнибала были любимая поговорка: „Эй! малый, подай водки алой!“ — и сильно любил старик выпить. От одного из братьев его, Исаака Абрамовича, осталось много дочерей. „Как войдешь бывало в комнату, где они сидят, — рассказывала нам М. И., — так точно египетские голуби воркуют... Выговор у них такой африканский, чтоль был... И пятки, как есть, у всех их выдавались назад... Одно слово негритянки...“

\* К этому же времени относится переписка Пушкина с г-жею Керн, бывшей с Пр. Алек. в это время в Риге. Письма Алек. Сер. к А. П. К. также к двоюродной сестре ее А. Н. Вульф от 21-го июля и одно письмо к г-же Осиповой, не переданное последней г-жею К., по просьбе самого Пушкина, напечатаны в упомянутой выше статье г-жи К. („Биб. для Чт.“ 1859 г. кн. IV, стр. 119—122, 133—134).

\*\* „Материалы“ изд. 1855 г. т. I, стр. 163.

\*\*\* Писано на четвертушке, без года и надписи; только выставлено число „20 fevrier“

В то время, когда Пушкин восхищался поэтическими произведениями молодых своих друзей, в Петербурге над некоторыми из его товарищей по литературе и товарищами по воспитанию, нависла грозная туча: то было следствие и затем суд над так называемыми „декабристами“. Ныне, кажется, едва ли может быть сомнение в том, что Пушкин почти не знал о замыслах этой горсти людей, в ряду которых, однако, были многие из лиц весьма к нему близких и искренно им уважаемых, таковы были: К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер и некоторые другие.

— Осень и зиму 1825 года — так рассказывает одна из дочерей Прасковьи Александровны — мы мирно жили у себя в Тригорском. Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каждый день, а если, бывало, заработается и засидится у себя дома, так и мы к нему с матушкой ездили... О наших наездах, впрочем, он сам вспоминает в своих стихотворениях. Вот однажды, подвечер, зимой — сидели мы все в зале, чут ли не за чаем. Пушкин стоял у этой самой печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был, извольте видеть, человек Арсений — повар. Обыкновенно, каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург; там эти яблоки и разную деревенскую провизию Арсений продавал и на вырученные деньги покупал сахар, чай, вино и т. п. нужные для деревни запасы. На этот раз — он явился назад совершенно неожиданно: яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купив. Оказалось, что он в переполохе, приехал даже на почтовых. Что за оказия! Стали расспрашивать, — Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду раз'езды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, — но что именно — не помню. На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо.

И кучер, и сам барин — сочли это дурным предзнаменованием, Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем, подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда\*. Кстати, — продолжала рассказчица — брат Пушкина — Лев, как рассказывал потом отец его, в день ареста Рылеева — поехал к нему; отец случайно узнал об этом, стал усердно молиться, страшась, чтобы сын его также не был бы взят: и, что ж, Льва Пушкина понесли лошади, он очутился на Смоленском, и когда добрался к Рылееву — тот был уже арестован, и квартира его запечатана...<sup>1</sup>“

— Известно, что Пушкин был очень суеверен, — добавил, с своей стороны, А. Н. — он сам мне не раз рассказывал факт, с полною верой в его непогрешимость — и рассказ этот в одном из вариантов попал в печать. Я расскажу так, как слышал от самого Пушкина: в 1817 или 1818 году, т.-е. вскоре по выпуске из лицея, Пушкин встретился с одним из своих приятелей капитаном л. г. измайловского полка (забыл его фамилию). Капитан пригласил поэта зайти к знаменитой в то время в Петербурге какой-то гадальщице: барыня эта мастерски предсказывала по линиям на ладонях к ней приходящих лиц. Поглядела она руку Пушкина и заметила, что у того черты, образующие фигуру, известную в хиромантии под именем стола, обыкновенно сходящиеся к одной стороне ладони, у Пушкина оказались совершенно друг другу параллельными... Ворожея внимательно и долго их рассматривала и, наконец, объявила, что владелец этой ладони умрет насильственной смертью, его убьет из-за женщины белокурой, молодой мужчина... Взглянув затем на ладонь капитана — ворожея с ужасом объявила, что офицер также погибнет насильственной смертью, но погибнет гораздо ранее против его приятеля: быть может на-днях... Молодые люди вышли смущенные... На другой день Пушкин узнал, что капитан убит утром в казармах, одним солдатом. Был ли солдат пьян или приведен был

---

\* Анекдот этот попадался мне как-то прежде в печати; впервые едва ли он не нашел себе место в лекциях, изданных Мицкевичем о славянских литературах.

в бешенство каким-нибудь взысканием, сделанным ему капитаном, как бы то ни было, но солдат схватил ружье и штыком заколол своего ротного командира... Столь скорое осуществление одного предсказания ворожеи так подействовало на Пушкина, что тот еще осенью 1835 года, едучи со мной из Петербурга, в деревню, вспомнил об этом эпизоде своей молодости и говорил, что ждет и над собой исполнения пророчества колдуньи\*.

Но обращаемся в прерванному рассказу. Весна 1826 г. была особенно хороша, все предвещало славное лето — и предвещения сбылись: во все время лета 1826 года погода стояла превосходная — как раз для гулянья; Пушкин нетерпеливо ждал к себе дерптских приятелей и действительно уже писал к А. Н. Вульфу, чтобы тот привез Языкова:

„Вы мне обещали писать из Дерпта и не пишете. — Добро. Однако я жду вас, любезный филистер\*\*\*, и надеюсь обнять в начале следующего месяца — неправда ли, что вы привезете к нам и вдохновенного?<sup>1</sup> Скажите ему, что этого я требую от него именем славы и чести России. Покамест, скажите мне — не через Дерпт ли проедет Жуковский в Карлсбат? Языков должен — это знать<sup>2</sup>. Получаете ли вы письма от Ан. Ник. (с которой NB мы совершенно помирились перед ее выездом)<sup>3</sup>, и что делает... Ан. Петр.? Говорят, что Болтин<sup>4</sup> очень счастливо метал против почтенного Ерм. Фед. Мое дело — сторона, но что скажете вы? Я писал ей: „Вы пристроили Ваших детей, — это прекрасно. Не пристроите ли Вы Вашего мужа? Последний — гораздо большая помеха“<sup>5</sup>. Про-

\* Сличи этот рассказ с вариантами, помещенными г-жею Фукс в „Казанск. Губ. Вед.“ 1844 г., № 2 и г. Анненковым в „Материал. для биографии А. С. Пушкина“ 1855 г., стр. 45—46. Кстати заметим, что приводя в наших заметках некоторые из устных рассказов лиц мы вовсе не стоим за верность этих рассказов различных во всех их мельчайших подробностях: мы хотим сказать, что при всей добросовестности особ, почтивших нас своими беседами о Пушкине и его друзьях, все-таки может случиться, что память изменила им и некоторые, без сомнения, мелкие подробности и кой-какие хронологические данные могли у них спутаться.

\*\* „Пушкин, — замечает г. Вульф — едва ли подумал, что значит это слово, — иначе не окрестил бы меня им; я и Языков вовсе не принадлежали к тому роду людей, которых на студентском языке называют филистерами“<sup>6</sup>.

щайте, любезный Алексей Николаевич, привезите же Языкова и с его стихами.

Видел я,—замечает Пушкин в конце того же письма,— в Синске некоторые нескромные гекзаметры и сердечно видел я им позавидовал“<sup>1</sup>.

Письмо это отправлено, как видно из пометки на нем г. Вульфа, 7-го мая 1826 года\*, а в начале следующего месяца, Вульф исполнил, наконец, давнишнее желание Пушкина и привез Языкова...

Пушкин весь предался отдыху. Он нуждался в нем: в самом деле, едва ли когда-нибудь Пушкин так много работал, как перед этим летом, в течение всего пребывания своего в Михайловском.

Некоторые черты жизни Пушкина в Михайловском до приезда Языкова, как справедливо замечает его биограф, во многом напоминают жизнь Евгения Онегина: то же купанье утром, переплывание реки, протекающей под горой пред домом, прогулки пешком и верхом, прихотливый обед, ну да, словом — прочтите (если не помните на память) 36—40 строфы IV главы „Евгения Онегина“ и там найдете в деревенской жизни Онегина некоторые черты жизни самого Михайловского изгнанника. В той же главе Пушкин, между прочим, говорит:

... Я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няне  
Подруге юности моей;  
Да после скучного обеда,  
Ко мне забредшего соседа  
Поймав неожиданно за полу,  
Душу трагедией в углу...

Соседом этим был — Вульф; слышал же он „Бориса Годунова“ и, разумеется, не задыхался от скуки, а замирал от удовольствия и внимания. „Раз всю ночь — говорит Алексей Николаевич — как есть напролет просидел я в маленьком домике Пушкина, слушая чтение „Бориса Годунова“... Не могу передать вам, какое высокое наслаждение испытал я в то время!“

---

\* Письмо на полулисте, сложенном пакетом, с адресом: „Его благ. А. Н. Вульфу в Дерпт“.



С приездом дерптских приятелей Пушкину не приходилось бродить одному. Все трое целыми днями сидели в Тригорском, гуляли в тенистом саду, купались в Сороти, стреляли из пистолетов, скакали верхом „на лихих аргамаках“, и все то веселье, все веселье подогревалось ухаживаньем за очаровательными тригорскими барышнями...

„Вот, Зина, вам совет—играйте!“ — писал Пушкин в это время в альбом одной из них:<sup>1</sup>

Из роз веселых заплетайте  
Себе торжественный венец—  
И впредь у нас не разрывайте  
Ни мадригалов, ни сердец\*.

Это та самая Зина, белые ручки которой приготавливали для дорогих гостей:

...Сей напиток благородный,  
Слияние рому и вина,  
Без примеси воды негодной,  
В Тригорском жаждою свободной  
Открытый в наши времена...

Стихи импровизировались, стихи же и записывались гостями Тригорского — в альбом его обитательниц... К одной из них, — Александре Ивановне Осиповой было написано (еще в 1824 году) Пушкиным „Признание“:

Я вас люблю, хотя я бешусь, и проч.

Но альбомы, куда вписывались все эти стихотворения мы пересмотрим после... Теперь же поговорим о Михайловском, где — по словам Языкова:

...не сражен суровою судьбой,  
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,  
Священно действовал при алтаре Камены...

---

\* „1-го июля 1826 года Зуево (т. е. Михайловское)“. Соч. Пушкина, изд. 1859 г., т. I, стр. 352 — 353. Зина помнит малейшую черту из знакомства своего с Пушкиным; знакомство это началось еще тогда, когда Пушкину было лет семнадцать. Е. Н. было шесть. Пушкин однажды гулял с нею и раз, подняв ее на руки, спас от собак, бросившихся на малютку... „Что до меня—говорила мне, между прочим, М. И.— то я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным: в 1820 году была мода вырезать и наклеивать разные фигурки из бумаги; я, бывало, вырежу обезьяну и дразню Пушкина, тот страшно рассердится, а потом вспомнит, что дело имеет с ребенком и скажет только: „вы

Вот что рассказывали о сельце Михайловском Мария Ивановна и другие лица.

Домик в Михайловском известен многим; с него были деланы рисунки... В домике этом жил и умер в 1806 г. дед Пушкина Осип Абрамович Ганнибал. Вся мебель, какая и была в этом домике при Пушкине, вся была Ганнибаловская, Пушкин себе нового ничего не заводил... Самый домик и тогда уже в 1824—26 г. г. был довольно стар:

Наша ветхая лачужка  
И печальна и темна...

совершенно справедливо говорил Пушкин в одном своем стихотворении. Мебели, как я сказал, было не много и вся то старенькая; после смерти Пушкина, когда перестала сюда ездить и жена его, Михайловская мебель разошлась по разным рукам; бывшие на селе люди пораспродали ее или пораздарили различным почитателям Пушкина... Многим приятно было иметь какую-нибудь вещь на память о поэте...

По этому поводу не могу не вспомнить следующего, бывшего со мной случая. В начале лета 1856 года, в бытность свою в Москве, я отправился посмотреть квартиру, где умер Гоголь. Это на Никитском бульваре, в доме Талызина, в большой квартире гр. Т. Дом оказался пуст, гр. Т. уехал на дачу или в деревню, меня встретил какой-то лакей, вовсе не удивившийся моему желанию посмотреть „покои Николая Васильевича“. Покои эти состоят (если только не изменяет мне память) из одной комнаты, вход в которую идет направо из швейцарской. В углу висел образ, по уверению моего чичероне,— тот самый, пред. которым Гоголь в последнее

---

юны, как апрель“. И что за добрая душа был этот Пушкин, всегда в беде поможет; маменьке вздумалось было, чтоб я принялась зубрить грамматику, да, ведь какую—ни больше, ни меньше, как Ломоносовскую. Я принялась было, но, разумеется, это дело показалось мне адским мучением. „Пушкин заступитесь!“ И что ж вы думаете? Стал он говорить маменьке и так это убедительно, что та и совсем смягчилась; когда же Пушкин сказал: „Я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а, слава богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен“. Тогда маменька окончательно оставила Ломоносова... Вообще Пушкин говорил всегда убедительно, и на Прасковью Александровну имел большое влияние...”

время своей жизни — целые часы просиживал в тихом забытьи. „Бывало до того забудутся, — либо в писание священное засмотрятся, что индо испугается, когда бывало войдешь к ним в комнату; бывало всегда поступишь в дверь, — потому коли войти не постучавшись, так Н. В. очень уж испугаются, — и зачнут бывало тереть себе лоб, пока очухаются“...

Почти прямо перед дверью простая кафельная печь, с простой железной заслонкой. Печка эта вызвала мое особенное внимание: в ней именно Гоголь, ночью, сжег вторую и третью часть „Мертвых Душ“, вдоль стены стояла большая софа, по оставшимся на ней лоскуткам, как видно обитая некогда зеленым сукном или вообще какою-то зеленою материей. Когда я подивился, что софа вся ободрана, чичероне мне заявил, что ободрали ее посетители и посетительницы, „которые де также, как вы имели любопытствие поглядеть, как, значит, жить изволили Николай Васильевич“. Я заявил готовность, и с своей стороны, взять лоскуточек; тогда чичероне предложил мне приобрести себе на память нечто более громоздкое, а именно тот самый тюфяк, „на котором скончались Николай Васильевич“. Сделав предложение, слуга повел меня в какой-то темный чулан, оказавшийся его собственным апартаментом, здесь он показал мне тюфяк, на котором обыкновенно сам спит, но который, по его уверению, служил Ник. Вас. Гоголю. „Они сами, — объяснил мне чичероне, — и скончаться изволили на этом самом тюфяке-с... на нем и миром их пред смертью мазали, даже с тех самых пор и пятно от масла осталось, как оно, значит, на тюфяк-то капнуло“... При этом счастливый обладатель тюфяка (сильно загрязненного и потертого) указал громадное, масляное пятно, возбуждившее во мне сильное подозрение, что происхождение его скорее надо отнести к ламповому маслу, нежели к священному елею. „Я, впрочем, не дорого возьму-с, за тюфяк, — успокоительно заметил мне чичероне, — усмотрев мою нерешительность: — рубликов полтора ста, не больше“.

Я выразил изумление. „Да, что же-с — заметил мне несколько обиженным тоном мой чичероне, — это цена самая сообразная-с; я — вот вскоре после смерти Николая

Васильевича — тюфяка два таким манером продал, да еще как были благодарны-то“...

Между тем подобные же счастливые продавцы нашлись и среди дворовых с Михайловского после смерти Пушкина. Так, по свидетельству М. И., не мало было продано слугами простых деревянных столов, на котором он будто бы работал... Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна комнате, где был рабочий кабинет Александра Сергеевича — стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее подставлено было полено; не крашенный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты.<sup>1</sup>

„Из разного хлама, наполнявшего прочие комнаты, помню,—говорила мне М. И.,—два мраморных столика: из них один находится теперь в Тригорском... Сквер перед домом—во время Пушкина, тщательно поддерживался, точно так же не совершенно был запущен тенистый небольшой сад; в нем были цветники... Все это поддерживалось потому, что не только Александр Сергеевич, но и его родители с остальными членами семьи почти каждое лето сюда приезжали—Пушкин, когда женился, также приезжал сюда и, наконец, по его кончине, вдова Пушкина также приезжала сюда гостить раза четыре с детьми. Но когда Наталья Николаевна (Пушкина) вышла вторично замуж—дом, сад и вообще село было заброшено и в течение восемнадцати лет все это гложло, гнило, рушилось. Время от времени заглядывали в Михайловское почитатели Пушкина, осматривали полуразвалившийся домик и слушали басни старосты, который не только не служил при Александре Сергеевиче, но даже не видал его, потому что староста этот был из крепостных Ланского и прислан сюда Натальей Николаевной уже по вторичном выходе ее замуж... Все это, не мешало старосте пускаться в рассказы о Пушкине с посетителями Михайловского... Кто помнил и хорошо знал его, так это Петр<sup>2</sup> и Архип, служившие при Александре Сергеевиче. Оба они уже умерли; так недавно еще умерла из бывших дворовых сельца Михайловского последняя старуха—помнившая, как Александр Сергеевич два года сряду жил в этом имении... Наконец

в последние годы исчез и дом поэта: его продали за бесценок на своз, а вместо него выстроен новый, крайне безвкусный домишко — совершенно по иному плану, нежели, как был расположен прежний домик... Этот новый дом — заключила М. И. — я и видеть-то не хочу... так мне досадно, что не сбережен, как бы везде это сделали за границей, не сбережен домик великого поэта...

4-го июня 1866 г.

#### IV

Нам не приходится много распространяться об удовольствиях, испытанных поэтами в обществе „красавиц гор“, как именовал и впоследствии Языков дочерей Прасковьи Александровны; не приходится распространяться уже потому, что мы, во-первых, говорили об этом предмете, а во-вторых, Языков сам воспел эту, как он выражался впоследствии, „золотую пору своей жизни“. Поэтическая летопись жизни Тригорско — Михайловского вошла в различные послания Языкова, напечатанные в издании его стихотворений\*; к ним мы и отсылаем наших читателей, но здесь не можем отказать себе в удовольствии привести одно послание Языкова к П. А. Осиповой, *не напечатанное* до сего времени. Послание это написано Языковым в Дерпте, в 1827 году, в альбом г-жи Осиповой\*\*, и особенно дорого тем, что в нем есть черты, прямо обрисовывающие жизнь Языкова и Пушкина в достопамятное для них обоих лето 1826 года. Приводим начало этого стихотворения:

---

\* См. Стихотворения Н. М. Языкова. Спб. 1858 г. 2 ч. Отметим здесь число посланий Языкова к обладателям Тригорского: к А. Н. Вульфу—11, из них 3 не были напечатаны; к П. А. Осиповой—4, из них 2 не были напечатаны; к Е. Н. Вревской (урожд. Вульф)—одно; не напечатано—и нам неизвестно. Впрочем, число посланий Языкова к тригорским друзьям, кажется, было гораздо больше.

\*\* Об альбоме этом мы будем говорить ниже; настоящее же стихотворение печатается нами с копии, помещенной в рукописном сборнике А. Н. Вульфа.

П. А. ОСИПОВОЙ

Благодарю вас за цветы \*,  
Они священны мне, порою  
На них задумчиво покою  
Мои любимые мечты;  
Они пленительно и живо  
Те дни напоминают мне,  
Когда на воле, в тишине,  
С моей Каменою ленивой,  
Я своенравно отдыхал  
Вдали удушливого света  
И вдохновенного поэта  
К груди кипучей прижимал.  
И ныне с грустью (безутешной)  
Мои желания летят  
В тот край возвышенных отрад,  
Свободы милой и безгрешной.  
И часто вижу я во 'сне:  
И три горы, и дом красивый (!),  
И светлой Сороти извивы,  
Златого месяца в огне,  
И там, у берега, *тень ивы*,  
Приют прохлады, в летний зной  
Наяды полог продувной;  
И те отлогости, *те нивы* \*\*,  
Из-за которых, вдалеке,  
На вороном аргамаке,  
Заморской шляпою покрытый,  
Спеша в Тригорское, один  
Вольтер, и Гете, и Расин—  
Являлся Пушкин знаменитый;  
И ту площадку, где в тиши  
Нас нежила, нас веселила  
Вина чарующая сила,  
Оселок сердца и души,  
И все божественное лето,  
Которое из рода в род  
Как драгоценность, перейдет:  
Зане Языковым воспето \*\*\*.

---

\* „... Поблагодари твою матушку,—писал Языков к Вульффу 1-го мая 1827 года из Дерпта,—поблагодари за цветы и (особенно) за бумажник, который некогда наполнится плодами парнасскими“.—Цитируемое нами стихотворение было послано Языковым в Тригорское при этом письме; этим посланием Языков как-бы приветствовал годовщину того времени, которое он проводил в Тригорском.

\*\* „Каковы рифмы,—спрашивает Языков в письме своем 1-го мая 1827 года Вульфу,—каковы рифмы: *тень ивы и те нивы?*“

\*\*\* Воспето в известном стихотворении: „Тригорское“, написанном осенью 1826 года. Стихотворения Языкова 1858 г. Ч. I, стр. 72—81.

Восторг, вызванный в Языкове пребыванием его в Тригорском (куда, кстати заметить, ему после 1826 года не удалось ни разу во всю жизнь заглянуть)—для нас, по крайней мере, совершенно понятен. Он объясняется следующими причинами: радушием хозяек, красотой, умом и грацией ее дочерей, живописностью местности, тесною дружбой, соединявшей Языкова с молодым хозяином, наконец счастьем быть с Пушкиным, которого боготворила в то время вся грамотная Россия. Добавьте сюда то обстоятельство, что Языков был в то время в самой цветущей поре восприимчивой, впечатлительной молодости, и весь лиризм, вызванный в нем пребыванием его в Тригорском, вполне объяснится. „Обитатели Тригорского, замечает в одном из писем своих Языков<sup>1</sup>, ошибаются, думая, что я притворялся, когда воспевал часы, мною там проведенные: как чист и ясен день — чиста душа моя! Я вопрошал совесть мою, внимал ответам ее, и не нахожу во всей моей жизни ничего подобного красотой нравственною и физическою, ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти моего сердца, нежели лето 1826 года<sup>2</sup>! Кланяйся и свидетельствуй мое почтение всему миру Тригорскому“!\*

Искренность этих задушевных слов едва ли может подлежать сомнению.

В первых числах августа 1826 года молодые друзья наши, Вульф и Языков, уехали в Дерпт.

Отсюда 19 августа 1826 года Языков уже шлет послание к Пушкину. Послание это мы *печатаем впервые*\*\*:

О ты, чья дружба мне дороже  
Приветов ласковой молвы,  
Милее девицы пригожей  
Святее... головы!  
Огнем стихов ознаменую  
Те достохвальные края,  
И в ту годину золотую,  
Где и когда мы: ты, да я,

\* Из письма Языкова и А. Н. Вульфу—от 17-го февраля 1827 г. Дерпт.

\*\* Печатаем с копии, имеющейся у А. Н. Вульфа. На это именно послание Пушкин отвечал небольшим стихотворением: „Языков, кто тебе внушил“. (Изд. 1858 г., стр. 351).



Два сына Руси православной —  
Постановили своенравно  
Наш поэтический союз.  
Пророк изящного! Забуду ль,  
Как волновалася во мне  
На самой сердца глубине  
Восторгов пламенная удаль,  
Когда могущественный ром  
С плодами сладостной Мессины  
С немного сахара, с вином,  
Переработанный огнем,  
Лился в бокалы-исподины;  
Как мы бывало пьем, да пьем —  
Творим обеты нашей Гебе,  
Зовем свободу в нашу Русь —  
И я на вече, я на небе!  
И славой прадедов горжусь!  
Мне утешительно доселе,  
Мне весело воспоминать  
Сию поэзию во хмеле,  
Ума и сердца благодать.  
Теперь, когда Парнаса воды  
Хвостовы черпуют на оды,

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

С челом возвышенным стою  
Перед скрижалю вдохновенья —  
Я вольность наших наслаждений  
И берег Сороти пою.

Пушкин — продолжал обычную свою жизнь; для него попрежнему был славный труд в Михайловском, и сладкий отдых в Тригорском. Со дня на день он ждал вести об освобождении его из-под полицейского и духовного надзора\*. Мы видели из предыдущих заметок наших, что барон Дельвиг еще 7-го июня 1826 года писал в Тригорское: „Пушкина верно пустят на все четыре стороны; но надо сперва кончиться суду“, — т.-е. суду над так называемыми декабристами... Наконец, вождеденная минута наступила, но наступила так, что весь михайловско-тригорский мир был потрясен глубоко.

---

\* Духовный надзор поручен был настоятелю соседнего Святогорского монастыря.

Вот как об этом рассказывает одна из моих тригорских собеседниц:

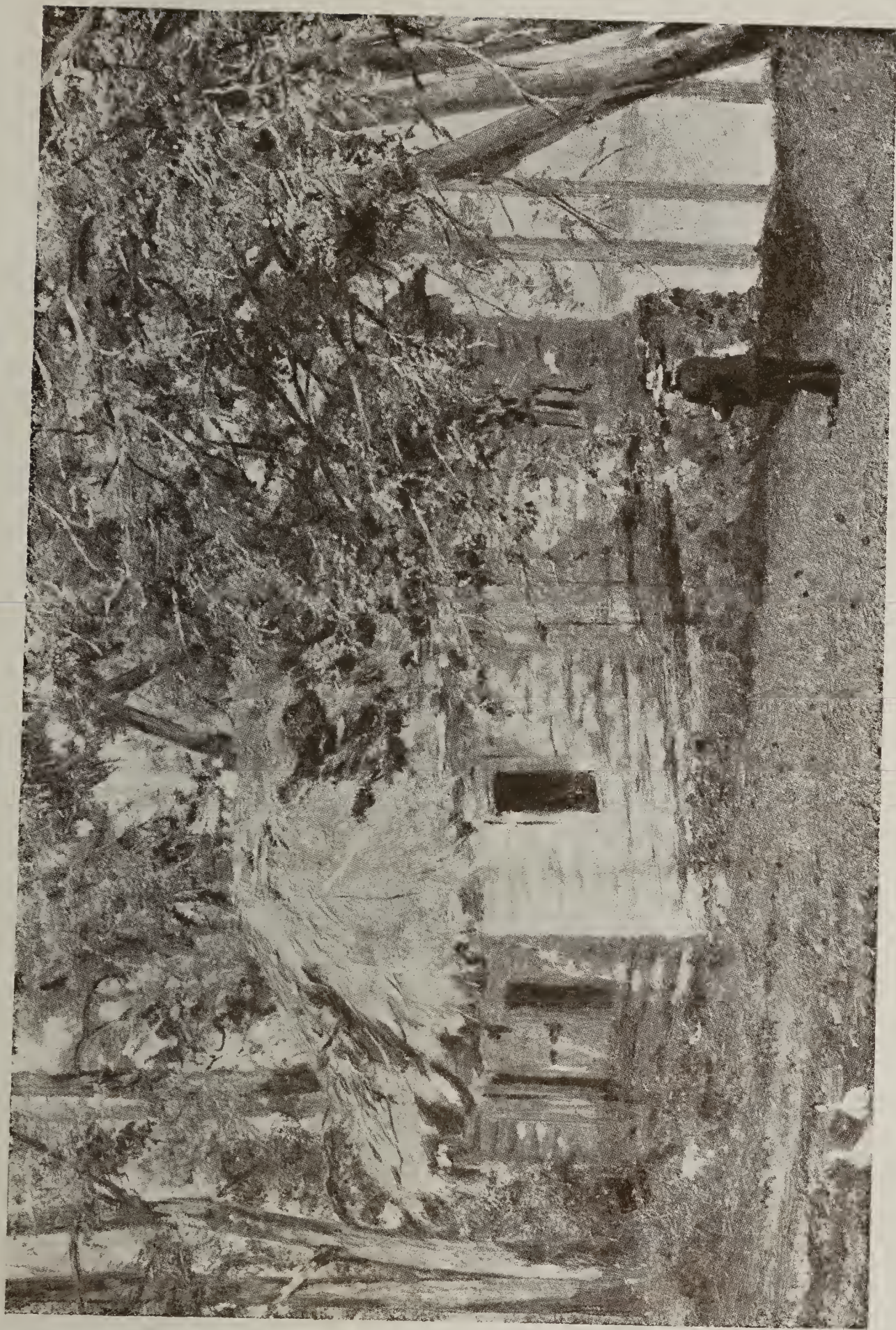
„1-го или 2-го сентября 1826 года<sup>1</sup>, Пушкин был у нас; погода стояла прекрасная, мы долго гуляли; Пушкин был особенно весел. Часу в 11-м вечера, сестры и я проводили Александра Сергеевича по дороге в Михайловское... Вдруг рано, на рассвете, является к нам Арина Родионовна, няня Пушкина... Это была старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить... Бывала она у нас в Тригорском часто, и впоследствии у нас же составляла те письма, которые она посылала своему питомцу\*. На этот раз она прибежала вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд. Из расспросов ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича, в Михайловское прискакал какой-то — не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось фельд'егерь). Он об'явил Пушкину повеление немедленно ехать вместе с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. „Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?“ спрашивали мы няню. — „Нет, родные, никаких бумаг не взял, и ничего в доме не ворошил; после только я сама кой-что поуничтожила...<sup>2</sup>“ — „Что такое?“ — „Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил, а я так терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого — такой скверный“...<sup>3</sup>

Легко можно представить себе ту глубокую печаль, в которую ввергнуто было этим загадочным происшествием все доброе население Тригорского. Пушкин, видно, сам понял это, и потому следующим коротеньким письмом с дороги, из Пскова, спешил их успокоить:

„Я полагаю, милостивая государыня, что мой быстрый от'езд с фельд'егерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельд'егеря у нас грешных ничего не делается; мне также дали его для большей

---

\* См. письмо Родионовны из Матер. изд. Анненкова, 1855 г. стр. 4.



Баня, в которой жил Пушкин в Тригорском.

С рисунка В. Максимова (1895 г.).



безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича,— мне остается только гордиться этим. Еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го числа этого месяца, и лишь только буду свободен, поспешу возвратиться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце. Псков, 4-го сентября“.

Письмо Дибича, о котором говорит Пушкин, вероятно, было то „разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов“, о котором упоминает г. Анненков, замечая, что разрешение это получено было во Пскове 3-го сентября 1826 года.<sup>1</sup>

Как бы то ни было, фельд‘егерь придан был Пушкину „не для одной лишь безопасности“, как шутливо выражался поэт в письме к г-же Осиповой; фельд‘егерь вез его для об‘яснений, которые могли кончиться худо, хотя, к счастью Пушкина и к удовольствию всех его почитателей, кончились хорошо. Все дело, если вполне верить Вигелю, к печатным запискам которого мы теперь и обращаемся, состояло в следующем. В начале октября 1826 года Вигель узнал, что родной племянник его, гвардии штабс-капитан Алексеев, под караулом отправлен в Москву. Вот что случилось: кто-то еще в марте дал ему, Алексееву, какие-то стихи, будто бы Пушкина, в честь мятежников 14-го декабря; у него взял их молоденький гвардейский конно-пионерный офицер Молчанов, взял и не отдавал, а тот о них совсем позабыл... Между тем, лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи. Бедняжку, который и забыл о них, допросили, от кого он получил их. Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился в Псковской деревне, отправили гонцов<sup>2</sup>.

Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика; показал ему стихи и спросил: кем они написаны? Поэт, не обинуясь, сознался, что им; но они были писаны за пять лет до преступления, которое, будто бы, они выхваляют, и даже напечатаны под названием „Андрей Шенье“. В них Пушкин нападает на ре-

волюцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем одинакового содержания, неизвестно почему, цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли мало грамотные люди, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот, государь, вероятно, не пожелал прочитать стихи; иначе государь убедился бы, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто бы они были написаны. Пушкин умел это об'яснить, и его умная откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить, где он хочет и печатать, что он хочет; государь взялся быть его цензором, с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу, и до конца жизни своей оставался он под личным покровительством царя\*.

Надо думать, что рассказ Вигеля довольно близок к истине, так как он, по своим связям и знакомствам, мог хорошо знать все подробности этого любопытного происшествия\*\*. Между тем, в тогдашнем обществе, принимавшем живейшее участие в судьбе своего любимца, ходили о Пушкине и о разговоре его с государем самые разноречивые, самые нелепые толки. Так, например, уверяли, будто-бы государь, в разговоре с Пушкиным, пожелал узнать, нет ли при нем какого-нибудь нового стихотворения. Тот будто бы вынул из сюртука несколько бумаг, впопыхах захваченных им при от'езде из Михайловского, перерыл их, но никакого нового стихотворения не нашел. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин вдруг заметил на ступеньке лоскуток бумажки: подымает его и с ужасом, будто бы, узнает

---

\* Записки Ф. Ф. Вигеля в „Русск. Вест.“, 1865 г., стр. 172—173.

\*\* Но в этом же рассказе мы встречаем некоторые и неточности: так, например, стихотворение „Андрей Шенье“ было написано Пушкиным не за пять лет до рассказываемого Вигелем происшествия, а в 1825 году; смотри в изд. 1859 г. соч. Пушкина, т. I, стр. 338—343. В середине пьесы в прежних изданиях было выпущено 43 прекрасных стиха; из них только пять приведены сначала в „Библиогр. Записк.“ 1858 г., стр. 344, а потом повторены в последнем издании 1859 г. соч. Пушкина.

в нем собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь. Он стал вспоминать, как оно попало сюда и, наконец, вспомнил, что, подымаясь по той же лестнице, вынимал из кармана платок, причем, будто бы, и вывалился этот лоскуток бумажки, который мог наделать ему больших хлопот. Придя в гостиницу Пушкин немедленно сжег *это(?)* стихотворение.

Вот один из рассказов того времени, который ходил в обществе и доныне передается многими из знакомых Александра Сергеевича; мы, разумеется, убеждены, что это не более, как басня, хотя и довольно характеристичная<sup>1</sup>. Некоторые дамы уверяют, однако, что слышали ее от самого Пушкина, причем Пушкин будто бы упоминал о той смелости и спокойствии, с какими он говорил с государем<sup>2</sup>.

— На это я только одно скажу, — скептически заметил мне Вульф, когда я передал ему приведенное повествование: — одно скажу, что в Пушкине был грешок похвастать в разговорах с дамами. Пред ними он зачастую любил порисоваться; так, быть может, и в этом деле, из желанья порисоваться перед прелестными слушательницами, Пушкин поприбавил такие о себе подробности, какие разве были в одном его воображении\*.

От *басен* обратимся к *истории*. Мы видели, как торопился Пушкин успокоить своих тригорских друзей. Он не замедлил написать к ним из Москвы, в первые же дни после разговора его с государем.

„Вот уже восемь дней, что я в Москве, не имев времени написать вам; это доказывает Вам, милостивая государыня, как я занят. Государь принял меня самым любезным образом<sup>3</sup>. Москва шумна и до такой степени отдалась празднествам, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, — иначе говоря по Тригорскому<sup>4</sup>. Я рассчитываю выехать отсюда, самое позднее, — через две недели. Сегодня 15-го сентября, у нас большой народный праздник. На Девичьем поле,

---

\* Впрочем, в этой слабости поэт сам сознавался: „когда я *вру с женщинами*, пишет он в декабре 1825 г., я их уверяю в том-то и в том и т. д.“, и приводит разные героического характера события, в которых будто бы принимал участие. См. Матер. 1855 г., I, стр. 85—86.

версты на три будет расставлено столов; пироги приготовлены по сажням, как дрова; так как пироги эти спечены уже несколько недель тому назад, то довольно трудно будет их есть и переварить, но у почтенной публики будут фонтаны вина чтобы смочить их<sup>1</sup>: вот вам последняя новость дня. Завтра бал у графини Орловой. Огромнейший манеж превращен в зал; графиня взяла займы для этого на 40.000 руб. бронзы и пригласила 1.000 человек.<sup>2</sup> Много говорят о новых, очень строгих постановлениях относительно дуэлей и о новом цензурном уставе; но, не видав его, я не могу ничего сказать о нем. Простите непоследовательность моего письма, оно вполне обрисовывает вам непоследовательность моего теперешнего образа жизни. Полагаю, что обе m-elles Annettes\* уже в Тригорском; приветствую их издалека от всего моего сердца, равно как и все ваше прекрасное семейство. Примите, милостивая государыня, уверение в моем глубоком уважении и неизменной привязанности, которые я посвятил вам на жизнь.

Москва 15 сентября\*\*.

Пушкин

В Петербурге уже знали об освобождении Пушкина, и в тот же день, когда тот писал из Москвы в Тригорское, туда же писал барон Дельвиг из Петербурга, спеша поделиться радостью с их общими друзьями. Вот письмо барона Дельвига:

„Милостивая государыня Прасковья Александровна! Плачу добром за испуг. Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием<sup>3</sup>. (sic). Вот что пишут мне видевшие его в Москве. Сергей Львович и Надежда Осиповна\*\*\* здесь, и счастливы, как нельзя больше. Поздравляю вас с общей радостью нашей и целую ваши ручки. У меня есть еще две просьбы к вам: 1) напишите Александру и помогите мне угово-

---

\* Анна Николаевна Вульф и Анна Петровна Керн.

\*\* Письмо писано на французском языке, на полулисте; рукою А. Н. В. помечено „1826 года“.

\*\*\* Пушкины.



рить его написать мировое письмо к своим\*; 2) позвольте мне посвятить вам мои русские песни—вы одолжите человека, который ничем больше не может вам доказать своего почтения и любви и благодарности. Позволение напишите на особенной бумажке для цензуры, которая не позволяет посвящать без позволения тех, кому посвящаем“ и проч.\*\*.

Пушкин на этот раз недолго пробыл в ликующей Москве; он поспешил в Михайловское, главным образом для того, чтоб уложить и отправить свои книги и бумаги в одну из столиц. В деревне Пушкин нашел известное послание „Тригорское“ и, с восторгом отзываясь о нем в письме к Языкову, желает ему: „здоровья, осторожности, благоденственного и мирного житья!“. На обратном, однако; пути в Москву Пушкин, вопреки той же осторожности, написал несколько поэтических строк к другу своему Ивану Ивановичу Пущину, сосланному в Сибирь\*\*\*.

Мы, разумеется, не станем следить за жизнью Пушкина из годя в год и повторять факты, уже известные в печати; если же и будем упоминать о некоторых из них, так только для связи и объяснений тех материалов, которые *впервые* печатаем.

21-го ноября 1826 г. Пушкин пишет к Языкову из Москвы, говорит о новом журнале „Московский Вестник“, предлагает в нем певцу Тригорского сотрудничать и спрашивает его: „Рады ли вы журналу? Пора задушить альманахи“ и проч. (Матер. 1855. I.174). Нам неизвестны письма Языкова к Пушкину, но об отношениях первого к последнему мы очень хорошо знаем из подлинной пере-

---

\* О недоразумениях Алекс. Сергеевича с его родителями мы уже знаем из приведенного во II главе нашей статьи письма В. А. Жуковского. Из настоящего же письма Дельвига видно, что за доброе, любящее сердце было у этого человека, как привязан он был к своему другу, как близко принимал все, что до того относилось; не менее ясно и то высокое значение, какое имела в глазах наших друзей-поэтов Прасковья Александровна Осипова.

\*\* Письмо заканчивается поклонами и уверениями в чувствах. Внизу помечено: „15-го сентября 1826 года“, местожительство не означено, но письмо, кажется, из Петербурга.

\*\*\* Стихотворение это помещено в изд. 1859 г., т. I стр. 356—357 и помечено: „13 декабря 1826 г. Псков“.

писки Языкова с А. Н. Вульфом. К переписке этой мы неоднократно будем обращаться: она вся лежит перед нами. Здесь 37 собственноручных писем Языкова, в стихах и в прозе, за время с 1825 по 1846, т.-е. по год смерти поэта. В большей части этих писем Языков упоминает, спрашивает, говорит о Пушкине, и всегда с чувством глубокой и искренней к нему приязни. Тригорское и Пушкин, Пушкин и Тригорское — вот два предмета, которыми постоянно интересуется Языков:

„ . . . Ты мне сообщил очень любопытные известия о нашем Байроне: продолжай и впредь это делать; само собой разумеется, что мне всегда хочется знать все, касающееся до человека, с которым вместе я так роскошно и весело пьянствовал\* в стране, видевшей лучшее, т.-е. счастливейшее время моей жизни. Он ко мне писал из Москвы: манит и блазнит меня посылать стихи им в „Московский Вестник“, и хочет, кажется, вовсе втянуть меня в эту (словесную) единоторговицу словесности русской. Говорит, что пора задушить альманахи — и, конечно, этот будущий удушитель сих пигмеев есть „Московский Вестник“<sup>1</sup>. Замечу мимоходом, что едва ли альманахи вредят успехам Парнаса более, нежели журналы, потому что первые никак не останавливают хода учености, будучи делом мелочных своих издателей; напротив того, человек, издающий журнал, по необходимости должен работать к спеху, часто не в своем околке, и таким образом покидать свой предмет на поле просвещения, где мог бы он сделать что-нибудь знаменитое, занимаясь одной частью и работая не опрометью и не без оглядки. Пример этому сам Полевой — из которого теперь именно ничего не выйдет достойного, потому что он кидается и туда и сюда по наукам, как угорелая кошка, потому он издает журнал“\*\*.

О Пушкине пишет Языков 17-го февраля 1827 года из Дерпта:

---

\* Достоинно замечания, что, несмотря на самообличения Языкова, он вовсе не был *пьяница*; то был человек, любивший в дружеском кружке, что называется, покутить, но это далеко было от пьянства; притом и в среде товарищей Языков был скромнейший человек в мире.

\*\* Из письма Языкова к Вульфу 27-го января 1827 г. Дерпт.

„О Пушкине ничего не слышно; в половине прошлого месяца я писал к нему в Москву — но ответа не получил.<sup>1</sup> Полагаю, что он загулялся в белокаменной, занят очарованием тамошних красавиц и не имеет времени отвечать на письма существ отдаленных! Я почти не верю, будто он намеревается жениться: кроме того что Пушкин, кажется, не создан для мирной жизни семейственной, еще и то сказать, что женатый поэт не может уже так ревностно, как должен, служить господа богу своему, ибо лишен главного условия поэтической деятельности — свободы. Журнал Погодина ничуть не лучше, не говоря о стихах Пушкина, прочей своей братии. Из него выйдет скоро сокращение „Телеграфа“, который толкует обо всем, и в котором все-таки читать нечего“.

Делаемые нами выписки вдвойне интересны, как потому, что имеют отношение к Пушкину, так и потому, что здесь говорит о литературе того времени человек, имя которого яркою звездочкой горело тогда на горизонте отечественной словесности.

„ . . . Кланяйся от меня в пояс Пушкину, — прощаем мы выписки наши из писем Языкова, — благодарю бога света и всех святых его, что наш *первосвятитель* опять *засвященнодействует!*“\* . . . „Цветы“ Дельвиговы на нынешний год я видел; они хуже — особенно прозою, прошлогодних, а в стихах, кроме отрывка из „Онегина“ — ночная беседа Татьяны, и „Рыбаков“ Гнедича, вновь напечатанных и приумноженных, нет ровно ничего достопримечательного. Жаль Веневитинова\*\* — у него талант решительный . . .“

В мае 1827 года певец Тригорского прислал Вульфу прелестное стихотворение: „К няне А. С. Пушкина“. Оно было перепечатываемо несколько раз, да и мы о нем упоминали, следовательно, приводить здесь его нечего. Препровождая его при сем письме от 18-го мая 1827 года Вульфу, Языков, между прочим, говорит:

„Моя муза начинает действовать — но все еще кое-как, суетно и пешком. Одну из таковых безделок оной

---

\* Курсив подлинника. Из письма 19-го апреля 1826 г. Камби (близ Дерпта).

\*\* Д. В. Веневитинов скончался 15-го марта 1827 г.

богини прилагаю при сем: это обещанное послание к няне (сколько помню, ее зовут Васильевна?) — это шутка стихотворная, плод раздумья сердечного и умственного — прими с улыбкою, мой друг!.. Где Пушкин?\*

„Мне очень жаль, — пишет Языков 6-го июня того же года, сведав, что няню зовут не Васильевна, а Родионова, — мне очень жаль, что няня не Васильевна! Вот новое доказательство той великой истины, что поэту необходимо знать совершенно предмет своего словословия, прежде, нежели приняться за перо стихотворца.

Пушкин, по самым свежим известиям, находится теперь во граде нашего Петра. Здесь недавно проехал путешествовать по Ливонии Булгарин; он мне сказывал, что августейший цензор пропустил в печать „Годунова“ — и сполна. Дай бог! Сказывал также, что устав цензурный переменится скоро на лучший, и что Блудов издает продолжение истории, оставленное Карамзиным — и далее будет писать сам“\*.

13-го октября 1827 г. Языков пишет своему другу уже в Петербург — и вновь упоминает о Пушкине:

„Здесь (т.-е. в Дерпте) теперь находится, проездом из чужеземии, Жуковский; он поздоровел чрезвычайно, расспрашивал меня о литературных делах Пушкина. Я рассказал, что мне известно и Жуковский поручил мне позвать Пушкина в Питер, для прочтения „Годунова“. Доведи до его сведения это обстоятельство. Кланяйся ему от меня... Правда ли и что значит, что Пушкин пишет историю Петра I и Александра I?“

В то время, когда Языков заботливо подхватывал всякий слух, всякое известие, относящееся до его „первосвятителя“ в поэзии, в Ревеле о том же общем кумире вспоминал бар. Дельвиг:

„... Теперь мы (т.-е. барон с женою) в Ревеле, — пишет Антон Антонович к П. А. Осиповой, — всякой день с милым семейством Пушкина любуемся самыми романическими видами, наслаждаемся погодою и здоровьем,

---

\* XII том „Истории Государства Российского“ Карамзина издан в С. Петербурге, в 1829 г., под редакцией Дм. Б. (Блудова), который написал к нему маленькое предисловие; в нем ничего нет о предположении Блудова продолжать труд Карамзина; мы, впрочем, сомневаемся, было ли даже с его стороны подобное предположение.

и только чувствуем один недостаток: хотели бы разделить наше счастье с вами и Александром.

Александр меня утешил и помирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал\*. Его приезд\*\*, вы можете одни чувствовать, как обрадовал меня и Сониньку\*\*\*. Она до слез была обрадована, и до головной боли. Ждем его сюда, пока еще сомневаемся, сдержит ли он обещание, и это сомнение умножит нашу радость, когда он сдержит слово. Мое почтение милым девам гор. Напомните им того, кто не преставал ни их, ни вас и любить и почитать. Будьте здоровы, простите вашего Дельвига\*\*\*\*.

Что же делает Пушкин в то время, когда друзья его так много толкуют о нем, так часто вспоминают его? Зима 1826 года пролетела для него незаметно в удовольствиях московской жизни. В начале мая месяца 1827 года, как свидетельствует его биограф, Пушкин получил разрешение жить и в Петербурге, вследствие чего и поспешил этим воспользоваться. В начале июня он обнял в Петербурге Дельвига, перед отъездом его в Ревель, а 14-го июля — написал Языкову послание: „К тебе сбирался я давно“\*\*\*\*\*. Тем не менее, крутой

\* Дело идет о последовавшем между Алекс. Сергеевичем и его родителями примирении, о чем как видно из предыдущего письма Дельвига, последний так много заботился.

\*\* В Петербурге, весной 1827 г.

\*\*\* Т.-е. жену Дельвига, урожден. Салтыкову.

\*\*\*\* Писано из Ревеля 14-го июня 1827 г. Кстати заметим здесь, что Дельвиг гостил в Михайловско-Тригорском не зимою 1825 г., как о том сказано во II главе нашей статьи, а весною того же года. Это видно, между прочим, и из следующих заключительных строк его стихотворения к Анне Николаевне Вульф:

... Так при уходе зимних дней,  
Как солнце взглянет взором вешним,  
Еще до зелени полей  
Весны певица в крае здешнем  
Пленяет песнею своей. (Изд. 1850 г., стр. 18).

В Матер. 1855 г. ч. I стр. 150 — 151 приведено письмо Пушкина к брату о пребывании Дельвига в Тригорском: „*Наши* в него влюбились, пишет Пушкин, а он равнодушен, как колода, любит лежать в постели“ и проч. Из стихов Дельвига к А. Н. Вульф не видно, однако, чтобы почтенный барон был вполне равнодушен к „девам гор“.\*\*\*\*\* Изд. 1859 г., стр. 366 — 367. Г. Перевлеский, приводя в предисловии к стих. Языкова (изд. 1857 г.), между прочим, и это послание Пушкина, ошибочно указывает год 1829, вместо 1827 (стр. СХХVI).

ли поворот от мирной жизни деревенской к шуму жизни столичной, или то, что Пушкин увлечен был опять, по примеру молодых своих годов, в водоворот самой пустой светской жизни, но он скоро почувствовал утомление и был, по словам того же биографа: „недоволен и собой, и другими“ \*. Дурное состояние духа Пушкина не рассеивалось и тем, что в Петербурге встретил он красавицу А. П. Керн, предмет своего давнишнего поклонения. „Он был тогда весел,—говорит г-жа К.,—но чего-то ему не доставало. Он как-будто не был доволен собой и другими, как в Тригорском и Михайловском“. Это недовольство собой и другими сказалось и в следующем письме Пушкина к П. А. Осиповой <sup>1</sup>:

„Я очень виноват перед вами, но не настолько, как вы можете думать. Приехав в Москву я тотчас писал вам, адресуя письма мои на ваше имя в почтамт. Оказывается, вы их не получили. Это меня обескуражило, и я не брал больше пера в руки. Так как вы, изволите еще мною интересоваться, то что же мне вам сказать о пребывании моем в Москве и о приезде моем в Петербург? Пошлость и глупость обеих столиц наших равны, хотя и различны <sup>2</sup>; и так как я имею претензию быть безпристрастным, то скажу, что если бы мне дали выбирать между тою и другим, то я выбрал бы Тригорское, — почти так, как Арлекин который на вопрос: что он предпочитает — быть колесованным или повешенным, отвечал: „я предпочитаю молочный суп“.— Я уже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней в Михайловском. Покамест же от всего сердца приветствую вас и всех ваших“ \*\*\*.

---

\* Материалы—изд. П. В. Анненкова. 1855 г. Т. I, стр. 176.

\*\* Письмо на французском языке; писано на полулисте, из коего сделан пакет с адресом: „Ее высокоородию П. А. Осиповой, в Опочку“. Год и число на письме не означены. Надо думать, что не все письма Пушкина его Тригорским друзьям дошли до нас. Так, например, мы не видели подлинников тех писем его к Прасковье Александровне 1825 г. в Ригу, которые напечатаны в статье А. П. Керн („Библиография для Чтения“ 1850 г., кн. IV: „Воспоминание о Пушкине“, стр. 119, 130, 131); также нет у нас и письма Пушкина к Ан. Ник. Вульф от 21-го июля 1825 г. из Михайловского, приведенного в той-же статье <sup>3</sup>.

В то же время Языков, посылая Прасковье Александровне новое послание, и сильным, одушевленным стихом своим вновь рисуя картины жизни своей в Тригорском, так их заканчивал:

.... Все это радует меня,  
Все мне пленительно доньше  
Здесь, где на жизненной пучине  
Нет ни ветрила, ни огня.  
О! я молюсь, мой добрый гений!  
Да вновь увижу те края,  
Где все достойно песнопений,  
Где вечный праздник бытия\*.

8 июня.

---

\* Изд. 1858 г., т. I, стр. 102. Стихотворение это в рукописи начинается так: „Аминь, аминь, глаголю вам“; в печати стих этот выброшен.

## V

Конец лета и всю осень 1827 года Пушкин провел в Михайловском и, по обыкновению, погружен был это время года в литературные труды и переписку с друзьями.

В начале зимы он оставляет деревню, является то в Москве, то в Петербурге, тоскует в обеих столицах среди шума и суеты их жизни, и в январе 1828 года выражает тоску свою по деревне в письме к обладательнице Тригорского.

„Мне так совестно за мое столь долгое молчание, что я едва решаюсь взяться за перо. Только воспоминание о вашем дружеском расположении ко мне, — воспоминание, которое будет для меня вечно сладостным, и уверенность в том, что я пользуюсь вашим добрым снисхождением, еще дают мне смелости на сегодня.“

Дельвиг, покидающий свои Цветы<sup>1</sup> для дипломатических терний, расскажет вам о нашем житье-бытье в Петербурге.

Признаюсь, что это житье-бытье довольно глупо, и что я горю желанием так или иначе изменить его.

Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское, между тем, так таково было бы мое желание. Признаюсь, что шум и суета Петербурга сделались мне совершенно чуждыми, — переносу их с раздражением. Я предпочитаю ваш красивый сад и прелестный берег Сорот: Вы видите, что мои вкусы продолжают быть поэтическими, несмотря на скверную прозу моего теперешнего



существования. Правда, — мудроно писать вам и не быть поэтом. — Примите уверение... 24 января“\*.

Прасковья Александровна вместе с своим семейством была в это время в тверском имении своего сына, где и хотел было ее посетить барон Дельвиг, при проезде с женой из Петербурга в Харьков. Дельвиг имел какое-то поручение по службе<sup>1</sup>... Поручение, впрочем, едва ли могло быть сколько-нибудь значительным, так как Дельвиг служака был плохой: известно, напр., что состоя при Публичной Библиотеке, он по нескольку месяцев не заглядывал в нее, так что, наконец должны были прислать к нему за ключом, бывшим у него от стола или шкафа в библиотеке; он отдал ключ — тем служба его и кончилась...

В Малинники (тверское имение Вульфа) Дельвиг не заехал и уже из Харькова отвечал на одно из писем к нему г-жи Осиповой:

„Вы одни не забываете людей, искренне вас любящих, почтеннейшая Прасковья Александровна! Вы одни утешили нас милым письмом вашим в скучном Харькове. Скука и нездоровье занимают наши досуги. Какковы собеседники!

Мы радуемся даже „Инвалиду“, который вернее наших петербургских друзей, хотя ничего не говорит, кроме того, что он жив и здоров и, слава богу, глуп. О свадьбе Ольги Сергеевны\*\*\* мы узнали еще в Москве, и не мало удивились решимости ее бежать. С. Л.\*\*\*\* жаль очень, и еще жальче потому, что он во всем этом представляет комическое лицо. Он не подозревал даже, что Павлищев, едва им замеченный у Лихардовых и не бывающий у него, любит его дочь; вдруг она, не спросившись, запретит ли он ей думать о предмете любви ее, уходит и соединяет свою судьбу с судьбой этого неизвестного. Надежда Осиповна\*\*\*\*\*, кажется, по-

---

\* Письмо на французском языке: оно оканчивается, вслед за уверениями в чувствах и посылке поклонов, вопросом: «довольна ли m-lle Euphrosine пребыванием своим в Торжке, и много ли одержала она там побед?» Письмо на полулисте, из коего сделан пакет с адресом: «à madame Ossipof», рукою Праск. Алекс. приписано: année 1828.

\*\*\* Сестра Пушкина.

\*\*\*\* Сергей Львович, отец поэта.

\*\*\*\*\* Мать поэта.

дозревала это, и чуть не ее ли внезапная перемена в обращении с Павлицевым ускорила все это дело. Пишите к нам чаще, повелительница очаровательного Тригорского. Любите и помните меня, и напомните обо мне девам гор, воспоминание о которых, как прекрасное дело, живо во мне и проч.“\*.

Романический эпизод из жизни семейства Пушкиных, о котором распространяется Дельвиг в приведенном письме, разумеется, интересен для нас постольку, поскольку он относится до нашего поэта. К сожалению, нам решительно неизвестно, как велико было участие в этом романе Александра Сергеевича, совершился ли он с его ведома? Одно, в чем можно быть уверенным— это то, что все происшествие не могло не интересоваться его в высшей степени, так как Ольга Сергеевна с детства была его самым искренним, самым любимым другом и об ее отсутствии он, между прочим, не раз грустил в бытность свою в заточении, в Михайловском... Впрочем, в одном из последующих писем Пушкина к г-же Осиповой мы найдем упоминание о романическом браке его сестры.

Между тем, Пушкин писал в это время „Полтаву“ и, как рассказывает предмет его тогдашней любви— А. П. Керн, „полный ее, т.-е. новой своей поэмы, поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих“...

В то же время продолжалось печатание по главам „Евгения Онегина“, и Пушкин в марте того же, 1828 г., препровождая вновь вышедшие главы своего романа, писал к г-же Осиповой:

„Беру смелость послать вам три последних песни Онегина; желал бы чтобы они заслужили ваше одобрение. Прилагаю к ним еще один экземпляр для m-lle Eurphosine\*\*, принося ей большую благодарность за лаконический ответ, который она соблаговолила дать на мой вопрос.<sup>1</sup> Не знаю, милостивая государыня, буду ли я

---

\* Письмо без числа и года, рукою А. Н. Вульфа отмечено „1828 г.“.

\*\* Экземпляр этот, с надписью Пушкина, хранится у Евпр. Ник., как святыня.

иметь счастье видеть вас в нынешнем году. Говорят, что вы хотели приехать в Петербург. Правда ли это? Между тем, я постоянно рассчитываю на соседство Тригорского и Зуева.<sup>1</sup> Как бы судьба ни гадала, все-таки нужно, чтобы в конце концов мы собрались под рябинами на берегу Сороти. Примите, милостивая государыня, как вы, так и все ваше семейство уверение в моем уважении, и в моей дружбе, в моих сожалениях и в моей совершенной преданности“ \*.

Летом, действительно, застаем Пушкина в Михайловском, но в октябре он уже вновь в Петербурге и необыкновенно усердно принимается дописывать и обдѣлывать „Полтаву“. В самое короткое время одна из лучших поэм Пушкина была написана, и поэт, по свидетельству его биографа: „в самом ясном состоянии духа“ \*\*, спешит из Петербурга в Малинники к своим друзьям — г-же Осиповой и ее семейству. Здесь он проводит два месяца, и проводит в самом веселом расположении духа: пишет посвящение к своей поэме, набрасывает рукою великого художника несколько мелких лирических произведений, оканчивает VII главу „Онегина“, ведет самую оживленную, шутливую переписку с своими друзьями и приятелями и, разумеется, не забывает в числе их и хозяина того имения, в котором он наслаждался таким покоем и удовольствиями мирной, счастливой жизни... А. Н. Вульф — был в это время в Петербурге; кончив курс в Дерптском университете в 1826 г., Вульф в виду войны России с Турцией, вступил в это время, т.-е. в 1828 году, в гусарский, принца Оранского, полк.

„Тверской Ловелас<sup>2</sup>“, — писал Пушкин к Вульфу, в первые же дни по приезде в Малинники \*\*\*, — С. Петербургскому Вальмону здоровья и успехов желает<sup>3</sup>.

Честь имею донести, что в здешней Губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достодолжным почитанием и благо-

---

\* Писано на фр. языке, на осьмушке, без адреса; рукою Пр. Алекс. отмечено: „reçue le 13 de Mars 1828“.

\*\* Материалы 1855 г., стр. 182, 194, 200, 201, 212 и 215.

\*\*\* Старицкого уезда, Тверской губернии.

склонностию.—Утверждают, что вы *гораздо хуже меня* \* (в моральном отношении) и потому не смею надеяться на успехи, равные вашим.—Требуемые от меня пояснения насчет вашего петербургского поведения дал я с откровенностию и простодушием—от чего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как например: *какой мерзавец! какая скверная душа!* но я притворился, что их не слышу. При сей верной оказии, доношу вам, что Марья Васильевна Борисова<sup>1</sup> есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море, и что я намерен наднях в нее влюбиться.—Здравствуйте; поклонение мое Анне Петровне \*\*, дружеское рукожатие Баронессе etc.—27 октября 1828 г.“ \*\*\*.

Шутливое письмо Пушкина к Вульффу заставляет нас вспомнить их общего приятеля — Языкова. Где он и что он поделывает в это время? Певец Тригорского продолжал жить в Дерпте, все еще считался студентом, но университет, кажется, совсем не видал его в своих стенах. По крайней мере Языков уже томился занятиями и еще 1-го мая 1827 года писал в ненапечатанном до сих послании к г-же Осиповой:

... Скучаю горько — едва ли  
К поре, ко времени, пройдут  
Мои учебные печали  
И прозаический мой труд.  
Но что бы ни было — оставляю  
Незанимательную травлю  
За дичью суетных наук  
И, друг природы, лени друг,  
Беспечной жизнью позабавлю  
Давно ожидаемый досуг... \*\*\*\*

---

\* Курсив подлинника.

\*\* Керн.

\*\*\* Писано на четвертушке, из которой сложен пакет с адресом: „Алексею Николаевичу Вульффу“.

\*\*\*\* Из посланий к П. А. Осиповой 1 мая и 8 декабря 1827 года, Дерпт; послания эти не вошли в издания стихотворений Языкова и найдены нами на странице 91 и 102 рукописного сборника, принадлежащего А. Н. Вульффу.

Анне Николаевне, в которой  
французская нация Никола  
вну - она имеет не что  
слова в ее словах, как  
бы изобретены призывом  
ваш адми, bitte dem  
Вубаице  
Яблоков Пирог  
равно как и в том  
сказано, так же и в том  
и в том же смысле  
Яблоков Пирог

Отрывок коллективного письма Пушкина, Алексея Вульфа и Анны Вульф из Тригорского от 1 сентября 1827 года к А. П. Керн.

На снимке вторая страница автографа со строками Пушкина [„Яблочный пирог“] и Алексея Вульфа.



Или в другом, также ненапечатанном, послании к той же г-же Осиповой, Языков говорит:

... Скучно здесь, моя Камена  
Оковы умственного плена  
Еще носить осуждена;  
Мне жизнь горька и холодна  
Как вялый стих, как мельпомена  
Ростовцева, иль Княжнина;  
С утра до вечера я занят  
Мирским и тягостным трудом,  
И бог поэтов — не помянет  
Его во царствии своем...

Впрочем и теперь, не покидая еще Дерпта, Языков не мог пожаловаться на недостаток досуга; его было достаточно, поэт продолжал время от времени бряцать на своей сладкозвучной лире. Послания Языкова за этот год к разным друзьям его — между прочим, два к А. Н. Вульффу, также элегия и прочие стихотворения, были напечатаны в альманахах „Невском“ (издававшемся Аладьиным) и в „Северных Цветах“ (барона Дельвига). Весьма интересно письмо Языкова за это время к Вульффу о литературной своей деятельности и жизни в Дерпте и прочие. Приводим несколько отрывков из этого письма:

„... 1-го ноября 1828 г. Дерпт. Дельвигу не пример Аладьин\*: в „Невский Алманах“ посылаю я всякий вздор: пьесы, под которыми не хочу подписывать моего имени в настоящий период поэтической деятельности; а в „Северных Цветах“ все должно цвести красотой и жизнью жизни парнасской — условия мне теперь вовсе чуждые. Аладьин — мой голодовник и маркитант литературный. А что я не отвечаю иногда на письма почтенных особ, желающих получить что-нибудь от моей музы, то поступаю подобно изменнику Мазепе, который —

Прилег безмолвный на траву,  
И в плащ широкий завернулся!

---

\* Языков отвечает на упрек Вульффа, что тот отдает много стихотворений своих в „Невский Альманах“ и оказывает таким образом предпочтение этому Альманасу перед „Северными Цветами“ Дельвига.

Уже недели с две назад, как сподобил меня бог написать к любезному барону здесь прилагаемое послание: ты доставь ему его, как доказательство расслабленного здоровья моих сил душевных. Отдай ему, например, последнее послание к тебе \*; а послание о журналистах, кажется, не годится для печати, зане писано собственно для домашнего обихода.

Благодарю тебя за стихи Баратынского; странно мне, что его муза выбирает себе предметом все блудниц! Стихи Пушкина к государю я знал давно \*\*. Радуюсь сердечно, что наконец Петр, Мазепа и Полтава нашли себе достойного воспевателя. Желая Пушкину долготерпения для этого труда божественного: больше желать ему нечего: его виктория на Парнасе так верна, как на небе луна“.

„Послание о журналистах“, о котором упоминает здесь Языков, до сих пор не было напечатано; подлинник его лежит перед нами. Послание, независимо от автобиографического интереса, любопытно еще и потому, что в нем поэт не без остроумия, характеризует тогдашние журналы. Приводим несколько более интересных отрывков из этого весьма длинного послания:

*...au moindre revers funeste  
Le masque tombe, l'homme reste,  
Et le heros s'évanouit!*

А. Н. ВУЛЬФУ.

Не называй меня поэтом!  
Что было — было, милый мой,  
Теперь, спасительным обетом,  
Хочу проститься я с молвой,  
С моей Каменной молодой  
С бутылкой, чаркой, Телеграфом,  
С Р. А. канастером, вакштафом  
И просвещенной суетой;  
Хочу в моем Киммериионе,  
В святой, семейственной глуши,

\* Послания эти были напечатаны в „Северных Цветах“ 1829 г. и вошли в издание стихотворений Языкова 1858 г., стр. 117 и 133.

\*\* Не идет ли здесь дело о стих. Пушкина: „Стансы“, написанное им в конце 1826 г. См. изд. 1859 г., т. I, стр. 354 — 356.



Найти счастливый мир души,  
Родного дружества на лоне!  
Не веришь? знай же: твой певец  
Теперь совсем преобразован,  
Простыл, смирен, разочарован,  
Всему конец, всему конец!  
Я помню, милый мой, когда-то  
Мы веселились за одно,  
Любили жизни тароватой  
Прохлады, песни и вино;  
Я помню, пламенной душою  
Ты восхищался, как тогда  
Воссияла надо мною  
Надежд возвышенных звезда;  
Как, рано славою замечен,  
В раздольи вольного житья,  
Гулял студенчески беспечен,  
И с лирой мужествовал я!  
Ты поверял мой желанья,  
Путеводил мои мечты  
Первоначальные создания,  
Мою любовь лелеял ты?...

После нескольких строк, обращенных к отсутствующей красавице—„предмету поэтов самохвальных“—прославленной и им, Языковым, поэт продолжает:

Прошел, прошел мой сон приятный;  
— А мир стихов? но мир стихов,  
Как все земное, коловратный  
Наскучил мне и нездоров!  
Его покину я подавно:  
Недаром прежний доброход (sic)  
Моей богини своенравной  
Середь Москвы перводержавной  
Меня бранил во весь народ,  
И возгласил правдиво-смело,  
Что муза юности моей  
Скучна, блудлива: то и дело  
Поет вино, табак, друзей;  
Свое, чужое повторяет;  
Разнообразна лишь в словах,

И мерной прозой восклицает  
 О выписных профессорах! \*  
 Помилуй бог, его я трушу!  
 Отворотил он навсегда  
 От вдохновенного труда,  
 Мою заносчивую душу.  
 Дерзну ли снова я играть  
 Богов священными дарами?  
 Кто осенит меня хвалами?  
 Стихи — куда мне их девать?  
 Везде им горькая судьбина!  
 Теперь, ведь, будут тяжелы  
 Они заплечью „Славянина“ \*\*  
 И крыльям „Северной Пчелы“.  
 — Что ж? в белокаменную, с богом! —  
 В „Московский Вестник“? \*\*\*. Трудно, брат,  
 Он выступает в чине строгом,  
 Разборчив, горд, аристократ;  
 Так и приязнь ему не в лад!  
 Со мной парнасским демоогом!  
 — Ну в „Афеней“? — Что? „Афеней“? \*\*\*\*  
 Журнал мудрено-философский.  
 Отступник Пушкина, злодей,  
 „Благонамеренный“ \*\*\*\*\* московский.  
 Что ж делать мне, товарищ мой?  
 Итак — в пустыню удаляюсь,  
 В проказах жизни удалой  
 Я сознаюсь, сердечно каюсь,  
 Не возвращусь к ним, и проч.

---

\* В „Московском Телеграфе“ была напечатана резкая статья о стихотворениях Языкова. Вообще этот журнал не вполне сочувственно относился к таланту Языкова, и в 1833 году (№ 6-й) вновь поместил довольно строгий разбор его стихотворений (статья была написана Кс. Полевым).

\*\* Военно-литературный журнал. Спб. на 1828 — 1829 год, изд. А. Воейковым.

\*\*\* Журнал, изд. М. Погодиным с 1827 года.

\*\*\*\* „Афеней“ — на 1828 — 1829 г. М. издание Мих. Павлова.

\*\*\*\*\* Известный плохой журнал А. Е. Измайлова, издававшийся в Спб. с 1818 по 1827 год.

Но, разумеется, Языков не исполнил своего шуточного обета: он продолжал, от времени до времени, сделать своего бойкого Пегаса, продолжал и следить с живейшим любопытством за произведениями своего „первосвятителя“ в поэзии. Так, получив „Северные Цветы“ на 1829 год, Языков писал Вульффу: „сердечно трепещу от радости, видя в них отрывок из романа Пушкина—подвиг великий и лучезарный“\*. В том же году Языков решился наконец, после шестилетнего пребывания в Дерпте, оставить этот город... „Через месяц, много через два,— писал Языков к своему другу 9-го февраля 1829 г.,— покину я Дерпт навеки—сяду в деревне симбирской, буду петь жизнь патриаршескую, Волгу, тебя и еще кое-кого и кое-что—и вот все мои надежды на совершение давно желанных подвигов. Дерпт мне так надоел, что я бы бежал отсюда пешком, если б не стыдился оставить здесь мое прозвание на позор заимодавцам... Кланяйся Пушкину; первое мое дело литературное в Симбирске будет отповедь к нему о моем житье-бытье...“ Без грусти покидал Языков Дерпт, тот самый город, в котором родились первые произведения его музыки. А между тем, не так еще давно перед тем, поэт, обращаясь к Дерпту в особо посвященном ему стихотворении, до сих пор остававшемся в рукописи, говорил:

Моя любимая страна,  
Где ожил я, где я впервые  
Узнал восторги удалые  
И музы песен и вина;  
Где милы юности прекрасной  
Разнообразные дары,  
Студентов шумные пиры,  
Веселость жизни самовластной,  
Свобода мнений, удаль рук,  
Умов небрежное волненье  
На поле славы и наук  
И филистимлянам гонение—  
Мы здесь творим свою судьбу,  
Здесь гений драться не обязан

---

\* Письмо 3-го февраля 1829 г., Дерпт.

И — Христа ради — не привязан  
К... столбу. —  
Приветы вольные, живые,  
Тебе, любимая страна,  
Где ожил я, где я впервые  
Узнал восторги удалые  
И музы песен и вина\*.

В то время, когда Языков прощался с Дерптом, Пушкин, утомясь петербургскою жизнью, мчался на Кавказ. Быстро пронеслись для него несколько месяцев в непрерывных раз'ездах: ряд новых впечатлений, охвативших поэта, освежил его, и он с запасом новых сил, бодрый, веселый, осенью того же года ехал уже обратно в Петербург. Биограф Пушкина, следя за ним из месяца в месяц, затрудняется определить, где именно находился поэт с 8-го сентября, день от'езда его из Горячеводска, до 16-го ноября 1829 года, вероятно дня прибытия его в Петербург<sup>\*\*</sup>. Мы отчасти можем раз'яснить недоумение биографа: перед нами лежит письмо Пушкина к Вульффу из тверской деревни последнего: Малинники, от 16-го октября 1829 года<sup>1</sup>. Не зависимо от того, что письмо это указывает нам место, где отдыхал поэт от своей поездки в Арзерум и от трудов на поле брани, письмо само по себе, по тону и складу своему, чрезвычайно любопытно; обстановка ли, окружающая поэта, вообще ли веселое настроение духа, которое обыкновенно овладевало им в деревне, среди любезных и искренне расположенных к нему лиц, как бы то ни было, но 30-летний Пушкин, в письме своем к приятелю, является шутливым балагуром, остряком, проказником, тем самым Пушкиным, каким он был в первые годы по выходе из лицея. Приводим это письмо *буквально*, с небольшими, однако, выпусками, так как некоторые места его не могут явиться в печати:

„Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкой уезд для сбора некоторых недо-

---

\* Стих. написано „7-го апреля 1825 г.“, списано нами из рукоп. сборн. принадл. г. Вульффу.

\*\* Анненков. Матер. 1855 г., т. 1, стр. 215.

имок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! то-то побесили бы мы Баронов и простых дворян! По крайней мере, честь имею представить вам подробный отчет о делах наших и чужих.

I) В *Малинниках* застал я одну Ан. Ник. с флюсом и с Муром. Она приняла меня с обыкновенной своей любезностью и об'явила мне следующее: а) Евпр. Ник. и Ал. Ив. отправились в Старицу осмотреть новых уланов<sup>1</sup>. в) Ал. Ив. заняла свое воображение отчасти талией К-ва<sup>2</sup>, отчасти бакенбардам и картавым выговором Ю-ва<sup>3</sup>; с) Гретхен<sup>4</sup> хорошеет и *час-от-часу делается невиннее* (сейчас Ан. Ник. об'явила, что она того не находит).

II) В *Павловском* Фридрика Ив. страждет флюсом; Пав. Ив. стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши общие стихи следующим образом:

Под'езжая под Ижоры  
Я взглянул на небеса  
И вспомнил ваши взоры,  
Ваши синие глаза \*.

Не правда ли, что это очень мило<sup>5</sup>.

III) В *Бернове*\*\*\* я не застал уже толстую.... Минерву<sup>6</sup>. Она со своим ревнивцем отправилась в Саратов. Зато Netty, нежная, томная, истерическая потолстевшая Netty<sup>7</sup> —здесь. Вы знаете, что Миллер из отчаяния кинулся к ее ногам; но она сим не тронулась. Вот уже третий день, как я в нее влюблен.

IV) *Разные известия*. Поповна́ (ваша Кларисса) в Твери<sup>8</sup>. Писарева кто-то прибил и ему велено подать в отставку. Кн. Максютов<sup>9</sup> влюблен более, чем когда-нибудь Ив.Ив. на строгой диете (...своих одалисок раз в неделю)<sup>10</sup>. Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постель.

\* Любопытно, что с этим именно началом стихотворение вошло во все издания соч. Пушкина, между прочим. см. 1859 г., т. I., стр. 390.

\*\* Берново — имение в 8 верстах от Малинников, принадлежало Ивану Петровичу Вульффу, женат. на Анфед. Муравьевой, двоюродной сестре Мих. Ник. Муравьева.

Постараюсь достать...— Сим позвольте заключить поучительное мое послание. 16-го октября\*.

Молодой гусар, к которому адресовано было это шутивное послание, еще в феврале того года оставил Петербург и благословляемый Языковым печатными и рукописными посланиями, отправился на поле брани. „Еще тебя благословляю“, писал к нему, между прочим, Языков:

Мой добрый друг, воспетый мной.  
Лихой гусар, родному краю  
Слуга мечом и головой—  
Христолюбивого поэта  
Надежду грудью оправдай  
Рубись—и царство Магомета  
Неумолимо добивай! \*\*\*

„Давно не имел удовольствия письменно говорить с вами,—писал к г-же Осиповой тогда же и о том же гусаре барон Дельвиг,—но часто слышал об вас от милого Алексея Николаевича и Пушкина. Спрашивал об вас и был доволен, имея возможность узнавать, где вы и здоровы ли. Теперь, расставаясь с вашим юным воином, теряю надежду иметь от вас известие иначе, как затрудить вас просьбою посылать по несколько ваших строчек к Дельвигу, всегда уважавшему и любившему вас... Я, издавши „Северные Цветы“, как-будто от изнеможения занемог и прохворал целый месяц“ и проч.\*\*\*

Лето 1830 года, к которому мы теперь и переходим, было ужасное: страшная гостья, холера, дотоле неизвестная на Руси, валила народ тысячами, вызывала учреждение карантин<sup>ов</sup>, и разные другие меры, показывав-

---

\* Подлин. на почт. бум. в 4 д., запеч. облаткою. Рукою А. Н. Вульфа отмечено: „1830 г.“, но это явная ошибка; начало письма прямо показывает на время его написания; ошибка же А. Н. объясняется тем, что пометки деланы им были только в недавнее время. Любопытно, что предыдущее письмо Пушкина к Вульфу пародировало военные рапорты, а это рубрики газет.

\*\*\* Ненапечатан. стихотворение Языкова из писем его к Вульфу 9-го февр. 1829 года. Дерпт.

\*\*\* Это письмо от 5-го февраля 1829 г., из Спб. было последнее, которое послал Дельвиг к обладательнице Тригорского: 14-го января 1831 года Дельвига не стало.

шие полное незнакомство с этою болезнью и между тем повергавшие всех и каждого в большое беспокойство; там и здесь вспыхивали возмущения... Время было тяжелое, кровавое, одно из тех, в которые простодушные наши прадеды обыкновенно видели приближение представления света... Между тем, именно начало этого страшного года ознаменовалось в жизни Пушкина событием весьма важным: он сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, получил согласие и в августе того же года, уже в качестве жениха, спешил в нижегородскую деревню отца своего, в село Болдино, для устройства дел своих по этому имению, часть которого уступлена была ему отцом. Карантины заперли нашего поэта в Болдине на гораздо большее время, нежели он предполагал. Несмотря на то, что поэт наш не терял времени и именно в Болдине окончил „Евгения Онегина“ и написал множество лучших своих произведений\*, тем не менее счастливый жених несколько раз пытался освободиться из невольного заключения и прорваться сквозь цепь карантинных в Москву; попытки однако довольно долго оставались безуспешными. Вот что, между прочим писал об этом Пушкин в Тригорское:

„В Болдинском уединении, получил я сразу два ваших письма<sup>1</sup>: Надобно быть совершенно одиноким, как я в настоящее время, чтобы вполне суметь оценить дружеский голос и нескольких строк, начертанных кем-либо из тех, кого мы любим. Я очень рад тому, что, благодаря Вам, отец мой хорошо перенес известие о смерти

---

\* См. о трудах Пушкина за это время, с августа до декабря месяца 1830 г., в „Матер.“ 1855 г., ч. I, стр. 227, 278, 285 и 295, и изд. сочинений Пушкина 1859 г., т. I, стр. 436—470 и друг. В Матер., изд. Анненковым, приведен, между прочим, весьма интересный отрывок из записок Пушкина, относящихся до этого времени. В отрывке этом Пушкин передает замечательный разговор свой о холере, разговор, какой он имел в 1826 году с одним дерптским студентом В., поступившим впоследствии в гусары. Этот В. не кто другой, как А. Н. Вульф. Для нас, в настоящем случае, важен тот отзыв, какой делает о нем Пушкин, видевший в своем приятеле гораздо больше, нежели Ловласа и собутыльника. „Он много знал, говорит Пушкин о г. В., чему научаются в университетах, между тем, как мы выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял...“ и проч. Матер., стр. 281.

Василия Львовича. Признаюсь, я очень боялся за его здоровье и за его, такие расслабленные нервы. Он написал мне несколько писем, по которым можно думать, что боязнь холеры заместила в нем печаль<sup>1</sup>. Проклятая холера! Не злая ли эта шутка судьбы? Что я ни делал, я никак не могу доехать до Москвы; я окружен целою сетью карантинных — и при этом со всех сторон, так как Нижегородская губерния — самый центр заразы. Тем не менее, послезавтра я выезжаю, и бог знает, сколько месяцев употреблю на проезд 500 верст, которые обыкновенно я проезжаю в 48 часов. Вы спрашиваете у меня, что значит слово *всегда*, которое находится в одной из фраз моего письма. Я не припоминаю этой фразы. Но во всяком случае это слово может быть лишь выражением и девизом моих чувств к вам и ко всему вашему семейству. Мне досадно, если эта фраза имеет какой-нибудь недружелюбный смысл, — и я умоляю вас ее исправить. То, что вы мне говорите о симпатии, — совершенно справедливо и очень тонко. Мы симпатизируем несчастным из некоторого рода эгоизма: мы видим, что в существе, не мы одни несчастны. В человеке, симпатизирующем другому в счастье, следует предполагать душу весьма благородную и весьма бескорыстную. Но счастье... это большое *может быть*, как говорил Раблэ о рае или вечности. Я атеист в отношении счастья, я не верю в него и только подле моих добрых старых друзей начинаю немного колебаться. Лишь только я приеду в Петербург, — вы получите все, что я напечатал<sup>2</sup>. Отсюда же я не имею никаких способов что-либо послать вам. Приветствую вас от всего сердца, — вас и все ваше семейство. Прощайте, до свиданья. Верьте совершенной моей преданности. А. Пушкин“\*.

Добравшись, наконец, к новому 1831 году в Москву и обвенчавшись там 18-го февраля, Пушкин отправился в Петербург. В марте месяце он поселился в Царском Селе на даче и отсюда послал к г-же Осиповой два письма; письма эти весьма интересны, да и не может

---

\* Письмо на французском языке, на полулисте, из коего сделан пакет с адресом: „Ее высококор. м. г. Пр. Алекс. Осиповой, в Опочку“. Письмо исколото в карантине.



быть иначе, так как события, о которых пишет Пушкин: холера, бунт на Сенной площади, мятеж военных поселян — такие события, которые слишком выступают из ряда обыкновенных; но кроме рассказа о них, настоящие письма Пушкина к г-же Осиповой интересны еще потому, что в них мы находим заботы Пушкина об устройстве своего быта, его планы и мечты приобрести себе оседлость в провинции, куда он намеревался удалиться ежегодно на большую часть года.

Приводим первое из означенных писем Пушкина:

„Я откладывал намерение свое писать к вам, так как каждую минуту ждал вашего приезда; но обстоятельства были не таковы, чтобы можно было надеяться видеть вас здесь.

И так, милостивая гусударыня, письменно поздравляю вас и желаю m-lle Euphrosine всего счастья, какое только доступно нам на земле, и которое вполне заслуживает столь благородное и кроткое создание\*.

Времена чрезвычайно печальные! Эпидемия сильно опустошает Петербург; народ несколько раз возмущался. В народе ходили самые нелепые слухи: утверждали, что доктора отравляли жителей. Бешеная толпа умертвила двух из них. Император явился среди бунтующих. „Государь — пишут мне — говорил с народом: чернь слушала на коленях... тишина... один царский голос *как звон святой*\*\* раздавался на площади“. Храбрости и дара слова у него достаточно. На этот раз волнение стихло, но впоследствии беспорядки возобновлялись; быть может, вынуждены будут прибегнуть к картечи. Мы ожидаем двор в Царское Село; сюда не проникла еще холера, но думаю, что это не замедлит случиться.

Да сохранит господь Тригорское от семи язв Египта Живите счастливо и спокойно. Как бы я желал вновь!

---

\* Евпраксия Николаевна Вульф, к которой обращены были эти строки, обручена была в это время с бар. Б. А. Вревским; бракосочетание было 8-го июля 1831 года. Поздравления друга-поэта, как видно, были прямо от души: Е. Н. счастливая супруга и счастливая мать: несколько сыновей, дочерей, внуков и внучат — окружают Евпр. Ник. своею любовью и уважением. Бар. Б. А. Вревский, брат двух известных генералов, погибших геройскою смертью: один в Крыму, другой на Кавказе.

\*\* Курсив подлинника.

сделаться вашим соседом! Кстати, если бы я не боялся показаться нескромным, я бы попросил вас, как добрую соседку и моего дорогого друга, известить, не могу ли я приобрести и на каких именно условиях Савкино? Я бы выстроил себе там хижину, поместил свои книги и проводил бы там вблизи моих добрых, старых друзей по несколько месяцев в году. Что скажете вы, милостивая государыня, о моих воздушных замках и о моей хижине в Савкино. Меня восхищает этот проект, и я ежеминутно к нему возвращаюсь. Примите, милостивая государыня, уверение в чувствах глубокого уважения и совершенной преданности. Мой привет всему вашему семейству. Примите также приветствие моей жены, пока я не буду иметь счастья вам ее представить. Царское Село. 29-го июня 1831 г.<sup>1</sup>.

В следующем письме... но следующее письмо отложим до следующей главы.

13-го июня

---

## VI

„По правде сказать, только дружбу мою к вам и вашему семейству нахожу я в душе моей все тою же, всегда полною и ненарушимую“.

А. С. Пушкин (письмо от 26-го дек. 1835 г., к П. А. Осиповой).

Мы оставили Пушкина в Царском Селе, со дня на день ожидающего страшной гостии—холеры, но отнюдь не повергнутого в страх и уныние. Пушкин не был мнителен и в это бедственное время продолжал, как нельзя более спокойно, работать. Так, между прочим, в виду грозных туч, обложивших тогда же политический горизонт России, Пушкин написал несколько патриотических стихотворений; затем составил несколько русских сказок, вызвавших при своем появлении всеобщий восторг, и проч., и проч.

„Ваше молчание—писал в это же время Пушкин к г-же Осиповой—ваше молчание, дорогая и добрая Прасковья Александровна, начинало уже меня тревожить, так-что письмо ваше пришло очень кстати, чтобы меня успокоить. Еще раз поздравляю вас, от всего сердца желаю всем вам благополучия, спокойствия и здоровья \*. Я сам отвез ваши письма в Павловск, при чем нетерпеливо хотел узнать их содержание, но я не застал матери дома.—Известны ли вам происшествия, случившиеся с нами: шалость Ольги \*\*, карантин и пр.? Теперь, слава богу, все кончилось. Родители мои освобождены из-под ареста; холеры же бояться нечего: в Петербурге она скоро прекратится. Известно ли вам также, что в новгородских поселениях произошли беспорядки? Солдаты,

\* Пушкин повторяет поздравления по случаю выхода замуж Евпр. Ник. Вульф за бар. Б. Ал. Вревского.

\*\* Речь идет едва ли не о побеге сестры поэта с Павлицевым, каковой поступок родители Пушкиных долго не могли простить.

под самым нелепым предлогом, будто бы их отравляют, взбунтовались.

Генералы, офицеры и доктора были умерщвлены с самою утонченною жестокостью. Император, с удивительным хладнокровием и бесстрашием, отправился туда и утишил мятеж; не следует, однако, чтобы народ привыкал к возмущениям, а бунтовщики к присутствию государя. Кажется, все кончилось. Вы судите о болезни гораздо вернее докторов и правительства: болезнь повальная, а не зараза, следственно карантинны — лишние, нужно одни предосторожности в пище и в одежде. Будь эта истина известна ранее, мы бы избегли многих зол. В настоящее время лечут от холеры, как и от всякого другого отравления: деревянным маслом и теплым молоком, при чем не забывают паровых ванн. Дай бог, чтобы вы не встретили в Тригорском необходимости обратиться к этому указанию!

Вам препоручаю мои интересы и мои проекты. Я не стою ни за Савкино, ни за какое-либо другое место: я хочу только одного — иметь собственную земельку в вашем соседстве. Будьте добры, известить меня о цене какого-либо имения. Обстоятельства, как кажется, удержат меня в Петербурге долее, чем я желал, но это обстоятельство ничего не изменит ни в моем проекте, ни в моих надеждах<sup>1</sup>.

„Примите уверения в преданности и в моем совершенном уважении. Привет всему вашему семейству. 29-го июля. Царское Село“ \*.

В октябре месяце Пушкин переехал в Петербург, где и занялся, между прочими, литературными и историческими своими трудами, составлением и изданием последнего тома альманаха „Северные Цветы“; это было, так сказать, букет на гроб покойного издателя сего альманаха, барона А. А. Дельвига. В следующем письме к г-же Осиповой — Пушкин, обращаясь с просьбой о присылке разных книг своих из деревни, говорит и о настоящем своем труде по изданию альманаха:

---

\* Письмо на франц. языке, с припиской Нат. Ник., жены Пушкина. Писано на полулисте, из коего сделан пакет с адресом: „Ее выс. м. г. Пр. Ал. Осиповой, в Опочке, в селе Тригорском“.

„Искренне благодарю вас, милостивая государыня, за ваши заботы о моих книгах. Хотя я и чувствую, что во-зло употребляю вашу доброту и ваше время, тем не менее, убедительнейше прошу вас оказать мне последнюю милость: прикажите спросить у людей в Михайловском, нет ли там еще одного сундука, посланного туда вместе с ящиками, в которых были книги? Я подозреваю, что Архип или кто другой, по просьбе моего слуги Никиты (ныне состоящего при Льве), удержали один сундук. Он (я разумею сундук, а не Никиту) должен вмещать в себе, вместе с платьями и вещами Никиты, мои вещи, а также некоторые книги, которые я не нахожу. Еще раз умоляю вас извинить меня за мою докучливость: дружба ваша и снисхождение совершенно меня испортили.

Посылаю вам, милостивая государыня, „Северные Цветы“, которых я недостойный издатель; это последний год существования сего альманаха и дань памяти нашему другу, утрату которого мы долго будем чувствовать<sup>1</sup>. Присоединяю к сему несколько усыпительных сказок и желаю, чтобы они заняли вас хотя на минуту\*.

Мы узнали здесь о беременности вашей дочери. Дай бог, чтоб все счастливо кончилось и здоровье ее вполне восстановилось. Говорят, что первые роды придают прелесть молодой женщине: дай бог, чтобы они столько же были благоприятны и для здоровья и проч. \*\*\*“.

А. П.

Пушкин, при переезде из Царского Села в город, нанял квартиру на Фурштатской, у Таврического сада, в доме земляка своего Алымова; с ним и отправил он, несколько времени спустя после предыдущего письма новое письмо к г-же Осиповой. В нем Пушкин, по обыкновению, являет нежное участие к семейным делам своего „старинного, доброго и дорогого друга“ и — что для нас особенно интересно, — высказывает недовольство

---

\* То были сказки Пушкина: „Про царя Салтана“, „О купце Остолопе и работнике Балде“, „О мертвой царевне“ и о „Золотом петушке“.

\*\* Письмо на французском языке. Писано на полулисте, рукою г-жи Осиповой помечено: „reçue le 14 janvier 1832“.

на собственную жизнь в Петербурге, которая более и более начинала его тяготить.

„Г-н Алымов — пишет Пушкин — уезжает в ночь во Псков и в Тригорское, и обещал взять письмо мое к вам, дорогая и уважаемая Прасковья Александровна! Я не поздравлял еще вас с рождением внука. Дай бог, чтобы он и мать его были здоровы, и чтобы нам всем удалось быть на его свадьбе, если не пришлось присутствовать на крестинах. Кстати о крестинах: скоро они будут у меня, на Фурштатской в доме Алымова<sup>1</sup>. Если вздумаете написать мне словечко, то не забудьте этот адрес. Не сообщаю вам никаких ни политических, ни литературных новостей, так как думаю, что вам они надоели столько же, сколько и всем нам. Самое разумное — жить в своей деревушке и заниматься своим делом: старая истина, которую я ежедневно повторяю среди светской и беспорядочной жизни. Не знаю, увидимся ли мы нынешним летом? Это одна из моих грез, дай бог, чтобы она осуществилась“ и проч.\*.

Мечта однако довольно долгое время оставалась мечтой: Пушкин углубился в это время в исторические розыскания о Пугачевском бунте, в то же время обрабатывал исторические свои повести, писал легкие рассказы и проч. и проч., затем, летом 1833 года, удерживаемый работою в архивах — он не мог уехать в Михайловское, о чем и писал с сожалением в Тригорское. Привожу это письмо; в нем Пушкин еще откровеннее высказывает недовольство петербургскою жизнью, в этом же письме мы видим его и как нежного отца:

„Простите, тысячу раз простите, дорогая Прасковья Александровна, что я замедлил поблагодарить вас за ваше любезное письмо и интересную на нем виньетку. Всякого рода препятствия меня задержали. Не знаю, когда буду иметь счастье посетить вас в Тригорском, хотя и горячо этого желаю. Петербург — не по мне:

---

\* Письмо на французском языке. Писано на полулисте, рукою Прасковьи Александровны отмечено: „1834 г. 16-го числа“ — месяц нельзя разобрать. Год выставлен, без сомнения, ошибочно, так как Пушкин оставался в д. Алымова, откуда писано письмо, только до октября 1832 года, в 1834 же году Пушкин жил на набережной у Летнего сада, в д. Оливьера<sup>2</sup>.



Н. М. Языков.

С рисунка работы А. Д. Хрипкова.





ни мои склонности, ни мое состояние не соответствуют петербургской жизни. Но надо будет выдержать еще два — три года. Жена моя просит засвидетельствовать ее почтение вам и Анне Николаевне. Последние пять — шесть дней нас очень беспокоило здоровье нашей дочери. Я думаю, что у ней прорезываются зубы; она не имеет до сих пор ни одного. Сколько ни говори, что с каждым то же случалось, но создания эти столь слабы, что невозможно не содрогаться, глядя на их страдания<sup>1</sup>. Родители мои только что вернулись из Москвы. Около июля месяца они думают ехать в Михайловское; очень бы хотелось и мне отправиться“\*.

С весны 1833 г. Пушкин поселился на даче, на Черной речке, а осенью отправился путешествовать на восток и юго-восток России, с целью познакомиться с тою местностью, которая служила ареной злодейств Емельки Пугачева. Посетив Казань и ее окрестности, Пушкин отправился в Симбирск и 12-го числа приехал в село Языково, принадлежавшее певцу Тригорского... Кстати, благо доехали мы сюда, поинтересуемся узнать как и где прожил Николай Михайлович Языков с 1829 года, т.-е. с того времени, когда мы оставили его раскланивающегося с Дерптом. Языков... но пусть он сам расскажет о своем житье-бытье за это время жизнь его небогата событиями, но довольно характеристична:

„...С той самой поры — рассказывает наш поэт в письме к Вульффу из Москвы, от 30-го марта 1832 года — как ты, венчанный и превознесенный, оставил меня сонного и бездейственного в Дерпте, я продолжал жить там попрежнему: кое-как, мало заботясь о будущем, вовсе не по настоящему, спустя рукава — этак прошел год; я уехал во свояси, там снова продолжал то же — этак прошел еще год; оттуда я переселился сюда в Москву, и вот точно так же прошло уже два года! В последний из сих последних я был несколько раз болен... В конце прошлого года моя поэтическая деятельность сильно было пробудилась; думаю: это поздняя заря —

---

\* Письмо на франц. языке. Адрес: „г-же Осиповой, во Псков“. Отметка Прасковьи Александровны: „reçue le 20 de mai 1833“.

но все-таки еще заря\*! В мае поеду на родину, в Симбирск — на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы!

У меня было намерение издать собрание своих стихотворений. Цензура не пропустила; но рука времени так пригладила кудри моей музыки, что она больше походит на рекрута, нежели на студентскую прелестницу! и я решился подождать других обстоятельств. Новейшие мои произведения ты найдешь в прибавлениях к Инвалиду\*\*. Да! знаешь ли ты мои песни в честь примадонн здешнего цыганского табора? Если нет, то я пришлю их тебе. Да будет тебе известна и новейшая история моего сердца — во всем разнообразии вольной его влюбчивости!... Всем твоим мои почтения — поклоны и проч. Поздравь Ев. Ник., не поздравить ли и стихами? Я готов и на это!

Баратынский теперь в Казани: я с ним коротко познакомился: он часто видал меня пьяным даже<sup>1</sup>.

В следующем году Языкову удалось выпустить первое собрание стихотворений. Посылая экземпляр к Вульффу, Николай Михайлович писал из деревни Языково, от 14-го апреля 1833 года:

„...Прочти же их с улыбкой задушевной, ради блаженной памяти жизни студентской твоей и моей. В сем собрании\*\*\* ты найдешь и кое-что новое — правда мало — но что же делать? такова судьба моя покуда: я все еще живу непостоянно, не имею оседлости, быту уединенно-поэтического и иного прочего, — а это необходимо музе, да вовсе предается она, моя милая, своей старости, да принесет плоды многие и да прославится славно“.

---

\* Действительно в 1831 году — сравнительно с предыдущими годами — Языковым было написано много стихотворений (из них 31 вошло в II ч. изд. 1865 г.). Некоторые стихотворения этого года отличаются замечательною художественностью и мастерской отделкой. Таковы: „Пловцы“, „Утро“, „Подражание псалму 136-му“, „Весенняя ночь“, „Конь“ и нек. другие. Но от 1832 года осталось нам только одно стихотворение Языкова.

\*\* „Весенняя ночь“, „Ау“ и нек. другие.

\*\*\* Это изящное издание стихотворений Языкова напечатано было в 1833 г. в Спб. (стр. 308 + IX в 12 д.) и вмещало в себе 116 пиес.

Нужно заметить, что осенью 1831 года Языков поступил было на службу в Москве, в межевую канцелярию; но, разумеется, скоро должен был заметить, что служба, какая бы то ни было, не в его характере, и вот едва прошло полгода, как он, почти не являвшийся в канцелярию, стал уже тяготиться ею и решился выйти в отставку. „Выйду в отставку — писал он 30-го июля 1832 года к Вульфу — и давай бог ноги (из Москвы) снова во свояси (т.-е. в деревню), и уже навсегда: пора мне усесться на одном месте. Кочевая жизнь не благоприятствует поэтической деятельности в России; вероятно, она-то и причина тому, что нет у нас ни одного поэта из цыганов!..“ Обращаясь в том же письме к литературе, Языков говорит: „Последняя глава „Онегина“ — одна из лучших во всем романе, как мне кажется. А какова сказка о царе Салтане? Это верх совершенства: высота недостижимая почти что всем нашим поэтам“.

Мы не знаем, застал ли Пушкин в селе Языкове своего приятеля, но, во всяком случае, путешественник-поэт пробыл здесь дня два и поспешил в Оренбург...<sup>1</sup> Разумеется, здесь не место следить за всеми переездами нашего путешественника, скажем коротко: Пушкин проездил по Оренбургским степям, не более одного месяца и, пробыв на обратном пути несколько недель в Болдине, 28-го ноября 1833 года<sup>2</sup> вернулся в Петербург, везя с собой: „Сказку о рыбаке и рыбке“, „Медного Всадника“, „Историю пугачевского бунта“ и несколько мелких лирических произведений. Лето 1834 года поэт проводит в Петербурге за изданиями своих произведений, и притом один, так как семью он отправил еще весной в Калужскую губернию. В августе месяце — Пушкин съездил за ними, а осенью прилетел в Нижегородскую деревню, „где — как он сам выражается в письме к одному приятелю — управители меня морочили, а я перед ними шарлатанил и, кажется, неудачно“. Дело в том, что Пушкин, по свидетельству его биографа, „принял уже на себя распоряжение всем достоянием своей фамилии, которая видела в нем теперь главу свою и человека, способного поправить дела, довольно запутанные долгим небрежением“.

Между тем труд, подъятый Пушкиным на свои рамена по устройству хозяйственных и финансовых дел всей его фамилии, был громаден, да и едва ли ему по силам. Нижегородское имение, составлявшее главный источник к существованию его родителей, было чрезвычайно запущено: сам Сергей Львович, старик во всех отношениях пустой и неспособный ни на что, кроме, как на ведение гостинной жизни, да на сочинительство сладеньких сентиментальных стишков, ни разу не был в Болдине — впрочем, если б и посетил его, то едва ли бы установил порядок в хозяйстве. Сын его, Александр, во всю жизнь не получил от отца 500 руб. ассигнациями, зато немало имел от него „жалких писем“ на разные случаи в своей жизни... Наконец, когда Александр Сергеевич женился и обстоятельства вынудили его серьезно заняться устройством как собственных, так и отцовских дел, он, по усиленным просьбам Сергея Львовича, взял на себя заведывание и нижегородским имением. По просьбе Пушкина, туда отправился некто Рейхман, честны немец, некогда бывший гувернером в семействе Вульф, а потом присматривавший за хозяйством в их имении, Малинниках. Рейхман, однако, лишь только ознакомился с состоянием хозяйства болдинского, пришел в ужас и бежал оттуда назад в Малинники. Тут неудача. Пушкин просит родителей поселиться, в видах сокращения расходов, года на два, на три в Михайловское — отец сердится: ему, привыкшему проводить дни свои в Петербургских гостиных, представляется переселение на житье в деревню делом постыдным, ужасным... С Болдина нет доходов, и Сергей Львович ворчит, что сын его грабит... Все это — печальные подробности, но для полного знакомства с жизнью нашего поэта, для совершенного уяснения себе всех обстоятельств, среди которых довелось ему трудиться, далеко не лишнее знать и эти подробности. Право, невольно веришь лицам близко знавшим Пушкина и его обстоятельства денежные, семейные и положение в обществе, совершенно веришь им, что еще года за три, за четыре до января 1837 года над Пушкиным скоплялись всякого рода невзгоды и все как бы толкало его под смертоносную пулю...

Но послушаем Пушкина. Он нам сам расскажет в письме к „своему дорогому другу“, владелице Тригорского, некоторые печальные подробности своих хозяйственных и семейных дел:

„От всего сердца благодарю вас, дорогая, добрая и уважаемая Прасковья Александровна за то письмо, которое вы были столь добры написали мне. Я вижу, что вы сохраняете ко мне чувство прежней дружбы и участия. Я буду откровенно вам говорить о Рейхмане. Он мне известен за человека честного, а в настоящее время мне только этого и нужно. Я не могу доверять ни Михайле, ни Пеньковскому, потому, что первый известен, а второго я не знаю<sup>1</sup>. Не имея намерения поселиться в Болдине, я не могу и думать о восстановлении этого имения, дошедшего, сказать между нами, до совершенного разорения; я одного желаю: чтобы меня не обкрадывали и чтобы я мог уплачивать в ломбард проценты. Улучшения возможны впоследствии. Но успокойтесь: Рейхман пишет мне, что крестьяне в таком жалком состоянии и дела ведены до того плохо, что он не решился взять на себя управление Болдином и, в настоящее время, находится уже в Малинниках<sup>2</sup>.

Вы не можете вообразить, как тяготит меня управление этим имением. Нет никакого сомнения, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которым в будущем предстоит нищенство, или, по меньшей мере, бедность. Но я сам не богат, я имею собственное семейство, которое зависит от меня и которое без меня впадет в крайность. Я взял имение, которое, кроме хлопот и неприятностей, ничего мне не принесет. Родители мои не знают, что они в шагах в двух от совершенного разорения; если бы они могли решиться пробыть несколько лет в Михайловском, дела могли бы, поправиться; но этого никогда не будет<sup>3</sup>.

Я рассчитываю увидеть вас это лето и, разумеется остановиться в Тригорском. Передайте мое почтение всему вашему семейству, и примите еще раз мою благодарность и уверение в чувствах уважения и неизменной дружбы А. П. Спб. 29-го июня“<sup>4</sup>.

„13-го июля. Две недели тому назад вы должны были получить это письмо. Не знаю, почему оно не отправ-

лено. Дела удержат меня еще на некоторое время в Петербурге, но все-таки предполагаю явиться к вам\*“.

В то время, когда Пушкина более и более сжимали обстоятельства, Языкова посетило другое и гораздо худшее горе. Грехи молодости сказывались: молодой еще человек, он начинал хворать, и хворать весьма серьезно.

Свободный от всяких служебных обязанностей (Языков был уволен в отставку в 1833 году, в чине коллежского регистратора) и имеющий независимое состояние, Языков, казалось, мог бы всецело предаться удовольствиям беззаботной жизни и поэзии. Но судьба решила иначе.

„Надобно тебе знать — пишет между прочим Языков в письме к Вульффу, от 27-го февраля 1834 года, из деревни — надобно тебе знать, что с некоторого времени, года с два назад, мое здоровье чрезвычайно расстроилось. Ты бы не узнал меня, если б увидел вдруг: так сильно я похудел телом, которое ты привык видеть толстым, сочным и вообще благословенным... Стихов обещаю — но будущее в руке божией. Заметь, между прочим, что стихи Евпраксии Николаевне должны быть чрезвычайно некратки, Тригорское и проч. и проч... следственно...“

Языков тогда же уехал в Пензу лечиться гомеопатией, которую он называл „истинным светом божьим“, а Пушкин в следующем году особенно долго погостил в Михайловском, а именно: с конца августа по ноябрь месяц\*\*. Он пробыл бы здесь и дольше если бы известие о болезни матери не отозвало его обратно в Петербург. Вот что он пишет по этому поводу, к г-же Осиповой из С. Петербурга:

„Наконец-то, милостивая государыня, я имел утешение получить письмо ваше от 27-го ноября<sup>1</sup>; оно было в дороге около четырех недель, и мы не знали, что и подумать о вашем молчании. Я почему-то предполагаю,

---

\* Письмо на франц. языке, писано на полулисте, год, по обыкновению, не выставлен.

\*\* В этот-то предпоследний приезд свой в Михайловское, именно 26-го сентября 1835 года, Пушкин написал свое чудное стихотворение: „Опять на родине“. Мы к нему еще возвратимся.

что вы в настоящее время во Пскове, а потому я адресу туда свое письмо. Здоровье матушки лучше, но все же это не выздоровление; она по прежнему слаба, хотя болезнь и утихла. Батюшка очень жалок. Жена моя благодарит вас за память и препоручает себя вашей дружбе; ребятишки тоже. Желаю вам быть здоровою и весело провести праздники: я не упоминаю о своей неизменной к вам преданности.

Император дал помилование большей части заговорщиков 1825 года, между прочим, и моему бедному Кюхельбекеру\*. По указу должен быть поселен в южной части Сибири. Это прекрасная страна, но мне бы хотелось, чтобы он был ближе к нам, и, быть может, ему позволят уехать в имение его сестры, г-жи Глинки; правительство всегда было к нему милостиво и снисходительно.

Когда я подумаю, что уже десять лет прошло со времени этих несчастных смут, мне кажется, что я вижу сон. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных идей, моего положения и проч. и проч.\*\* Поистине, только одна моя дружба к вам и

---

\* Коллежский ассесор Вильгельм Кюхельбекер, как сказано о нем в росписи государственным преступникам, приговором верховного уголовного суда осужденным в июле 1826 г., „к разным казням и наказаниям“, — за то, что: „покушался на жизнь Е. В. Великого Князя Михаила Павловича во время мятежа на площади; принадлежал к тайному обществу с знанием цели; лично действовал в мятеже, с пролитием крови; сам стрелял в генерала Воинова, и рассеянных выстрелами мятежников старался поставить в строй“— приговорен был к смертной казни, отсечением головы, но, по ходатайству Великого Князя, 10 июля 1826 г., сослан в каторжную работу на 20 лет, и, потом на поселение. Таким образом, высочайшее прощение в 1835 году, определившее Кюхельбекеру водворение на поселение в Сибири, освобождало его от 11 лет, которые Кюхельбекеру оставалось провести в каторге. Известно, что Кюхельбекер был товарищем Пушкина по лицу, писал стихи, издавал журнал „Мнемозину“ (1824—25 г. г., четыре книги в год) и вообще был литератором в свое время довольно заметным. Он умер в Тобольске, в 1843 году, оставив после себя массу разных литературных, ученых трудов и переводов. Жена его, простая казачка, не сочла нужным сберечь эти рукописи, и, как уверяют, сожгла это единственное наследство, полученное ею от мужа.

\*\* Служебное положение Пушкина в это время было таково: в 1831 г. он был зачислен на службу в ведомство государственной коллегии иностранных дел, с жалованьем по 5 т. р. асс. в год, в декабре

вашему семейству остается в душе моей неизменною, всегда полною и нераздельною. 26-го декабря<sup>1</sup>.

Вексель ваш готов и я его пришлю в следующий раз. “\*

„По приезде в Петербург — пишет Пушкин в следующем письме к Прасковье Александровне — я нашел бедную матушку при последнем издыхании. Она приехала было из Павловска искать квартиру, и внезапно упала в обморок у г. Княжнина, у которого она остановилась. Раух и Спасский не имеют ни малейшей надежды. К этому грустному положению, присоединяется еще для меня огорчение видеть, что моя бедная Наташа служит целью злых нападок света. Всюду говорят, как это ужасно, что она так наряжается, между тем, как свекру и свекрови нечего есть и свекровь умирает у чужих людей. Вы знаете, в чем дело. По справедливости нельзя сказать, что человек, имеющий 1200 душ крестьян, находится в нищете. Мой отец все-таки что-нибудь имеет, а я ничего. Во всяком случае, это до Наташи не касается, я бы должен был за все отвечать. Если бы матушка поселилась у меня, Наташа, разумеется, приняла бы ее; но холодный, наполненный кучею детей и осаждаемый гостями дом, не представляет удобств для больной. Матушке покойнее у себя. Я нашел ее уже на другой квартире; батюшка в очень жалком состоянии; что до меня, то я ошеломлен и нахожусь в сильнейшем раздражении.

Поверьте мне, дорогая madame Осипова: жизнь хотя и „приятная привычка“, но имеет в себе горечь, делающую ее под конец отвратительною. Свет это гадкая лужа грязи. Мне мило только Тригорское. Приветствую вас от всего сердца.“

Это — последнее письмо Пушкина к г-же Осиповой: писано оно за несколько месяцев до его трагической

---

1833 г. пожалован в камер-юнкеры двора его императорского величества, и на печатание „Истории пугачевского бунта“ выдано ему заимообразно 20 т. р. асс.

\* Против этих слов рукою Праск. Алекс. отмечено по франц. „никогда не получала“. Самое письмо также писано по французски, на осьмушке и в такую же осьмушку вместо конверта запечатано с адресом: „Ее выс. м. г. Пр. Ал. Осиповой“. Письмо было послано, как замечает г. Вульф, не по почте.



кончины<sup>1</sup>. Оно само-по-себе до того исполнено интереса, до того ярко обрисовывает положение поэта и те муки, которые он начинал испытывать среди гнусного *света*, избравшего жену его мишенью для своих злых нападков, что, право, с нашей стороны едва ли нужны какие бы то ни было комментарии? Притом, читателям нашим не раз уже доводилось встречать в печати самые подробные рассказы о тех тяжких минутах, какие выдавались для пылкого, самолюбивого и крайне щекотливого к мнениям общества Пушкина, в последние годы его жизни, среди всех эти *знаменитостей* светского, дипломатического и административного круга, среди которых доводилось ему обращаться... Среда — заела, сгубила Пушкина, вот та истина, которая от частого употребления обратилась в избитую фразу. Оставляя в стороне неблагодарный труд характеризовать эту *среду* (для этого труда едва ли настало еще и время), оставляя рассуждения и об отношениях к ней Пушкина, между прочим, не так еще давно столь удачно выясненных гр. Соллогубом в его воспоминаниях о Пушкине, я, как присяжный летописец Тригорского, приглашаю читателей моих обратить на только-что приведенный нами документ внимание, между прочим потому, что он как нельзя лучше замыкает отношения Пушкина к г-же Осиповой. Сколько дружбы, сколько искренности, сколько трогательного доверия в отношениях нашего поэта к этой, при всех ее недостатках, весьма почтенной женщине. От нее у него нет секретов. Он делится с нею своей радостью, принимает сердечное участие во всех важнейших событиях ее жизни, еще чаще делится с нею своими печалью; а их у него было так много! Неприятности по хозяйственным и денежным делам, размолвки и недоразумения в отношениях к родителям, наконец, тяжкие оскорбления, вынесенные им от бездушных и нравственно-растленных исчадий „большого света“, обо всем этом Пушкин с таким благородным доверием пишет к своему „доброму, дорогому, уважаемому другу“, дружба и любовь к которому и ко всему ее семейству у него, среди всех коловратностей жизни, всегда оставалась неизменной и неослабною.

А эта любовь к Тригорскому, которое он и перед смертью называет своим милым Тригорским, это вечное стремление под кров столь дорогого для него приюта! Сколько поэзии в привязанности Пушкина к месту, с которыми соединены были лучшие годы его поэтической деятельности! С первого же приезда своего в Тригорское, в 1817 году, юный еще тогда, Пушкин привязался к этому поэтическому месту и к его добрым, милым и умным обитательницам. Пушкин как бы предчувствовал, что в их обществе, под их кровом, он обретет утешение в тяжкие минуты своей жизни, среди них — душа его, истомленная тревогами скитальческой жизни, отдохнет, соберется с силами и в нём загорится ярче и сильнее, чем когда-либо, огонь поэзии живой. И в этих предчувствиях, 10-го сентября 1817 года, впервые расставаясь с Тригорским, Пушкин сказал ему свое поэтическое *прости*:

Простите, верные дубравы!  
Прости, беспечный мир полей,  
И легкокрылые забавы  
Столь быстро улетевших дней!  
Прости, Тригорское, где радость  
Меня встречала столько раз!  
На то ль узнал я вашу сладость,  
Чтоб навсегда покинуть вас?  
От вас беру воспоминанье,  
А сердце оставляю вам.  
Быть может (сладкое мечтание!)  
Я к вашим возвращусь полям,  
Приду под липовые своды,  
На скат Тригорского холма,  
Поклонник дружеской свободы,  
Веселья Граций и Ума<sup>1</sup>.

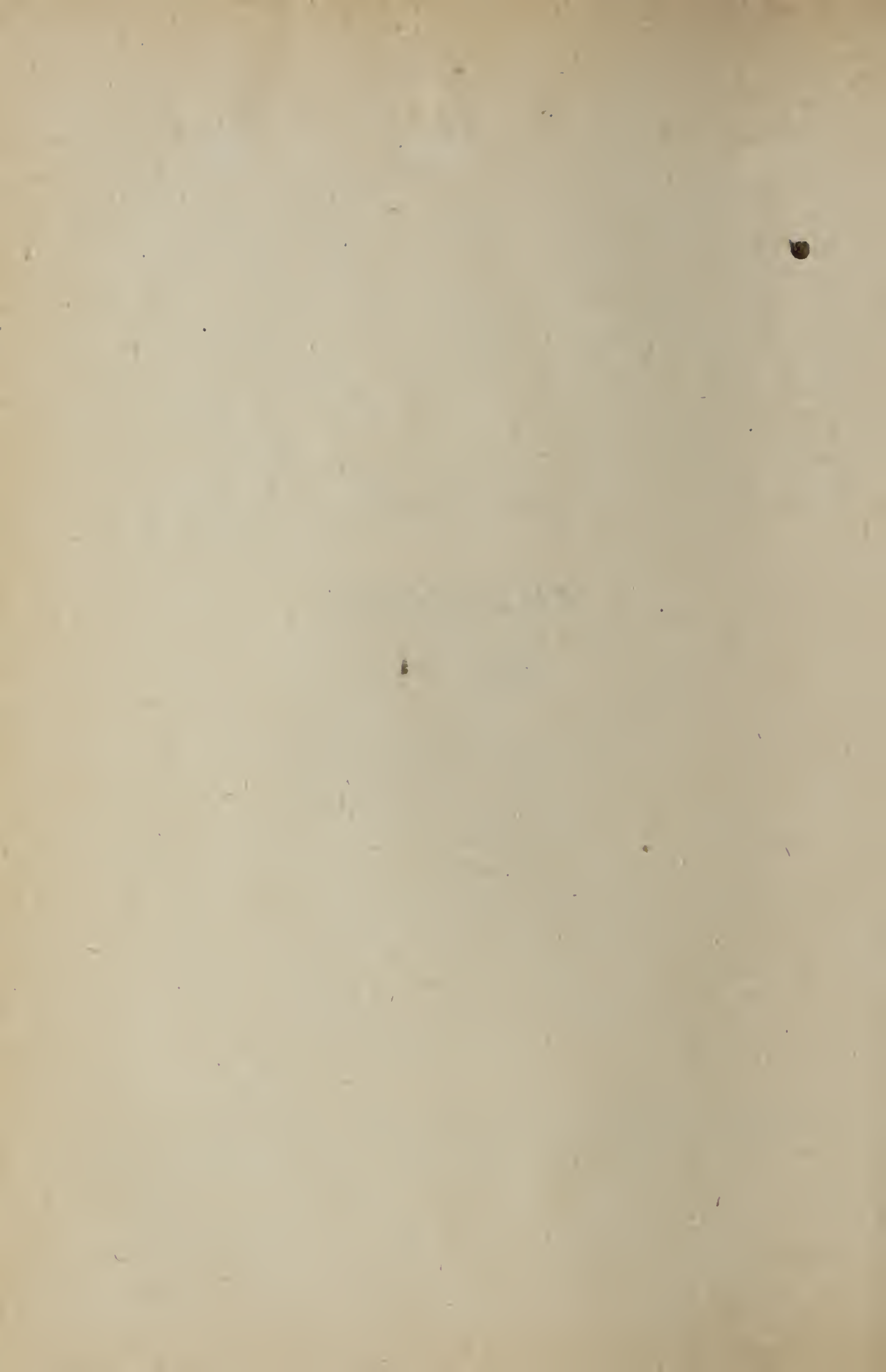
Стихотворение это, *нигде до сих пор не напечатанное*, найдено нами в одном из альбомов, в селе Тригорском<sup>2</sup>.

15-го июня 1866 г.

А. Н. ВУЛЬФ

*ДНЕВНИКИ*

1827 — 1842





А. Н. Вульф.



1827.

10 августа (Тригорское). Я родился 17 декабря 1805 г. Мой отец Николай Иванович Вульф, отставленный коллежским ассессором, жил, по обычаю большей части русских дворян, у отца своего Ивана Петровича Вульфа в тверской деревне, не имея никакого постоянного занятия. Потеряв его очень рано (в 1813 году), я мало об нем помню, но сколько слышал, все знавшие его любили в нем человека с редкою добротою сердца и с тою любезностью в обращении, которая привлекала всех к нему; чувствительность его души видна была в нежной привязанности к своему семейству: он был равно почтительным сыном, как и нежным братом; любя своих детей, он был и добрым супругом. Я всегда буду жалеть что лишился его в тех годах, когда еще не мог ни узнать, ни оценить его. Знакомый в лучшем кругу тогдашнего общества обеих столиц, он имел и образование, общее нашему высокому дворянству того времени, то-есть, он знал французский язык, следственно, все, что на нем хорошего было написано. Я сам помню его декламирующего трагедии Расина. Вот все, что я знаю о моем отце.

Мать моя была дочерью Александра Максимовича Вындомского, человека с умом и образованностью, приобретенною им самим собой. Имев большое состояние,

долго он был в большом свете, но, наконец, удалился и жил в своей деревне в Псковской губернии, где, занимаясь разными проектами, потерял он большую часть своего состояния. У него то провел я первые лета моего детства; он меня очень любил, и естественно, ибо я был старшим сыном его единственной дочери (он имел еще одну дочь, вышедшую замуж за Ганнибала против его воли; она вскоре умерла, оставив одну дочь и сына) 1; к тому же он мне хотел дать отличное воспитание совершенно в своем роде, не такое, как вообще у нас в России тогда давали. У меня не было ни мадамы-француженки, ни немца-дядьки, но за то приходский священник заставлял меня еще шести лет твердить: mensa, mensae, etc. Кажется, что если бы мой дед долее жил, то бы из меня вышло что-нибудь дельное. Но оставим возможности и будем благодарить судьбу за настоящее. Роковой 813-й год похитил и его!

Положение моей матери было тогда весьма затруднительно. Потеряв мужа и отца в течение нескольких месяцев, получила она в управление расстроенное имение, которое надобно было привести в порядок и заняться воспитанием пятерых детей (две обязанности, из которых каждая почти выше сил женщины), которым должно было дать воспитание, приличное их состоянию. Нас осталось пятеро: три брата и две сестры, из коих одна, Анна, старее меня, прочие, Михаил, Евпраксия и Валериан—моложе меня. Мать моя приняла на себя труд быть моею наставницею. Живя уединенно в своей деревне, ей оставалось довольно времени от других занятий, дабы посвятить оное на воспитание своих детей. Но к несчастью, не имея ни нрава, свойственного к таким занятиям—(ибо сколько надобно иметь терпения при наставлении на трудный путь занятий? Даже у детей, одаренных природою особенными



способностями, сухие занятия первоначальными науками отбивают охоту от учения. Сколько надобно здесь искусства, чтобы превозмочь природное отвращение от труда и заставить любить умственные занятия! У самых людей с созревшими понятиями только многолетний прилежный труд рождает любовь к наукам),—ни знаний, к тому необходимых, ее благое намерение принесло мало пользы. Признано, сколько способ (метода) учения может затруднять и облегчать занятия, особенно в те лета, когда еще мы не можем рассуждать. Что же может выйти хорошего, когда мы, вместо постепенного, систематического учения, занимаемся разными предметами на выдержку, как на счастье берут лотерейные номера? Так было и со мною. Я учился, учился и только, без отдыха, без пользы. Оттого не осталось у меня ни одного приятного впечатления детских лет; я терял охоту от учения, ибо не видал никакой пользы от оно-го; чем сегодня, боясь наказания, я набивал голову, то завтра я забывал. Не раз должен был я выучить французскую грамматику наизусть от листа до листа, и, несмотря на это, я бы назвал дверь прилагательным именем. Но главною потерей от сего образа воспитания было то, что я привык видеть в моей матери не что иное, как строгого и неумолимого учителя, находившего всякий мой поступок дурным, и не знавшего ни одного одобрительного слова. Мы испытали, что на животных гораздо скорее действуют кроткие меры, нежели насильственные; неужели же людям, существам, одаренным духовными способностями в несравненно высшей степени, нельзя применить сего правила? Но наши отцы об этом не думали, полагая, что страх может то же произвести, что и любовь. Грубая, сожаления достойная ошибка! К несчастью, есть еще много людей, которые держатся таких мнений, кажется, не от

того, чтобы они признавали оные неопровергаемыми или единственно спасительными, но более потому, что они согласны с их характерами властолюбивыми и свое-  
нравными.

Что ж было плодом всего этого? То, что уже один голос моей матери наводил на меня трепет. Я не был спокоен, когда ее знал вблизи. И сколь пагубное влияние имеет такое обращение с детьми на нравственность их! Не смея произнести слова в присутствии грозных своих родителей, привыкают они скрывать свои мысли; убегая их, они естественно попадают в общество слуг, скопище всех пороков, где потухает последний луч сыновней любви, пока собственный наш рассудок не приведет нас опять на истинный путь.

Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит. Они не чувствуют, что лишают себя чистейших наслаждений, не исполняя долга, возложенного на них самую природою, и отдавая детей своих на произвол нянек, оттолкнув их, таким образом, от себя, они винят детей в неблагодарности, не находя в них любви к себе. Мы везде видим, как преступления против природы наказуемы своими бывають собственными следствиями; так и здесь: в те лета когда страсти начинают в людях ослабевать, и они, вследствие физических причин, начинают искать покоя, тогда, пресытаясь суетными наслаждениями рассеянной жизни, ищут они утешения в кругу своего семейства. Но что ж они там находят? Вместо детской любви холодное почтение и чаще равнодушие, если не что-нибудь худшее, и не сознаваясь в собственной вине своего несчастья, ропщут они на судьбу и на детей. Вот что мы видим всякий день, если заглянем в домашнюю

жизнь наших бояр, где мы найдем и причины нашей дурной нравственности и невежества.

Итак, первыми моими успехами в науках обязан я моей матери. Но в 1817 году она вступила во второй брак с Иваном Софроновичем Осиповым, что было причиной переезду нашему в Петербург, где меня в следующем году отдали в Горный корпус. Итак, на 13-м году я сделал первый шаг за порог моего родительского дома. Меня поручили одному чиновнику, служившему при корпусе, у которого я и жил. Я здесь остался не долго, ибо в следующем (1819) году случай меня перенес в Дерпт, к вреду ли моему, или к пользе—это покажет будущее. Это учебное заведение должно причислить к одному разряду со всеми кадетскими корпусами, про которых можно сказать, что они лучше, нежели ничего, но не более. Все они далеки от того, чтобы приносить ту пользу, которую от них ожидают, ибо за очень необширные познания, которые там приобретают воспитанники, слишком много они теряют в нравственном отношении, чтобы можно было назвать первое прибылью.

Спартанское воспитание замечательно только тем, что оно доказывает силу великого гения, его создавшего, и до какой степени люди могут предаваться одной идее, даже если она в противоречии со всеми склонностями человека. История доказала, что безнаказанно человек не может противиться вечным законам естества природы; страсти человеческие, разорвав узы, так долго их связывавшие, не находили уже преград своему неистовству. И Спарта, прежде знаменитая своими добродетелями, стала столь же славна своими пороками. Это естественно: когда законы ослабели, и грубые спартанцы узнали наслаждения образованных народов, то что могло выйти иное из людей, не знавших святейших и благо-

роднейших связей человечества? Не зная ни имени отца, ни супруги, ни сына, могли ли они быть хорошими гражданами? Прежде они заключали все сии священные имена в одном имени отечества, но с разрушением сей идеи они потеряли все святое, ибо их вера, бывшая не что иное, как гражданское постановление, не могла быть опорой. Люди соединились в общества для того, чтобы обезопасить собственность и права каждого члена от насилия, стараясь при том как можно более сохранить первобытной своей свободы; итак, общество у них было средством, а не целью, в Спарте же было это на выворот. Если общественное воспитание и в самой Спарте не было соответственно назначению человека, то сколь вредно должно оно быть у нас, где оно не столь тесной связи с гражданскими постановлениями, и где так мало занимаются уменьшением зла, не различного с сим постановлением?

Нравственное образование необходимо для человека, который должен сделаться полезным гражданином; могут ли же оно приобрести воспитанники наших кадетских корпусов, брошенные туда отцами своими в самом нежном возрасте (не имея способа дать им другого воспитания), тогда, когда им столь нужна подпора и любовь своих родителей? Но чего достойны те отцы, которые для того удаляют от себя детей своих, чтобы избавиться от бремени воспитания? Конечно, необходимы общественные заведения для образования офицеров, а особливо для морской службы, но не должно туда принимать детей; только молодые люди, окончившие первоначальное воспитание, общее всякому образованному человеку, которое они могли получить или дома, или в гимназиях, к тому правительством устроенных, — сии воспитанники должны бы были быть в таких летах, дабы могли понимать обязанности, на себя принимаемые,

избирая себе состояние, которому они думают себя способными. Разумеется, что тут должно уничтожить варварский обычай телесных наказаний, недостойный образованных людей, истребляющий понятие о чести, столь необходимой для всякого чувствующего свое личное достоинство<sup>1</sup>.

*(Приписка от 8-го июня 1828)*. Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие о нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов, от семи до двадцати лет, заперты в одно строение, в котором некоторые из них проводят более десятка лет; в нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет разврата чувственности, изобретенного сластолюбием Катона и утонченного греками, подробно поименованного в „Кормчей книге“, которого не случилось бы там, и нет казармы, где бы более встречалось грубости, невежества и буйства, как в таком училище русского дворянства! Всем порокам открыт вход сюда, тогда когда не принято ни одной меры для истребления оных. Телесные наказания нельзя к таким причислить, ибо они наказывают, а не предупреждают проступок. Принимаемые без всякого разбора воспитанники приносят с собою очень часто все пороки, которые мы встречаем в молодых людях, в праздности вскормленных в кругу своих дворовых людей, у коих они уже успели все перенять, и передают их всем своим товарищам. Таким образом, ежедневно, в продолжение нескольких десятков лет, собираются пороки, пока они не сольются в одно целое и составят род обычая, закона, освященного временем (всегда сильною причиною) и общим примером. Тогда уже ничто не может помочь, никакие меры — исправить такое заведение. Воздух, заключенный в этих стенах, самые стены заражены; только с истреблением всего, как бы постиг-

нутого моровою язвою, можно искоренить зло. Зная сие, ясно, отчего новые училища такого рода сначала несколько соответствуют своей цели и потом так скоро упадают. Многие подумают, что здесь все увеличено, слишком резко описано: ни мало! Всякий бывший в корпусе согласится со мною. К тому же причины зла основаны на природе вещей: возьмите несколько человек со всех концов земли, всех степеней образованности, всех исповеданий веры, исключите их из остального мира, подчинив одному образу жизни. Что выйдет? Одинакие занятия, одинакая цель жизни, радости, печали и вообще все, что они будут чувствовать, касающееся их всех, а не одного из них, даст им всем одну отличительную черту, один характер, общий всем, но составленный из личности каждого (таково было начало каждой народности). И не будет ли этот характер тем хуже, чем порочнее члены, составившее общество? Примеры сего мы видим в колониях, монастырях, университетах, разбойничьих шайках и даже в некоторых гражданских сословиях, где они сближаются с кастами древних.

Взглянув на учебную часть корпусов кадетских, мы найдем в них немного более утешительного. У нас еще не знают или не хотят знать, что хорошим офицером может быть только образованный, а образованным офицером—только образованный человек. Преимущественно перед всеми другими науками, и исключительно, занимаются преподаванием математики. Впрочем я не думаю, чтобы и самый Лаплас был бы хорошим генералом. Конечно, офицеру необходимы познания математические, но чтобы сделать их единственными, это не может ни в каком случае быть полезным; даже человеку, посвящающему себя единственно наукам математическим, необходимы сведения—по крайней мере исторические—о

предметах знаний, с ними в связи находящихся; например, математик должен быть и логиком и пр. Круг познаний офицера так велик и оные так разнообразны, что, право, у него нет времени лишнего, чтобы он мог его посвящать исчислениям высшей математики, ему ненужной (я не говорю здесь об артиллеристах и инженерных офицерах, которым, разумеется, высшая математика необходима). На исторические, географические науки, столь необходимые, обращают мало внимания, даже и на знание отечественного языка. Также совсем не заботятся о том, чтобы приохотить молодых людей к ученью, отчего те и думают только о том, как бы скорее выйти в офицеры и бросить книги, полагая, что, достигнув эполет, они уже все нужное знают, не подозревая, что по сию пору их только приготавливали к настоящему ученью, что им только показали путь, по которому они теперь сами должны, без помощи других, вперед идти.

Кажется, гораздо полезнее было бы обратить внимание на состояние уездных и губернских училищ, преобразовать их так, чтобы они в состоянии были приготавливать воспитанников своих для вступления, как в университет, так и военные академии, кои заменили бы корпуса...

*16 сентября.* Вчера обедал я у Пущкина в селе его матери<sup>1</sup>, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался)<sup>2</sup>.

По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности убор-

ного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu<sup>1</sup> с Bibliothèque de campagne<sup>2</sup> и „Журналом Петра I“<sup>3</sup>, виден был также Alfieri<sup>4</sup>, ежемесячники Карамзина и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец, две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь логи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе<sup>5</sup>, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать „Годунова“ с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею<sup>6</sup>. В „Стеньке Разине“ не прошли стихи, где он говорит воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: „Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму“. Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его „Графа Нулина“: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как



же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп<sup>1</sup>.

Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: „Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Не смотря на то, мне вымыли голову“<sup>2</sup>.

Играя на биллиарде<sup>3</sup>, сказал Пушкин: „Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей „Истории“, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I<sup>4</sup>, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря“.

1828.

*10 августа. [Петербург].* Вчера я получил письмо от Языкова, в котором он мне желает чести, славы на поприще воинском; оно меня расстроило на весь день, я снова страдал от необходимости отречься от желания славы. Как трудно оставлять мечты, в которых мы находим наше счастье!<sup>5</sup>

Я читал газеты<sup>6</sup>: головы политиков заняты событиями в двух оконечностях Европы, но и сами по себе столь же противоположны, как и их положение географическое. В Португалии меньшой брат сел на престол стар-

шего, опровергнув данную последним Конституцию. Желательно знать, стерпят ли сие Европ. Государи, защитники законности? В Греции, напротив, иго рабства уничтожилось, и под влиянием тех же Государей основалось свободное правление, которого Глава (Каподистрия) ими самими поставлен. Но всего важнее теперь, как и где кончится Русско-Турецкая война? <sup>1</sup> Как вознаградить Россию за ее издержки? И победитель — турок не слишком ли опасен для остальной Европы?

После обеда я провел с матерью и сестрою<sup>2</sup>; там я читал Жюльена о употреблении времени: прекрасная книга<sup>3</sup>. Я утвердился в намерении вести Дневник: вот опыт, дай бог, чтобы он удался.

Вечер я был с Анной Петровной; Лиза нездорова, грустна<sup>4</sup>. Я грустен, недоволен собою, сожалел о потерянном мною времени и страдал жаждою блистательной воинской славы.

*11 августа.* То же неудовольствие собою, соединенное с неприятным известием из Твери о замедлении хода дел. День провел я совершенно, как вчерашний, с матерью и у Анны Петровны и читал Julien. Всякое воспитание должно было быть основано на таких правилах; у нас не имеют и понятия о нравственном, а физическое развитие сил с намерением останавливают, думая повредить тем умственному воспитанию.

*12 августа.* Нынешний день, как много подобных, я провел в совершенном бездействии, — ни одной минуты не осталось у меня в памяти.

*13 августа.* Был я в Департаменте, написал копии с аттестатов моих и подписал обязательство не вступать в тайные общества<sup>5</sup>. Всякая мера, не приносящая пользы, вредна: людей, которые решатся ниспровергнуть Правительство, по какой бы то ни было причине, удержит ли такое обязательство? — Если не удержит,

то к чему оно?—К чему же потеря бумаги и времени?—Справедливо упрекают наше Правительство в непомерном многописании. Мне, кажется, с начала не дадут жалования, не знаю, с каким чином меня определяют; одно из двух, по крайней мере: или деньги, или честь.

С сестрой я вечер был у Анны Петровны.—Лиза была очень мила, и я нежен.

*14 августа.* Наконец получено письмо из Старицы о высылке копий с доверенности, и можно надеяться, что на будущей неделе, выдадут деньги из ломбарда.

В Армии ничего важного не делается, осаждают Силистрию, Варну и Шумлу.—Брамблета, новый роман Смита, так же занимателен, как и Скотт: в нем прекрасные описания чумы и пожара, но не сохранена постепенность интереса и есть повторения<sup>1</sup>. Сегодня после бани она была очень мила.

*15 августа.* Еще один день, про который нечего сказать,—это досадно; надеюсь, что впредь менее таких будет встречаться. Я живу теперь надеждою моей будущей деятельности, телесной и умственной; потеряв два года жизни в совершенном бездействии, трудно будет привыкать к занятию; надеюсь, что моя воля довольно будет сильна к исполнению намерения.

*16 августа.* В Департаменте прочитали мне сегодня мое определение: я покуда не буду получать жалования, а о чине представят в Сенат.

Вечером был я во Французской Комедии,—это первое представление после поста. Главная пьеса была хуже всех; чтение Тартюфа у Нинон,—это сбор нескольких острых слов, всем известных, великих писателей французских того века<sup>2</sup>. Удивляюсь, как могут французы так во зло употреблять имена великих людей.

17 августа. Прекрасная сегодняшняя погода не сделала мне день таким,—я был както не свой. В ломбарде обещали через неделю выдать деньги. Наши победоносные войска все еще у подошвы Балкана, а государя ждут сюда; говорят о третьем наборе рекрут<sup>1</sup>. Франция посылает войска в Морею: говорят, не для того, чтобы выгнать Ибрагима Пашу, который сам хочет выйти, но дабы иметь точку, с которой она бы могла, в случае нужды, противодействовать России. Англия не хочет непосредственно принимать участия в делах Твердой земли: расстройство финансов причиною ее миролюбия.

18 августа. Лиза сегодня была весьма грустна, упрекала меня во многом справедливо и несправедливо и, как всегда водится, одного меня винила во всем. Я прежде ей это предсказывал. К вечеру буря прошла и все вошло в свой порядок. Ответ проф. Адеркаса на мою просьбу о письме к Дибичу меня весьма обрадовал, утешил. Дружба столь почтенного человека неоцененна для меня; как жаль, что теперь я не могу воспользоваться его благорасположением ко мне!<sup>2</sup>

Головные боли, которые вот уже несколько дней меня мучают, происходят, кажется, от густоты крови. Мне должно остерегаться простуды, от которой может сделаться воспаление в легких: большее движение, умеренная пища и сон необходимы для меня.

19 августа. Утром я очень много ходил для избежания головных болей, от чего мне и сделалось немного легче. Читал Ундину: слог Фуке мне не нравится, и трудно его переводить; мысль<sup>3</sup> повести этой прекрасна, преимущество человека душевными его способностями над остальным созданием земным выведено в изящном вымысле.—Лиза больна, у ней были нервические припадки и пр.

*20 августа.* В первый раз я был в Департаменте, где, постояв с час, прочитал я одно пустое дело о несправедливо взысканных пошдинах, чтобы познакомиться с родом моих занятий; потом меня отпустили. Я все еще ничего не делаю, но с будущей недели начну, получив деньги.

*21 августа.* В Департаменте мне дали ведение журнала входящих бумаг в IV отд. I стол и ведомостей от военных чиновников о присылке денег за употребление простой бумаги вместо гербовой, — не головоломное занятие, чему я весьма рад, ибо тем более мне останется времени на свои занятия. Сегодня я много ходил и очень устал, от чего в голове моей легче. Вечером она была веселее всех этих дней, не печальна, что мне отвело душу.

*22 и 23 августа.* Вот еще два пустых дня, которые не оставили ни одного воспоминания после себя. В политическом мире ничего решительного не делается.

*24 августа.* Сегодня получены из ломбарда 43.752 р.; из них заплачено 4.805 за Тригорское, 25.000 положены на сохранение, 200 отдано чиновникам, а остальные 13.747 отданы матери. Из последних получил я тысячу рублей.

*25—26 августа.* Ищу, вспоминаю и мало нахожу замечательного, чтобы записать. Я читаю историю Шотландии Вальтер Скотта<sup>1</sup>. Такой род повествования истории, особливо отечественной, очень хорош для детей, — он рождает в них желание узнать более, знакомит с главнейшими событиями и с замечательнейшими лицами и приготавливает к дальнейшему учению. Простой рассказ, оживленный краткими описаниями нрава и частных событий замечательнейших исторических лиц, чрезвычайно занимателен для читателей того возраста,

для которого он назначен; желательно, чтобы вся история была у нас так обработана.

От Анны Петровны я получил очень нежное письмо. Елизавета Петровна эти дни была мила, несравненно веселее прежнего и говорит, что опять попрежнему любит.

*27 августа.* Сегодня головные боли опять усилились, несмотря на то, что я много ходил. Мне необходимо нужно купить много книг, а на это недостает денег.

*28 августа.* Екатерина Николаевна<sup>1</sup> приехала сегодня из деревни. 17 июня наши войска были все еще под Шумлою; Варна тоже защищается; под нею ранен ядром напролет мимо ног Меншиков, человек, отличающийся отличными способностями. Паскевич от Карса пошел вправо вдоль границы и взял две крепостцы Ахалканы<sup>2</sup>: вот что известно о военных наших действиях. О турецких военных силах, расположении их и пр. мы ничего из ведомостей не знаем: что пишут в чужестранных, тому нельзя верить.

*29 августа по 1 сентября.* Вот четыре дня, в которые я не успел записать случившегося, не от того, чтобы я так чрезвычайно был занят чем-нибудь, но более от лени. Я был на двух скучных вечерах: у Натальи Васильевны и у Миллера<sup>3</sup>, где я играл и немного проиграл; общества такие очень скучны, особливо для женщин, которые не играют. В Итальянской Опере я слышал и видел Росиньеву Сороку воровку; для меня она не уступает в достоинстве Севильскому Цирюльнику и Сендрильоне. Также Millas более мне нравится г-жи Шобер Лехпер<sup>4</sup>: она поет прекрасно, но в ее голосе нет (для меня) очарования итальянской певицы; Този мне понравился более, чем прежде, он играл очень хорошо; Марколини прекрасный мужчина и тоже хорошо играл. Я слышал чрезвычайно замечательное проис-

шествие, исследование которого могло бы много открыть весьма важных истин касательно малоизвестных сил животного магнетизма. Ежели можно будет доказать достоверность слышанного мною, и человек сведующий, с любовью к знанию, занялся бы исследованием случившегося: тогда бы новый свет излился на сию, доселе непостижимую силу духовную. Вот слышанное мною.

В Тверской губернии, в доме умершего Павла Марковича Полторацкого<sup>1</sup>, живет молодая девушка. В 1825 г. она занемогла и впала без всякой посторонней причины в сонambuлический сон; болезнь ее до того усилилась, что она достигла до самой высокой степени ясновидения: не имея никакой образованности, она лечила себя, предсказывала очень многим, между прочим, смерть г-на Полторацкого, казнь подсудимых 14 декабря и пр. В продолжение года она осталась в таком положении, и ничто ей не помогло. Без содействия магнетизера она говорила, в.. [не разобр.] с нею была (говорила) дочь господина Полторацкого, девушка, которая, разумеется, не могла воспользоваться таким чрезвычайным случаем: она более боялась ее, тем более, что разнесшийся слух называл больную нечистым духом исполненную. Эта причина и обычай великим постом говеть были поводом, что ей предложили причаститься Св. Тайн: она на яву старалась отклонить такое предложение, не говоря однако причины, а во сне не хотела об этом и слышать, приходя в род бешенства. Такое явное сопротивление еще более устрало семейство и, наконец, настояли на том, прочитали над ней молитвы об изгнании нечистого духа и приобщили ее к Св. Тайнам. Но перед самым приобщением с ней сделалась судорога, столь сильная, как бы кто ее трехнул, и с тех пор у нее не было более припадков.

Здесь рождаются естественно следующие весьма важные вопросы: 1. Описанные явления должно ли приписать животному магнетизму, или другой какой-либо силе? 2. Какая причина отвращения больной от причастия? 3. Точно ли сей причине, а не какой другой неизвестной, должно приписать выздоровление? Первый вопрос можно, кажется, удовлетворительно об'яснить, подтвердив, что сие явление точно одного рода с испытанными животного магнетизма, но для разрешения других необходимо точное исследование случившегося, соединенное с опытами, тем более, что прежде ничего подобного не было замечено.

*2 и 3 сентября.* В Департаменте я по сию пору совершенно ничего не делаю, кроме ведения журнала входящих бумаг — работа не трудная и не много времени требующая. На этих днях я решился приняться за работу, т.-е. переводить с немецкого Ван-дер-Вельде романы<sup>1</sup>. Головные боли не совсем меня еще оставили. Недавно я обошел напрасно всю Коломну, чтобы отыскать Анну Яковлевну, но напрасно: я ее не нашел. Я очень еще молод должен быть, когда могу бегать так за женщиною, которая, верно, не Лайса.— Лиза эти дни немного ревновала меня к Анне Петровне, но вообще была нежна и верила в мою любовь.

*4—5 сентября.* Я читал еще один роман Смита, Торгиля, который мне даже более нравится Брамблеты; в ходе происшествий сохранено более постепенности, нежели в первом, и занимательность выдержана до последней главы. Мстительный и жестокий характер владельца Торгиля в прекрасной противоположности с 2-ою женою его. Он только не кстати ослабил участие читателя к 1 его жене и, дав ей другую причину действий, кроме мщениа и обиженного самолюбия, и слишком скоро свел ее со сцены. Я был опять на скучных



имянинах. В Опекунском Совете торговался я с публичного торга для П. М. Полторацкого имение Хорвата — 2090 душ.

*6—8 сентября.* Не от лени, а единственно от того, что нечего заметить, я опять три дня не писал. Вчера мать моя говорила, что ее встретила здесь молва о дуэлисте Вульфе, — итак, моя удалая слава еще не замолкла и все, трубя, носится передо мною. Меня зовут дуэлистом, — того, который именно во все пребывание свое старался только о истреблении губельного сего предрассудка и ежели не убегал клинка, то для того, чтобы доказать, что не из робости я исповедывал миролюбие<sup>1</sup>. Такова молва! так ей должно верить! и можно ли после сего заботиться об ней?

*9—10 сентября.* Сегодня я должен был против воли крестить с Анной Ивановной, которая, не найдя никого другого, чтобы заплатить попу, обратилась ко мне. Несмотря на доброту, у ней часто в таких случаях недостает совести; если бы она в других случаях не показала более благорасположения ко мне, то я бы верно не убежал с именин Анны Ивановны, чтобы бросить деньги, за которые мне не сказали благодарствуй, равно как и за то, что я оставил приятное общество<sup>2</sup>. Такая невнимательность весьма неприятна: жертва во сто раз становится тяжелее, когда не хотят заметить, сколько она стоит. За то Мария Павловна Лихардова старалась сколько могла вознаградить меня: она предложила мне ехать с ними в Французскую Комедию, кормила в продолжении оной конфетами и, наконец, дала билетик, чтобы я бросил его в партер. Догадавшись, что это нежность, я спрятал его и после прочитал в нем, что любовь ее против воли моей заставит себя любить; несмотря на такую явную благосклонность, я не умел ею воспользоваться. Этот вечер играли новую драму

L'homme du monde, взятую из романа того же имени сочинения Т. Ансело, известного у нас плохим сочинением своим „6 месяцев пребывания в России“, писанное им во время путешествия на коронацию Николая Павловича. — Драма сия весьма незанимательна, в ней ни действия, ни завязки, ни характеров, ярко обрисованных, — все скучные разговоры, не связанные один с другим; замечательна одна сцена, в которой светский человек хочет под проливным дождем в грозу соблазнить девушку: она противится, но удар грома пугает их, они прячутся в павильон, и невинность погибает там. Пьеса сия так решительно не хороша, что после окончания не раздалось во всем партере ни одного удара в ладони.

Этот день замечателен для меня тем, что я не видел Лизы.

На другой день первым моим старанием было загладить сию мою вину, что мне и удалось. Она становится опять печальнее, потому что Петр Маркович<sup>1</sup> хочет на будущей неделе ехать с моей матерью в Тверь; мне бы самому хотелось ее туда проводить, но, видя такие обстоятельства, это невозможно, ибо я бы попался в круг пол десятка красавиц, которыми я всеми занимался; мне должно будет быть здесь непременно.

*11 — 12 сентября.* Эти два дня не оставили после себя много замечательного. Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя и сестры и матери, а сестре и других ради причин это вредно<sup>2</sup> — С Лизой опять припадок грусти по причине скорой разлуки, — на будущей неделе она поедет.

Наконец я достал Ван-дер-Вельде повести и начну их переводить; мне недостает словарей и некоторых книг, касающихся каждой повести в особенности.

Все это время терплю я сильный насморк, а после чаю бывает иногда изжога, мне бы хотелось чем-нибудь заменить питье оного.

*13 сентября.* Я обедал у моего начальника отделения Шахматова<sup>1</sup> и в Департаменте написал первое представление в Сенат.—Я хочу списывать формы разных бумаг,—это не может быть бесполезным. Познакомился я тоже с Николаем Андреевичем Всеволодским<sup>2</sup>, служившим вместе с моим отцом. С Лизой я был... [не разобр.] нежен почти.

*14 и 15 сентября.* Все это время напрасно я ищу другой дом себе нанять, потому что у меня уже становится холодно. Лихардова опять любезничала со мною: ей бы очень хотелось видеть меня у ног своих, но я не котенок, которого дразнят привязанной на нитке бумажкою. Я испортил свой желудок и хочу быть строго воздержным.

*14—20 сентября.* Обедал я у одного известного г. Никитина, человека нажившего себе карточною игрою большое состояние — случай довольно редкий; он весьма забавен: занятый своим богатством, он везде старается оное выказать; также хочет он быть человеком лучшего тона и коротко знакомым с высокою аристократиею. Но все это ему не удастся, везде видна в доме нечистота и безвкусие, которая дает дурное понятие о хозяйке,—она точно и оправдывает такое мнение об ней. Люди, которые у него бывают, по большей части его клиенты и почитатели, громко вторящие все, что говорит хозяин.—От него я поехал на вечер к Всеволоду Андреевичу Всеволодскому<sup>3</sup>, человеку весьма богатому, и который живет сообразно своему состоянию. Он меня принял по рекомендации дяди моего Петра Марковича очень хорошо, и мне должно будет к нему ходить.

Остальные эти дни я провел в пустых хлопотах по разным делам.

20—26 сентября. Сборы к от'езду матери и переезд в другой дом заняли меня эти дни.—Разлука близкая с Лизою заставляла меня тоже чаще с нею быть. Справедливо она жаловалась на мою холодность и прощала ее: любовь всегда снисходительна, легко верит тому, что желает, а самолюбие помогает нам обманывать себя.—Мне хочется кинуть суетное желание нравиться женщинам: это слишком жестокая забава, ради одного времени, которое на нее тратишь, уже вредна она, не упоминая душевного спокойствия, которое она может погубить. 25 вечером я простился с матерью и с нею, поехавшей вместе отсюда. Я ни за что не хотел бы в другой раз в жизни быть столь-же счастливым, как был.—Занимаясь женщиной, несравненно более страдаешь, чем бываешь счастлив.—Не знаю, буду ли я иметь силы вперед отказаться от желания быть любимым и от чувственных наслаждений, но хотел бы никогда не входить в искушение.—Если бы можно было возвратить ей спокойствие! Может быть, это большое незнание женщин—опасение их верности, но и одна такая возможность мне страшна.

Теперь я здесь совершенно остался один, и кто знает на какое время? Это тяжело мне тем более, что мне не хочется пускаться в рассеянную жизнь: я хочу занятия, а одно с другим несогласно.

28. Я получил от Адеркаса еще весьма приятное письмо с дружескими советами и наставлениями для предполагаемой будущей моей воинской деятельности; как жаль, что ими не могу теперь пользоваться, равно как и присланным мне рекомендательным письмом к Дибичу; но кто знает, что еще будет!—Сегодня я был у Бегичевых. Анна Ивановна прекрасная

девушка, и верно счастлив будет ее муж, если он достоин того.

Сегодня также кончил мой портрет Григорьев. Желаю, чтобы мать моя была довольна им; мне кажется он не совсем похожим<sup>1</sup>.

*29 сентября.* Я обедал сегодня у Павлищева<sup>2</sup>, а вечер провел у Надежды Гавриловны<sup>3</sup> и у Лихардова где за него играл в вист. Перед тем я заезжал к Сенатскому обер-секретарю 2 департамента, Владимиру Михайловичу Ильину и просил его о деле с Пущиным за неуплату заемного письма, отдав ему под видом записки 200 р.: весы правосудия у нас столь верны, что малейший лоскуток бумажки дает перевес!.. Здоровье мое эти дни лучше, — я возьмусь за перевод Ван-дер-Вельде повестей (die Erzähl.), во-первых для образования слога, да и для денег. Нужно мне прочесть несколько сочинений о месте происшествий каждой повести.

*30 сентября.* Утро я ездил с визитом и обедал у Бегичевых; потом был с Анной Петровной. — Везде только что и говорят о несчастьи, случившемся с Гвардейским Егерским полком: он бежал от турок. Такой стыд беспримерен у нас, чтоб свежий, не разбитый полк, один из лучших русской гвардии, следственно, всего мира, побежал от толпы турок, — это не слыханно и непонятно. Каковы должны быть начальники, которые довели до того, что русский солдат, признанный всеми за отлично храброго, побежал, про которого Фридрих II сказал, что легче его убить, чем победить, которого мужеством, а не достоинствами генералов, освобождена Европа, и восторжествовавшего над легионами — победителями остальной Европы. В высокой степени замечания достойны подробности, и если можно узнать причины сего несчастного дела; откинув постороннюю занимательность сего происшествия, для нас,

как русских, оно весьма важно само по себе, как доказательство, что все знаемое совершенство механического устройства, соединенное с знанием теории, недостаточно без опытности и без способности начальников, и что одна необузданная храбрость, без всякого искусства, будет всегда торжествовать над нею.

Ни Варна, ни Силистрия, ни Шумла по сию пору еще не сдались; Паскевич с меньшими силами сделал, кажется, соразмерно и сделал больше. Он взял штурмом две, храбро защищавшиеся важные крепости, Карс и Ахалцию, и разбил 25.000 корпус турок с несравненно меньшими силами. Он слывет человеком гордым и глупым, но, судя по делам, у него должны быть воинские способности.

Я писал сегодня в первый раз к сестре и матери после их отъезда: к последней о делах и новостях, а первой я говорил, как необходимо нужно для поддержания дружеских связей по временам видаться.— Долгая разлука незаметно нас отчуждает друг от друга: привыкаешь обходиться один без другого, привязываешься к другим лицам и предметам, во вред прежним связям, переменяешься, как все в этом мире,—и с другим образом мыслей и чувствами должна измениться и дружба.

*1 октября.* День этот я провел у Александра Ивановича Вульфа<sup>1</sup>, обедал там, играл в вист—и проиграл 750. Там была тоже Лихардова и, по обыкновению, любезничала со мною; она, как прежде намеревалась, теперь не едет в деревню. Не знаю, удастся ли мне с ней кончить, но во всяком случае должно мне дойти до чего-нибудь явного, для поддержания своего доброго имени.— Вот третий день, как я стал по утрам окачиваться холодной водою, что приятно и здорово.— Говорят, что мы заняли в Голландии 36 мил. для продол-

жения войны — эта неутешительно, после набора 16 человек рекрутов с 1000 в один год: это первая выгода наша от этой войны, если мы не будем считать приобретенную нами славу.

*2 октября.* Нигде я не был, кроме с Анной Петровной и в Справч. место.—Египетские войска очищают Морею, на место их высажены французские: не знаю, к чему они теперь нам нужны, когда Ибрагим Паша оставит Морею? — Мария де Глория, португальская королева, привезена в Плимут<sup>1</sup>.

Варна все еще не сдается, и турки стараются ввести в нее подкрепление.

У меня опять целый почти день была изжога, и я весь вечер проспал.

3. Я продолжаю переводить Ван-дер-Вельде и собираюсь описать студенческую жизнь мою,— очень занимателен был бы рассказ студенческих обычаев, борения их мнений и умов и их вдохновенного стремления к прекрасному.— Вечером я был у Натальи Васильевны, чтобы у ней более не бывать.

Сегодня приехала из Одессы императрица.

*4 и 5 октября.* День рождения Сергея Михайловича Лихардова я провел весь почти у него: играл в карты и рассуждал с ним и женою его о пустяках; последняя, по обыкновению, была благосклонна ко мне.— Вчера Княжевич<sup>2</sup> рассказывал, что Гнедич напечатает скоро свой перевод Илиады<sup>3</sup>.— Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из Истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищении последним его дочери.— Стихи, как всегда, прекрасные, а любовь молодой девушки к 60-летнему старику и крестному отцу, Мазепе, и характер сего скрытного и жестокого честолюбца превосходно описаны.— Судя по началу<sup>4</sup>, об'ем сего произведения гораздо обширнее

прежних его поэм. Картины, все несравненно полнее всех прежних: он истощает как бы свой предмет. Только описание нрава Мазепы мне что-то знакомо; не знаю, я как будто читал прежде похожее: может быть, что это от того, что он исторически верен, или я таким его воображал себе.

Мне должно писать к Лизе, но не знаю что: голова пуста, язык нем, а воображение застыло, или заснуло, или вовсе его нет...

6. Несмотря на дурную погоду — снег, ветер и грязь, — я был в Департаменте, но по пустому: там нечего было делать. — Обедал я потом у Бегичевых, а вечер был с Анной Петровной.

7 октября. Из дурной осенней погоды сделался сегодня прекрасный зимний день, который мне тем кажется приятнее, что я сейчас получил презанимательное письмо от Франциуса, в котором он уведомляет меня об всех наших собратях и друзьях<sup>1</sup>. — Обедал я у Лихардовых на именинах, а вечером приехал барон Дельвиг после 9 месячного отсутствия<sup>2</sup>. По справедливости, мне можно назвать нынешний день счастливым: довольно бы было и одного из сих происшествий, чтобы сделать его таким.

8 октября. Весь день я провел с бароном. Я не встречал человека, который так всеми бы был любим и столько бы оную любовь заслуживал, как он. Его приветливое добродушие имеет не из'яснимую прелесть; он так прост и сердечен в своем обращении со всеми, что невозможно его не любить<sup>3</sup>. — Из Москвы он привез Бальный вечер и сказку Баратынского, которые он скоро тиснет<sup>4</sup>: сам же барон, кажется, ничего не написал.

9. Баронесса меня довольно холодно встретила, и по сию пору мы ни слова не говорили о прошлом<sup>5</sup>.



10 октября. По утру пришел ко мне Аладьин<sup>1</sup> и принес письмо от Языкова — удовольствие неожиданное и удвоенное новым посланием ко мне, которое он написал по случаю намерения моего ехать на войны<sup>2</sup>. Если бы такое желание и не таилось во мне, то одного подобного вдохновенного привета довольно бы было, чтобы воспламенить меня. — Аладьин мне читал еще Языкова же послание к Степанову, Развалины и переделанное послание к Аделаиде; Развалины в особенности хороши, — жаль, что он дает так много Аладьину<sup>3</sup>.

11. Я почти целый день опять пробыл у барона. Пушкин уже пишет 3 песню своей поэмы, дошел до Полтавской Виктории<sup>4</sup>; тут я увидел тоже вершеписца Коншина<sup>5</sup>. Софья становится нежнее со мною, я от этого в замешательстве: мне не хотелось бы на его счет гулять, а другого средства нет, чтобы избежать опасности, как не ходить ни к нему, ни к Анне Петровне<sup>6</sup>, что мне весьма тяжело.

12. Барон мне дал для Языкова списать отрывок Бального вечера, за что я весьма благодарен. Обедал я у Никитина. — Софья была еще нежнее: что будет — будет. Варна сдалась.

13 октября. Я отвечал Языкову<sup>7</sup>, потом был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет в 3 песнях и под названием Полтавы, потому что ни Кочубеем, ни Мазепой ее назвать нельзя по частным причинам<sup>8</sup>. Казнь Кочубея очень хороша, раскаяние Мазепы в том, что он надеялся на Палладина Карла XII, который умел только выигрывать сражения, тоже весьма истинна и хорошо рассказана. — Можно быть уверену, что Пушкин в этом роде Исторических повестей успеет не менее, чем в прежних своих. — Обедал я у его отца, возвра-

тившегося из Псковской губ., где я слышал много про Тригорское.

Софья все еще также, как и прежде. Также и Лихардова кокетничает по старому.

*14 октября.* В день рождения матери своей приехал сюда государь. Говорят, что взяли Бургас. По утрам я писал к Адеркасу, потом обедал у Бегичевых, а вечер провел с Дельвигом и Пушкиным. Говорили об том и другом, а в особенности об Баратынском<sup>1</sup> и Грибоедове комедии *Горе от ума*, в которой барон, несправедливо, не находит никакого достоинства<sup>2</sup>.

В 10 часов ушли они ужинать, а я остался с Анной Петровной и баронессою. Она лежала на кровати, я лег к ее ногам и ласкал их. Анна Петровна была за перегородкою; наконец вышла на минуту, и София подала мне руку. Я осыпал ее поцелуями, говорил, что я счастлив, счастлив, как тогда, как в первый раз целовал эту руку.—Я не думала, чтобы она для вас имела такую цену,—сказала она, поцеловав меня в голову. Я все еще держал руку, трепетавшую под моими лобзаниями; не в силах выдерживать мой взгляд, она закрыла лицо. Давно безделица меня столько не счастлививала,—но зашумело платье, и Анна Петровна взошла.

*15—17.* Я получил весьма занимательные письма от сестры, от Евпраксеи<sup>3</sup>, от матери и от Лизы, и ответы на оные так меня заняли, что я пропустил два дня записать<sup>4</sup>. Материно очень нежно; она хочет знать мои желания и надежды и т. п. Лиза прислала целый журнал: сначала она говорит о страданиях и разлуке, а наконец, она жестоко ревнует меня к Катерине Ивановне, думая, что я ее люблю и что она обманута. На два последние письма я еще не отвечал.—Шахматов, начальник моего отделения, позвал меня к себе и предложил мне жалованье 200 р. в год. Он извинялся, что

предлагает такую безделицу, и советовал мне оное принять для того только, что считают тех, которые на жалованье служат, как истинно и с большим рвением служащих; я благодарил его за хорошее расположение ко мне и принял предлагаемое.

18. Поутру я зашел к Анне Петровне и нашел там, как обыкновенно, Софью. В это время к ней кто-то приехал, ей должно было уйти, но она обещала возвратиться. Анна Петровна тоже уехала, и я остался чинить перья для Софьи; она не обманула и скоро возвратилась. Таким образом были мы наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я, как почти всегда в таких случаях, не знал, что говорить, она, кажется, не менее моего была в замешательстве, и видимо мы не знали оба с чего начать,—вдруг явился тут Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в Северные Цветы, и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает<sup>1</sup>.

Странное было для меня положение быть наедине с женщиною, в которую я должен быть влюблен, плачущею об прежних своих грехах. Но она вдруг перестала, извинялась передо мною, и мы как то ощупью на истинный путь попали; она просила меня переменить обращение с нею и не стараться казаться ей влюбленным, когда я такой не есть,—тогда нам будет обоим легче, мы не будем принужденны в обращении друг с другом, и хотела, чтобы я ее просто полюбил, как друга.

Внутренно я радовался такому предложению и согласен был с нею, но невозможно было ей это сказать:

я остался при прежнем мнении моем, что ее люблю, что мое обращение непринужденно с ней, что оно естественно и иначе быть не может, согласясь, впрочем, стараться быть иначе с нею. Я поспешил уйти, во-первых, чтобы прервать разговор, который клонился не в мою пользу, и чтобы не дожидаться прихода мужа. Я даже отказался от обеда на ее приглашение, ибо я точно боюсь подозрения барона: я не верю ему.

Вечером я нашел ее опять там же. Анна Петровна заснула, и мы остались одни: я, не теряя времени, заметил ей, что все ею поутру сказанное несправедливо, ибо основано на ложном мнении, что я ее не люблю; она отвечала, написав Баратынского стихи: не соблазняй меня, я не могу любить, ты только кровь волнуешь во мне <sup>1</sup>; я жаловался на то, что она винила меня в своей вине; она мне предложила дружбу; я отвечал, что та не существует между мужчиною и женщиною, да и ее бы столь же скоро прошла, как и любовь, ибо, когда я первой не мог удержать за собою, то невозможно заслужить и последнюю.—Что же вы чувствуете к Анне Петровне, когда не верите в дружбу,—написала опять она;—и это следствие любви—отвечал я—ее ко мне! И я остановился, не имея духа ей сказать „люблю“: *c'est l'amour*—вырвалось у меня. Она стала упрекать, что я все твержу свое, и слова мне, как в стену горюх, и писала, что я должен быть ей другом без других намерений и требований, и тогда она тем более будет меня любить, тем лучше я стану себя вести с нею. Довольный вообще такими условиями, которые я мог толковать всегда в свою пользу и не исполнять, когда невыгодны они, я спешил ее оставить, опасаясь прихода мужа. На прощанье я опять завладел рукою, хотел поцеловать ее, но встретил ее большие глаза, которые должны были остановить дерзкого,—это меня позаба-

вило: я отвечал насмешливо — нежным взором, как бы веселясь слабостью ее и своей собственной невредимостью.

Писал к сестре и Евпракsee и отослал письма № 2.

19. С отправляющимся к матери в Малинники Пушкиным 2 я писал к ней и отвечал на ее вопрос: чего я желаю? — Я сказал про себя, что я честолюбив, недоволен собою, хочу с весною на войну, а потом в отставку.

Сегодня был большой парад на Царицыном лугу (Марсово поле). 4 полка кирасиров и вся здесь находящаяся пехота были на нем; государь, наследник, и императрица с княжнами присутствовали тоже; разумеется, что и стечение народа было очень велико.

Зрелище великолепное, но если вспомнишь, как оно тягостно каждому действующему лицу, то очарование исчезнет.

Софью я почти не видал, по крайней мере, не сказал ей ни слова.

20. У Анны Петровны я узнал, что сегодня день рождения Софьи, и пошел ее с оным поздравить<sup>2</sup>. Она принуждена была сознаться, что дружбы большой между нами быть не может, и что она немного только ее имеет ко мне; вечером я жаловался ей на такое равнодушие ко мне и то, что чем более она меня узнает, тем более ценит меня: тут снова она стала уверять в дружбе и пр. После я был у Лихардова. — Отвечаю на длинное Лизино письмо.

21. Поутру я писал к Лизе; надеюсь, что это письмо успокоит ее. Обедал я у Бегичевых, а после был я у моего хозяина Максимовича: у него дочь презабавная вертушка, а сын большой говорун и фокусник; я обещал у них быть в среду. Вечер я был у барона, который спрашивал, не подрался ли я с его женою, что так давно у него не был. Он читал мне Бальный вечер

Баратынского: любовь княгини прекрасна, нежна и пламенная, а ревность ужасна<sup>1</sup>. Соболевский, нечаянно приехавший из Москвы, помешал мне дослушать; он иногда довольно забавно врет<sup>2</sup>. — Другой уже день, как я страдаю поносом, который усилился, кажется, от невоздержания моего и от горского вина, которое я пил у барона.

22. Сегодня праздник Казанской Богородицы. Я пошел рано (в 10 час.) в Казанскую церковь, надеясь увидеть там Государя и царское семейство. Случай поставил меня за толстяка, который, нещадно расталкивая толпу, провел меня почти до самого иконостаса, ибо я пользовался пустым местом, которое он, подвигаясь, оставлял за собою: толпа, как волны, раздвигаясь перед ним, не могла ради его огромности сзади за ним соединиться. Но я не мог долго выдержать эту бесконечную толкотню и очень счастлив был, когда продрался назад. — И после того есть столь бессовестные люди, которые уверяют, что они молятся в церкви и для того туда ходят! Оттуда я пошел в Справочное место. Султан с Санджак Шерифом выступил в лагерь: более ста лет со времен Магмуда II Султан не начальствовал сам войсками, — теперь то вероятно начнется главная для нас потеха! Португальская королева в Лондоне, где ее весьма хорошо принимают: чем-то кончится Д. фарса. Ибрагим Паша очищает Морею, следовательно, французам нечего будет там делать. Наш Эриванский, получив подкрепление, двинулся вперед к Требизонду и взял еще важную крепость — это известие еще только что привезли и не об'явлено.

23. В день приезда государя открыли поставленную на Арке Главного Штаба колесницу, запряженную 6 лошадьми, гений славы — в одной руке с венком, а другою опирающийся на жезл, на конце коего виден русский двуглавый орел, стоит в ней. — Все вылитое из чугуна

на казенных заводах и обшито вызолоченною медью. Площадь и Главный Штаб много выиграли от сего украшения. Обедал я у Ольги Павлицевой<sup>1</sup>, а вечер провел с бароном. Анна Петровна сказала мне, что вчера поутру у ней было сильное беспокойство: ей казалось чувствовать последствия нашей дружбы. Мне это было неприятно и вместе радостно: неприятно ради ее, потому что тем бы она опять приведена была в затруднительное положение, а мне радостно, как удостоверение в моих способностях физических.—Но, кажется, она обманулась.

24. В Департаменте я узнал, что сегодня в 2 часа утра скончалась импер. Марья Федоровна; родилась 14 окт. 1759, следственно жила она 69 лет и 10 дней. Болезнь ее не была продолжительной: 22, день Каз. Богородицы, она еще вставала и водили ее в церковь, 23 после полудня ей стало хуже, в 10 часов вечера приобщили и помазали ее миром, а в 2 утра она скончалась, как говорят, лихорадкою, которая ее все клонила ко сну.—Много несчастных потеряли в ней свою покровительницу, а воспитательные заведения свою основательницу и попечительницу. Россия ей должна всегда остаться благодарною за тысячи матерей, которые образовались ее попечениями; в последние минуты она еще заботилась о вдовах, оставшихся после убитых офицеров, и она уже была в лучшем мире, когда последние ею пожалованные деньги, 15 т., для раненых не были еще отправлены на почте. Она не напрасно была поставлена судьбою так высоко!—После обеда, когда началось смеркаться, во время, называемое между собакою и волком, я сидел у Анны Петровны подле Софьи; целуя ее руку, благодарил я за наслаждение, которым она меня дарит, награждает за мое доброе поведение; она уверяла, что этому она не причиною, и что я не заслуживаю награды,

ибо я не таков, каковым должен быть; потом смеялась надо мною, что я верно сделал завоевание дочери моего хозяина, и говорила que je suis sèduisant, в чем я никак не соглашался; она вообще, кажется, была в волнении.— Потом был я у моего хозяина ради дочери, за ней волочился какой-то Хвостов с круглою, как месяц, рожею и пустою, как тыква головою,—его семейство прежде жило в Дерпте.

25. Из Департамента заходил я в ломбард по делу тетки Надежды Гавриловны. Ей вот уже более 2 месяцев не высылают из Пскова свидетельства. Обедал я у барона по приглашению Софьи.— Я все не доволен обращением ее со мною: или это от того, что я взвешиваю каждое слово на весы подозрения?— Вечером я ждал Wessels и Bayer<sup>1</sup>, но последний не пришел ко мне, что весьма досадно.

26. Обедал я у Пушкина<sup>2</sup>, потом был у Княжевича, а вечером зашел к Анне Петровне. Она, бедная, страдает болью в груди и прогнала меня от себя.— У ней же на минуту была и Софья.— По всегдашнему она была любезна со мною, говорила, что я их забываю, и что барон спрашивал за обедом, отчего меня нет. Я не хотел бы принять это за насмешку, но опасаясь, не точно ли оно было что-нибудь на то похожее.— Вот другая неделя, как я все сочиняю и не могу сочинить письма к Адеркасу,— это досадно. Желудочная боль моя проходит; ежели я долее поживу здесь, то буду страдать от гемороидов.

27. Сегодня я получил письмо от сестры; она пишет что Лиза с Сашенькою<sup>3</sup> неразлучны, и что эта рассказала про обещанный портрет. Бедная Лизавета каждый день узнает что-нибудь новое про меня, ей мучительное,— надо писать. Вечером был у Лихардова и имел глупость заспорить и разгорячиться с Анной Ивановной об нес-



носном письме Максимовича. Меня и теперь это сердит: не прощу никогда себе такой нерассудительности, — завтра же пойду к ней и буду, сколько умею с ней любезничать. — Я играл там в скучную мушку и проиграл 2 р. 50. Потом заходил к Анне Петровне и барону.

28. Поутру ходил я гулять по Невскому проспекту, не успев окончить к сестре письма по причине прихода ко мне малоросса Литвинова; его процессы все еще идут весьма дурно, потому что он не дает столько денег, сколько нужно давать обер-секретарям; я дал ему еще 20 руб. — К Бегичевым я опоздал обедать и должен был зайти в трактир; возвращаясь оттуда, я нашел письмо от матери и сестры; она соглашается на мое желание вступить в военную службу, вследствие сего я буду приготавливаться к походу, займусь учением каваллерийской службы и турецким языком. За согласие матери я не могу ей довольно быть благодарным: только желаю, мне бы хотелось ей доказать, сколько я чувствую ее любовь ко мне, сколько сие ценю и как бы сердечно хотел ей за все воздать. Провидение, бог, или собственное сознание добра, которое она делает, да наградят ей — я не в силах. Я хочу быть счастливым для того, чтобы, если это возможно, сделать ее такою!!!

Окончив письмо к сестре, я (к великой моей досаде) с 7 до 10 часов вечера проспал, а потом пошел к барону; там был Иличевский<sup>1</sup> и князь Эристов<sup>2</sup>; последний очень приятен в обществе: он имеет дар передразнивать и голосом и движениями, он равно хорошо представляет первых актеров здешних театров и ворон, скачущих около кучи выкинутого сора.

29—30. Писал я к сестре и матери, обедал у барона. Я купил турецкие разговоры, I часть; во второй части обещает Сеньковской и краткую грамматику; по моему, гораздо лучше было бы напечатать прежде грамматику,

а потом уже разговоры, — тогда и последние были бы понятнее<sup>1</sup>.

30. Вечером у Дельвига видел я Плетнева: он учит русскому языку наследника и великих княжен, про воспитание коих рассказывал он некоторые подробности<sup>2</sup>. Барон читал свое Видение, писанное рассказом русских песен; Пастушеская последняя его Идиллия тоже очень хороша<sup>3</sup>.

31. Павлищев говорил, что будто носятся слухи о мире с Турками, и о конгрессе, на сей случай, предполагаемом быть: это было бы мне не к стати, мои воинственные планы расстроились бы тогда. Теперь все служащие ездят к телу покойной императрицы.

1 ноября. Все это время я опять ничего порядочного не делаю; надо заняться теперь военными науками, купить учебные кавалерийские книги и пр. Ван-дер-Вельде я не успею перевести, так я и оставлю начатое; постараюсь написать что-нибудь об моей студенческой жизни. Вечером я был у Павлищева, где много было музыкантов, между прочим, Глинка, который, говорят, лучше сочиняет, чем играет, хотя он в последнем и весьма искусен<sup>4</sup>. — Мне музыка напоминала то Ребен-тиша с деревенскою моею жизнью, то удалые наши студенческие квартеты, особливо под конец, когда каждый играл свое; не доставало только пунша, чтобы довершить обман (illusion).

2. Целое утро просидел я над письмом к Адеркасу и все еще не написал его!!! Потом был я в Справочном месте; вечером принесли мне письма от матери и сестры, а в последнем милую приписку от Пушкина, которая начинается желанием здоровья Тверского Ловеласа С. Петербургскому Вальмону. — Верно он был в весьма хорошем расположении духа и, любезничая с тамошними красавицами, чтобы пошутить над ними, писал

ко мне,—но и это очень меня порадовало<sup>1</sup>. — Мать посылает мне благословение на войну, а сестра грустит бедная,—кажется, ее дела идут к худому концу: это грустно и не знаю чем помочь; ежели мне вмешаться в них, то, во всяком случае, будет только хуже.— Странное дело: людям даже и собственный опыт не помогает, когда страсти их вмешаются!

3. Сегодня тоже весьма приятно начался для меня день получением от Языкова письма<sup>2</sup> с посланием к барону; он извиняется в замедлении ответа на мое письмо обыкновенным расстройством своих финансов, а послание к Дельвигу посылает в доказательство слабости и нездоровья душевных сил,—в этом он не совсем неправ: есть прекрасные стихи, но есть и старые обороты и мысли<sup>3</sup>. Но для меня все, что вышло из под пера Николая Михайловича прекрасно и также мило, как нежные уверения любовницы в своей страсти пламенному любовнику.—Я хотел купить уставы каваллерийской службы, но они очень дороги, их 3 части, и каждая по 20 р.; также я не мог найти образцов мундиров гусарских и уланских полков.—Барон читал мне цензурой пропущенные стихи Пушкина, Баратынского, свои и Вронченкины, которые будут помещены в Северных Цветах.

4 и 5. Эти два дня я ничего не сделал хорошего: все собирался писать письма и не писал. Я опять отвык от дела: как скоро возьмусь за перо, то уже сон меня и клонит, и в голове пусто. Я получил письмо от Лизы от 4 окт., отосланное прежде первого ее письма; вот уже более двух недель, как она ни ко мне, ни к Анне Петровне не пишет,—это удивительно: верно ее слишком тронуло слышанное обо мне; Пушкин тоже прибавил про баронессу,— вот верно причины ее молчания; завтра я хочу и к ней писать, если бог поможет. Императрицу вчера положили в гроб и поставили в *Castrum doloris* и теперь

пускают к ней без различия.— В политическом мире обещают нам конгресс и именно здесь в Птрб. Дай бог, чтобы он был и кончился миром: тогда бы искушение мое кончилось.— Вчера рассказывали, будто бы умерла, Елена Павловна; Константин, говорят, приехал сюда.

6. Обедал я у Шахматова. Наконец удалось мне написать Адеркасу; к сестре и матери я тоже писал а вечер, как всегда почти, был у Анны Петровны и барона.

7. Всю ночь и утро шел снег, и установилась прекрасная санная дорога; пушистый мягкий снег мне сильно напоминал прошлый год: мое житье в Твери, пороши, охоту и любовные мои подвиги; я желал снова быть там, городская жизнь являлась мне во всей своей пустоте, холодности, и я бы с восторгом ее поменял на однообразную деревенскую; самая метелица меня радовала: я вспоминал, как под таким же ветром, в легких санях, я носился по белым равнинам, то к ногам красавицы, то от нее.

Ночь была, кроме маленького ветра, прекрасная; на чистом темно-синем небе высоко стоял месяц, резкие, не длинные тени домов лежали на чистой и яркой белизне снега и делили улицы на две половины; черта, их разделявшая, тянулась то ровная, то уступами, сообразуясь с неровной высотой зданий.— Я, Анна Петровна и Софья Михайловна поехали кататься,—легко скользили сани по уезжанной уже улице, следы полозьев ярко блестели в лучах месяца и параллельно тянулись за санями, летел брызгами мелкий снег из под копыт лошади, и два столба пара клубились из ее ноздрей; много саней видно было на Невском проспекте: иные постепенно перегоняли нас, другие также отставали, изредка лихой извозчик или купец быстро мчались мимо на рысаках, которые, казалось, неслись не по воле правящих ими,

а как будто закусив удила.—Катание было весьма приятное, холод как то живил и веселил чувства; мы заезжали в кондитерскую выпить сабоиону и возвратились домой, довольные прогулкой.—Остальной вечер я просидел у ног Софьи на полу; она была довольно нежна и пела все: „Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей“<sup>1</sup>. etc.

8. Из Департамента я заходил поздравить Софью с именинами ее отца и брата, а обедал я у Бегичевых, где, разумеется, кроме вопросов о матери и сестре, да разговоров об теле императрицы, ничего замечательного не было слышно. Константин, говорят, очень болен.—Потом пошел я к барону и нашел Софью одну: она была печальна, и я не мог быть с нею нежен, ибо ее тоска отнимала дух говорить ей что-нибудь на то похожее. Потом пришел барон с Яковлевым, который много пел<sup>2</sup>. Какая прелесть в человеческом голосе! как завиден дар музыки; его самостоятельность, независимость должны творить мир наслаждений самодовольных!—Мы ездили опять кататься, ночь была тоже прекрасна, но лошадь у нашего извозчика была нехороша.

9. У барона читал я Языкова, прежние стихи, которые он еще не знал; из них он похвалил один Ручей<sup>3</sup> и говорил, что они только годны для эпиграфов к романам; я с ним согласен: это самые слабые его пьесы и, как кажется, первые; последние его послания ко мне (об празднике студентов и о журналистах) тоже и к барону<sup>4</sup> не соответствовали тоже моим ожиданиям; в них есть хорошие стихи, сильные слова, но нет новых мыслей, обороты их даже те же.

10. Сегодня в день именин Лихардовой я обедал у нее, сколько успел любезничал и танцевал с нею не только вальс, но и французскую кадрили; муж был в большом, кажется, страхе, чтобы не подумали, что у него

бал в такое печальное и траурное время, тем более, что он сам недавно потерял маленькую дочку.— Оттуда я зашел к барону; Софья смеялась надо мной на счет Лихардовой и, сколько мне кажется, над нетерпением видеть Анну Петровну; она была очень внимательна ко мне.— Пришел домой, нашел я письмо от матери с припиской от брата Ивана Петровича Вульф<sup>1</sup>. Мать, по заботливому своему нраву, беспокоится об моем вступлении в службу и, кажется, желала бы меня видеть в гвардии— со временем это возможно,— а Иван Петрович пеняет мне за мое молчание и спрашивает о том, об чем уже я ему писал.

11. Сегодня я пошел поутру с визитами (я не знаю русского слова однозначного, разве: навещать). Погода была очень дурная: прекрасная зима, простоявшая 3 дня, еще вчера совершенно сошла, дождь и слякоть осенняя заменили ее; на Литейной встретил я наследника: завидев издали, я хотел, чтобы не кланяться ему, перейти на другую сторону улицы, но грязь удержала меня, ворот или дверей тоже не случилось, в которые можно бы мне взойти, и, нахмурия брови, должен был поклониться. Странна такая неприязнь во мне к власти и всему, что близко к ней; самые лица (напр. государя) я скорее люблю, чем не люблю, но коль скоро я в них вижу самодержцев, то невольное отвращение овладевает мною, и я чувствую какое-то желание противодействия (*braver*), как доказательство, что не страшусь их, пренебрегаю ими.— Пообедав у Пушкиных, я поехал с бароном, Софьей и Анной Петровной к телу императрицы.— В первый раз я входил в этот дворец. Идучи по широкой лестнице и по высоким переходам, я вспоминал наших царей, что они также ходили здесь, как мы, а имя их скоро, также как и наши, забыто будет,— неприятен вид этих пустых и совершенно голых зал,

где только кой-где шатается лакей или стоит часовой. Я прошел залу с портретами генералов, не успел взглянуть на них: жаль, что они так высоко повешены, что нельзя рассмотреть верхние. — Наконец в одной из комнат увидели мы толпу кружащегося народа (его впускали с другого под'езда), который, как длинной полосой обходя одну залу, тянулся в другую; нас провели прямо поперек этого круга, мимо караула в печальную залу (Castrum doloris).

Первый предмет, который нам бросился в глаза, был священник, читавший евангелие, далее, влево, виден был катафалк с гробом на нем, покрытым порфирой; толпа народа, дежурных придворных мужчин и женщин, офицеров, кадетов и гренадеров так были перемешаны между собой и так было тесно, что целое не имело ничего порядочного, чинного и печального. Дым от разных курений и от свеч, закоптив совершенно убранный верх катафалка, был так густ, что не видно было потолка; комната была несообразно мала и казалась совершенно загроможденною. — Вот, что мог я заметить в несколько минут пребывания моего у тела; я ожидал, что эта картина пышности и печали произведет впечатление в душе, оставит что-нибудь после себя в памяти, — нимало, я был там как-бы в маскараде.

12. Поутру я рано вышел из дому посмотреть на герольдов, но я не увидел их, а заходил в Казанскую церковь, где служил митрополит. Пообедав у Павлищева, я ездил вместе с ним к Александру Ивановичу на Выборгскую сторону.

13. В 9 часов утра поехал я с Дельвигами и А. П. в павловские казармы, чтобы оттуда смотреть на погребение императрицы; мы нашли уже войска поставленными по обеим сторонам Миллионной улицы, от самого Зимнего дворца до Царицына луга и оттуда до Воскре-

сенского моста. Из занимаемого нами окна в одной офицерской комнате стечение народа, разумеется, было чрезвычайно, следственно были и обыкновенные происшествия, случающиеся в таких обстоятельствах, как-то: споры народа с полицией, давка и т. п. В час по полудни началось шествие, потянулись распущенные шляпы и черные плащи, за ними гербы губерний, царств, цехов, печальные кареты и все при таких случаях следующее.

14—20. Вот около недели, что я ленился и не писал, — у меня накопилось к этому времени много писем; на 3 письма Лизы я отвечал двумя; она присылала письмо Анне Петровне, в котором та уверяла, что я ее не люблю, — надеюсь, что последние мои письма уверят ее в противном; к матери и сестре я тоже несколько раз писал и говорил о намерении моем вступить в военную службу. Все время я болен был гемороидами, которые, кажется, открылись задним проходом, и теперь я еще нездоров; меня уверяли, что это здоровая болезнь и что с нею доживают до глубокой старости (Steinalt). Я был у Wessels с Bayer, которому отдал письмо Франциуса; он звал меня вместе отправиться к Паскевичу-Эриванскому, но мне кажется это слишком далеко. — Как обыкновенно, я бывал каждый день у барона и Анны Петровны.

21. Сегодня я было хотел побывать у Миллера, Шахматова и Энгельсона, но нигде не был, а обедал у Анны Петровны, а остаток дня просидел дома и читал Китайский роман<sup>1</sup>. В справочном месте я не нашел ничего замечательного в газетах. Судя по грамоте на Андреевский орден Дибичу, война у нас непременно продолжится, следственно и я поеду туда же. Я писал сегодня к матери, а получил письмо от Лизы: она жалуется на молчание. Сегодня вечером от сильного морского ветра



вода начала сильно подыматься; около 9 часов она уже выступила из Фонтанки, а теперь вероятно еще выше; не будет ли повторения 7 ноября 1824 г.?—Недавно я прочитал роман итальянского W. Scotta Manzoni *Сговоренные*.<sup>1</sup> Как картина нравов того времени (начало XVII столет.) в Италии и как описание некоторых происшествий, как-то: холода в Милане, моровой язвы и частью прохода немецких войск, он заслуживает большую похвалу; особенно два первых несчастья хорошо рассказаны, про последние мы более слышим, чем видим, как от мимо нас пролетающей ночью стаи птиц мы слышим шум, не видя его.—Менее хорошо выведены лица, их черты не резки и не сильны; еще менее можно похвалить самую драму: завязка не занимательна, есть вводные лица, которые совсем не нужны, ход происшествий не жив, нет постепенно возрастающего интереса, и оный совершенно кончится прежде, нежели сочинитель окончит свой рассказ, который сверх того еще чрезвычайно длинен.

22. Несмотря на свидетельство, присланное из Псковской гражд. Палаты, явилось новое препятствие получению денег Над. Гавр.: в доверенности Катерины Ивановны не сказано именно, что она дает мужу право закладывать имение, от того нужно новое верующее письмо,—это досадно. Чтобы поговорить об этом, я проездил к Александру мои последние деньги и к тому же еще по пустому, ибо не нашел его дома. Обедал я у барона—и после сидел один с Софьей: она была нежна и, несмотря на чеснок, я обнимал и целовал ее; только что я успел выйти, как пришла к ней Анна Петровна—хорошо, что не несколькими минутами ранее. Вечером я был у Павлищевых.

23. Обедал я у Павлищева, который после пришел ко мне и пробыл целый вечер; говорили мы все более

про 2-ую армию и Витгенштейна, я расспрашивал о гусарских и уланских полках.

24 ноября. Екатеринин денья ходил поздравить Симанскую и Бегичеву, после я обедал у первой. Прогулка такая в Коломну, а оттуда в Сергеевскую и назад отозвалась сильно у меня на ногах; после обеда был я у Вессельса с Байером, оттуда, ненашед Лихардова дома, я был у барона. Там видел я Титова<sup>1</sup>, сотрудника Московского Вестника, и Туманского (брата Федора Туманского)<sup>2</sup>. Софья упрекала меня в нежности к ней — и была со мною еще нежнее прежнего, чесночный дух (третьего дня она с мужем много его ела) не отнимал более ничего от сладости поцелуев, — она сидела у фортепиан, и стоя перед нею на колене, мне ловко было ее обнимать, тогда когда ее рука окружала мою шею... Так наша воля слаба, наши намерения противоречат словам, — после каждого поцелуя она закрывала лицо и страдала от того, что сделала и что готова была снова повторить, — я молчал, не смел не только утешать или разуверять, но даже говорить; оставлял ее и бегал по комнате. Надо кончать наслаждаться, забыв все, или совсем не искушать себя напрасно.

25. Поутру писал я к Лизе, а потом, зашедши к барону, я остался там целый день; вечером был там Иван Яковлевич Туманский и Сомов<sup>3</sup>. Мы просидели до 2-х часов; Софья была как всегда мила, но мы не имели случая быть очень нежными. — Пришедши домой, я нашел письмо от Франциуса, который зовет меня на свадьбу, имеющую быть через три недели; тяжело мне будет, если я принужден буду не исполнить обещания и не поеду к нему: теперь я не предвижу никакой возможности исполнить мое желание, однако, не теряю еще надежды, — 500 р. довольно бы мне было на эту поездку, — но где их взять?

26. При мне получили Пушкины письмо от Льва из Тифлиса<sup>1</sup>; как Надежда Осиповна обрадовалась ему, — если бы он это видел, верно чаще и больше бы писал: смотря на нее, я думал: так и моя мать будет радоваться, когда я буду писать с Дуная.—Время приходит, что и мне пора будет ехать, расстаться со всем, что я знаю, что люблю;—я должен буду жить с людьми совершенно другого рода, и, может быть, бог знает какими! —но это мелочь, пустота: я должен привыкнуть жить с самим собою; кто желает достигнуть чего-нибудь, произвести из самого себя что-нибудь достойное, должен быть доволен сам собой.—Я вечером был дома, чтобы писать письма и приготовил к отправлению к матери, сестрам и к Лизе.

27. Были у меня Байер и Вессельс, а вечером приехал Петр Маркович из Твери совсем неожиданно. Лиза жалуется на мое молчание и говорит, что получила только 2 письма от меня; это удивительно, тогда когда я к ней писал около 6 раз.—Она мне прислала выписку из Записок Современницы, (*les Memoires d'une Contemporaine*), письма Napoleon к Josephine: они очень хорошо написаны и очень нежны.

28. Петр Маркович у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни. Это дало мне случай ее жестоко обмануть (*la ratter*); мне самому досаднее было, чем ей, потому что я уверил ее, что я ранее . . . . ., а в самом деле не то было, я увидел себя несамостоятельным: это досадно и моему самолюбию убийственно.—Но за то вечером мне удалось так, как еще никогда не удавалось.—Софья была тоже довольна нежна, но не хотела меня поцеловать. Я заказал себе новую печать—и раскаялся в этой издержке; моего Байрона я тоже отдал переплесть.

29. Сегодня я тоже получил от Лизы письма от 4 по 8 число и посылку с вязаным галстухом для дороги: письма очень нежны; я пришел из Департамента и тотчас сел отвечать на него; до 7 часов я писал, а потом пошел к Надежде Гавриловне, но не нашел дома; потом катался с бароном и Анной Петровной, у которой пробыл и вечер.

30. Сегодня целый день пробыл я дома, ходил к Бегичевым, но они уже обедали, Анны Петровны я тоже не застал дома, а Софья вечером была нездорова и лежала в постели, следственно, я никого не видал. После обеда (не моего, потому что я не обедал), писал я к Лизе и получил еще письмо от нее от 17 числа. Надо отвечать Франциусу и Языкову, особенно первого поздравить должно со свадьбою.

1 декабря. Поутру я ходил в справочное место, оттуда заходил в юнкерскую школу, где видел Дирина<sup>1</sup> и брата Шепелева<sup>2</sup>; в каморах все очень чисто и порядочно, но не заметно следа, чтобы кто-нибудь из воспитанников чем-либо занимался. Пообедав у Пушкиных, я был на вечере у Межуева (чиновника нашего отд.), который праздновал свое обручение, или что-то на то похожее. Я немного танцевал, ибо ни одной девушки не было, которая, по крайней мере, порядочно танцевала; одна невеста только довольно хорошо, но и то не очень: молоденькая купеческая дочка,—вот и все.

2 декабря. Навещал я поутру Наталью Васильевну и Миллеровых, обедал у Бегичевых, где Павла Ивановна<sup>3</sup> больна лежит в постели, как говорят, желудочною лихорадкою; оттуда ходил я к Надежде Гавриловне, играл там с Netty и с Ададуровой (красавицей Петруши) в слова, которые должно отгадывать по последним слогам, и наконец был у барона. Софья Михайловна больна зубами; там был Иличевский. Вчерашнею ночью выпал

большой снег, и, кажется, зимний путь установился, так что мы на санях можем выехать отсюда. Около 15 числа обещает Петр Маркович выехать отсюда,— мне бы очень было это приятно.

3. Обедал я сначала с одной Софьей, а под конец обеда приехал и барон.—После обеда я проспал у Анны Петровны, а вечер дома читал „Красавицу Пертскую“, один из последних романов W. Scott'a<sup>1</sup>. Он, кажется, во всех сочинениях своих остается равно занимателен от соединения исторического описания с описанием нравов времени вообще, с частными лицами.

4. Я заходил в Департамент с тем, чтобы получить за два месяца следующее мне скромное, бедное мое жалование, но не было экзекутора; в отделении Шахматова не было тоже и старшего начальника, по случаю именин жены первого. Я сходил поздравить ее и был приглашен на вечер.—Возвращаясь домой, я, к удивлению моему, нашел у себя моего столоначальника Платунова и, судя по времени дня, в слишком веселом расположении духа. Я догадался тотчас причине сего посещения, взглянув на влажные, туманные глаза и, вспомнив, что я слышал про его склонность к хмельному.—Сколько я ни люблю вино, пенящееся в дружественной чаше и оживляющее беседу, согревая ум, сердце; как ни весело иногда видеть приятеля, которого головою завладел хмель, и которого язык без воли говорящего передает мысль скорее, чем они составятся в душе,—но вид пьяного просто неприятен, жалок и мне.—Вечером я танцевал у Шахматова. Там были: дом Всеволодского, его побочная дочь княжна Шаховская и пр. Были еще два молодых человека, братья Атрешевы. Танцы не очень хорошо шли за недостатком играющих на фортепиано и танцующих. Вальсируя с одною роскошною, хорошо сотворенною и молодою вдовою,

которая и лицом не дурна, я заметил, что в это время можно сильно действовать на чувственность женщины, устремляя на нее свою волю. Она в невольное пришла смятение, когда мерно, сладострастно вертяся, я глядел на нее, как бы глазами желая перелить негу моих чувств: я буду делать опыты, особенно с женщинами горячего темперамента. С кн. Шаховской один из братьев глупо нежничал и ревновал меня к ней, потому что она обращалась несколько раз ко мне, а она и все прочие смеялись над ним. Мне жаль, что я не поддержал знакомства с Всеволодскими,—теперь поздно.

5. Поутру ходил я на второй торг имений для Петра Марковича, а остальное время дня провел я у барона и Анны Петровны.—Барон расспрашивал меня об намерении моем итти в военную службу, удивлялся ему и представлял все невыгоды его. Такие слова, а особливо любовь к спокойствию и удовольствия светской здешней жизни, сильно стали бороться с мужественным моим намерением; все выгоды здешней жизни: приятное общество, легкость занятий службы, способность к учению и расширению знаний, непринужденность и большая свобода поступков—являлись мне во всем своем блеске, между тем, как трудность, опасность и неприятность военной жизни еще разительнее казались от сравнения. Весь вечер такие мысли, сравнение одной жизни с другой, меня тревожили; мое намерение перемены образа жизни начало колебаться, я стал жалеть, что так много говорил, и вздумал, что из Твери еще можно сюда воротиться, сделав, как будто я ездил на праздники в отпуск. Но возвышеннейшие чувства, желание прочной славы и достижения какой-нибудь достойной цели восторжествовали над слабою женообразною склонностью к неге и наслаждениям: я решился снова отречься от удовольствий общественной жизни, пожертвовать в с е м

ради одной возможности достигнуть всего.—И теперь я радуюсь, что имел столько силы устоять против стольких приманок.—Оставшись здесь, я чувствую, что во мне бы заснуло желание усовершенствования самого; я бы привык к бездействию, которое и теперь, я замечаю, уже менее тягостно мне; в мелочных, бесполезных для ума и сердца [удовольствиях?] я бы провел лучшие мои лета, а к чему я после полезен бы был с моим безнанием и неспособностью?— Слава богу, слава богу! я теперь могу надеяться чем-нибудь быть полезным себе и человечеству! Ежели же провидению угодно будет пресечь мою безвременную жизнь, то я верю, что его премудрость устроит это к лучшему; добро, которое я мог сделать, выполнит тогда другой, достойнее меня, и даже ближние мои, верно, не потерпят от того.— А смерть?—она всегда неизбежна, рано или поздно: так к чему же об ней заботиться и опасаться ее! Аминь!

6. Николин день я делал некоторые посещения, но не заставал дома; обедал у Надежды Гавриловны, а вечером заходил к моему хозяину, а после к барону.— Софья все раскаивается в нежностях ко мне и винит себя.

7. В Департаменте я узнал, что жалованья мне не назначено. Я не понимаю отчего, и если бы я остался, то должно бы было узнать почему, теперь же мне все равно.— Очень неприятно, что по сию пору не вышло из Сената переименование мое, потому что аттестаты мои теперь там, и я их получить не могу, что меня заставить взять только отпуск на 28 дней или более, пока не придет решение Сената. Через несколько дней можно мне, кажется, будет ехать отсюда с Петром Марковичем, которого покупка повидимому не состоится. Нужно мне сделать некоторые покупки, а денег у меня еще нет; много хлопот на эти дни мне будет.

8. Зашедши на минутку в Департамент, где я написал черновое прошение в отпуск, поехал я в Сенат, в герольдию, где узнал, что дело об переименовании меня в 12-ый класс, уже окончено; для подписания теперь оно находится у Министра Просвещения и на этих днях будет отправлено в Департамент. Это, конечно, хорошо, но лучше бы было, если бы теперь все уже кончено было, и я бы мог получить при отставке и мои дипломы, необходимо нужные для вступления в военную службу. Теперь придется мне ехать с одним отпуском. Я заказал себе саблю и нашел продающиеся пистолеты; таким образом, самым нужным я уже запасся. Я купил Гнезиуса немецкую грамматику и отыскал сочинения Бессмарка о тактике кавалерии; всех купить дорого, а некоторые непременно нужно. Таким образом, я начинаю приготовляться к военной жизни моей; решено—я натачиваю мой меч боевой, который, может статься, не отразит и первого вражьего удара—кто знает?

9. Я был у Бегичевых, где довольно долго просидел после обеда, приготовляя корпию; после сидел у своего хозяина с забавной его дочерью, а оттуда пошел к барону.—Я получил от матери и Лизы письма; первая пишет об окончательной сделке касательно имения и зовет меня скорее приехать, а вторая говорит обыкновенные нежности и ждет меня тоже,—скоро исполню я их желание.

10. Наконец я заказал для сестры раму к ее портрету Байрона<sup>1</sup>. Из Департамента я ходил искать часов для себя и Миши—для них и других разных покупок нужно мне будет около 400 рублей.—Я еще не знаю проситься ли мне в отпуск или прямо в отставку: завтра поутру сходить надо поговорить об этом с Шахматовым. Обедал я у Анны Петровны с Петром Марковичем, а после проспал и просидел дома, за то хочу



как можно позже лечь спать. Этими днями надо написать последнее письмо отсюда к Языкову,—я по сию пору не отвечал на его последнее. Я видел Вронченкин<sup>1</sup> перевод Гамлета: он хорош, но стихи все еще не гладки и тяжелы у переводчика, хотя перевод его и должен быть верен и близок к оригиналу. Нельзя тоже сказать про переводы Шиллера (Wallenstein) и Гете (götz) Шевырева<sup>2</sup>; язык в них несравненно хуже, и сверх того еще они не верны, как говорят сравнивавшие их.—Вронченко напомнил мне теперь отрывок, переведенный Плетневым тоже из Шекспира: признание в любви Ромео и Юлии, когда ночью, из сада, Ромео через окно разговаривает с Юлией; эта сцена есть одна из прекраснейших, которые написал Шекспир; простота, невинность и сила чувств Юлии в ней прелестны, восхитительны — за то и Плетнев прекрасно нам ее передал; он далеко оставляет за собой нашего дерптского переводчика<sup>3</sup>. —В пятницу — 14 число, следовательно, через 4 дня и ровно через год после моего отъезда из Тригорского, я думаю выехать отсюда. С какими удалыми надеждами я ехал сюда!—и сколько их исполнилось?—ни одной!.. Теперь их тоже много в груди, но через год им такая же будет судьба—может статься и всю жизнь!<sup>4</sup>

В таком случае вопрос Гамлета: „Быть или не быть“ — сам разрешится все равно.

11. Подал я просьбу об отставке меня из службы и надеюсь скоро получить оную. Петра Марковича задерживают в ломбарде, не выдавая ему денег: обещали прежде выдать завтра, а теперь отсрочили до четверга, а, может быть, и до будущего вторника; весьма досадно, если нам придется так долго ожидать по пустому деньги и терять время.—Весь день я пробыл у барона. Софья очень была мила со мною, уверяла, что ей тяжело будет расставаться со мною и что часто вспоминать будет

обо мне.—Там был Плетнев и Подолинский<sup>1</sup>, также один поляк Жельветр, который приезжал заговаривать зубную боль Софьи; он очень смешил нас своим обращением<sup>2</sup>.

12. В Департаменте я отдал на гербовую бумагу — на производство дела по просьбе об моем увольнении: всего 9 р. мне это стоит покуда. О возвращении дипломов моих нужно, как говорят, сделать особенное отношение в герольдию. Я думаю, что я и без них могу обойтись.

Петру Марковичу обещают в пятницу (14) выдать деньги, следовательно, в субботу можно нам будет выехать: дай бог успеть нам в нашем намерении. Обедая у Пушкиных, узнал я, что Александр Сергеевич уехал из Малинников и уже в Москве теперь<sup>3</sup> — жаль, что я его не застаю у нас.

Вечер я провел у барона; Эристов был там очень забавен, Софья, несмотря на зубную боль, в минуты отдыха была любезна, т.-е. нежна, охала, что желает, чтобы зубы ее болели, пока я не уеду, чтобы развлечь себя тем; это очень мило и хорошо сказано.

13. Я еще не получил отставки. Ходил смотреть саблю; она готова, а пистолеты нашел я уже проданными: это меня очень расстроило на целый день, я был не в духе, просидел дома после обеда, а вечер проспал у Анны Петровны.

Дельвигов целый день я не видал и по пустому ездил обедать к Бегичевым.

14. Наконец Петр Маркович получил деньги, и я с 400 р. поехал делать покупки и прощальные мои посещения; но в то утро я не успел всех сделать, также не получил я и отставки,—завтра обещают ее мне отдать.—Сегодня память бунта, служили панихиду по Милорадовичу в Невском монастыре; но сколько людей верно

плакало и об несчастных, которые пережили и не пережили этот день!! Мир окончившим! И да прекратит судьба скоро страдания еще живых! После 10 часов я приехал к баронессе. Софья еще больна, но зубы ей уже заговорил поляк: они перестали болеть. Она была очень любезна, только не удалось мне ни на минуту остаться с ней наедине.—Завтра я буду там обедать, а оттуда тотчас мы и намерены отправиться в путь.

1829.

*5 января. Старица.* Вот скоро целый месяц, что я не писал; тому причина то, что я оставил Петербург и кочую теперь в Старице и ее окрестностях. Вот с самого Рождества я живу здесь; с матерью и сестрою Анною мы приехали провести здесь Святки, после приехала Евпраксия от Павлы Ивановны, а перед нею Саша с Лизой.

Всякий день, и почти целый, мы бываем у Вельяшевых; там я занимаюсь с здешними красавицами: Катинькою<sup>1</sup>, Машенькою Борисовой и Натальей Федоровной Казнаковой. По сию пору они довольно благосклонно принимали мои приношения их прелестям, но Катинька, кажется, более занята любовью Ивана Петровича, хотя и не разделяет ее. 30 летний юноша очень забавен с своей страстью; я его вчера взбесил, сказав, что он влюблен: он считает за недостойное влюбиться и никак не хочет сознаться в своей страсти. Целые дни он проводит, сидя руку в руку или играя в шашки с прелестницей своею, которая точно мила. Она очень стройна и имеет много приятности во всех своих движениях и обращении. Мне бы очень приятно было ей понравиться, но никак бы не желал в ней родить страсть: это скучно. Я желаю только нравиться, занимать женщин, а не более: страсти отнимают только время; хорошо, ежели не имеют дурных последствий; для меня уже довольно,—я насытился ими.

Машенька Борисова сначала улыбалась мне и благо-склонно смотрела своими хорошенькими глазками на меня, но теперь, кажется, недовольна тем, что я не исключительно ею занимался; она вчера уехала. Третье-го дня я понравился, кажется особенно понравился Наташиньке Кознаковой на маскараде у Кознакова; я был к лицу одет и танцевал много с'ней. Тут же и Катинька была очень мила со мною. Этот вечер я провел очень приятно; мы танцевали до 5-ти часов утра, хотя танцу-ющих мужчин было мало<sup>1</sup>.

*21 декабря 1829 г. Сарыкиой.* Во все мое пребывание в Малинниках и Старице, год тому назад, успел я только написать эти страницы. Теперь, на свободе, в уединен-ной моей хате, воспоминание этих дней часто занимает меня; я вижу и грустную Лизу, которой каждое движе-ние, каждое слово, каждый вздох был сознанием в любви — мне упреком, и умную Сашу, соперницу холодной Катиньки, которая проста, пуста,

Но эти перси и уста  
Чего они не заменяют! — (Язык.)<sup>2</sup>

и старицких красавиц, меня соблазнявших. Я решился пополнить, сколько можно, мой дневник, описав эти дни, богатые для меня происшествиями любовными и глупо-стями с моей стороны. Откровенно сознаюсь я в них, в надежде, что впредь подобных не стану делать.

*29 декабря 1829 г. Сарыкиой.*—*Выезд из Петербурга 15 декабря 1828 г.*— В прекрасную зимнюю ночь, по гладкому уезженному шоссе, в широкой кибитке поска-кали мы, я с Петром Марковичем Полторацким 15 дека-бря вечером, после 9 часов, из Петербурга. Несмотря на то, что я выезжал с намерением отправиться в армию, на Дунай, расставание для меня с столицей севера было совсем не тягостно; я не жалел об удовольствиях и спо-койной жизни, которую я оставлял, зная, что первыми

я не имею способов пользоваться вполне, а жизнь, которую я доселе вел, давно меня томила. Людей я тоже не оставлял, к которым бы я столько был привязан, чтобы разлука с ними меня очень печалила; одна Анна Петровна имела право на сожаление по ней. Софья Михайловна, хотя и очень нежная со мною, всегда благосклонная ко мне, как к своему родному, — не занимала меня до той степени, чтобы мне очень тяжело было ее оставлять, — следственно, простившись очень нежно с Анной Петровной и с Софьей Михайловной, а с бароном очень дружественно (он рад был, что сбывает с рук опасного друга и от того только смеялся над нежностями его жены со мною), я уехал в очень хорошем расположении духа. Кроме богатых надежд на славные подвиги, на поэзию жизни военной, на удовольствие видеть новые страны и народы, — я ожидал еще на первый случай много удовольствия дома между родных, в кругу хорошеньких двоюродных сестриц; одна только встреча с Лизою меня тревожила<sup>1</sup>.

Лиза. Вот история моей связи с ней. За год ровно, день почти в день (я приехал в Петерб. 17 декабря 1827) перед сим, приехав в Петерб. кандидатом успехов вообще в обществе и особенно в любви, по слуху, не видев еще Лизу, я решился ее избрать предметом моего первого волокитства: как двоюродная сестра, она имела все права на это. Я нашел ее девушкою уже за двадцать лет, высокого роста, с прекрасною грудью, руками и ножками и с хорошеньким личиком: одним словом, она слыла красавицею (*Une très jolie personne*). Родство, короткая связь с сестрою ее, способность всякий день ее видеть, — все обещало мне успех. Сначала он мне даже казался скорым, ибо уже во второй день нашего знакомства, вообще видев ее только несколько часов, я вечером, обнимая ее, лежавшую на кровати, хотел уже

брать с нее первую дань любви, однако не успел: она не дала себя поцеловать.

1830.

2 января. По первому успеху я думал дело уже сделанным, но не тут то было. На другой день я нашел ее совсем не такую, как ожидал, а скучною и совсем со мною не любезною; точно также и следующие дни. Я никак себе не мог об'яснить такого обращения.

Софья Михайловна Дельви́г. Между тем я познакомился в эти же дни, и у них же, с общей их приятельницею Софье́й Михайловной Дельви́г, молодою, очень миленькою женщиною лет 20. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность, которая мне чрезвычайно польстила, потому что она была первая женщина, исключая двоюродных сестер, которая кокетничала со мной, и еще от того, что я так скоро обратил на себя внимание женщины, жившей в свете и всегда окруженной толпой молодежи столичной.—Рассудив, что, по дружбе ее с Анной Петровной, и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решился я ее предпочесть, тем более, что, не начав с нею пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного.—Я не ошибся в моем расчете: недоставало только случая (всемогущего, которому редко добродетель или, лучше сказать, рассудок женщины противустоит), чтобы увенчать мои желания.—Но неожиданно все расстроилось. Муж ее, движимый, кажется, ревностью не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц нашего знакомства увез мою красавицу.—Разлученный таким образом, по-

видимому, надолго с предметом моего почитания и, сделавшись от того свободным, в кругу небольшого моего знакомства не нашел я никого другого, кроме Лизы, кем можно бы было с успехом заняться. — Обстоятельства были мне чрезвычайно благоприятны. В этот месяц я короче познакомился с ней. Бывая всякий день с нею, принимая живое участие, по родству и дружбе с Анной Петровной, в затруднительном положении их отца, который приехал в Петерб. по делам (и не знаю для чего привез с собой Лизу), а жил там по невозможности, за недостатком денег, оттуда выехать, я сделался советником и поверенным обеих сестер, а часто посредником и мирителем между отцом и дочерьми. Эти же затруднительные денежные обстоятельства и болезнь Анны Петровны были причиною, что они никуда совершенно не выезжали, и что молодежь перестала у них бывать. Я остался один, который за то всякий день и целый день там сидел. — Давно уже открыл я, что имею счастливого соперника, причину тоски и нервических припадков моей красавицы, молодого человека, богатого, известного красавца... и дурака, но счастье помогло мне его вытеснить тем, что кажется она одна была занята им, а не он ею, и тем что она не имела случая часто его видеть. — После двухмесячных постоянных трудов, снискав сперва привязанность, как к брату, потом дружбу, наконец я принудил сознаться в любви ко мне. — Довольно забавно, что, познакомившись короче, я с нею бился об заклад, что она в меня влюбится.

Не стану описывать, как с этих пор возрастала ее любовь ко мне до страсти, как совершенно предалась она мне, со всем пламенем чувств и воображения, и как с тех пор любовью ко мне дышала. Любить меня было ее единственное занятие, исполнять мои желания — ее блаженство; быть со мною, — все, чего она желала. — И эти

пламенные чувства остались безответными! Они только согревали мои холодные пока чувства. Напрасно я искал в душе упоения! одна чувственность говорила.—Проводя с нею наедине целые дни (Анна Петровна была все больна), я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако, не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу,—ибо она сама кажется желала быть совершенно моею, и, вопреки моим уверениям, считала себя такою.

После первого времени беззаботных наслаждений, когда с удовлетворенной чувственностью и с прошедшей приманкой новизны я точно стал холоднее, она стала замечать, что не столько любила, сколько она думала и сколько заслуживает. С этих пор она много страдала и, кажется, всякий день более любила. Хоть и удавалось мне ее разуверять, но не на долго; холодность моя становилась слишком явною.—Я сам страдал душевно, слишком поздно раскаивался; справедливые ее упреки раздирали мне душу. Приближавшийся ее отъезд с отцом умножал еще более ее страдания — и любовь. Это время было для нас обоих ужасное.—Наконец роковая минута настала, расстроенное ее здоровье кажется изнемогало от душевной скорби. Без слез, рыдая, холодные и бледные уста замирали на моих, она едва имела силы дойти до кареты... Ужасные минуты! Ее слезы в'елись мне в душу.

С моею матерью и сестрой поехала она в Тверь, где имела еще огорчение узнать мои прежние любовные проказы, и некоторые современные. Несмотря на все это, мне легко было в письмах ее разуверять,—как не поверить тому, чего желаешь! Ответы ее были нежнее



чем когда-либо.— В таких обстоятельствах встреча моя, с нею опять очень меня беспокоила.

*3 января. Приезд в Малинники.* Дорога зимняя была очень хороша. Без особенных происшествий доехали мы в двое суток до Торжка. Не доезжая несколько верст до него, мы заехали переночевать к тамошнему помещику Львову, родственнику Петра Марковича, и очень хорошо знакомому всему семейству Вульф.— Я провел вечер довольно приятно; жена его и две дочери очень милы и любезны. На другой день отправились мы далее; в самом Торжке я тоже познакомился с семейством других Полторацких, детей Павла Марковича и видел одну старую деву Лошакову, дальнюю родственницу нашу, — которая лет 12 тому назад жила у нас в доме.

*18 декабря.* Наконец в два часа пополудни, приехали мы к тетке Анне Ивановне Понофидиной<sup>1</sup>, где жил Петр Маркович с Лизой. Подъезжая к дому, где полагал я, что встречу мою любовь, сердце мое забилося, но не от ожидания близкого удовольствия, а от страха встретиться с нею. На этот раз я избавлен был от мучительной сцены первого свидания: Лиза с новым своим другом Сашинькой были в Старице у Вельяшевых. (Дружба этих двух девушек единственная в своем роде: Лиза, приехав в Тверь, чрезвычайно полюбила Сашиньку, они сделались неразлучными, так что хотели вместе ехать в Малороссию.— Лиза, зная, что я прежде влюбился за Сашенькой, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен был знать кроме нас двоих. Я воображаю, каково Сашеньке было слушать повторение того же, что она со мной сама испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же откровенностью).

Уведомив в нескольких строчках Лизу об нашем приезде, вечером поехал я домой к своим в Малинники. Надобно было ехать мимо самого Берновского дома, где жила моя добродетельная красавица<sup>1</sup>, за год расставшаяся со мною в слезах, написавшая ко мне несколько нежных писем, а теперь, узнав мою измену, уже не отвечавшая на любовные мои послания. Как можно было проехать не взглянув на нее? Я же имел предлог отдачи писем.—Моя прелесть вспыхнула и зарумянилась, как роза, увидев меня.—Я же заключил, что она еще не совершенно равнодушна ко мне, но несносная ее беременность препятствовала мне; когда женщина не знает куда девать свое брюхо, то плохо за ней волочиться.

Полюбовавшись на Катиньку, поехал я в Малинники. Там я нашел дома только мать с сестрою: Евпраксия жила у Павла Ивановича, а Саша была в Старице.

Мы были очень рады друг друга видеть, как разумеется, и провели вечер в разговорах о петербургских знакомых. От сестры же я узнал все, что здесь делали мои красавицы и Пушкин, клеветавший на меня, пока он тут был.

На другой день увидел я и Евпраксию. Она страдала еще нервами и другими болезнями наших молодых девушек. В год, который я ее не видал, очень она переменилась. У ней видно было расслабление во всех движениях, которое ее почитатели назвали бы прелестною томностью,— мне же это показалось похожим на положение Лизы, на страдание от не совсем счастливой любви, в чем я кажется не ошибся. К праздникам собирались мы ехать в Старицу, чтобы провести их там вместе с Вельяшевыми, и ожидали там много веселья. Прежде, чем мы поехали туда, ездил я еще в Берново. Неотлучный муж<sup>2</sup> чрезвычайно мешал мне; она твердила мне только об моей неверности и не внимала клят-

вам моим, хотела показать, будто меня прежде любила как братски (не очень остроумная выдумка), точно также как и теперь.

Весьма ею недовольный, оставил я ее...

*Монастырище, 7 января.* В четверг, 20 декабря [1828 г.], я, мать и сестра Анна отправились в Старицу, которая от Малинников лежит в верстах 30.

Старица. Я ожидал там найти Лизу и Сашу; от того, когда мы под'ехали к дому Вельяшевых и сестра вышла из саней, чтобы туда итти, а мать хотела прямо ехать в дом, для нас нанятой, то я долго не решался, что мне делать: остаться ли с матерью, или итти с сестрою, — так я боялся встречи с моею любовью. — Случай еще раз отсрочил эту трогательную сцену: два друга в этот же день поехали к Понофидиным. Лиза долго ожидала меня, но наконец надо было ехать к отцу. Я очень был рад, что еще на несколько дней остался свободен.

Катинька Вельяшева. Здесь я нашел двух молодых красавиц: Катиньку Вельяшеву, мою двоюродную сестру, в один год, который я ее не видал, из 14 летнего ребенка расцветшую прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицею, но стройною, увлекательною в каждом движении, прелестною, как непорочность, милую и добродушную, как ее лета.

Марья Борисова. Другая, Машенька Борисова, прошлого года мною совсем почти незамеченная, теперь тоже заслуживала мое внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу<sup>2</sup>. — Первые два дня я провел очень приятно, то в разговорах с сестрою, то слегка волочившись за двумя красавицами, ибо ни одна из них не делала сильного впечатления на меня, может быть от-

того, что, недавно еще пресыщенный этой приторной пищей, желудок более не варил. Они слушали благо-склонно мои нежности, и от предстоявших балов я ожидал еще большего успеха. Мы уже наверное знали, что у полковника *Торнау* (командира стоявшего здесь Оренбургского уланского полка) будет накануне Рождества для детей *Weihnachtsbaum* или елка и для взрослых бал.

Иван Петрович Вульф. Не долго пользовался я спокойствием: сначала воротился от своего отца, куда он ездил на именины, мой двоюродный брат Иван Петрович Вульф, служащий в здесь стоящем Уланском полку: Он очень хороший человек, с умом и способностями, которые не имел случая развернуть, живучи с самого выхода из корпуса пажей здесь в деревне. К несчастью моему, несмотря на 30 лет, он влюбился в свою 15-летнюю кузину Катиньку по уши, как я когда-то любил Анну Петровну, и стал ужасно ревновать к ней. Видя первый вечер, что она очень хороша со мною, он почти выходил из себя: твердил, что в мире все химера (любимое его выражение), что он поедет против Турок и пр.—Потом, об'яснившись, как кажется, он оставил воинственное намерение, а только уже не отходил во все время моего пребывания там ни на шаг от нее.

Встреча с Лизой. На третий день моего приезда в Старицу приехала, наконец, и Лиза с отцом, Сашей и Понофидиными. Из саней вышедши, она прямо пошла наверх во второй этаж, где жили, по тесноте, все молодые девушки, до 10 всех на все, в двух маленьких комнатах, под предлогом переодевания. Я оставался внизу, надеясь, что присутствие публики избавит меня от трогательных сцен свиданья: слез, обмороков и т. п. Ошибся я: без них не обошлось. Саша (та самая, кото-

рая ровно год назад мучила меня тем же самым образом, печальною разлукою после года спокойных наслаждений, став другом и товарищем моей любовницы, сделалась нашим посредником), встретив меня довольно холодно, без упреков, объявила, что меня ожидают наверху: нечего было делать — я принужден был туда идти. Взойдя на половину лестницы, я увидел наверху одну Лизу, ожидающую меня, окруженную всем чином молодых дев. Недовольный блистательным таким приемом, еще увеличивавшем затруднительное мое положение, сказал я, не помню что-то, долженствовавшее выразить обыкновенное удовольствие встречи и стал за нею, как бы желая дать проход всему народу, стоявшему у лестницы вероятно для того, чтобы сойти с нее. От этих ли слов, или от встречи просто, или от чего другого, не знаю, но красавица моя упала в обморок, в руки шедшего за мною Ивана Петровича, который, вскинув ее на мощные плечи, понес до ближайшей постели. Быть причиною и зрителем всего этого было мне весьма неприятно. Понемногу она пришла в себя: когда очутилась на постели, мы, оставшись втроем с Сашей, успокоили ее немного.

*11 января. Монастырище.* Я уверил ее, что люблю, а она была нежнее, чем когда-либо; только я не был в духе пользоваться этой нежностью. Между рассказами о прошедшем и будущем, вдруг говорит она, что имеет очень важное у меня спросить, а именно: что отвечать ей на предложение барона Меллер-Закомельского, который, познакомившись с ней две недели тому назад, сватается за нее? — Сперва я не хотел этому верить и принял за шутку, потому что, во-первых, я никак не думал, чтобы здесь, в Старице, нашелся вообще жених, а еще менее считал М. способным так скоро влюбиться; что по любви он жениться хотел, это казалось явно,

потому что он должен был знать, что Лиза не имеет большого состояния, а он тоже не имеет столько, чтобы при выборе жены ему не рассчитывать; но это точно было справедливо. Раздумав, я об'явил ей, что в этом случае решительно ничего не могу отвечать: она сама должна располагать своей судьбою, а не я; если я посоветую идти за него, это все равно, что сказать: я тебя не люблю; а советовав отказать ему, даешь право после упрекать себя, что ради меня она не вышла за человека, с которым была бы счастлива. Три дня взято было Лизой сроку на ответ; после нескольких сцен с отцом, который, не знаю из какой выгоды, очень желал этого замужества, отказали Меллеру. С этих пор Петр Маркович, бывши со мной всегда дружен, вдруг сделался чрезвычайно сух со мною, как будто тут впервые заметил нашу связь с Лизой. — Она, кажется, ничего с ним не потеряла: Меллер человек совсем не таких качеств, которые составляют семейственное счастье. Он скоро утешился, а теперь, как пишут, хочет жениться на другой моей двоюродной сестре. — Дай бог им счастья.

Положение мое в отношении с красавицей было весьма затруднительно. Несмотря на 3-х месячную разлуку с Лизой, я не мог себя принудить быть с ней таким же, как прежде, — очарование исчезло. Наружное же внимание я должен был иметь к ней, чтобы не во все растерзать душу, кроме того уже много страдавшую от меня. Столько, однако, власти над собой я не имел, чтобы для нее отказать от удовольствия волочиться за другими. Таким образом мы мучили друг друга.

Пришли праздники Рождества. Торнау, более любезный хозяин, чем полковой командир, дал нам очень приятный вечер накануне ононого; мы много танцевали, а я кокетничал, но только не с Лизой и Сашенькой, а со

старыми любовницами.— Здесь я познакомился с полковником Кусовниковым, служившим прежде в Лейб-Гусарском, а потом ад'ютантом у принца Виртенбургского (теперь получил он Тираспольский кавалерийский егерский полк), человеком, хотя и не блистательного ума, но очень добрым и милым; он волочился за сестрою, отчего вероятно и был ко мне так хорошо расположен.— Этот же вечер, несмотря на ревность Ивана Петровича, Катенька, а особенно Машенька были очень любезны со мною. Каково было бедной Лизе видеть все это! Видя каждую минуту мою ветренность, неверность, она все еще не могла себя разуверить. Еще шумнее и на форменном деревенском бале встретил я новый год у нашего соседа Ермолаева<sup>1</sup>. Кроме нашего общества Старицкого, с'ехалось к нему много гостей и из других уездов. Несмотря на то, что он сам большой дурак, все очень довольны были вечером. Танцевальная зала и дом у него прекрасный, накормил он хорошо, танцовали сколько только сил было, всякому была совершенная свобода — чего же более можно требовать от хозяина? — Не менее прежнего бала, я и здесь мучил Лизу, — так что она не хотела даже со мною более танцевать за то, что в котильоне я ей сказал, что она слишком часто меня выбирает. Весь вечер я ею менее всех занимался. — За то, возвращаясь с бала домой в одной кибитке с Сашей, мы с нею вспомнили старину.

От'езд Лизы. 2 января 1829. Давно уже Петр Маркович собирался ехать в Малинники, — наступил, наконец, решительный день. Хотя через Сашу и об'являла Лиза, что меня больше не любит, просила, чтобы я сжег ее письма и т. п., но когда мы оставались наедине, то она также твердила про свою любовь, искала моей, как и прежде. Не стану говорить про слезы этой второй разлуки — *Mon Ange!!* были последние ее слова, когда она

садилась в кибитку!—Что она теперь зовет ли меня также? любит ли?—Бедная, лучше бы ей было меня забыть или разлюбить...

С ее отъезда я имел более свободы кокетничать, но не имел более успеха.

На третьем бале у Кознакова я волочился за новою красавицею, Натальею Кознаковой, девушкою уже лет 20 слишком, но, так как я все это делал слегка, зевая, то и ничем не кончал.

*6 февраля.* Время проходило между тем хотя и одно образно, но довольно скоро; надо было думать об отъезде в полк. Все уверяли меня, что гораздо удобнее мне будет определиться прямо в Инспекторском Департаменте, чем ехать в полк наудачу, где я потеряю много времени от пересылок бумаг. Для этого мне должно бы было ехать назад в Петербург. — Рассудив, что они точно правы, я решился, несмотря на новые издержки, которые мне эта поездка должна стоить, тотчас после праздников, туда ехать.

В Крещение приехал к нам в Старицу Пушкин<sup>1</sup>, „Слава наших дней, поэт любимый небесами“, — как его приветствует костромский поэт Гж. Готовцев<sup>2</sup>. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступительный союз против красавиц, от чего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева)<sup>3</sup>, несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокиту Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны. Мы имели одно только удовольствие бесить Ивана Петровича; образ мыслей наших от того он назвал американским. — Мне жаль, что из за таких пустяков он, вероятно, теперь меня не очень жа-



лует: он очень добрый и благородный малый. Если еще сведет нас бог, то я уже не стану волокитством его бесить.

После праздников поехали все по деревням; я с Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которые морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу<sup>1</sup>. — За обедом мы напоили Люнелем, привезенным Пушкиным из Москвы, Фрициньку (гамбургскую красавицу, которую дядя привез из похода и после женился на ней), немку из Риги, полугувернантку, полуслужанку, обрученную невесту его управителя и молодую, довольно смешную, девочку, дочь прежнего берновского попа, тоже жившую под покровительством Фридерики. Я упоминаю об ней потому, что имел после довольно смешную с ней историю. Мы танцевали и дурачились с ними много, и молодая селянка вовсе не двухсмысленно показывала свою благосклонность ко мне. Это обратило мое внимание на нее, потому что прежде, в кругу первостатейных красавиц, я ее совсем и не заметил. Я вообразил себе, что очень легко можно будет с ней утешиться за неудачи с другими, почему через несколько дней, приехав опять в Павловское, я сделал посещение ей в роде гр. Нулина, с тою только разницею, что не получил пощечины<sup>2</sup>. Встречая таким образом на каждом шагу неудачи, я принужден был возвратиться к Саше, с которой мы начали опять по-старому жить, т.-е. до известной точки пользоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими. — В таких занятиях, в охоте и поездках то в Берново, то к Петру Ивановичу<sup>3</sup>, куда я ездил для сохранения благорасположения Машеньки (еще двоюродной сестры, но только, к несчастью, не столь занимательною, как другие, — она совсем не хороша собой), или в Павловское, где вчера мы играли в вист, — провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург.

(Сарыкиной. 20 февраля). 16 января. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более. Вообще никогда не должно у нас полагаться на слово какого-либо торгового человека. Справедливо искони упрекают русских в лживости, особенно москвичей. — Проезжающий, поверивший их словам, не запасшийся подорожной, после первого перегона должен переносить всевозможные неприятности, особенно если он имел неосторожность заплатить вперед деньги: во всякой яме задерживает его, стараясь бессовестно взять с него сколько можно более денег, и сколько бы он не платил, никогда он не удовлетворит алчность этих плутов. В три мои поездки по московской дороге я это испытал. — На станциях, во время перепрягания лошадей, играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и пр. Пушкин говорит очень хорошо; пылкий проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонны<sup>1</sup>. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин же он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность одного<sup>2</sup>. — Пользуясь всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, т.-е. купив в Валдае баранков (крендели небольшие) у дешевых красавиц, торгующих ими, в Вышнем Волочке завтракали мы свежими сельдями, а на станции Яжелбицах ухую из прекраснейших форелей, единственных почти в России<sup>3</sup>;

приехали мы на третий день вечером в Петерб. прямо к Andrieu (где обедают все люди лучшего т о н а)<sup>1</sup>. Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжении которого, несмотря на все, мы порядочно поели, запили мы каким то, не помню, новым родом шампанского (Bourgogne mousseux, которое одно только месяц тому назад там пили, уже потеряло славу у его гастрономов). Я остановился у Пушкина в Демутовой Гостиннице, где он всегда живет, несмотря на то, что его постоянное пребывание—Петербург. Первым моим делом было, разумеется, переодевшись ехать к Анне Петровне и вместе к Дельвигу: живучи в одном доме, они неразлучны.

Я нашел их дома и одних; никто не ожидал меня увидеть и полагали, что я уже поехал в Молдавию. Не знаю, что думал барон, а Софья и Анна Петровна были очень рады меня увидеть. Первая кокетничала со мною по-старому, слушая мои нежности и упрекая в холодности; другую же, как прежде, вечером я провожал ее до комнаты, где прощальным, сладострастным ее поцелуям удавалось иногда возбудить мою холодную и вялую чувственность.— Должно сознаться, что я с нею очень дурно себя вел.

На другой день первую моею заботою было отыскать Wesses, университет. моего товарища, а теперь учителя в воспитательном доме, где он имел большую и прекрасную квартиру; у него-то хотел я остановиться, чтобы не платить напрасно в трактире деньги, потому, что Пушкина не хотел я беспокоить, оставшись в его небольшой квартире.— На третий день после моего приезда переехал я к моему богослову. Теперь занимало меня определение на службу; я не знал, как начать: явиться ли к Дибичу с рекомендательным письмом от Адеркаса, но я не знал ни одного к нему приближенного

человека, который мне бы сказал, как это сделать, и тоже не имел духа такими безделицами, как мое определение, занимать человека, отправляющегося начальствовать армиею, или искать другой дороги. Случай мне тут помог: у Анны Петровны я встретился с Г. М. Свечинным, моим земляком по Тверской губ., знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его, которая была за моим дядей, а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившемуся за Анной Петровной. Он предложил мне свое ходатайство в инсп. департаменте. Я согласился на его предложение, обещавшее мне гораздо скорейший успех, чем представление Дибичу, которого я только мог увидеть еще через несколько дней, т.-е. в будущую пятницу его приемный день. И точно, через 4 дня, 24 января 1829 года (день, который мне навсегда останется памятен), я был зачислен на службу Е. И. В. в Принца Оранского Гусарский полк, выбранный мной единственно по мундиру, ибо он лучший в армии (впоследствии я не мог раскаиваться в выборе оно́го), вольноопределяющимся до рассмотрения моих аттестатов и свидетельств о дворянстве. Окончив таким образом главное мое дело, занялся я обмундировкою и выполнением препоручений, мне данных, об разных покупках. Время шло чрезвычайно быстро. Окончив прогулки по лавкам и Невскому проспекту, я или ездил по родным, как, напр., к Бегичевым, где я не мог не кокетничать с Анной Ивановной, хотя меня и бесило ее равнодушие ко мне (за целые пуки перьев, которые я для нее очинивал, я сбирал очень вежливую благодарность,—но ничего более), или отправлялся к Анне Петровне, где уже и оставался весь день. Здесь зато любовные дела мои шли гораздо успешнее: Софья становилась с каждым днем нежнее, пламеннее, и ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от

меня зависило увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением вечера, которые я просиживал почти наедине с ней (Анна Петровна сидела больше с Александром Ивановичем Дельвигом, юношей, начинавшим за ней волочиться<sup>1</sup>, проводить в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний.

В прежнюю мою бытность в Петерб. еще собирались мы ехать за город кататься, но все по различным причинам день ото дня откладывали гуляние. Наконец назначили день не настоящего катанья, а только пробы, пример парада, как говорил барон, и на двух лихих тройках, из которых на одну сел барон, Сомов, Анна Петровна и я, а на другую Софья, Щастный (молодой поэт)<sup>2</sup> и Александр Иванович.—Я, чтобы избежать подозрения, не хотел сесть с моей красавицей. По прекрасной дороге мы, менее чем в полчаса, примчались в Красный кабачек<sup>3</sup>, известный трактир на Петербургской дороге; где публика немецких ремесленников празднует свою масляницу. Там, под музыку венгерца, игравшего на арфе, которому аккомпанировал виртуоз на нескольких инструментах, скрипке, пановой флейте, барабане и других, много мы танцевали и прыгали в большой и очень хорошо освещенной зале, где по воскресеньям даются балы. Софья нежно упрекала меня, зачем я не сел с нею в сани, не признавала достаточными причины, приводимые мною, а именно ревность ее мужа, и хотела, чтобы, по крайней мере, назад ехав я сел с нею. Что было делать?—я обещался. За чаем забавлял нас фокусник и не обижался, кажется, тем, что мало обращали внимания на его проворство. Несмотря на намерение веселиться, с которым мы поехали, настоящего веселья не послали нам боги.—Веселье — это непринужденная радость, почти всегда безусловная,— есть настоящий дар

свыше; ее нельзя приготовить, и редко она является там, где ее ожидают. Однако есть люди, владеющие даром приносить ее с собой в общество; такого любимца богов не доставало в нашем кругу, почему и мне бы было не очень весело, если бы не волокитство и надежда на обратный путь.

Красный кабачек искони славится своими вафлями; в немецкую масляницу прежде весь Петербург, т.-е. немцы и молодежь, катались сюда, чтобы их есть, но нынче это вывелось из обыкновения, катание опустело, и хотя вафли все еще те же, но ветренная мода не находит их уже столь вкусным, как прежде.—Нельзя нам было тоже не помянуть старину и не сделать честь достопримечательности места. Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь.—Софьи и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов,—нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать. Он начал рассказами про дачи, мимо которых мы мчались (слишком скоро), занимать нас, весьма кстати, потому что мне было совсем не до разговора. Ветер и клоками падающий снег заставлял каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку моею широкой медвежьей шубой, так что она очутилась в моих объятиях,—но и это не удовлетворило меня,—должно было извлечь всю возможную пользу из счастливого случая...<sup>1</sup> Ах, если б знал почтенный Орест Михайлович, что подле него делалось, и как слушали его описания садов, которые мелькали мимо нас.

С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждения,—с женщиной труден

только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно потому, что не хотел,—совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон, но несколько вечеров провел я наедине почти с нею (за Анной Петровной в другой комнате обыкновенно волочился Александр Иванович Дельви́г), где я истощил мое воображение, придумывая новые.....<sup>1</sup>

*18 августа 830. Сквир.* Полученными от Пушкина 1500 руб. в уплату заемного письма<sup>2</sup> я это время жил и делал покупки для матери и сестер; также заказал я себе мундир и покупал вещи, принадлежащие к оному. Эти издержки весьма скоро истощили мои финансы, так что у меня оставалось не более—сколько необходимо было—чтобы доехать до Твери. В таких обстоятельствах мне очень кстати было предложение Александра Сергеевича Пушкина поменяться медвежьими шубами; он мне дал придачи 150 руб.—По этим же самым денежным причинам мне нельзя было долее оставаться в Петерб. После многих отлагательств, по просьбам моих приятельниц, назначил я, наконец, 6 февраля днем моего отъезда, выехал же точно только на другой день вечером. Это случилось от того, что Софья вечером в 6 час. требовала от меня, кроме общего прощанья, еще частное с нею у Анны Петровны и не в присутствии мужа. Как же мне можно было отказать ей в такой бездельце!—В назначенное время я нашел мою неутешную красавицу, и мне чрезвычайно тяжело было видеть страданья женщины, которые ничем я не в силах был облегчить.—Вдруг, совсем неожиданно, зашел муж к Анне Петровне и очень был удивлен меня еще раз встретить;

к счастью, у меня был предлог—неожиданный приезд в Петерб. дяди Петра Ивановича со всем его семейством, который и послужил благовидной причиною моей остановки.—После его ухода настала решительная минута прощанья; что я в продолжении оно́го чувствовал, страдал,—рассказать невозможно. Видеть женщину милую на коленях перед собой, изнемогающую от страсти, раздирающей ей душу, и в исступлении чувств, судорожными об'ятиями желающая удержать того, который бежит на край света, и чувствовать свою вину перед ней—есть наказание самое жестокое для легкомысленного волокиты. Вырвавший из об'ятий, я побежал от нее, не внимая ее словам, призывавшим меня, когда я уже вышел из комнаты и побежал к саням, как будто бы гонимый огнем и мечом, и только тогда успокоился, когда был далеко от знаменитой мне Владимирской улицы.—Точно был то рай в сравнении с моей теперешнею жизнью!!

Пообедав у дяди, где я был более для сестры Машеньки, всегда со мной очень любезной бывшей, и для брата Гаврила Петровича, только что возвратившегося из похода Турецкого<sup>1</sup>. Его советам не ехать в Турцию, хотя бы и хотел, но не мог более слушаться. Дело уже было сделано: надо было повиноваться моей судьбе или глупости, напенивавшей уже для меня фиял испытаний. В 8 часов вечера 7 февраля [1829 г.] вторично выехал я из Петербурга, чтобы долго, кажется, не в'езжать в него.

Не одно непостоянство или легкомысленное желание славы, честолюбие, заставляло меня переменить мой образ жизни и за Дунаем искать счастья. Издержки моей столичной жизни превышали то, что по расчету с имения нашего я мог получать; даже и этот год я выдержал потому только, что, заложив Малинники, у нас случились деньги. Следственно, будущий 1829 год я никак



не надеялся получить еще пять и потому мне должно было оставить Петербург. Мать никак не согласилась бы на отставку, как я желал, — оставалась одна военная служба благовидным удалением; военное время еще более способствовало мне. Если впоследствии ожидания от оной не исполнились, — в том не моя вина: я рассчитывал по обыкновенному порядку вещей, а служил столь несчастливо, как не многие служили. — От службы моей в министерстве рассудительно ничего не мог я ожидать, будучи без знакомств и без протекции. Малое число первых, хотя и самое приятное, заключалось в нескольких литераторах, посещавших барона Дельвига; об знакомстве с двумя или тремя дальними тетками не стоит и упоминать, — они знали меня только как сына моего отца и моей матери, — ни от тех, ни от других, следственно, мне нечего было ожидать. — Равно и удовольствия столицы не мог я сожалеть, потому что и публичными не пользовался я по недостатку денег.

В продолжении зимы 28 года я только бывал на вечерах в одном доме Лихардова, последнюю же зиму я почти нигде не бывал. Одно Справочное место, где постоянно я читал Отечественные и Европейские новости, связывало меня с остальным миром, о светской же жизни знал я только по слухам, доходившим до меня через Пушкина и других<sup>1)</sup>. В таких обстоятельствах, даже если бы я и предугадал мою службу, то Петербург во всяком случае должен я был оставить. — Ни одно ожидание, с которым я в'ехал в него, исключая женщин, не сбылось, но такая опытность не предохраняла меня от новых надежд и обольщений. — В продолжении всего пути до Торжка, куда я приехал в двое суток, 10 числа вечером, занят был предстоящею военной жизнью: я восхищался этой непрерывной телесной деятельностью, жизнью на коне, отдыхами в виду неприятельских огней,

пылом кавалерийских атак, грозным величием битв, решающих судьбы народов. Я уже мечтал себя видеть возвратившимся счастливым победителем, украшенным наградами, заслуженными лично, и передо мною открывался путь славы безграничный; мне не доставало пространства, чтобы поставить себе цель.

В Торжке нашел я дядю Павла Ивановича, ехавшего в Москву; от него я узнал, что мать с сестрами, исключая Саши, в Твери. Уведомив мать несколькими словами о моем приезде, просил я дядю, ехавшему в Тверь, передать письмо, сам же на возвращавшихся его лошадях поехал в Малинники. Дорога от большого снега и мятелей была так дурна, что я, выехав поутру 11 числа, приехал домой только вечером в 8 час., хотя расстояние только 40 верст, не больше. Я нашел Сашу одну, больную горлом. После взаимных упреков в холодности, в изменах, мы помирились. Я предложил ей воспользоваться неожиданно благоприятным временем, которое в другой раз может не встретиться. В небольшом нашем домике мать с сестрами занимали только две комнаты; в них мы были теперь одни, следовательно, ничто не мешало провести нам ночь вместе и насладиться ею. Несмотря на то, все мои просьбы остались бесполезны, все красноречие мое не могло ее убедить в безопасности (с ее рассудком она не могла представить других причин), и бесценная ночь невозвратно пропала, — усталый от дороги я спокойно проспал ее. Не знаю, как она? — но после часто я раскаивался в своей нерешительности. На другой день поехал в Берново осведомиться, что делает моя холодная красавица. Во время моего отсутствия она родила себе дочь. После родов она похорошела, но так была занята своими детьми, что, казалось, ни о чем другом не заботилась. Приезд одновременный со мною ее брата Александра из Петербурга, где он

служил в Артиллерийском училище, теперь же выпущен был в роту, еще менее давал мне времени возвратить ее к прежним чувствам; я оставил ее, отчаявшись в успехе. Пробыв еще день в Малинниках, поехал я на другой день в Старицу, где надеялся найти мать, но я ее не нашел там. Она и Вельяшевы были все в Твери,—только в пятницу вечером, когда я сам садился в сани, чтобы ехать в Тверь, возвратились они оттуда; Евпраксия же осталась там у Кафтыревых, чтобы лечиться: расстроенное ее здоровье делало ей это необходимым.

Главная моя забота теперь состояла в том, чтобы получить еще денег: у матери их не было, следовательно, должно было отыскать где-либо занять. Г-н Павлов, молодой муж вдовы дяди Федора Ивановича<sup>1</sup>, с которым мы только что кончили дружелюбно раздел доставшего нам после смерти дяди имения, заплатив ей за оное 50.000 рублей, помог нам занять у его приятеля г-на Змиева 1.000 руб. Этот весьма достаточный человек почти совершенно спился. Обед, который он давал в честь женитьбы своего друга, был единственный в своем роде. К несчастью, я должен был его вытерпеть вполне. Все чувства мои страдали: слух от этого оркестра, составленного из дворни, игравшей на инструментах, которые валялись в кладовых со смерти его матери, некогда поддерживавшей блеск дома, и от пушечных выстрелов, которые вторили здоровью [?] (они были так неловко поставлены близ окон столовой залы, что от выстрелов вылетело много стекол из оной); вкус — от мерзкого обеда; обоняние — от спиртом насыщенного дыхания соседей — судейских чиновников и разного уездного сброду; осязание от нечистоты, и зрение, наконец, от женских и мужских уродов, составлявших наше общество. Если бы не тысяча руб., то ни за что я бы минуты не пробыл в этой мерзости. Чтобы получить

отвращение от пьянства, нужно только взглянуть на г. Змиева и его образ жизни.— Обеспеченный в денежном отношении, хотя и не столько сколько желал, искал я, как приятнее провести короткое время, оставшееся до предположенного мною от'езда.— Волокитства мои в Старице не были успешны; мне слишком мало нравились Катенька Вельяшева и Машенька Борисова, чтобы влюбиться и потерять рассудок; прощанье в Петерб. еще слишком свежо было в памяти. Успех с ними привел бы меня в большое затруднение,— вот отчего с ними я только шутил от безделья. В Малинниках же я посвящал время единственно шалостям с Сашей. С нею мы уже давно прожили время уверений в любви и прочего влюбленного бреда: зная друг друга, мы наслаждались сколько силы, время и место позволяли.

Наступила масляница с обычными блинами и катаньями; не было надежды провести ее также весело, как святки; один Ермолаев сделал вечер, но, к несчастью, кроме нашего семейства Вульфовых, никого не пригласил, почему он и не был так весел, как последний его бал в новый год.— Самый приятный человек из общества был для меня полковник Кусовников. Еще на первом вечере у Торнау в Рождество, был он со мною так предупредительно вежлив и любезен, что, несмотря на малое наше знакомство, привязал меня много к себе.— Имея очень хорошее состояние, служил он в Лейбгв., был ад'ютантом у принца Виртенбергского (Шишки). Жизнь в лучшем кругу дала ему приятное обращение, получившее особенную приятность от добродушия, которое видно было в каждом его движении. Блестящего ума не имея, вознаграждал он за него приятными искусствами: он мастерски рисовал и прекрасно играл на скрипке. Наружность его была отпечаток души; я не встречал мужчины, лучше его сотворенного, особенно ноги его

хороши. Его благорасположение ко мне должно, кажется приписать тому, что он немного волочился за сестрою. Во время пребывания Пушкина в Старице<sup>1</sup> мы чаще еще видались, ибо Пушкин знал Кусовникова еще будучи в лицее. Здесь у Ермолаева мы были неразлучны и я должен был обещаться ему, возвратясь в деревню, приехать к нему в Элскдр., расположенный километрах в 20 от Малинников.

Чрезвычайно трудно согласить мнение брата и любовника о поведении девушки: первый желает, чтобы и подозрение одно не могло коснуться сестры, другой требует по крайней мере отличия от других, предпочтения, которое он бы нашел весьма неприличным, если его сестра оказывала бы другому. Мне очень неприятно было видеть, как сестра Анна, несмотря на то, что я невзыскателен, слишком явно хотела ему понравиться, тем более, что я предвидел, как после и случилось, безуспешность ее стараний. Жениться и волочиться — две вещи, которые еще очень далеки одна от другой.

Прожив масляницу в Старице, поехал я оттуда в Тверь проститься с Евпраксией. Здоровье ее нашел я немного поправившимся. Приветливым и милым своим обращением успела она так привязать к себе семейство Кафтыревых, состоящее из двух девушек и холостого брата, лет 50, милого и почтенного во всех отношениях, что они упросили мать оставить Евпраксию у них, чтобы окончить свое лечение. — По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем<sup>2</sup>. Пробыв с нею один день, возвратился я в Старицу, а оттуда раз'ехались мы все по деревням. В Малин. я проводил дни утром на охоте, если погода позволяла, или стреляя из пистолетов (приготовления к войне!!), а вечером с сестрами дома или у одного из дядюшек. Все они с'езжались раза два

в неделю проводить время или в рассказах о своем хозяйстве, которым ни один порядочно не занимается, или в неразорительной игре в вист. Мало занимаясь тем, что делается за границею их имений, проводят они дни в спокойной бездеятельности. Не получив в молодости порядочного воспитания и живши всегда почти в деревне, они очень отстали своим образом мнений от настоящего поколения, почему каждый и имеет свой запас устарелых предрассудков, которые только умеряются всем им общим добродушием. Исключение из них делает Павел Иванович Понофидин, муж тетки Анны Ивановны, воспитанный в Морском корпусе, служивший долго во флоте, где его братья заслужили себе имена известных офицеров. С здравым своим рассудком приобрел он познания, которые в соединении с его благородным, в полном смысле слова, и добрым нравом, делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом. Другая моя тетка Наталья Ивановна Вельяшева, хотя и столь же счастлива в супружестве своем, ибо после 20 лет замужества также страстно любит своего мужа, как в первой и имеет четверых детей, из которых не знает, которому отдать преимущество, но у нее очень расстроено имение и без того незначительное. Не будучи слишком строгим к недостаткам каждого, можно сказать, что вообще они добрые люди и родственники. Один только старший из моих дядей, Петр Иванович, весьма тяжелого нрава.

Воспитывавшись с моим отцом (которого он одного признавал за брата) у Михаила Никитича Муравьева, наставника Александра Павловича, и служив после при дворе кавалером у нынешнего императора, он возымел такое высокое мнение о себе, что, живучи в деревне в нескольких верстах от всей своей родни,

он никуда не ездит и не любит, что дети его часто бывают у своих. — Во время моего пребывания в Твери я всегда бывал у него для детей его: сестры Машеньки и брата Ивана, который был очень хорош со мною до последней его ревности к Катеньке Вельяшевой. Теперь я уже не бесил его моим волокитством, как в первый мой приезд. Надеюсь, что со временем он помирится со мною. Чтобы однажды навсегда окончить этот предмет, скажу я еще несколько слов об остальных моих тверских дядюшках. Старший, Павел Иванович, такой флегматик, каких я редко встречал. Оставив в молодости еще военную службу, сделав кампанию 12 года в Тверском ополчении, возвратился он с девкою из Гамбурга, на которой через несколько лет и женился. Фридерика, сделавшись хозяйкою, завела в доме немецкий порядок, который делает приятное впечатление на всякого приезжающего к ним. Не имея детей, живут они без лишней роскоши, по своему состоянию, спокойно. Иван же Иванович совершенно другого рода человек: женившись очень рано на богатой и хорошенькой девушке, нескольколетней жизнью в Петербурге расстроил свое имение. Поселившись в деревне, оставил он жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил с дюжину детей, оставив попечение о законных своей жене. Такая жизнь сделала его совершенно чувственным, ни к чему другому неспособным.

Приготовления мои к походу не были велики. Я брал с собою только необходимое, ибо, предполагая, что война осенью кончится, надеялся я зимою, возвратясь в Россию, побывать и дома. Не желая более бесполезно терять время, 8 марта с материнским благословением и с тыс. руб. сел я в сани и поехал в Старицу. На дороге встретился я с тетками и сестрами, ехавшими к нам в Берновскую волость, так что в Старице нашел я одного

брата Михаила, служившего юнкером в там стоящем Оренбургском Уланском полку. Несмотря на то, что ему уже 20 лет, но умом он совершенный ребенок; к несчастью, мало надежды, чтобы он когда либо возмужал.

В нынешнем году произведен он прежде еще меня в офицеры, так что он и двух лет не служил юнкером: это очень счастливо, но не знаю, будет ли ему выгода продолжать службу. Мне всегда тяжело, когда я об нем подумаю.

Взяв подорожную до Киева, отправился я на другой день в 9 час., в дальний мой путь. Дорогу я выбрал самую ближнюю и дешевую: на Зубцев, Гжатск, Вязьму, Смоленск и Чернигов. Несмотря на позднее время года, снегу еще было очень много, только около Гжатска дорога была избита всегдашними обозами, которые тянутся из соседственных губерний к здешней пристани. Выехав на Смоленскую дорогу, встретили меня богатые воспоминания Отечественной войны 12 года; особенно живо напомнили мне оную от огня почернелые стены еще не возобновленных домов в Вязьме и Смоленске. На них я видел неотразимую силу всемогущей судьбы, законы которой ни какая человеческая сила не может переменить. С жадностью искал я свежего следа прохода непобедимых Легионов, которые вел герой, чтобы, смилив Север, преобразовать Европу по исполинским своим замыслам,— но везде видел вокруг себя снежную пустыню, которой холодное спокойствие казалось некогда не было нарушено ничем, кроме рысканья пустынного зверя. За стенами Смоленска, еще полуразрушенными от неприятельских бойниц, во рву, я видел памятник, воздвигнутый Энгельгардту — чести русского дворянства, которое в эту войну, доказало, что не напрасно пользуется правами, наследованными от предков....



*Деревня Ларча в Бессарабии. 21 апреля. 1829г.* Итак, мы опять за Прутом, в православной России, но нельзя сказать, что в славном краю. Вся Бессарабия (которую я видел от Могилева до Скулян и до сюда) есть холмистая степь, во всем смысле слова; хотя холмы ее и покрыты тучными прекрасными пастбищами, но вообще она маловодна. Нигде не встречаешь следа хлебопашества, — я по сию пору не видал паханой нивы, еще менее огородов или садов: кажется, железо никогда еще не раздирало здешних лугов; на них пасутся только стада рогатого скота и табуны, водимые гордыми жеребцами; орлы и неуклюжие аисты — единственные жители пустынь здешних...

Общество здесь в полку порядочное, особенно начальник полка полковник Плаутин. Все зовут его умным, хвалят за обращение с подчиненными и за храбрость. Я еще его не знаю, но готов согласиться с общим голосом. Мне кажется, однако, что он не кавалерист, т.-е. мало знает службу; офицеров тоже у нас нет ею занимающихся, отчего фронт наш совсем не образцовый. В этом отношении дивизия 3 гусарского далеко отстала от других, например 1 уланского солдаты тоже дурно ездят; это может быть от того, что после прошлогоднего похода дивизия была совершенно дезорганизована, не воротилось к полку и 200 здоровых лошадей; всю зиму занимались комплектованием оных и амуниции, также растерянной, так что не было времени и подумать об учении людей; к тому же ремонты лошадей прибыли весьма поздно — в марте месяце. Неудивительно теперь, если рекруты сидя на неезжанных лошадях кажутся плохими гусарами. — Посмотрим, как и полк наш будет в деле прошлое лето, говорят, что он хорошо дрался, винят же начальство в том, что переморило с голоду лошадей, а генерала Ридигера за то, что не умел распоря-

жаться и послал под Козлуджи 1 дивизион против 12 тысяч турок. Про полк же графа Витгенштейна все говорят, что он дурно дрался, не пошедши раз в атаку. Говорят, и принц Виртембергский тут виноват.

Сегодня, 21 апреля, день основания Дерптского Университета, воспетый Языковым. Сколько раз я его шумно праздновал! теперь иное время!<sup>1</sup> — Но все еще те же чувства в груди моей; на другом обширнейшем опаснейшем поле ищу я теперь добра и чести: удостоюсь ли я ее? так ли я кончу здесь, как я кончил студенческую мою жизнь? — На последнюю я не могу жаловаться: кажется, я заслужил любовь и уважение моих товарищей, а начальники сознались, что я лучше чем ложная и неблагосклонная молва твердила. — Чтобы достойно праздновать сегодняшней день, я хочу писать к Языкову.

*Крепость Исакчи. 29 апреля...* Третьяго дня я писал через Рица (Александрийского полку) к Языкову, а через Блаугорна, который поехал в Одессу, к матери и Анне Петровне.

Когда я напишу Франциусу? Благодаря бога, я чувствую себя здоровым, боль в животе кажется тоже прошла. — Лагерная жизнь, хотя и менее спокойна, чем стояние в квартирах, но тоже имеет много приятного в такое время, как теперь: жары еще сносны, ночи теплы, — только утренние туманы холодны и должно быть вредны. — Первый день стояния лагерем был очень шумен. Ровно два года тому назад принял Плаутин полк, а накануне, в Бульбонах, прислали ему алмазные знаки Анны 2 степени: две достаточные причины для пира. Полковник умел заслужить любовь и уважение всего полка, всякий душевно радовался полученной им награды. И зашипело шампанское, загревели трубы и песьельники, и по всему лагерю раздалось радостное ура!

Этого мало: вдруг полковническая палатка поднялась, и гусары, подхватя полковника, начали его подбрасывать,—но от этой чести, я думаю, болели у него кости.—Праздник кончился только тогда, когда не стало вина.

На другой день, для подражания Витгенштейнцы тоже бог знает для чего шумели.—Бедный этот полк не может похвастаться хорошею славою, а, говорят, есть в полку хорошие офицеры.

*18 августа...* Дней пять тому назад, как возвратился из главной квартиры ад'ютант Мадатова Хомяков<sup>1</sup>. Он пробыл 3 дня в занятом нашими войсками Адрианополе. Жители оного принудили 10 тысячный гарнизон сдаться без сопротивления. Паша, донося об этом султану, заключает тем, что впредь он приказания получать будет от графа Дибича. В городе нашли 60 тысяч кил разного хлеба; жители остались все в своих домах и занимаются своими промыслами, управление их осталось в прежнем порядке. В Адрианополе полагают до 130 тысяч жителей, строения весьма мало хорошего; паша строит себе новый дом итальянской архитектуры. Квартал Франков выстроен маленькими двухэтажными деревянными домами и довольно красив. Вообще за Балканом мы нашли изобилие в продовольствии для армии...

*Лагерь под Шумлой. 20 августа...* Вот уже третий день, что я нездоров; в Янибз. сделалась у меня сильная головная боль; вчера целый день был у меня жар, слабость и боль в костях, сегодня мне тоже немногим чем лучше. В моих обстоятельствах занемочь весьма неприятно. Я все еще не знаю, как устроить мое хозяйство: мне нужно или вьюки, или тележку и деньги, а по сию пору я даже не знаю, когда я могу надеяться их получить.—Из России все еще нет слуху; не могу себе об'яс-

нить молчания: почта не может быть причиною 2-х месячного молчания матери; а сестра отчего не пишет? Непонятно! грустно!

Место, где наш корпус теперь расположен, весьма невыгодно: версты за три мы должны посылать за водою, дров тоже нет вблизи. Мне это тем неприятнее, что у Круш. оба человека нездоровы, а Арсений не успевает носить и на варенье кушанья в о д у.— Много мне теперь неприятностей. Но что делать: „взявшись за гуж, не говори, что не дюж“,— надо дослужить; кажется Россия не лишится великого генерала, а история нескольких страниц о моих победах, если я выйду в отставку. О, самолюбивое честолюбие, ты меня здесь жестоко караешь!— Прощай, мечта славы, не обманешь ты более меня и не заманишь опять в твои пустыни, поросшие одним терном, где везде встречаешь разрушение и смерть! Если полковник точно меня представил, то он мне во всех отношениях много сделает добра. Офицерское жалование мне много поможет,— не то так мне трудно будет.—

*21 августа...* Вообще теперь люди здесь много хворают горячками: у нас в полку 170 человек больных— почти третья часть всех людей. Это тем удивительнее, что мы стоим на месте без изнурительных трудов — не так, как прошлого года.

Сегодня получили некоторые письма, а я все еще ничего не получаю!!!

Давно начал я письмо к милому моему Языкову, но все не соберусь его окончить.— Здесь в полку познакомился я короче и лучше, нежели с кем-либо, с двумя офицерами моего же эскадрона — Шедевером и Якоби. Первый, родом из Одессы, во всех отношениях прекрасный молодой человек, соединяющий благородный характер с добрым сердцем. Он ко мне, кажется, очень

хорошо расположен.— Я к о б и уже человек, проживший первую свою молодость и по всему видно пользовавшийся ею. Не имев блистательного воспитания, он, как уроженец московский, видел людей и получил довольно навыку жизни. У него много природного ума. Сначала я ему показался гордым и не понравился, но после, сознался он недавно, он увидел, что я порядочный человек.— С этими двумя сослуживцами я более всего вместе бываю. Кроме их, есть некоторые очень хорошие молодые люди, но я с ними не имел случая короче познакомиться...

*23 августа.* Вчера вечером дождь помешал мне продолжать писать; он шел всю ночь и промочил всю палатку, так что нигде не было сухого места; это весьма неприятно, особенно мне, живущему по нужде в чужой палатке. Но одна ли эта теперь неприятность у меня?..

Вчера, когда я смотрел с кургана на первое действие наших батарей, подошел ко мне Александрийского полка Корф и просил меня от имени г. Муравьева, если я родня Тверским Вульфам, то побывать у него; это очень любезно с его стороны,—иной бы не подумал о столь дальней родне. Непременно на этих днях я явлюсь к нему; надо также сходить и к Ничеволодову. Как знать, к чему это знакомство с Муравьевым пригодится...

*24 августа...* Вчера вечером был я у Муравьева и Ничеволодова. Оба были очень любезны со мною. Муравьев про меня говорил Ничеволодову, он очень давно уже никого не видал из Вульфов; тем выгоднее, что он припомнил родство. Хотя он любит немного похвастать, но должен быть весьма любезный человек.

Говорят, пришла почта; надежда есть еще, что я с ней получу письма,—но если нет?.. что мне тогда де-

лать? где найти денег, потому что я уже теряю терпение так жить, как я живу. Когда я доживу до того времени, что не стану нуждаться ими? В университете, в Петербурге и, наконец, здесь — везде я прихожу в одно затруднение. Меня уверяют, и мне часто самому приходит в голову, что я счастлив; здесь мне нельзя пока жаловаться на счастье, особенно с тех пор, как я жил с Денисьевым<sup>1</sup>. Раз'ехавшись с ним, оно кажется опять обернулось ко мне; мое представление кажется мне первым его благосклонным взглядом. Если я каким-нибудь способом поправлю мое хозяйство, то я уверюсь в хранящей меня деснице, в существовании моего гения. Но как это может случиться, не предвижу. Как то идет наше хозяйство? Вот пришел первый срок уплаты процентов за Малинники, устроила ли маменька нивы? Все важные вопросы.

*25 августа...* Мои обстоятельства все те же еще; а как они не поправились, то и становятся каждый день хуже. Ежедневные необходимости, самые ничтожные, как то касающиеся до пищи, одежды и т. п., кажутся совершенно незначущими, когда в них не нуждаешься; но как скоро одна только из этих мелочных наших привычек не удовлетворяется, и нам чего-нибудь не достает, то нас это весьма расстраивает, несмотря на все рассуждения, что недостойно человеку заниматься такими мелочами, как существу, одаренному преимущественно умственными способностями...

*2 сентября.* Перед нашим выступлением в поход к Дж., на закате солнца, когда уже полк выведен был из коновязей на линию, турецкая граната ударила в середину переднего редута и взорвала зарядный ящик там. Черное облако дыма, за клубившееся над редутом и смешавшееся с вскинутой пылью, из которого во все стороны летели лопающиеся гранаты, казалось смертною

пеленою, которою покрыты сотни храбрых. Но, к счастью, мы после узнали, потеря была не велика: убило только три человека из прислуги около орудий, ибо никого не было в редуте. В следующую ночь, перед светом, чтобы доказать, что мы не уныли, послали одну роту Тамбовского полка, для опыта на штурм редутов. Турки были столь оплошны, что в редуты влезли мы по их же лестницам и заняли без выстрела оба, переколов сонных артиллеристов. Но за редутом расположенная турецкая пехота, около 1000 ч., пробужденная нашим Ура, бросилась на наших храбрых прежде, чем они совершенно очистили редуты от неприятеля и подошло наше подкрепление. Оно подошло тогда, когда турки уже смешались с нашими в редутах, и наконец принуждены мы были отступить. Потеря с нашей стороны была значительная, убитых и раненых считают более 300 чел. В числе первых мы потеряли отличных двух офицеров: полковников Корсакова и Желтовского. Трудно найти достойную награду начальникам за такое распоряжение...

*6 сентября.* В ночи на вчерашнее число получено здесь известие о заключении мира. Во всем корпусе верно нашлось мало людей, которые сердечно не порадовались окончанию войны. От души все поздравляли друг друга с возвращением в Россию. Красовский, получив это известие, возвратился из экспедиции. В 9 ч. утра поехал Красовский на свидание к визирю в Шумлу, я был в свите ординарцем у полковника. Подъезжая к крепости, увидели мы редуты, унизанные любопытными турками; многие выбежали из них, чтобы видеть нас поближе. Чем ближе подвигались мы к валу городскому, тем пестрее становилась толпа, окружающая нас. Нерегулярная и регулярная пехота, албанцы, арапы и жители—все смешались и так пестрели в глазах, что нельзя

было остановить внимание ни на одном предмете. Проехав несколько рядов редутов, мы взошли в Шумлу или, лучше сказать, в укрепленный турецкий лагерь. Миновав два земляных вала, мы въехали в лагерь регулярной пехоты. Перед палаткой выстроилось несколько человек часовых с ружьями в синих куртках и штанах, которые важно прохаживались, держа ружья под курок.

*7 сентября.* Наконец подехали мы к палатке верховного визиря, по обоим сторонам оной выстроена была регулярная пехота, которая, при приближении нашем, отдала Красовскому довольно для них хорошо честь, сделав на караул, точно также, как прежде делали наши войска, т. е. теми же приемами, только не так ровно. Визирь встретил Красовского при входе в палатку и посадил подле себя на диван в глубине палатки; вдоль же боковых стен на подушках поместились генералы и полк., а прочая свита стала за ними у входа в палатку. Начались взаимные приветствия и поздравления, обыкновенные в таких случаях; я на них не обращал внимания, а любовался на лица окружающих нас полковников, бишпашей и прочих чиновников, из которых некоторые прекрасны; почти у всех видно на лице какое-то добродушие, простое, открытое.

*18 сентября.* Потом подали трубки и кофе. Длинные черешневые чубуки были с красивыми янтарями, осыпанными камнями; кофейные чашечки у турок без блюбочек, а подаются вставленные в другие металлические; последние у визиря были тоже украшены камнями à jour вделанными. Вот все, что я нашел похожего на роскошь у первого сановника Порты.

Одежда его была очень проста: длинный кафтан и остальное платье были из сырнявого каземира, а чалма из белой шали. Здесь я видел и знаменитого Гуссейна, истребителя янычар. У него видно на лице, что он не



привык щадить кровь, и что одним движением руки повелевает он снимать голову.

Эти дни я не писал сначала от ежедневных поездок в Шумлу, а потом я писал к матери, сестрам и Анне Петровне. Вчера я окончил их и сегодня хочу, если удастся, их отправить.—Представление мое в офицеры еще не выходит, и я боюсь, что меня не произведут так скоро. Хотя я получил сто рублей, но они скоро выдут, и я останусь опять в той же нужде, потому что из Тригорского нельзя ожидать скоро денег. Теперь занимает меня будущность: недостаток в деньгах принуждает меня, несмотря на то, что я от службы ничего не могу ожидать, прослужить года еще два, а грустно провести их без пользы, без удовольствия в какой-нибудь деревне Малороссии. Непременно мне нужно будет съездить, возвратясь в Россию, в отпуск, не знаю, позволят ли деньги это сделать. Мы, говорят, в начале октября пойдем назад в Киевскую губернию. Теперь несносная здесь скука: в Шумлу надоело ездить, занятия совершенно нет никакого, хорошо еще погода хороша.

*21 сентября.* Вчера отправил я письма домой и к Анне Петровне и начал, к живейшему моему удовольствию, писать к Языкову; в Янибз. я уже раз начинал к нему письмо, но не удалось кончить. Я все хотел писать занимательно и приятно—и от того никогда не был доволен тем, что я писал. Теперь я решил просто рассказать все, что со мною случилось, и что видел замечательного; я буду очень доволен, окончив письмо. Все еще неизвестно, когда мы тронемся отсюда; скука несносная, к тому же сегодня по утру шел маленький дождь, это напоминает, что скоро начнется осень. Поход в Россию предстоит нам трудный. О представлении ничего не слышно: досадно, если оно не выйдет.

На этих днях попался мне в руки Булгарина роман *Выжигин*. Не читав ничего уже несколько месяцев, я с жадностью и без порядку прочитал четыре части, в которые разделен роман. Он назван нравственно-сатирическим, но сатиры я мало встретил в нем<sup>1</sup>. Ход романа совсем не занимателен, происшествия несвязанны, а рассуждения нравственные несносны, описание чувств и страстей вяло и холодно. Зато описание образа жизни наших дворян, некоторых лиц, сделанных представителями всех пороков и недостатков, которые встречаешь в их сословии, злоупотреблений, которые мы всякий день видим, и наконец разных степеней общества нашего в столице и губерниях. Слог сочинения вообще чист, но в нем нет ни живости, ни остроты, ни разнообразия рассказа: качества слога, требуемые от сатирика. Несколько книг, которые взял с собой, доставили мне много развлечения и утешения, особенно Байрона сочинения<sup>2</sup>; без них и без пера я бы одурел от скуки и бездействия. Жаль, что мои товарищи растеряли мне некоторые из оных: британца Байрона мне весьма жаль, здесь это бесценная потеря.

*29 сентября...* Эти дни я не совсем здоров: у меня болит голова; верно это опять геморoidalные припадки (я уже очень давно, как не делаю почти никакого движения).— Последнее письмо матери меня очень радует; в нем она очень нежна, заботится о сохранении моей жизни и называет подпорою и надеждою семейства. Надеюсь, что со временем она удостоверится, что мне нечего ожидать от службы и согласится на то, чтобы я ее оставил. Сестру я намерен опять бранить за ее письмецо; в нем она мне ничего не сказала занимательного, кроме того, что А. Б. просила мне кланяться.

*2 октября...* Вот октябрь месяц, а мы все еще здесь и не знаем, когда и куда пойдем; погода нам

благоприятствует: не дождлива и не холодна. Я все еще юнкер; если бы мог я быть теперь произведен, то, может быть, мог бы перейти в гвардию. Требуют 4 офицеров с дивизии, отличившихся во время войны, для перевода в старую гвардию; это кажется одна из наград за кампанию. Видно, от этой войны мне никаких покуда выгод не будет. В азартные игры я верно везде несчастлив, вообще же мне нельзя пенять на счастье...

*3 октября.* Я нездоров и грустен и скучен. Хочу на этой неделе окончить письмо к Языкову, не знаю удастся ли; к сестре я уже написал. Когда есть неприятности обстоятельств, которых влияние непрерывно сливается со всеми чувствами и впечатлениями, то человек ни к чему не способен, я это испытываю теперь. В голове пустота, в мыслях несвязность; само тело страдает: чувствуешь в себе тягость, лень, внутренний жар; сон не освежает, и поутру печаль прежде солнечных лучей является...

*9 октября...* Вчера приходил за мною Фрейтаг; у него я опять просидел целый вечер. О походе нашем не слышно. Я теперь читаю Вольтера трагедии, самые слабые: Олимпия, Триумвиры и Скифов; первая очень слаба, вторая лучше<sup>1</sup>. Перед этим я пробежал тоже одну часть его романов: эти прекрасны, слог в них чрезвычайно хорош, а критика удивительно едка.

*11 октября.* Сегодня выпал здесь первый снег, — я не ожидал его так скоро под небом, где зреет виноград и благородные плоды юга. Со снегом стих немного и ветер, так что воздух теперь не столько суров. Я только опасаюсь, чтобы скоро не наступили дожди, а такая погода, как теперь, еще сносна.

Теперь почти наверное можно сказать, что мы зиму простроим в Бабадагской области! Это самые невыгодные

квартиры, которых нам можно было ожидать. 1 бригада нашей дивизии счастливее нас: она будет стоять в Валахии около Бухареста. Впрочем, кто знает, может быть и это распоряжение переменится, или стояние в некраковских деревнях не будет так невыгодно, как мы воображаем.

Дельво, наш полковой адъютант, все называет меня своим наследником, тотчас по производстве меня в офицеры; я бы не прочь от этого; лучше, чем убивать время в деревне, употребить его в пользу службы и себя. — Но когда же выйдет это производство? — На несколько дней мое существование еще обеспечено, но что вперед будет, как повезу мои вещи, — этого по сю пору я еще не знаю.

*12 октября...* Все это хорошо, но я без денег; видно придется мне наконец просить их у полковника. — Что-то Анна Петровна давно не пишет, да и дома, кажется, не слишком часто обо мне вспоминают. — Впрочем, редкие письма сестры не есть еще тому доказательство, — вспоминать и писать две разные вещи; одно почти невольное действие ума или чувств, а другое требует, несмотря на все, род труда. Я несправедлив; слишком много требую. Писать письма для меня есть занятие, необходимая, почти единственная теперь деятельность ума. Им же совсем другое: сестра, как и все, пишет для того, чтобы отвечать на мое письмо, начинает обыкновенно писать перед отправлением почты, торопится, скажет несколько слов о том, как рада моим письмам, сколько меня любит, как ей скучно, и заключает тем, что у них ничего нет нового.

Прочитав написанное, я подумал: чего же я требую? и от кого? — Какое имею право требовать я столь много, столь редкого? Исполнил ли бы я сам требуемое от других? — Я должен быть доволен тем, чем теперь

пользуюсь, и стараться самому не заслужить этих упреков.

Война теперь, кажется, кончилась. Я давно хотел дать себе отчет в мнении об ней, но по сю пору еще не сделал. У меня слишком мало данных (фактов) для того, чтобы я был в состоянии положить решительное и неошибочное мнение равно о политических причинах войны, так, как и об ее плане. Об исполнении оно, особенно в иных частях (по тому, что я видел в этот поход), можно мне судить основательнее: мое мнение я подкреплю доводами, основанными на виденном и испытанном. — Если не теперь, то на квартирах я хочу поговорить об этом подробнее, теперь же надо наконец кончить письмо к милому Языкову.

*14 октября...* Вчера погода стала теплее, а сегодня большой туман, который солнце начинает разгонять, обещает хороший день. — Сопалатник мой Круш. откомандирован, и я до самого выступления имею удовольствие оставаться одним: не малая выгода. — С отездом Ушакова и Рославлева стало еще скучнее, однообразнее. Я вчера целый день читал роман *le Doyen de Killeringe Прево*; здесь его еще можно читать<sup>1</sup>.

*17 октября.* Жизнь теперь так однообразна и пуста, что точно не от лени я эти дни не писал, а от того, что нечего было сказать. Вчера приехавшие из главной квартиры офицеры не привезли никаких известий, кроме того, что на дороге они встретили курьера, ехавшего из Петербурга с ратификацией мира. Заключая по этому, можно нам теперь скоро ожидать повеления к отступлению...

Мне удалось теперь прочесть давно известную книгу: *Six mois en Russie*, p. Ancelot. Исключая некоторые ложные мнения и глупости франц. самолюбия, есть в ней занимательное, касающееся времени его пребывания

в России; по крайней мере, видно доброе намерение автора описать вещи так, как они ему казались, а не ругать все русское.

К Языкову я надеюсь скоро отправить письмо: это меня очень обрадует. Потом буду писать к Анне Петровне и домой,—я уже давно не получаю писем, особенно от первой.

*19 октября.* К величайшему моему довольствию, отправил я наконец письмо к Языкову. Не знаю, обрадует ли его столько получение оно, сколько меня радует отправление. Николай Михайлович есть один из тех людей, которых я более всех люблю: мне кажется, что для него я был бы готов пожертвовать любовницею. Никогда я не забуду моей ревности, моей горести, когда я, будучи в Петербурге, читал его письмо к брату его Александру Михайловичу, в котором он называет Петерсона человеком, которого он более всех других уважает и любит<sup>1</sup>. Я тогда писал ему об этом, и он мне отвечал, что тогда он говорил только о тех людях, с которыми в то время он вместе был. Я успокоился. Что делает Франциус?—и к нему надобно написать; жив ли то он? К Анне Петровне я тоже сегодня писал; что то давно нет от нее писем.

Сегодня пошла в Россию Конно-батарейная рота № 14, а завтра отправляются наши художники в Бабадаг; теперь вероятно и мы скоро пойдем. Хотя снег перестал идти, но погода пасмурна, туман с мелким дождем и очень грязно.

*20 октября.* Зашедши в Ахт. полк к Фрейтагу за книгами, я, к прискорбию моему, узнал, что Дубенский умер. Смерть неожиданная этого человека меня очень опечалила; я с ним познакомился здесь через Денисьева, с которым он давно в связях. С первой встречи с ним я его очень полюбил. Не будучи красав-

цем, он, для меня имел чрезвычайно много приятного в лице; в обращении он соединял это же качество с благородством и добродушием. Довольно странно, что, не познакомившись короче, он меня тоже очень полюбил: всякой раз, когда у него был Денисьев, он спрашивал обо мне и повторял, что он не понимает сам, отчего меня любит. С месяц тому назад я встретился с ним на вольном рынке: я сначала в толпе не узнал его,—мы так обрадовались друг другу, что чуть не бросились обниматься. Его лошадь тут скакалась с казачьею, донец обскакал, и на счет проигравшего мы пили шампанское. В последний раз я бедного тут видел! Все хотел я к нему зайти, особенно когда еще был здесь Денисьев, но не удавалось как-то. Жаль, что я не знал об его опасности. Мир ему!!! Его жизнь была бурная, страсть к игре владела им, и много он от нее страдал, вероятно, и последние свои минуты. Он умер воспалением в мозгу. Нашу взаимную привязанность я должен назвать симпатиею,—иначе я не могу ее об'яснить. Утешительная мысль, если воспоминание живущих может быть приятно душам бесплотных.

*Д. Серикиой, 4 ноября.* Вчера, после двухнедельного похода пришли мы сюда, в некрасовское селение Серикиой. Удовольствие поселиться наконец под крышею, отогреться и отдохнуть от похода умерено было тем, что во-первых квартиры очень тесны.—на полк и бригадный с дивизией штабы назначено 190 хат,—а во-вторых, что в них открылась чума,—в 7 избах найдены больные. Болезнь принесли сюда уланы на походе: они останавливались в землянках, где прежде лежали чумные, и заразились, разумеется, сами. Теперь же испортили они нам наши квартиры, так что, может быть, мы все пострадаем. Непростительное небрежение местного начальства.

5 ноября. Вычистив мое плохое ружье с утра, пошел сегодня на охоту; проходив до обеда, я ничего не застрелил,— так прежде в Тригорском я часто прохаживал дни. Пообедав довольно вкусно—голод лучшая приправа,—я принялся разбирать мои книги и бумаги; Петербургский дневник мой остановил меня, и я его до тех пор не пустил из рук, пока всего не пробежал. Очень много принес он мне удовольствия: теперь узнал я всю цену дневным запискам. Я все перечувствовал, что со мною случилось тогда; сравнил тогдашние мои желания и мнения с нынешними, нашел последние переменившимися, а первые совершенно противоположными: мои желания все стремились сюда, а теперь я назову счастливую ту минуту, когда оставлю военное ремесло и славу, — ищу одного покоя.

Пришедши сюда, я не знал, с кем вместе остановиться... к вечеру я еще не имел пристанища, наконец унтер-квартирмейстер нашего эскадрона показал мне хату, в которой уже стоял мой взводный вахмистр Рыбовалов с двумя гусарами. Я нашел просторную — в сравнении с другими—чисто выбеленную комнатку и— что всего лучше—весьма добрых и услужливых хозяев, так что мне теперь приятнее стоять, чем с которым либо из офицеров (одно неприятно только: это сегодня прибывшие к нам еще 4 гусара). Если бы не чума, то можно бы быть довольны нашими квартирами. Вчера открылась у Беклемишева хозяина чума, сегодня умерла от нее девочка, которая занемогла, и бедного ротмистра оцепили: кто знает, выйдет ли он живой? Всякого из нас ожидает подобная участь. Начальство дает строгие предписания; желательно, чтобы они точно исполнялись. Глупость и непослушание наших солдат нестерпимо: их никак не научишь осторожности и не уверишь в опасности. Он не может удержаться, чтобы не



поднять всякую тряпку, которую он видит. Счастливы мы будем, если удастся остановить заразу и не пострадаем от нее. Народ здесь вообще кажется добронравный и неиспорченной нравственности; несмотря на то, что мы их очень стесняем, они нас очень хорошо приняли. Они весьма зажиточны и до войны не терпели ни в чем недостатку. Главный и единственный их промысел рыбная ловля, которая весьма прибыточна; земледелием они совсем не занимаются.

*6 ноября.* Сегодня я наряжен в караул на гауптвахту; пока еще не пришли сказать, когда идти, хочу я описать место, где мы сейчас стоим. Некрасовское селение Серикиой, состоящее из 200 дворов, 1 церкви и часовни, лежит от Бабадага в верстах 15, на берегу большого Лимана Разена, на северной его стороне, против небольшого острова. Оно выстроено над довольно крутым берегом, от которого на несколько сот сажен простираются камыши, населенные множеством водяных птиц разных пород. Влево от деревни, за степью, в верстах 4, видны горы, идущие к Тульчи, а далее возвышенности, между Бабадага и Исакчи. Земля здесь, как почти во всей Бессарабии, с избытком награждает за труды; из прекрасного винограда делают здесь порядочное вино. Плоды и овощи были так дешевы прежде, что жители не занимались возделыванием земли; море доставляло им все в изобилии; заливы (лиманы) Черного моря и устья Дуная богаты рыбою, которая ловится и в наших реках, впадающих в это же море. Некрасовцы и запорожцы исключительно почти занимаются прибыточным рыбным промыслом и снабжают всю Молдавию и Валахию рыбою.—Они очень были довольны турецким правительством, которое, не собирая податей, довольствовалось казацкою службою в ближних городах. Управлялись они по сию пору миром и старшинами

также, как и у нас управляются селения. Вообще они сохранили все обычаи прежнего отечества своего, также, как и язык во всей чистоте. Точно так же, как Запорожцы говорят малороссийским наречием, так они великороссийским. Об расколе их я еще не могу ничего более сказать, как то, что табак и чай равно считаются нечистыми; здесь есть церковь, но без священников: пастыри не уживаются здесь. Бродяги, забегающие сюда, обыкновенно спиваются через несколько недель, отчего они умирают или их выгоняют. Мне кажется, что здесь, несмотря на Шизму, народ так же, как и в православной России, не очень набожен.

*7 ноября.* Сейчас сменился я с караула. Отдаются строгие приказы насчет наблюдения осторожности от заразы; учреждены карантинны и окурки; запрещено всякое сношение между эскадронами, а в них между взводами. Многие из офицеров не пускают никого к себе в хаты. Самые жители принимают всевозможные меры: они научены опытом, ибо в 17 лет это в 7 раз у них открывается чума. Несмотря на все это, оцепили сегодня поутру еще два двора—в них занемогли хозяйки. Такая новость не утешительна; что же делать, надо надеяться на одно провидение.

Пора начинать писать письма, время кажется будет достаточно, от одной скуки даже будешь марать бумагу; не знаю только, как я их буду отправлять. Меня начинает заботить, что я долго теперь не получу письма,—следственно и денег.

*8 ноября.* Вчера выпал снег, и сегодня стала порядочная пороша; с утра я пошел искать зайцев и мне удалось одного застрелить. Таким образом сегодняшней день в охотничьем отношении могу я назвать счастливым, других отношений здесь нет теперь, кроме чумных еще...—Если эта несносная чума пройдет, то еще здесь будет сносно,

9 ноября... Меня утешает... то, что этот год я не так много прожил, вот сколько:

От'езжая в Петербург, я взял у матери, . . . . .	200 руб.
кажется . . . . .	
Там от Пушкина получил . . . . .	1500 „
От Змиева занято . . . . .	950 „
Сюда прислала мать . . . . .	100 „
<hr/>	
Всего . . . . .	2750 руб.
Да занято здесь у Ушакова, Голубинина . . . . .	
и Запорожца . . . . .	628 „
<hr/>	
Итого . . . . .	3378 руб.

Если мне еще на 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца издержать 120 руб., то в этот год расход мой будет доходить до 3.500,— это не много.

10 ноября. Сегодня я опять ходил в поле, несмотря на сильный мороз. Не для одной охоты, но от скуки и для движения я теперь хожу. Ах, скоро ли я получу деньги, скоро у меня их не станет,— это настоящее мучение...

11 ноября. День за днем проходит однообразно и незаметно; вот уже неделя, как мы здесь едим и спим,— более по сию пору я, кажется, ничего не делал. Так незаметно протекут и месяцы. Прошлого года в это время я читал Смитта и Манзони описания чумы, восхищался ужасами оной, а теперь сам остерегаюсь ее. Третьего дня напомнил мне мужик, раздевший умершего чумою, последний роман: как ужасный Монари, пьяный он запел гулевую песню. Жители здесь весьма осторожны с заразою: коль скоро где-нибудь покажется больной, то все люди из того двора выходят в степь, а дом заколачивают на 40 дней. Этот же срок со дня смерти последнего чумного должны прожить в поле

вышедшие из зараженного дома.— У зараженного болезнь начинается сперва головою болью, потом с ним делается жар, тошноты, и наконец, открываются на теле пятна или желваки (бубоны): тут обыкновенно человек умирает; примеры весьма редки, чтобы люди выздоравливали. Умершего чумою можно узнать тотчас потому, что он не костенеет, как другие тела умерших.

Что делают мои красавицы теперь, вспоминают ли своего холодного обожателя? и подозревают ли они соблазнителя своего в чумной деревне, в одной хате, с некрасовской семьею и полдесятком гусар, судьба отомщает их. Год тому назад скучал я в неге их об'ятий, а теперь? Если не все, то некоторые верно часто обо мне вспоминают. Лиза, я уверен, еще любит меня, и если я возвращусь когда-нибудь в Россию, то ее первую я вероятно увижу: наши полки наверно будут расположены в Малороссии<sup>1</sup>. Саша всегда меня будет одинаково любить, как и Анна Петровна. Софья, кажется, так же скоро меня разлюбила, как и полюбила. Катиньку вопреки письменным доказательствам, я не могу причислить к моим красавицам: очарование у ней слишком скоро рассеялось. Сошедшись опять с нею, не знаю удержусь ли я, чтобы не попытаться воскресить в ней прежние чувства ко мне. Эта женщина подходит ближе всех мною встреченных в жизни к той, которую я бы желал иметь женою. Не достает ей только несколько ума. Несмотря на то, что ее выдали замуж против воли, любит она своего мужа более, нежели другие, вышедшие замуж по склонности. Детей своих любит она нежно, даже страстно; живучи в совершенном уединении, она лучшие годы своей жизни посвящает единственно им и, кажется, не сожалеет о том, что не знает рассеянной светской жизни. Несмотря на пример своего семейства и на то, что она выросла

в кругу людей, не отличавшихся чистотою нравственности, она умела сохранить непорочность души и чистоту воображения и нравов. Приехав в конце 27 года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, весьма довольный, что на время оставил Сашу, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь Берновскую. Письма мои к Александру Ивановичу давно ходили здесь по рукам и считались образцами в своем роде. Кат. рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я в первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Я никак не умел (как и теперь) постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность. Зато первая она стала кокетничать со мною, день за день я более и более успевал; от нежных взглядов я скоро перешел к изъяснениям в любви, к разговорам о ее прелестях и моей страсти, но трудно мне было дойти до поцелуев, и очень много времени мне это стоило. Живой же язык сладострастных осязаний<sup>1</sup> я не имел времени ей дать понять. Я не забуду одно неприятное для меня после обеда в Бернове, где я тогда проводил почти все мое время. В одни сумерки,—то время, которое называют между волком и собакою, в осенние дни рано начинающиеся,—она лежала в своей спальне на кровати, которая стояла за ширмами; муж ее сидел в другой комнате и нянчил ребенка; не смея оставаться с нею наедине, чтобы не родить в нем подозрения, ходил я из одной комнаты в другую, и всякий раз, когда я подходил к кровати, целовал я мою красавицу через голову,—иначе нельзя было потому, что она лежала навзничь поперек ее,—с четверть часа я провел в

этой роскошной и сладострастной игре. Такие первые награды любви гораздо сладострастнее последних: они остаются у нас в памяти в живейших красках, чистыми благородными восторгами сердца и воображения. С первых же дней она уже мне твердила об своей любви, но теперь уже от слова доходила до дела; даже в присутствии других девушек, она явно показывала свое благорасположение ко мне. Если бы я долее мог остаться с нею, то вероятно я не шутя бы в нее влюбился, а это бы могло иметь весьма дурные следствия для семейственного ее спокойствия. И то разлука нам уже становилась тяжела, мне нельзя было долее медлить в Твери. Надо было оставить приволье мирного житья и начать гражданскую мою жизнь, вступить в службу. Проживши полтора месяца с моей красавицею, с слезами на глазах мы расстались, — разумеется, мы дали обещание друг другу писать (я уже после первого признания написал ей страстное послание), и она его сдержала, пока не узнала, что я влечусь в Петербурге за другими. Когда я через год (в 28) опять увидел ее, то, хотя она и обрадовалась моему приезду, но любви я уже не нашел у нее (может быть от того, что она была брюхата на сносах), и мои старания воскресить ее остались напрасными. Вот история моей любви с этой холодной прелестью. Теперь, я думаю, она и не вспоминит обо мне!!

*12 ноября.* Вчера и сегодня поутру я говорил все про мои любовные похождения. Кажется, про Турцию я буду тогда писать, когда в ней не буду. Она так наскучила и так незанимательна, что не имеешь духу про нее и говорить. Вот на сегодня несколько слов о нашем возвратном пути из под Шумлы. Октября 21 выступили мы с нашей позиции в поход сюда; ветер, дождь и снег шли целый день; дорога совершенно испортилась, ломались повозки, падали волы и лошади;

наконец самый солдат терял силы от холода, мокроты и усталости. Пришедши в Янибазар, у нас в эскадроне сняли одного гусара уже мертвого с коня, а в ночь умерло еще два в полку. Первого в моих глазах схоронили саблями, как полковника Говарда под Ватерлоо, но другой Байрон не воспоет его<sup>1</sup>. Ночью выпал снег, который шел и целый другой день. Бедные гусары в степи не имели даже довольно дров, чтобы варить себе пищу. На другом ночлеге, не доходя Козлуджи, сделался мороз, — и мы схоронили опять несколько несчастных. Это была одно из жестоких ночей; она мне живо напомнила отступление Наполеона и Мицкевича Валленрода, в котором он оное описывает<sup>2</sup>. За то она и была последняя; подходя к Базардчику, погода стала разгуливаться и сделалась прекрасною осеннею. На марше от последнего города, во время привала, неосторожно разводя огонь, зажгли сухой бурьян; в четверть часа вспыхнула степь на пространстве нескольких верст. Тут вздумали тушить его, опасаясь, чтобы не сжечь казенное сено (которого по всему пространству от Балк до Дуная много накошено, говорят до 15 мил. пудов), да к счастью по этому направлению его не было. Ветер с час гнал перед нами это огненное море; картина была единственная: часто под ногами у нас свистело и трещало пламя, особенно, где высока и густа была трава; за нами почернела степь, на ясном небе из дыму составились облака, — в полном смысле слова мы шли всеразрушающей ордою, с огнем и мечем.

От Базардчика во все остальное время похода стояла прекрасная, по этому времени года, погода, дорога была ровна и суха. Только ночью мы терпели от холода, тем более, что мы шли все совершенно безлесною степью.

14 ноября. Вчера отправлен был я в Бабадагу, чтобы сдать в лазарет 3-х человек гусар больных. Я посхал уже довольно поздно от того, что не были готовы аттестаты для отправляемых; приехав в Бабадагу, я с трудом сдал больных. Дежурного лекаря не было, а фельдшер был так пьян, что хотел его разбудить, я бросил его под кровать, под которой, вероятно, он остался до утра. Некому было осмотреть моих гусар и принять их, чтобы не мерзли они на дворе. Напрасно я искал кого-нибудь, чтобы пожаловаться на эти беспорядки: кроме пьяных цирюльников и писарей не было никого. Наконец какой-то музыкант от имени канцелярии лазарета дал мне росписку в принятии больных— по какому праву, не знаю. По этим распоряжениям можно судить о порядке и о положении несчастных больных. При мне вынесли на носилках тело только что умершего.— Сколько я в нынешнюю кампанию видел, то утвердительно можно сказать, что распоряжения по медицинской части действующей армии были самые недостаточные. Не упоминая о том, что весьма мало было врачей—все почти хирурги, тогда, когда нужно было более медиков,—ни о том, что не было совершенно медикаментов,—были такие случаи, что нововступающие больные оставались без пищи. Неудивительно после этого, что в Янбаз., где были все больные нашего корпуса (до 6000), десятками зарывали тела в одну могилу.— Если исчислить всю потерю нашу людьми в оба года, то она найдется весьма значительною, несмотря на то, что война была вовсе не кровопролитна. Несчастные гибли не от меча неприятеля, а от незаботливости собственного правительства. Можно наверное положить, что из умерших мы потеряли только 1/10 убитыми и ранеными... Возвратясь домой, я нашел хозяев моих, празднующих заговены. К ним пришла в гости кумушка



с кумом, и началось пьянство и песни. Я люблю видеть народ веселящимся. Песни они поют наши русские и казачьи, но весьма дурно. Я бы стал писать их со слов, но они поют без толку и не допевают песен. — О чуме, слава богу, эти дни ничего нового не слышно; ни один гусар ею еще не занемог, — авось она мимо нас пройдет. — В полку тоже ничего не слышно.

*15 ноября...* Вечер 'я просидел у Рудольтовского, где был и Рошет; мы говорили много про Петербург и с Рошетом про Пушкина; он был со Львом и Павлицевым вместе в лицейском пансионе. — Вчера вечером пошел мелкий дождь осенний после тумана, с утра обложившего небо, которое согнал бы весь снег, если бы поутру мороз не остановил оттепели.

Совсем неожиданно принес мне Шедевер и Якоби большой пакет писем от матери и сестры. Кроме того, что обе написали мне по длинному и очень милому письму, первая вложила еще в пакет целую тетрадь почтовой бумаги, чтобы я ее всю употребил на ответ ей. — Оба много меня обрадовали и утешили; давно я не получал столько занимательных и нежных, особенно материно полно чувств истинных. Она рассказывает как ей понравилась Москва, и как она приятно провела там время, — чрезвычайно меня радует, что от всегдашних ее хлопот по управлению имением и забот о нас, она в Москве в кругу старых своих знакомых нашла отдохновение. Я бы все сделал, что от меня зависит, чтобы исполнить ее желание жить по зимам в Москве. Пора ей отдохнуть от вечных беспокойств, а сестер вывести из деревенской глуши. — Сестра тоже разговорила в своем письме против обыкновения; здесь это первое ее письмо, которое заслуживает название. Жалобы ее на жизнь, которую она ведет, справедливы: положение девушки ее лет точно неприятно; существ-

вованіе ея ей кажется бесполезным, — она права. К несчастью, девушки у нас так воспитаны, что если они не выйдут замуж, то не знают они, что из себя делать. Тягостно мыслящему существу прозябать бесполезно, без цели. Она хочет, чтобы в письмах моих я менее рассуждал, а более писал про Турцію, — верно, что ей невозможно себе представить, что про степь, поросшую одним терновником и бурьяном, в которой мы кочевали всю кампанію, можно бы много занимательного написать. Мать все еще пишет из Малинников, но обещает через несколько дней выехать в Тригорское. Она говорит, что уверенность быть в состояніи скоро мне из Тригорского выслать значительную сумму денег ее утешает: и мне бы это весьма приятно было, ибо я скоро буду в затруднительном положеніи насчет денег. Удивляюсь, что с этой почтой не получил я письма от Анны Петровны, — она уж очень давно не писала; здорова ли она и как живет теперь?

*17 ноября...* Нельзя не подивиться административным распоряженіям нашей армии. Сперва держали нас донельзя под Шумлою, едва не переморив людей от холоду и лошадей от недостатку корма. Дождавшись самой дурной погоды, потом поставили нас в зимніе квартиры, где нет продовольствія, чрезмерная теснота, и наконец вдобавок ко всему, чума, — должно признаться, что подобнаго нигде не встретишь, кроме в нашей родной Россіи. Немного это чести приносит талантам и заботливости о войсках героя Забалканскаго.

*19 ноября...* У Ушакова взял я прочитать 1 часть войн Россіи с Турціей Бутурлина, пер. Гречем. Сегодня я прочел первую войну Екат. 1769—74, веденную Румянцевым. В описаніи сих походов мало замечательнаго и поучительнаго, одна только битва кагульская достопримечательна. Если вся исторія Бутурлина так писана, то

немного в ней хорошего. Теперь буду я писать к Анне Петровне.

*20 ноября...* Вот наступил 5-ый год царствования Николая; прошла первая олимпиада, но мало, кажется, сделалось улучшений в продолжении этого времени. Мы окончили две войны, — взяли с правоверных много золота, но последнее много стоило нам крови, государству мало они принесли пользы. Несмотря на бурное и кровавое начало, можно еще ожидать добра от этого царствования. — Надолго, кажется, мы спокойны от крамол, — это поколение, по крайней мере, усмирилось. За будущие однако нельзя поручиться, если не искоренят причин, возбудивших первый бунт.

*22 ноября...* Вчера имел я удовольствие застрелить зайца, хотя погода была довольно холодна. Удовольствия этого рода почти единственные, какими здесь можно пользоваться.

Хотя гуманисты и называют звериную охоту варварством, недостойным человека просвещенного, но я не в силах отказаться от нее, особенно в здешней варварской стране. К тому же она так полезна в отношении телесного упражнения, что нравственный вред в сравнении с первою выгодною ничтожен. Никогда людям невозможно будет переменить общий закон природы взаимного истребления...

*24 ноября.* Сегодня Екатеринин день: именины двух моих двоюродных сестричек<sup>1</sup>. Одна теперь в Саратове — в пределах дальних! — забыла меня. Другая в Твери, вероятно, с моими сестрами прыгает французскую кадрили, и тут меня не поминают, по крайней мере, она. — В Петербурге прошлого года я был у Симанской и у Бегичевых, где две Катерины<sup>2</sup>. Здесь еще менее остался я верно в памяти. Александра Ивановна хоть и спрашивает часто (сестра пишет) обо мне, но это одна

вежливость или больше хорошая память всех людей, самых даже незанимательных, которых она встречала в жизни. Я могу решительно сказать, что зная ее целый год и видав иногда очень часто, — во время бытия матери в Петербурге, — я не видал ничего с ее стороны, кроме холодной вежливости; я не слышал ни одного приветливого слова, ни такого, которое бы показало, что она малейшего удостаивает меня внимания. — Несмотря на обидную такую недоступность, я ее люблю и очень желал бы ей понравиться. — Она может быть, кажется, прекрасною женою. — Довольно странно: с ее прекрасными качествами и состоянием она по сию пору не замужем. — Но вот куда мечта заносит из Серыкиной из середины чумы!!

В Дерпте этот день я обыкновенно тоже приятно проводил. В Лифляндии обычай накануне Екатеринына дня (также как и на Мартына Л.) маскироваться: с вечера начинают толпиться по улицам маски, их принимают с удовольствием во все дома, угощают и, где находят молодых девушек, танцуют. Вольность, которую пользуются маски, придает много цены этим удовольствиям. Я помню не один такой вечер, который много принес мне удовольствия, особенно приготовлениями к маскараду.

Говоря о маскарадах, я вспомнил, когда, приехав в Петербург, я встретил 28 год на таком у Лихардова. Это было первое общество блистательное, в которое я вошел в Петербурге. Я выбрал себе турецкий костюм очень к лицу и кстати по обстоятельствам. Все лица, там бывшие (исключая сестер), мне не более были известны, как бы жители Стамбула; следовательно, я очень естественно мог представлять азиатца, все сие в первый раз видящего. Мне отдали справедливость, признав меня в этом костюме одною из лучших маск.

И точно: наклеенная борода очень красила меня (я не надел маски, потому что еще в Петербурге меня никто не знал). — Однако я недолго остался на бале: дождавшись нового года, я тотчас уехал. Мне наскучило смотреть на французские кадрили, в которых не было ни одного для меня занимательного лица. — Жаль, что я приехал в Петербург один и без способов вступить в большой свет, как говорят. Я не имел возможности сам пробить себе дорогу, потому что не имел столько денег. Вот и остался я около Фонтанки, куда меня судьба выкинула с почтовой телеги, в малом кругу родных и знакомых. Если бы не дом Дельвига, то жизнь моя в Петербурге была самая бесполезная и скучная. Бывая у него всякий день, я, по крайней мере, был в кругу литераторов — едва ли не лучшим во всем Петербурге — и оттого познакомился почти со всеми тогда жившими в Петербурге. Такое общество людей образованных, хотя и не самое блистательное, во всех почти отношениях предпочтительнее высшего круга знакомых, где, кроме городских новостей и карт, ничего не слышишь. — Об этом обществе, в котором он жил, мне дала понятие связь с Пушкиным. Вероятно, будь я счастливее в Петербурге, получив выгодное место в статской службе, я не захотел бы сюда. В департаменте податей и сборов нечего было мне ожидать, жить стоило слишком дорого, — что ж оставалось мне делать, как не испытать здесь моего счастья, — здесь в мазанке, с полдесятком гусар делающих теперь (ночью) воздух нестерпимым!!! О, своенравный рок!!

25 ноября... Еще я прослужил лишний месяц юнкером. Наступил 11-ый моей службы, а я и не предвижу моего производства; это мне еще неприятнее ради домашних. Так то исполняются в России законы, и так мои надежды! Это будет, однако, весьма занимательно,

если еще несколько месяцев я не дождусь представления и возвращусь в Россию юнкером. Тогда я в праве буду сказать, что не счастливо служу. — Все это меня не заботило бы, если я скорей получил бы деньги.

26 ноября... Вчера вечером ходил я к Воейкову играть в шахматы; я чрезвычайно рад, что нашел здесь эту игру, — она здесь становится вдвое занимательнее обыкновенного. Я намерен часто ею пользоваться.

28... Я теперь часто читаю священное писание; я начал с деяний Апостолов. Они весьма неполны мне кажутся, и трудно из них понять постепенный ход распространения христианской веры; к тому же они говорят почти только про одного апостола Павла. Теперь я за его посланиями. — Теперь я опять буду заготавливать письма домой.

29. Вчера я начал писать, но написал только одну страницу к матери. — На охоту вот уже другой день тоже, что я не хожу: постоянный холод мешает, нет пороши. Сейчас мне, не знаю как, пришло на ум сожалеть, что я прошлого года лучше не воспользовался кокетством Мар. П. Надо сознаться, что я чрезвычайно неловок и глуп с ней был. Как не иметь женщину, которая выходила со мной одна в кабинет мужа, оставляя гостей, чтобы сидеть со мной, пока я с кофеем курю трубку! — И я всегда бываю таким олухом; в Старице Машенька Борисова и Наташа Казнакова также прошли у меня между пальцев. — Дай бог, мне быть впредь умнее, а то „дурно, дурно брат Александр Андреевич“ — как говорил Пушкин. — Как жаль, что Грибоедов так несчастливо окончил свое, только что открывшееся поприще гражданской службы. Как литератор, он останется всегда в числе отличнейших талантов нынешнего времени. Его Горе от Ума всегда будет иметь цену верной и живой картины нравов своего времени. — Вот

как я слышал подробности и причины возмущения надорного в Тегеране жертвою которого он сделался вместе со всею свитою нашего посольства<sup>1</sup>.— Для решения какого-то процесса приведены были несколько женщин персидских, в дом нашей миссии и должны были там остаться под стражей. Грибоедова человек, вероятно, Ловлас петербургских камердинеров желал воспользоваться этим случаем. Несогласие азиаток привело его к насилию. Народ, возбуждаемый каким-то недовольным Эмиром за то, что их жены будут судимы русскими, услышав их крик о помощи, бросился в дом, несмотря на сопротивление нашей почетной стражи и прежде, нежели подоспели войска шаха, перерезал всех, кого там ни встретил. Из всех чиновников посольства нашего спасся один только Манзи, уехавший в этот день на охоту из города<sup>2</sup>. Так сделался человек, одаренный отличным умом и способностями, жертвою беспорядочной жизни, которую он прежде вел. У другого господина верно слуга не осмелился бы сделать подобного своевольтва. Хорошо, что Шепелев не поехал с ним, а то быть бы ему теперь без головы<sup>3</sup>. Что то мой милый собрат на поле наук теперь делает и где он?

*3 декабря.* Сегодня месяц, как мы сюда пришли; должно признаться, что он скоро прошел, как вообще проходит время без занятия и в однообразной жизни.— Слава богу чума кажется прекращается (чтобы не сглазить). Я читаю теперь „de l'origine de tous les Cultes, p. Depuis“.— Он хочет доказать, что христова вера, так, как и все другие веры, ни что иное, как почитание природы или всего мира (бога) и что Христос есть миф о солнце.

Я не прочитал всего еще, а слог его очень хорош и, покуда, его мнение кажутся мне справедливыми, исключая о христовой вере,

*4 декабря.* Дельво говорил, что полковник снова меня представляет и прочит в полковые ад'ютанты. — Он получил тоже известие, что за 31 августа награжден Георгием 4-ой степени; Александр Муравьев получил 3 степени за ложь, что будто собственноручно отнял полковое знамя, тогда, когда он его взял у гусара нашего полка. Не видев собственными глазами, не поверишь, как эти награждения даются и заслуживаются. Смело можно сказать, что из 10 вряд ли один заслужен; награждаются обыкновенно более всех ад'ютанты и вообще люди находящиеся при штабах. До фронтальных же офицеров доходит весьма мало наградений, которые и здесь пристрастно раздаются.

*5 декабря.* Нам непременно нужен хороший кавалерийский генерал, потому что государь сам нами не занимается.

*7 декабря...* Сколько вчерашний день разлилось наград в нашем стольном граде Петра — до нас они не дойдут, но мы их и не ожидаем; хотя бы получить должное, а главное, мне, чтобы прислали скорее деньги...

*8 декабря...* Кусовников мне сказал правду про Г. Плаутина. Мать пишет, что он получил Тираспольский конный Егерский полк, и что тем разрушилась ее надежда на замужество сестры. — Хотя он и волочился за нею, но я не надеялся на него. Сестра не умеет себя вести и вряд ли, когда либо, таким образом найдет порядочного мужа. — Мать говорит, что она теперь только желает меня знать офицером и не надеется скоро увидеть меня; кажется, не быв в Турции, как я, честолюбивые мечты ее видеть меня однажды полковником или статским советником не оставили...

*9 декабря...* Рославлев читал несколько мест из Ростовцева трагедии Персей Странно, что я про него ничего не помню, кроме стиха Языкова, не весьма для него лестного<sup>1</sup>...



*12 декабря...* Сегодня празднуют в Дерпте основание университета и раздают медали за обработку задач, — несколько лет и я праздновал этот день и проводил иногда приятно. В 23 году на празднике я очень много танцевал в нашем студенческом клубе на балу, в этот день всегда даваемом. В 25 я был одним из церемонимейстеров, смотрел за порядком (я был во всем блеске студенческого мундира) во время торжества погребального в честь умершего императора, где говорили на этот случай речи и были петы дерпскими красавицами духовные гимны<sup>1</sup>. После того вечер я просидел у Языкова и выпил (что очень много) 7 стаканов чаю от большой жажды и усталости.

В записках моих прошлого года сказано, что 12 декабря Софья Михайловна, несмотря на зубную боль, любезничала со мной, — а нынче? — Я уже позабыл все сладострастие пламенного поцелуя, всю прелесть прекрасной ручки... Не касаясь ни добродетели девичьей, ни обязанностей замужества, — живу теперь одними воспоминаниями, простыл, не верю в себя. Может быть, мне теперь навсегда должно будет отказаться от упоений сладострастия: если останусь служить, то буду жить в краях необразованных, а проведши так несколько еще лет — пройдет молодость, а с ней и способность наслаждаться. Если не совсем так случится, то, по крайней мере, вряд ли я снова буду иметь столь благоприятное время, как прошлый год.

*15 декабря...* День, в который четыре года тому назад бунтовала наша неопытная молодежь. В русских летописях он останется незабвенным, как первым шагом к преобразованию умов и гражданских прав, которое уже испытали большая часть народов просвещенной Европы. Это первая искра пламени, непреодолимо пожирающего злоупотребления и предрассудки, освященные

давностью, защищаемые лицами и сословиями, которым они приносят пользу, во вред целых народов и человечества, которое обходит весь мир, где только находит себе пищу. С вершин Андов до высот средней Азии, колыбели человечества — стоила нам цвета юношества своего времени. Он погиб не без пользы, благодаря мудрости законов провидения! — Наученное опытом правительство, или лучше сказать царское семейство, кажется хочет вникать в нужды народа и сообразовать меры свои, способ управления, с временем и образованностью оною. По крайней мере, четыре нами прожитые под державою Николая года подали надежду, что мы не будем вынуждены силою с престола взять закон и права естественные и гражданские, а сам монарх нам их отдаст.

Сегодня год, что я оставил Петербург, поехав с Петром Марковичем в Тверь, — чтобы оттуда ехать сюда, — сегодня же я и получил и мою отставку из штатской службы. Какая разница с тем, чего я тогда надеялся и что исполнилось! Одно только исполнилось: это то, что я перенес войну и что она тогда кончилась, когда я этого ожидал. Остальное все потонуло в море обыкновенных случаев и посредственности — два волшебных очерка, из которых я напрасно старался и стараюсь выйти.

*17 декабря...* Вот и день моего рождения — наступил 25 год моей жизни. — Много размышлений раздается при взгляде на прошедшие годы — и мало утешительных. Каким добром, чем полезным себе или обществу ознаменовал я половину, может быть и более, данных лет? Со стыдом и сожалением я должен сознаться, что не могу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. — Но гордо позабыл бы я мои потерянные годы (Языкова стихи), если бы я мог отныне посвящать мои годы трудам добрым, если бы с каждым прожитым годом я бы

мог насчитывать хотя по одному полезному подвигу. — Что, например, в том, что я теперь служу: ни службе, ни мне от того не лучше, — я только трачу время и гублю малые мои способности к знанию, привыкая более и более к бездействию. Не знаю, как матери покажется, а я вижу ясно, что от службы мне никакой выгоды нет. Занявшись хозяйским управлением которого-нибудь из наших имений, я гораздо принесу более выгоды себе и семейству нашему, чем проживая состояние свое в полку или в Петербурге. — В деревне я буду иметь способности находить и пищу для ума; если я не могу сделаться ученым, то, по крайней мере, я не отстану от хода общего просвещения человеческого ума. — Когда настанет это время?

Из Базарджика в два перехода пришли мы к крепостце Мангалия. Хотя в наших реляциях прошлого года и слывет она крепостью, но это потому только, что и теперь есть еще остатки рва и вала, некогда окружавшего маленький этот приморский городок, — теперь она почти совсем разорена и опустошена чумой. Гарнизон, больные бывшие в ней, — все вымерло; кое-где только между развалившихся мазанок опять начинают селиться возвращающиеся болгары и турки. Она служила ссылочным местом для турок точно так же, как Кистенжи и другие города по этому берегу моря. Мангалия выстроена на красивом месте: над морем, а к югу над лиманом, хотя и не широким, но далеко впадающим на берег. Дорога, по которой мы пришли к ней, лежит на песчаной косе, отделяющей этот залив от моря. — Давно я желал взглянуть на любимую, и им прекрасно воспетую, стихию албанского певца<sup>1</sup>, но Черное море не исполнило мое ожидание. Я не нашел ни пенящихся бурунов, ни с оглушающим шумом о берег и скалы разбивающихся валов, — оно похоже более на

большое озеро; на песчаном берегу едва приметен гребень волны, который, загнувшись, упадает опять в нее: только по зелени их, переходящей, отдаляясь от берега в синеву, узнаешь море...

*18 декабря...* Теперь я хочу свести мои дневники, описав отъезд мой из Петербурга, пребывание в Твери и все, что случилось со мною до прибытия в полк, а там наши военные действия до августа месяца. Это даст работы более, чем на месяц.

*20...* После обеда я от усталости долго спал, а проснувшись пошел проходиться; у Штейнбока я нашел несколько человек еще не спавших. Говорили много про образ жизни запорожцев; от Сечи их недалеко расположен Витгенштейновский полк. Некоторые из офицеров этого полка ездили туда к кошевому атаману Гладкову, нам передававшемуся в прошлом году. Он родом из простых мужиков Киевской губернии, где жили его жена и дети. За услуги, оказанные нам при переправе через Дунай, пожалован он полковником и Георгием 4 степени; их эсаулы произведены в офицеры, а остальные запорожцы сформированы в полк; им уже присланы мундиры, похожие на те, которые носят черноморские казаки; с весною переходят они в Россию. Эта сечь есть сборище беглецов и бродяг русских. Прежде сего проводили они лето в рыбной и звериной ловле и в разбоях особенно, — а зиму в пьянстве на заработанные деньги. Деревья около Бабаз, были обыкновенно увешаны, вследствие недолгого турецкого суда, пойманными в лесах разбойниками запорожскими. — По древнему обычаю, в сечи не терпимы женщины; в ней живут одни холостые бурлаки. Коль скоро один из них женится, то оставляет он Сечь, а вместе с нею и своевольную жизнь; он селится в деревне неподалеку от Сечи и делается мирным жителем. — Число бурлаков простирается

теперь до 300, не считая тех, которые в турецкой службе.— По пословице, что ни один запорожец не умирал своею смертью,—обыкновенно или обопьется, или где пропадет,—можно судить об жизни, какую они ведут.—Между ними есть, говорят, бежавшие после 14 декабря.

К Гладкову государь очень милостив: его дети взяты в Петербург: сын в военное училище, а дочь в Екатерининский институт.

Вот уже скоро новый год, а писем все нет...

*23 декабря...* На охоте будучи, я всходил и на гору св. Ираклия или св. Георгия. С развалин стены и башен любовался я видом окрестностей. Теперь они не столь хороши, как летом должны быть.—Самые развалины есть, кажется, остаток древнего замка.—Строение не должно быть очень старо, ибо деревянные перекладины в окнах и стенах еще целы. Стена построена пятиугольником, как обыкновенно, углы укреплены башнями, из которых 3 еще мало разрушены; две северные 4 угольные, а южная, где был, кажется, главный вход в замок, 8 угольная; в одной стороне у стены видны остатки комнаты с каменным сводом или погребом,—за высокой травой, кустами и снегом я не мог хорошо разглядеть: верно тот, про который рассказывают, что он скрывает богатый клад, и которые не даются, т.-е. что их нельзя взять; несколько неверовавших искателей богатств пытались отыскать его, но их раскидало, и буйволы разогдали (слова моего хозяина).

*24 декабря...* Эти дни случилось трагическое происшествие в Витгенштейнском полку; один офицер (Борский)<sup>1</sup> застрелил тоже своего полка казначея Кагадеева, за то, что тот, наделав ему грубостей, дал щелчок в нос. Мне кажется поступок Борского весьма простительным и гораздо рассудительнее дуэли; с чело-

веком, который унизил себя до того, что позволил себе делать обиды равному себе, с которыми сопряжено так называемое бесчестие, нельзя иметь поединка, и обиженный в праве убить его, как собаку.

*27 декабря.* Первые два дня праздников Рождества я не мог писать, потому что во-первых охота меня много занимала, — мы ездили втроем, с Шедевером и Якоби, довольно удачно за зайцами и куропатками, — и во-вторых потому, что вчера и третьего дня не только мои хозяева, но даже и Арсений так пьянствовали, что выжили меня совершенно из хаты. Последнего я было хотел вчера больно высечь, а сегодня уже раздумал; он заслуживает быть наказану, ибо мало того, что в первый день праздника он, напившись, поколотил хозяина, — на другой день, несмотря на мое приказание, он напился еще более. Это слабость с моей стороны — не наказывать за такие поступки, но я не в состоянии терпеть около себя человека, которого я должен бить, — я бы хотел, чтобы мне служили из доброй воли, а не из страху. Но, кажется, с нашим бессмысленным и бесчувственным народом до этого не доживешь. Третьяго дня я получил от матери письмо от 4 октября из Малинников, то самое об котором она говорила в своем письме из Пскова от 15 октября, которое однако я уже недели две как получил; это оттого, что последнее было послано через Андреева. — Мать пишет, что в Тригорском она нашла все хозяйство в большом беспорядке. Я не ожидал этого от лифляндского хозяина: он мог обманывать и красть, а расстраивать имение ему не было никакой выгоды. Она также пишет, что Пушкин в Москве уже<sup>1</sup>; вот судьба завидная человека, который по своей прихоти так скоро может переноситься с Арарата на берега Невы а мы должны здесь томиться в нужде, опасностях и скуке!!!

Оставленная в Тригорском Катинька, говорит мать, очень похорошела: дай бог, она большого состояния не будет иметь, следственно красота не помешает ей<sup>1</sup>. Странно, что сестра молчит, а про Анну Петровну, я уже не знаю что думать.— Об производстве в офицеры ничего тоже не слышно, я уже не ожидаю его более...

### Приказ

*28 декабря.* Войскам 2-й армии, отдельного Кавказского корпуса и действовавшим эскадрам Балтийского и Черноморского флотов.

Благословением всевышнего окончена брань, в коей вы покрыли себя незабвенною новою славою, и трудами вашими Россия торжествует мир достославный.

В двух странах света неумолчно раздавался гром побед ваших; многочисленный, упорный враг сокрушен повсюду, и пала перед вами вековая слава неприступных твердынь его, до появления вашего не знавших победителей. Сильною стопою переносились вы чрез хребты гор непроходимых, и поражая врага в неприступнейших его убежищах, у врат Константинополя, принудили его к торжественному сознанию, что мужеству вашему противустоять они не в силах. Столько же отличили вы себя кротким обращением с побежденными, дружелюбным охранением мирных жителей в покоренных областях, постоянным соблюдением самого примерного воинского порядка и подчиненности и строгим исполнением всех ваших обязанностей. Вы истинно достойны имени русских воинов.— В ознаменование толиких заслуг ваших престолу и отечеству, повелеваю: носить всем участвовавшим в военных действиях противу турок в 1828 и 29 годах установленную мною особую медаль за турецкую войну, на ленте св. великомученика и победоносца Георгия.

Да будет знак сей памятником вашей славы и моей к вам признательности, да послужит он залогом и будущей верной вашей службы.

Николай.

С. Петербург, 1 октября 1829 г.

Для образца нынешнего нашего воинского красноречия я выписал этот приказ вполне. Должно сознаться, что слог оногo весьма нехорош: пустой бессмысленный набор надутых слов. Военные приказы должны быть писаны каждому солдату понятным слогом, а здесь никто ничего более не поймет, как то, что дана медаль на Георгиевской ленте. Для меня этот приказ замечателен и тем, что им я получил единственную награду за год кампании. В настоящем деле я и не вправе (разумеется, исключая, офицерского чина, уже полгода мне следующего, и который я в мирное время получил бы) требовать ничего другого, ибо не сделал ничего отличного, но когда другие тоже совершенно без причины получают почти всегда так называемые знаки отличия, то отчего же бы и мне (хотя для того, чтобы обрадовать мать) не получить их. Это оттого, что во всем полку, и вообще нигде, я не имею человека, с которым я бы был в связях, как называют; Дельво единственный мой знакомый, и тот, кроме вреда, мне ничего не сделал. И сестер бы потешило очень, не упоминая уже об остальной моей православной Берновской родне, у которых я бы прослыл маленьким героем,— видеть меня с крестом на груди, напр., солдатского Георгия, который мне очень легко бы можно было получить.

*31 декабря...* Вот оканчивается для меня год, богатый опытностью, трудами, нуждою и неприятностями всех родов. Из всего числа дней оногo я мог исключить только несколько, ознаменованных происшествиями



остающимися в памяти приятными: их так мало, что легко можно пересчитать, и все принадлежат к тому времени, когда я еще не перешел за рубликон разума, не вступил в военную службу. С рокового же дня, когда я оставил Малинники, отправившись в полк, все остальные есть почти ряд неприятностей во всех отношениях и всех степеней. Послужив один год, я кажется испытал все, чего мне недоставало, чтобы охладить ум, разочаровать воображение и сделать меня рассудительнее. Если теперь я не буду олицетворенным рассудком, то это одна моя вина, потому что опытности довольно было на всю жизнь:— Чем больше я думаю, тем яснее мне видно, что службу царскую, по всем причинам, мне должно как можно скорее оставить — Что могу я в ней выиграть?— после многих лет службы несколько весьма маленьких чинов, потому что, не имея наследственных связей и столько явных блистательных качеств и счастье, чтобы сделать их самому себе, я всегда останусь обыкновенным фрунтовым офицером.— Потеряю же я во-первых время бесполезно, без удовольствия, отвыкну от всех благородных занятий и общества, живя в глуши какой-либо из маленьких губерний, а во-вторых еще расстрою свое состояние.— Если же я оставлю службу, то не только что, занявшись хозяйством, я могу его поправить и обеспечить спокойствие нашего семейства, но и сам буду вести жизнь образованного человека, посвящать свободное время занятиям умственным — наукам, а не убивать время в бездействии, скуке и тоске, как теперь.— Не дай бог, чтобы будущий год я такими же печальными размышлениями оканчивал!

*1 января. 1830 г.* Вот и новый год. Вчера неожиданно я его встретил шампанским. Проспав целый вечер, я проснулся уже в часу 9; напившись чаю, я писал продолжение моих Петербургских записок. Около десяти часов

я пошел искать не спит ли кто-нибудь, чтобы посидет с ним и встретить новый год, потому что я не мог решиться лечь спать, не дождавшись его. Шедевера нашел я спящим; один Войт не спал, а писал письма, я не хотел ему мешать. Пошедши от него, увидел я у Голуб. огонь, зашел к нему и нашел там с Позд. и Ад'ютанта, провожающих их старый год шампанским. Я остался с ними и, встретив несколькими стаканами вина, просидел там до двух часов. Не так встретил я последние два новые года — 28 и 29.

*6 января. Монастырище...* Молдаванское селение Монастырище получившее название по молдаванскому монастырю, от которого здесь еще осталась полуразвалившаяся церковь и несколько попов, лежит у подошвы лесистых гор, которые идут вдоль правого берега Дуная, от юга к северу между Бабад. и Исакчи. Окруженное виноградниками, посаженными по скатам гор, выстроено оно в долине, окруженной почти со всех сторон горами, из которых вытекают много ключей, образующих речку, которая течет по середине деревни. Один из этих ключей течет только временно — от апреля до ноября мѣсяца, — зимой же он иссякает. Вероятно по этой причине и отдали его под покровительство св. Афанасия, патрона здешнего монастыря; если вода в нем не чудотворная, по крайней мере справедливо можно назвать ее животворною, — она прекрасна. Из 60 хижин, составляющих селение, досталась мне одна не из лучших: она сыра, холодна, дымна и темна; сквозь натянутые в окнах пузыри вместо стекол едва проникает свет, за то тем более ветру. Земляной пол около стен поднят выше на четверть, вместо диванов (деревянных широких подмостков, покрытых рогожами или коврами, смотря по состоянию хозяина), занимающих это место в других хатах; глиняная печка, име-

ющая до половины вид 4 угольной пирамиды, а другая отрезанного конуса. Вот единственные предметы, которые встречались в ней. Все удобства мои теперь заключаются в том, что я стою один.

7 января... Чем более глядишь, тем более встречаешь на каждом шагу здесь злоупотреблений и беспорядков.— Как впереди армий, в голове колонн, видишь все, что есть лучшего, храбрейшего,— так сзади ее, в обозах, в магазинах, лазаретах и пр. собрано кажется все, что есть худшего в государстве. Распоряжение начальства тут соответствует людям, которых оно здесь употребляет.— Если я стану говорить о том, что наши полки, напр. поставили в такие места, где нет продовольствия, так что наши лошади с 13 декабря по сию пору не получали овса, а малое количество отпускаемого сена возили вьюками иногда верст за 30 на изнуренных походом казенных лошадях, и что оттого два месяца их кормили одной осокой, то это покажется пристрастием. Но как назвать то, что теперь в Исачкинском магазине отпускают нам гнилой овес, два года лежавший под открытым небом?— Как наградить начальство, по распоряжениям которого во 2-ой Гусарской дивизии замерзло в один ночлег по 80 человек?— 2 корпус на двух переходах через Балканы оставил при тяжестих 4000 человек, а пошел вперед только с остальными 3 тысячами.— Подобных примеров можно насчитать множество.

Вовсе избежать здесь злоупотреблений и беспорядков невозможно: в том сознавались величайшие полководцы, как напр. Фридрих II, Наполеон и другие; первая священная обязанность главнокомандующего есть старание о сбережении своих войск. В этом отношении справедливую хвалу заслуживает Веллингтон: ни один из известных генералов последних войн с франц. не

имел столько попечения о войске, как он. Известно, что когда, преследуемый французами в Италии, он сел на корабль, отразив их натиск, то после на месте сражения французы нашли своих раненых перевязанными, и каждому из них оставлена была порция хлеба и вина. Жаль, что такие поступки мало берут за образец.

Вот пошел с утра снег, который обещает на завтра хорошую порошу; жаль, что я еще не знаю окрестностей, а то можно бы было много найти дичи.— Третьего дня, несмотря на гололедицу, мы ходили на охоту. В России у нас я никогда не замечал, чтобы деревья так обледенели: здесь теперь так тяжел на сучьях лед, что много деревьев переломано, а другие совсем пригнуло к земле до того, что не только лес, но и дорога в него сделались непроходимы.

8 января... Якоби вчера был первый, которому я показал мой дневник: я очень рад, что его любопытство было удовлетворено, когда он прочитал несколько страниц; другому, более взыскательному, литератору никак не показал бы я его, и впредь я надеюсь быть скромнее...

Полковник наш воротился со следствия, которое он делал об убийстве Кагадеева Бронским; последний в допросе поддержал характер однажды им принятый; на вопрос: не имеет ли он сказать чего в оправдание своего поступка?— он отвечал, что несколько не раскаивается в своих поступках.— Говорят, что сделав выстрел, он спокойно вынул пистолет и сказал, чтобы вынесли тело.— Вот причина ссоры этих двух офицеров.— В деревне, где помещен Витгенштейнский полк, показали Бронскому квартиру, которую прежде назначили Кагадееву (полковому казначею), необразованному, грубому малороссианцу. Когда этот прибыл в полк, то пошел к Бронскому требовать, чтобы он очистил его квартиру. Последний согласился, а просил только дать

ему время приискать другую. Кагадеев же настоятельно хотел, чтобы он ее тотчас оставил, а не то обещал прийти с несколькими офицерами и гусарами насильно его выгнать, с чем и ушел. — Бронский, ожидая неприятностей, приказал денщику зарядить пистолет. Кагадеев точно пришел с несколькими офицерами. От слов дошло до того, что последний ударил Бронского по носу, а этот тут же его застрелил...

*19 января...* Я написал к Ушакову в стихах Языкова просьбу об деньгах<sup>1</sup>; говорят, что у него их нет, но он, может быть, достанет у Рославлева...

23. Вот два дня проведенные на охоте; вчера с полудня я проходил до вечера, очень устал, но зато труды мои увенчаны были одним застреленным, а другим подстреленным русаком. От усталости я проспал вечер и ночь. — Так я убиваю теперь мое время, старею сердцем и телом без пользы для ума. Это называют служить и твердят, что молодой человек непременно должен служить, т.-е. потерять бесполезно лучшие лета свои...

26... Вот уже другой год, как я считаюсь на службе Е. И. В.: не ожидал я этого и, несмотря на затруднительное мое положение в Петербурге, верно не решился бы перенести этот год, если бы мне хотя во сне приснилось, как я его проживу. Я не хотел верить словам испытавших вообще службу военную и в особенности здесь в Турции. Молодое воображение видит в будущем одно прекрасное, не обманутая еще надежда верит без особенной причины в какое-то необыкновенное счастье, которого колесо подымает нас выше всего обыкновенного. Рассудок, столь ясно видящий в других случаях, особенно в отношении к другим, ослеплен самолюбием и блестящими картинами будущего, на которое воображение не щадило ярких красок... За то теперь, — как рано спала с глаз пелена, очаровательным светом обли-

вавшая все предметы, как остыло воображение; рассудок освободился, он не ждет ничего от счастья, мало от людей; спокойную, мирным занятиям посвященную жизнь, где ум и тело по воле избирает себе занятия, не кинет он ради честолюбивых надежд. Не желая выйти из круга обыкновенного, я буду доволен судьбою, если сделаюсь полезным в том, где поставлен...

*27 января...* Наконец я вчера получил письма от Анны Петровны и сестры, так давно ожидаемые. Обе писаны почти в одно время, в половине сентября, и ровно долго шли, — более 4 месяцев... Оба письма очень милы, так что я их по сю пору перечитываю. Они развеселили мой унылый, почти совершенно упавший дух, который я изливал в письме к матери; надежда увидеть их снова ожила, а с ней и другая — скоро получить деньги (хотя рассудок и не видит тому причины).

Должно признаться, что женщины умеют придавать особенную прелесть их любезностям — напр. Анна Петровна, описывая новую свою квартиру, говорит, что она так просторна, что если я приеду в Петербург, то нам обоим будет просторно, и просит, чтобы я непременно обещался у ней остановиться, хотя для того только, чтобы в будущем она имела бы одну приятную надежду. — Сестра не пишет ничего нового, кроме того, что Миша<sup>1</sup> произведен в порт. юнкера, и что отправляется в Тверь в юнкерскую школу; плохо ему будет там, если, сверх чаяния, в этой школе чему-либо станут учить. — По старому порядку справляют у них именины, украшаемые присутствием Уланов, которые многолетним стоянием на одном месте сделались как бы своими. Года проходят, ничем не переменяя образа жизни мирных обитателей Берновской волости. — Я еще получил весьма приятный поклон от Александры Ивановны Бегичевой.

3 февраля. Есть день именин сестры Анны Петровны — двух благодатей, мне очень милых. Два года сряду этот день я проводил с последнею (28 и 29). Я не помню, чтобы их шумно тогда проводил, но довольно приятно, по крайней мере, в сравнении с настоящим, которое ничего не обещает. — Вспомнят ли именинницы обо мне? — Это, думая я, зависит от того, в каком они будут расположении духа...

5 февраля... Вчерашний день просидел я у Ушакова. 4 февраля останется навсегда достопамятным днем, 1823 года в этот день 7 благородных юношей подали друг другу руки к вечному союзу в стремлении к добру. Богу, Отечеству, Свободе и Чести поклялись они посвятить не только теперешнюю академическую жизнь, но и будущую гражданскую<sup>1</sup>. Вопреки гонениям и клевете, среди многих бурь, они прошли, оставшись верными истинам, однажды навсегда ими исповедаемым. Мало мы впоследствии нашли себе помощников, которые, не увлекшись примером остальных граждан академической республики, исполняли то, что они признавали истинным. Под конец трехлетия (в 26 году), университетский век, оставались уже немногие из братского союза; мы опасались, что с нами умрет, разрушится сам собою и союз, когда судьба разведет членов его по разным концам земли, и не надолго останется одна молва о нашей братской жизни, завистью оклеветанной. Но прекрасное, истинное, однажды в мире просияв, не исчезает, только на время предрассудками и эгоизмом людей подавлено. Оставляя Дерпт, я имел утешение передать попечение о благе общества рукам сильным и душам, со всем пламенем юношества предавшимся высокому стремлению.

Только 6 лет прошло теперь со дня нашего братского соединения, а где теперь те, которые тогда с

гордостью, в первый раз украсили грудь свою лентою в которой черное с красным соединяла золотая полоса в ознаменование, что юноша, во всем пылу молодой, не должен забывать важное и высокое назначение жизни—стремление к усовершенствованию умственному и душевному. Один из них уже давно, в цвете лет, из первых об'ятий молодой супруги, на утре деятельной общей пользе, посвященной жизни, похищен завистливым роком<sup>1</sup>. Другой, первый между нами умом и душою, одно из тех существ, которое служит украшением человечества—и потому более всех мне милый, год тому назад, еще украшенный миртовым венком, которым он только что обвенчался с избранною сердцем—стоял уже у дверей гроба<sup>2</sup>!

Еще несколько лет... и мы, может быть, возобновим неплотными духами союз в другом мире—если он будет!

Это число памятно мне другим печальным событием—смертью вотчима моего Ивана Сафоновича Осипова, второго мужа матери моей, жившего с ней только 7 лет. Почти всегда вторые браки, особенно когда есть взрослые дети, делают много шуму в семействах: родственникам первого мужа всегда второй не нравится. И у нас без этого не обошлось. Впоследствии мы никак не могли упрекать мать в ее выборе; напротив, мы должны его оправдать, а Ивану Сафоновичу должны быть благодарны уже и за то, что он сделал мать счастливою, несмотря на неудовольствия всех родственников, с нами же был лучше иного родного отца. Особенно я пользовался его расположением и всегда с любовью буду помнить оное. Не имея образованности, природный ум заменял ему оную, также как и долгий навык жизни (дураку опытность не помогает). Более 20 лет служив в гражданской службе, пользовался он уважением своих



начальников и именем деятельного и весьма способного человека <sup>1</sup>.

*6 февраля.* Получено разрешение частным начальником войск на выбор, по своему благорассмотрению, места для лагерного стояния и времени для выступления в оной. Это очень хорошо. Надеюсь, что если чума снова не появится, то не станут торопиться выходом: во всяком отношении выгоднее стоять под крышею, чем под открытым небом.

Анна Петровна говорит, что Лиза теперь ездит по ярмаркам и веселится там à contre соеур. Я бы еще более рад был слышать, что она от всей души веселится. Впрочем, неестественно бы было, если ее горячка долго продлилась. Впрочем, это относится только к счастливой, а несчастная любовь упрямее, были примеры, что она делалась хроническою. Если мы будем стоять опять к Киевской губернии, то нельзя мне будет не ездить к ней, и тогда трудно за нас отвечать. После двухлетних лишений всего, как не соблазнишься?

Здесьние женщины ко мне, кажется, не очень благоклонны; хотя я и ни за которой не волочусь, но это видно, что не успел бы я у них. Никогда не занимавшись этим классом, я совершенно не умею с ними обращаться. Некоторые из них однако стоили бы труда.

*9 февраля.* Покуда я хочу написать письмо к Языкову; он что то долго не отвечает на мое последнее, впрочем, ведь письма очень долго ходят...

*10.* Неожиданно получил я вчера письмо Анны Петровны от 19 января нынешнего года; оно пришло с невероятной скоростью, в 19-ый день, которая мне тем удивительнее, что предыдущее было 4 месяца пути. Подумаешь, что случай ему особенно благоприятствовал, дабы долго не скрывать от меня приятного известия,

с которым оно шло: Лиза выходит замуж за одного из своих соседей Александра Степановича Райзена (так читаю я неясно написанную фамилию)<sup>1</sup>. Тайные мои желания сбылись, она еще может сделаться добродетельною супругою, доброю матерью. Теперь я вижу и явную пользу моей поездки сюда: оставшись в Петербурге, я должен бы был остаться с ней в любовной переписке, которая поддерживала бы ее страсть, и она тогда верно не приняла бы предложения. Этот год войны, неприятностей, лишений всех родов кажется загладил, сколько можно, зло, которого я был причиною; она, может, забыла свою любовь или помнит об ней, только как о мятежном сне: счастлива она, если в том успела! Анна Петровна хочет ехать на свадьбу к ней.

Дельвиги, кажется, не оставляют Петербург, потому что барон, Пушкин и Сомов издают вместе Литературные газеты. Хорошее намерение, вкус и таланты издателей, известные публике, кажется могут служить порукою достоинства газеты. Посмотрим, исполнятся ли ожидания<sup>2</sup>.

Слышу тоже, что Ольга Сергеевна раз'ехалась с Павлицевым<sup>3</sup>; к ней можно применить стихи Иличевского к Анне Петровне:

Ты не жена и не девица,  
Раз'езд же с мужем для тебя  
Что после ужина горчица!..

*13 февраля.* Снова я бываю почти целый день на охоте, но преследую уже не зайцев, а уток и гусей. Третьего дня ходил я очень далеко, так что возвратился домой вечером, когда уже давно было темно; вчера же, день моих именин, ознаменовался нисложением гуся—победа, много меня обрадовавшая.— Вот на каких торжествах ограничились честолюбивые мои надежды!

Вот что любопытная душа жаждала испытать! — и точно здесь водяных птиц такое множество, какого я нигде не видал. Все хорошо, но впредь я не поеду в Сибирь ради охоты за соболями. — Впрочем, если этим опытом мне удастся убедить мать, что мне гораздо выгоднее оставить военную службу, то я останусь в большем выигрыше, одним годом искупив остаток жизни.

Что ни думай, что ни пиши, а все кончишь тем, что по сю пору не шлют денег.

*15 февраля.* Пообедав вчера у Ушакова жирным гусем, мною застреленным, пробудился я из вечерней дремоты приходом Дельво, который принес большой пук писем. В нем нашлось и два ко мне: оба сестрины от октября, в одном же из них приписку Пушкина, в то время бывшего у них в Старице проездом из Москвы в Петербург<sup>1</sup>. Как прошлаго года в это же время писал он ко мне в Петербург о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловласа, сообщает он известия очень смешные об них, доказывающие, что он не переменяется с годами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал, — весьма циническим волокитою.

Как Сомов дает нам ежегодно обзоры за литературу, так и я желал бы от него каждую осень получать обзоры за нашими красавицами. — Сестра в первом своем письме сообщает печальное известие, что Кусовников оставляет Старицу, а с ним все радости и надежды ее оставляют. Это мне была уже не новость. Во втором же она пишет только о Пушкине, его волокитствах за Netty. — Важнее сих известий то, что будто бы Дрейер в Тригорском украл одними деньгами на 10 тысяч. Положим, что здесь есть преувеличивание, но если и половина тут правды, то довольно, чтобы прогнать такого агронома...

19 февраля. Каким то случаем забросило сюда французский перевод W. Scott Истории Наполеона. Пробежав только несколько страниц из первой части, взгляда на революцию, я не могу судить о целом, — которое известнейшими людьми уже оценено.

21. Я прочитал Персея, трагедию Ростовцева, и на каждой странице вспоминал стихи Языкова:

Мне жизнь горька и холодна,  
Как вялой стих, как Мельпомена  
Ростовцева иль Княжнина.

Исключая несколько удачных стихов в роли Персея в I явл. I действия и еще в некоторых местах, остальное усыпительно. Нет ни одного хорошо очерченного характера, и самый Персеев не выдержан; завязка и ход интриги чрезвычайно дурен: не связан и невероятен, — одним словом, это совсем неудачный опыт молодого поэта. Я опять взялся за описание моего пребывания прошлого года в Твери и Петербурге.

27 февраля. Она (сестра) смеется над моей любовью, которая так счастливо всегда заключена в недрах семейства, т.-е. Саша, и позволяет мне только влюбиться в Бегичеву. О, если бы только это возможно было, или я бы мог малейшую иметь, прошлого года, надежду победить эту чинную и важную красавицу, то верно не дождался бы сестрина совета и не сидел бы теперь в Сарыкиной, а верно был бы на Сергиевской и сделался бы самым набожным прихожанином Родонезского Чудотворца; как все молильщики его, я бы тогда выбрал в церкви себе место, откуда я мог бы видеть мою красавицу, и не прогулял бы ни одного воскресного или праздничного дня, чтобы пококетничать с нею. Она точно стоит такого труда, не потому, что у ней 1000 душ крестьян, которые можно бы пожелать же-

нитьбою приобрести,—я от этой мысли далек,—а по личным ее качествам. Какое бы было наслаждение вывести ее из гостиной, где единственно она привыкла видеть молодых людей. Я должен очень ошибаться, а она быть чрезвычайно скрытна, если ее воображение и душа не столь же чисты, как у Евы в первый день создания ее. Часто дивился я ее кротости, не понимая оной. Если ангелы существуют, то она их земной образ<sup>1</sup>.

Саше верно очень неприятно было услышать о женитьбе Р.: в тайне она верно на него надеялась,—впрочем, вряд ли она была бы счастлива за ним: такие неравные партии, особенно где нет состояния, редко удаются.

Об хозяйственных наших обстоятельствах слышно тоже мало утешительного. Мать только старается набрать столько, чтобы уплатить проценты в Опекунский Совет. Управители мошенничают, и нет надежды, чтобы дела наши поправились. Необходимо нужно мне самому приняться за них, а то будет плохо.—Осенью я во что бы то ни стало поеду домой, чтобы узнать настоящее наше положение...

*1 марта.* День от дня привыкаю к образу жизни нашей военной молодежи, становлюсь ленивее,—совершенно ничего не делав, могу проводить дни. Написав несколько строк моего дневника, мне кажется, что я уже кончил мое дневное занятие: я ухожу шататься от одного к другому офицеру или засыпаю.—Напрасно рассудок твердит: так ли должно жить?—лень, подкрепляемая неприятностями, обстоятельствами, берет свое.

*4 марта.* Окончив третьего дня охотой, я сегодня с нее же начну, потому что оно есть одно постоянное мое занятие (из окна сейчас мне показалось, что сидят гуси у берега, и я тотчас выбежал из хаты, чтобы удо-

стовериться, точно ли это они,— вот до какой степени я сделался охотником). Но сколько я не страстен, кажется, к охоте, а с удовольствием отказался бы от оной, если бы я мог найти благороднейшее занятие...

*10 марта.* Я жил эти дни у Рославлева, а провел их, исключая того, что с ним прочитал одну часть французского перевода Вальтер Скотта Истории Наполеона, заключающую происшествия 1803 и 4 годов, в гулянии по улицам и игре в свайку; эта игра вот уже с неделю постоянно занимает празднлюбивую нашу молодежь. Дни быстро проходят, исполнение моих надежд не приближается,— и писем я давно не получаю...

Давно я желал читать W. Scota Историю Наполеона и чрезвычайно приятно мне было пробежать 9 часть французского перевода оной. Об этом сочинении так много сказано и написано, так каждое слово 'в нем взвешено и разобрано, что, судя об нем, принужден будешь повторять читанное. Я согласен с общим мнением французских рецензентов, что почтенный автор превосходных романов не оправдал ожидания Европы. Как англичанину, всех менее должно бы было ему' братья за свой труд, особенно написав уже однажды свое путешествие по Франции в 15 году. Мне непонятна охота описывать жизнь человека, особенно, Наполеона, будучи против нее предубеждену и не имея личностей, как например Курбский в жизни Грозного.— К сожалению, мне кажется, что поводом к сочинению сему был расчет денежный (а не любовь к предмету), основанный на том, что во время поспешного сочинения этой истории, все, что только некоторое имело отношение к Наполеону, было с живейшим участием принимаемо в Европе.— Перед тем личностью и обстоятельствами на время предубежденные умы, чтобы загладить прежнее свое пристрастие, начали отдавать полную справедливость вели-

кому гению мужа, последними годами жизни вполне искупившего ошибки всемирной своей деятельности.— Высоким таким предметом должно заниматься с любовью к нему, а не гениям. История не срочный альманах и не заказной роман.

*13 марта.* „Все обстоит благополучно, нового ничего нет!“ могу я рапортовать, как вахмистр эскадронному командиру об моих обстоятельствах; те же занятия, т.-е. ни какие, и та же скука, разведенная нуждою; исполнение надежд так же далеко, как прежде—разве только ближе прожитыми днями, — предполагая, что однажды мои ожидания исполнятся...

Впрочем, я опасаясь впасть в ошибку молодости: в весьма обыкновенном случае ожидать какой-либо необычайно счастливый оборот судьбы. Нет, я подобным образом не стану более грешить; я ничего не ожидаю и не желаю от службы царской.

..... и вновь  
ни взором ласковым, ни словом  
не подружит меня со вздором  
моя почтенная любовь!

т.-е. любовь к военной славе и почестям<sup>1</sup>.

*15 марта.* Теперь известно время перехода нашего за Дунай: 15 апреля мы вступаем в пределы Российской Империи, но, к несчастью, мы не идем прямо на временные наши квартиры, а будем до июня месяца об'едать разные магазейны бессарабско области, дабы с'естной запасы в оных не пропадали. Очень неприятно в бессарабских степях несколько месяцев кочевать цыганами, быть саранчею. Только в конце июня предполагают, что мы перейдем Днестр...

*20...* Маршрут нашей бригаде получен. Выступив 15 апреля, мы идем в Рени, лежащее при устье Прута

в Дунай; там мы будем об'едать магазейн; как долго? — неизвестно. Перейдя Дунай, мы поступим под начальство Боронцова. Возвращение нашей дивизии в Киевскую губернию не будет тоже так скоро, как мы ожидали: ей назначено прежде с'есть большие запасы, заготовленные в Рени, Мовеи Скулянах. Вот неожиданные и очень неприятные новости: в Бессарабии во всех отношениях очень неприятно и невыгодно нам будет простоять весну, — лучше уже бы было здесь стоять: по крайней мере, мы здесь получали бы жалование серебром.

23. Через 3 дня, то-есть 26 числа, мы выступаем. Я теперь в крайности: без денег, следовательно, без лошадей, повозки и пр.; чтобы успеть все это купить, должно непременно сегодня достать деньги, а где их взять? — несносно!!!

2 апреля. Первый мой караул был очень забавен; так как почти никто в полку не знает службы, то на всяком шагу делали солдаты и офицеры большие ошибки. Полковник, об'ехав караульни и часовых, прислал просить к себе обедать караульного офицера и юнкера находившихся с ним. Мы никак не могли это принять за настоящее приглашение, а думали, что кто-либо из офицеров хочет пошутить над нами ради 1 апреля и узнать, известны ли нам строгие предписания касательно гарнизонной службы; и только неоднократные посылки, наконец личный приход ад'ютанта убедил нас исполнить желание полковника...

7 мая. Вчера получил я письмо от Анны Петровны; кроме обыкновенной своей любезности — всегда новой — и нежной любви ко мне, покуда всегда постоянной, она ничего мне нового и занимательного не сообщает. Софья Михайловна тоже меня не забыла — вероятно потому, что все еще с Анной Петровной в тесной связи — дружбе, как они называют. Как бы ни было, а все приятно себя



знать в памяти у людей, будучи с ними надолго разлучен и зная, что не по посторонним причинам, а единственно наша личность заставила, потеряв нас из виду, не потерять и в памяти. — Я бы хотел теперь отвечать, но вряд ли найду свободное время, более же свободное место в продолжении нашей карантинной и лагерной жизни. Я едва успеваю теперь сказать несколько слов про наше возвращение в православное (единственное прилагательное, которое я могу употребить) отечество:

День в день мы почти пробыли год за Дунаем, ибо 26 мая, когда мы в 29 году пришли в Сатунов, и нынче, перешед Дунай, прибыли мы туда же. По только что наведенному мосту мы благополучно переправились и, сделав два перехода от Сатунова, пришли сюда, чтобы здесь выдержать 21 дневный карантин; дни, которые мы были в оцеплении при переправе, включены в это число.

Перейдя через мост, шли мы версты с две по плотине, которая тянется вдоль берега реки. Около нее лежало до 20 кораблей греческих, турецких и английских, шедших в Галац, которых не пропускали через мост из опасения, чтобы они опять его не разорвали. Многие из них наполнены были гречанками, как говорят, освободившимися из неволи или гаремов, ехавшими в Молдавию. Во все время моего пребывания в здешнем краю я не видал так много прекрасных лиц, — может быть только по отдалению они казались такими. Многие из нас сожалели, что издали только можем любоваться этими восточными красавицами, — я не исключая себя из числа, — хотя я и телом и душою почти отвык от женщин.

Наш лагерь расположен на прекрасном месте, вправо от местечка, которое я видел покуда только издали, проходя мимо его, у самого впадения Прута в Дунай.

За ним, прямо перед нами, зеленеются лесистые горы Булгарии (увидев их в первый раз, я не ожидал, что сойду с них, так как я теперь сошел на бессарабскую степь, — разумеется, в отношении к моей службе), вправо за камышами Прута видна Молдавия, на равнинах которой белеются мечети галаца, одного из важнейших торговых городов на Дунае. Сколько местоположение нашего лагеря хорошо, столько невыгодно качество земли оного...

Жизнь моя теперь, разумеется, очень пуста, скучна и однообразна; к счастью, попало мне в руки несколько романов В. Скотта, а именно Пират и Певриль. Между сном и едою я убиваю дни чтением оных, купаньем, иногда ученьями, а более куреньем табаку и взаимными посещениями сослуживцев, которые теперь обыкновенно заняты игрой: проигрывают жалованье, полученное от Махмудима, потому что казна их отпустила почти за двойную цену против той, которую за них дают, — вот благородная спекуляция нашего министерства финансов.

*Карантин при Бендерах. 7 июня.* От совершенного бездействия терплю я теперь несносную скуку; от жару, от образа нашей жизни я не имею одной минуты в день, хотя я и совершенно ничего не делаю...

Вот другая неделя, что я пишу к Анне Петровне и не могу окончить письмо: „Тупеет разум!“<sup>1</sup> Домой я другой месяц, как не пишу...

*14 июня.* Между несколькими пакетами, которые сегодня один из карантинных чиновников держал в руках, когда я к нему подошел с тайным ожиданием найти между ними одно ко мне, внимательный и быстрый мой взгляд открыл тот знакомый предмет, а именно: большой пакет в 8 долю листа, обертка которого была из толстой, серой шерстяной бумаги. По этим пред-

метам я не мог ошибиться в том, что вижу передо мною одно из периодических произведений нашей литературы, — и точно через разорванный оберток я увидел знакомый лиловый цвет обертка и форму литер Московского Телеграфа. Ах, как я рад был неожиданной встрече с моим старым знакомцем, которого я читал всегда с большим удовольствием! К несчастью, я не мог воспользоваться ею, карантинные правила не позволяли мне прикасаться к предмету моей радости...

*Херсонская губ., 28 июня, деревня Шип.* Вступление мое в пределы отечества было ознаменовано для меня многими неожиданными случаями. В один день, 26 июня, я освободился от карантина, вступил в Россию и получил приказ (Высочайший) о производстве меня в корнеты, последовавший 5 мая; на другой же день я получил письма от матери и сестры, от каждой по два, наконец 87 червонцев денег.

Таким образом мои ожидания исполнились, но неудовлетворительно: я произведен без старшинства, следовательно, если не возвратят онаго, то теряю год службы; тысяча рублей денег присланных не достает даже на одну уплату моих долгов, простирающихся до 1300 р. Это тем неприятнее, что я не могу надеяться, по устройству нашего хозяйства, скоро получить еще денег; а с офицерским чином издержки увеличатся, жалованье же ассигнациями так мало, что об нем и упоминать не стоит. Трудно будет жить. Письма матери довольно печальны: хозяйственные хлопоты ей не по силам, доходов вовсе почти нет, так что она не в состоянии и уплатить проценты в опекунский совет. В таких обстоятельствах трудно исполнить ее план, чтобы мне через год выйти в отставку и вступить в гражданскую службу, — тогда надо жить в Петербурге, а чем? Она не помнит или не знает, что я от того только

и оставил Петербург, что предвидел невозможность пристойно себя там поддерживать.

Сестра сообщает мне любопытные новости, а именно две свадьбы: брата Александра Яковлевича<sup>1</sup> и Пушкина на Гончаровой, первостатейной московской красавице. Желая ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов, то тем вероятнее, что его первым делом будет развратить жену. Желая, чтобы я во всем ошибся<sup>2</sup>. Письма сестры печальны и от того очень нежны; она жалуется на судьбу, и точно жизнь ее вовсе не радостна.

*30 июня, нем. колония Bergendorf, Дневка.* Вчера после перехода верст в 20, пришли мы в здешнюю колонию на дневку. Нам показали квартиру в трактире, где мы нашли трех хорошеньких немочек. Волокитство наше довольно было благосклонно принято красавицами не очень строгих правил; один поцелуй, дарованный мне, взбунтовал всю мою кровь, остановил дыхание в груди. Что же бы было, если бы оный был любовью данный?..

*3 июля, дер. Бориц.* У меня было вышло из памяти, тоже весьма замечательная новость, что Софье Михайловне бог дал дочь. Жалею, а барон верно более, что не сын, но и это хорошо; воспитание ее дочери займет ее<sup>3</sup>...

*21 июня.* Вчерашний день, как первый в своем роде, был очень скучен; поутру почти все раз'ехались в Сквиру, я остался один с Рошетом. Несмотря на то, не мог я усидеть более получаса, так я отвык от занятия. С Рошетом вместе заходили мы к Рахели, хорошенькой дочери богатого здешнего жида, 18-летней разводной жене, которая кокетничает не хуже

всякой христианки. Куда делась моя разборчивость и мой аристократизм? Вечер весь проходил я на охоте, это занятие не обманчиво: если не застрелишь дичи, то, по крайней мере, убьешь наверное время.

Поход наш, если не был столько приятен, как бы он мог быть, но нельзя сказать, чтобы он был и очень скучен. Вступив в Каменец Подольскую губернию, ожидали мы в деревнях быть принимаемы помещиками, но мы ошиблись: нигде и никто нас не приглашал к себе. Это может быть и от того, что в деревнях, где мы останавливались, не было живущих в них помещиков, или что, кроме нас, много проходило войск. На дневке в Балте, где нашли порядочный трактир, заказывали мы себе порядочный обед, после которого и шампанскому был черед; по старому обычаю я и несколькими бутылками праздновал мое производство. Проходя Тульчин, смотрел нас Красовской и был очень доволен полком; тут же я сшил себе сюртук, который почти и истощил мою казну. Труппа польских актеров, играющая здесь на домовом театре графа Потоцкого, изрядная: по крайней мере, она мне показалась такою, сколько я мог судить об игре актеров, не зная польского языка. Самая же зала театра очень хороша.

*Свирка. 29 июля...* Пришедши сюда, я нашел здесь письмо от Анны Петровны, на которое я ей сегодня и отвечал. К большому моему удивлению, пишет она, что чрезвычайно теперь счастлива, т.-е. что страстно любит одного молодого человека и им также любима. Вот завидные чувства, которые никогда не стареют; после столь многих опытностей я не предполагал, что еще возможно ей себя обманывать. Посмотрим, долго ли страсть продолжится и чем она кончится...

*16 августа.* На этих днях присоединились к нам и резервные эскадроны. Между офицерами оных нашел

Я одного очень милого,—это Ломоносов, переведенный в наш полк по неприятностям, которые он имел с прежними своими начальниками. Хотя воспитанник царского лицея, но музам он мало посвящал досугов. Переведенный к нам из 2 дивизии гусар, также как и Ломоносов, подпоручик Ж и х а р е в, человек предоброй души и премилый товарищ; добродушие написано у него на лице, видно в каждом движении. Он настоящий великороссийский дворянин, прост в обращении, гостеприимчив и, в довершение, страстный псовый охотник...

Дошел до нас слух о какой-то революции во Франции: о свержении с престола короля и т. п. Этот слух для меня точно также непонятен, как для узника звуки, изредка доходящие до глубины его темницы. Было время, что всякая жизнь, самая рассеянная, была бы скучною для меня, без непрерывного сведения о современных событиях; а теперь может половина земного шара разрушиться, а я не узнаю об этом, если гефрейтор мне не принесет это известие в словесном приказании.

*18 августа.* Слух о французской революции подтвердился. Вчера полковник из франкфуртского журнала читал нам описание сих достопримечательных происшествий...

Вот события достопримечательные по многим отношениям. Наблюдатель видит в оных живое изображение духа времени; сравнивая с прежними однородными обстоятельствами, он может видеть, сколько просвещение в короткое время изменило тот же самый народ, как напрасны старания правительств остановить всеобщий ход народов к гражданской свободе и пр.

*20 августа.* Вот прошел год, что я продолжаю почти непрерывно мой дневник — единственное занятие, которое я называю дельным. В 32 листах, мною написанных, мало любопытного: они заключают в себе

одни описания нужд и неприятностей, перенесенных мною, и впоследствии будут для меня замечательны, как живое изображение постепенного разочарования.

Перечитывая их через несколько лет, буду я себя предохранять от обольщений самолюбия, от неумеренных надежд. Сии же самые причины сделали перемену и в моем обращении с другими: я стал менее взыскателен с моими товарищами и, кажется, менее стараюсь выказывать свои собственные, мнимые или настоящие, достоинства. Самонадеянности я столько потерял, что даже и с женщинами я застенчив до юношеской стыдливости. Это я замечаю из волокитства моего за трактирщицою, с которой я в продолжении целого месяца ни шагу вперед не подвинулся.

Говорят, что по новому размещению назначен я во второй эскадрон Ушакова. Таким назначением во всех отношениях могу я быть доволен. Ушаков человек предобрый и честный, во всю кампанию мне делавший много одолжений, за которые я не могу быть довольно ему благодарным, сверх всего, еще по тверской губернии мне земляк...

*21 августа.* За обедом я видел у полковника Гн. Норова, жителя Петербурга, с которым я там сходился у Муравьевой, и знаю его только по наслышке; он привез к нам в полк юнкера, своего двоюродного брата. Этот вовсе не занимательный человек напомнил мне петербургскую жизнь мою; я воображал, обедая, что ужинаю с ним у Натальи Васильевны, и что теперь недалеко от Лизы. Хотя я теперь и не влюблен в нее, но много, много бы имел удовольствия видеться с нею. Я не отчаиваюсь в нынешнем году ее увидеть. О деньги, деньги! без них человек не живет, лишен всех радостей, а неприятности сильнее чувствует.

*23 августа.* Вчера — день царевенчания — напомнил мне, как я провел первый в 26 году. С тех пор каждый из них встречал я совершенно в разных обстоятельствах, в разных краях. В 27-м, отдыхая от студенческой жизни, я провел оный день в безмятежных наслаждениях домашней сельской жизни, приправленной любовью и богатыми надеждами будущего; в 28-м — в столице уже пресыщенный любовью, томимый желанием воинской славы и только что вступившим в гражданскую службу; в прошлом, — 29-м, под высотами Шумлы, громимой батареями нашими, в крайней нужде, с ежеминутными неудовольствиями, с обманутыми надеждами и с отрезвленным от самолюбия рассудком; вчера же — с духом более успокоенным, вышедшим из крайностей, но все удрученным обстоятельствами.

*24 августа.* Сегодня, как воскресный день, был я у обедни. Наша литургия разделяется на три части. Это разделение можно приметить и по слушателям или молящимся: в первой части все тихо и мирно, ни одна женщина не поднимает от полу глаз; во второй они начинают уже оглядываться, а мужчины вертеться, — наш полк имеет везде более вольности; в третьих же слышны во многих местах разговоры; одни здороваются друг с другом; другие говорят о делах своих, иные же и смеются. Приметно, что, чем ближе к концу, тем веселее становятся лица.

*25 августа.* Вчерашний день, против обыкновения, провел я не в трактирах, а дома. Описывая последнее мое пребывание в Тверской губернии, я написал целый лист; так долго я уже давно не занимался ничем, от того и заснул я довольнее собою, чем обыкновенно. Занятие это выгоднее и для кармана: как ни остерегайся, а будучи в трактире, все издержишь лишний рубль.



27... Что то Анна Петровна давно не пишет, не от того ли, что ее любовные восторги, может, уже прошли...

29. Я встретил здесь молодого, лет 18-ти еврея, удивительно похожего на Софью Михайловну: тот же оклад лица, те же черты, брат не может быть более похож на сестру, как он на нее; долго я на него глядел и все более находил сходства.

Об женщинах, которые некогда нравились, всегда с удовольствием вспоминаешь...

Время я все одинаково теперь провожу между двумя биллиардами, на которых я вчера опять был счастлив. Что то давно я не получал писем, особенно от Анны Петровны.

*1 сентября.* Петербургская почта, приходящая в субботу, опоздала целым днем, пришедши только в воскресенье. Зато я получил с нею письма из дому и от Анны Петровны. В первых нет ничего особенного, кроме предвиденных мною известий недостатка денег. Анна Петровна сообщает чрезвычайно любопытное и никак неожиданное известие, что замужество Лизы разошлось по причине чахотки ее жениха. Я бы лучше желал ее видеть чьей-либо супругою, чем разошедшеюся невестою; второй жених не так скоро найдется, как первый, а оставаться девушкой очень печально. Моя любовь вспоминает ли теперь меня и знает ли, что я так близко теперь от нее скучаю!!! Если бы у меня были деньги, кто знает усидел ли бы я здесь, теперь же, со всем желанием уехать, я прикован к Сквире. Анна Петровна все еще в любовном бреду, и до того, что хотела бы обвенчаться с своим любовником.— Дивлюся ей!

*Д. Антоновка. 4 сентября.* Отправив третьего дня Арсения с вещами вперед, я хотел после обеда на нанятых лошадях доехать до деревни Антоновки, где стоит штаб нашего эскадрона...

Главная причина желания моего возвратиться была другая: я желал еще раз увидеть жестокую трактирщицу, недоступную до сей поры для меня. Не дождавшись исправления повозки, я пошел в город; с таким нетерпением я бежал, как бы на условленное свидание с любовницей. Идучи, я обдумывал все нежности, которые хотел ей сказать, — одним словом я в эту минуту был совершенно влюбленный юноша. В трактире я нашел всегдашних игроков биллиарда, сражающихся уже в à la guerre (я до такой степени забыл французский язык, что не умею написать и этих двух слов). Но с каждым шагом, с которым я приближался к моей красавице, смелость более и более меня оставляла. Довольно неловко однако успел я ей сказать, что для нее воротился, и как мало она меня награждает за услужение ей. Она улыбнулась и не ушла (!!), — вот все, чем я могу похвалиться. И на другой день она была милее, чем обыкновенно, а я все не имел духу завести с нею разговора. Вот каков я теперь! я скоро стану застенчивее красной девушки, прожив здесь еще несколько времени!!! В другом трактире, у Блезера, я очень спокойно переночевал, потому что чрезвычайно давно я не спал на хорошей постели; другой год, как я не знаю пуха, а сплю на земле, во все время похода, и на сене, настоящим воином. Всю ночь и утро шедший дождь позволил нам выехать наконец из Сквиры только после обеда, когда небо немного прочистилось... В 1<sup>1/2</sup> часа езды по грязной дороге приехали мы сюда. Ушакова не нашли мы дома, почему я пошел прямо на мою квартиру, где весь вечер вчера писал письма...

*5 сентября.* Погода стоит все та же, самая дурная, осенняя; в моей хате от того еще скучнее; впрочем, на нее я не могу жаловаться: она довольно просторна и чиста, что же более можно требовать? Малороссийские

избы несравненно лучше русских тем, что они всегда чисты; вымазав ее раз в неделю, она как новая; ежели зимою они не будут холодны, то в рассуждении квартир не останется ничего желать. У Рудольтовского я взял последнюю часть Жизни Наполеона W. S., заключающую происшествия от Ватерловского сражения до его смерти. Во многих отношениях его мнения справедливы, но в других он далек от беспристрастия. Например, описывая прибытие Наполеона Белероф., он оставляет совершенно своего героя и старается в нескольких главах доказать справедливость поступков английского правительства. Этим старанием он так увлекается, что и впоследствии, в описании пребывания Наполеона на Св. Елене, он только тогда говорит об нем, когда хочет доказать несправедливость жалоб его на своих тюремщиков. В описании нрава Наполеона он точно также несправедлив, ставя причиною всех поступков его один эгоизм, и доказывает это так, как бы можно доказать, что Винкельрод из эгоизма бросился на копья австрийцев.

Сегодняшнее число мне памятно по двум причинам: раз, как именины Лизы, а потом, как день, в который мы под Шумлою получили известие о заключении мира. Под тому назад радость окончания войны и удовлетворение возвращения в отечество заглушали мои заботы и обманутые надежды. Два года назад любовь и они ласкали меня. А теперь скука надо бродит со мною неразлучно, как тень моя.

8 сентября. Сейчас кто-то взошел ко мне; я пошел посмотреть, и глядь, — это была моя хозяйка, очень недурная, молодая бабенка, за которой я начал волочиться; она побежала вон, я за нею через сени (которых двери я увидел заложенными) в другую хату, где она спряталась за печку. В хате не было никого, кроме ре-

бенка лет 5-ти, — я к моей красавице на печку, но напрасно: кроме „в т и к а й т е“, я ничего не мог получить от нее. Вот каковы здешние сельские кокетки, не хуже никакой городской. Вчера точно также она с полчаса сидела под моим окном и любезничала со мною. По таким замашкам судя, можно надеяться...

Вот сейчас она потчивала меня сквозь щелки стекол тыквенными семечками. Я опасаясь, чтобы в удобном случае мне не осрамиться — не быть...

*16 сентября.* В политическом быту опять новизна. По примеру Франции, в Нидерландах открылись тоже мятежи; в Брюсселе несколько дней народ бунтовал, грабя и сжигая дома ненавистных ему министров и других чиновников; причины народного неудовольствия мне не известны, в газетах я их не нашел. Покуда еще Филипп I, кажется, мирно царствует, и соседственные державы не мешаются в его дела. Он недавно торжественно раздавал полкам новые т р е х ц в е т н ы е знамена. В Алжире французские войска потерпели большую потерю от болезней и имели одно неудачное дело. Преступный главнокомандующий там сменен теперь другим. У нас же, кроме нового набора рекрут с 500 душ по 2, ничего не слышно.

*17 сентября.* Утро я проходил по полям, а после обеда читал Историю Наполеона, Кампанию 814 года и Шатильонский Конгресс, где едва не заключен был мир, который бы утвердил Наполеона на престоле. Судьба иначе устроила: ее неисповедимыми законами поставлен был уже предел деятельности герою; исполнив свое поприще, он, как Алкид, оставлял мир, который им очищен был от чудовищ революции — избытка сил возродившегося общества. Его необыкновенные силы, преобразовавшие европейские народы, не были ответственны с новым порядком вещей, как бранный

конь неспособен к ярму земледельца. Его и Байрона предсказания сбылись: и смерть исполина не спасла Бурбонов, Немезида их настигла. Вновь развилось и торжественно плещет пред полками трехцветное знамя, освященное столькими победами и источниками благороднейшей крови, пролитой за него. Великий орел, паривший над ними, слишком рано взвился в поднебесную область светил.

*19 сентября.* Дни мои проходят быстро; вот четвертый день, что я здесь: эскадрон все еще не возвращается. Когда бы не недостаток в деньгах, то я, может статься, скоро бы привык к этой бесцветной жизни: я никогда не знал поисков за удовольствиями, а после войны мне не тяжело бы было ограничить мои желания, утешая себя тем, что это временно. Теперь же иное дело: заботишься и о том, чем будешь существовать.

*20 сентября.* Сейчас заезжал ко мне проездом из Сквири Куницкий. Он очень добрый молодой человек и ко мне всегда был хорошо расположен. Как петербургский житель, получил он воспитание нам всем общее, не Онегинское, а корпусное: он был в Горном корпусе. Несмотря на то, что он только что вышел в свет из под отеческого крова, он очень степенен и рассудителен. Другие называют это недостатком, как напр. Пушкин, и хотят в молодости находить и буйность<sup>1</sup>. Конечно, в юноше прекрасны пламенные чувства: любовь к изящному, желание славы, добра, избыток сил, которые, пренебрегая условия света, иногда выходят из границ оным принятым, — как пенящееся вино переливается за края бокала. Но надо вспомнить и то, что у большей части молодых людей эта игра чувств зависит от воспитания и от общества, в которое они попадают, вступая в свет. Нониче уже буйство молодежи прошло: это заметно по университетам, где нет более

реномистов, по корпусам, где уже не бунтуют и не бьют учителей, и наконец по полкам, где даже и гусары (название, прежде однозначущее с буяном) не пьянствуют и не бушуют. Не рассудив этого, многие, так прожившие молодость свою, удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и... и называют его упавшим. Всякое время должно иметь и свои обычаи; скоро может, не только у нас не будет Бурцевых, но гусары вместо вина будут пить сахарную воду, ходить не в бурках, а в кружевах, а вместо всем известного народного... лепетать известные нежности желанным красавицам.

*21 сентября.* Во все время, что я здесь хожу целое утро и за полдень на охоту, я по сию пору не застрелил еще ничего; по этому можно судить, как охота для меня занимательна, и как много у меня времени, которого я не знаю, как употребить, потому что, несмотря ни на что, я всякий день берусь за ружье. Это значит, служить, дело делать, — как называют большая часть людей, своей мысли в голове не имеющих...

Вечер я просидел у возвратившегося Ушакова; там был еще некто П а ш к о в с к и й, разжалованный за дуэль, путей сообщения подпоручик, недавно прибывший к нам в эскадрон. Он мне напомнил живо своих петербургских сослуживцев и дом Лихардовых; Сергей Михайлович Лихардов произведен в генералы. Как его Мария Павловна, я думаю, рада была сделаться превосходительною! По этому случаю верно субботы воскреснут. Я всегда буду с благодарностью вспоминать благорасположение, которое мне показывали в этом доме. Во всю мою бытность в столице, это единственный почти дом, через который мне удалось посмотреть на общество петербургское: оно было не блестящее, но мне, во всяком случае важное, ибо я другого не имел...

28... Все утро теперь я читаю Вальтер Скотта, взгляд на Французскую Революцию...

*2 октября.* Я получил два письма от матери и одно от Анны Петровны. Первая обнадеживает присылкою денег на лошадь и прочие издержки. Хорошо, если бы ей удалось, как говорит, через месяц их выслать. Она сообщает тоже смерть Василья Львовича Пушкина отшедшего 20 Августа 1830<sup>1</sup>. Своими литературными трудами, хотя он не стал на ряду первостатейных писателей нашего времени, однако, многие из его мелких стихотворений отличаются чистотою слога и легкою. — Его Опасный Сосед у нас покуда единственный в своем роде.

Анна Петровна сообщает мне, приезд отца ее и, вдохновленная своей страстью, — велит мне благоговеть пред святынею любви!!!<sup>2</sup>

Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться. Я не стану разуверять ее, ибо слишком легко тут сделаться пророком.

Как и прежде, я просиживаю дни у Ушакова, играя в вист с переменчивым счастьем.

*12 октября.* Покуда не перестану я занимать деньги! когда я перестану страдать душевно от недостатка оных?

Сейчас я кончил письмо к матери в ответ на писанное ею от 20 Сентября, с которым она мне прислала Телеграф и Литературную газету, которые меня чрезвычайно теперь занимают: в них только я нахожу забвение моего печального положения. Обещания матери мне очень дороги, но все они не облегчают моих нужд, которые угнетают мне ум и душу...

*15...* Также получил я одно, немного запоздалое и очень нежное письмо Анны Петровны от 14 Апреля!! — и то хвала нашей почте, что письма совсем не пропадают.

Что касается до сквирских новостей, то их мало: театр там появившийся, все еще существует, два раза в неделю играют на нем комедии Коцебу и т. п. Труппа не блистательная, даже и хорошенькой актрисы нет ни одной, но по месту и публике она очень хороша. Последняя, состоящая из городских чиновников и нашей братьи офицерской, не может быть взыскательна, ибо очень немногие из оной видели лучшее. И сцена, поставленная в сарае жидовской корчмы, очень изрядная, места разделенные на ложи(!), кресла и партер, или лавки, вмещают с сотню зрителей,— чего же более можно требовать от сквирского театра? Мою красавицу в трактире, со всем ее домом, жестоко побил пьяный мой сослуживец Милорадович, человек пустой и чрезвычайно задорливый, который с первой встречи с ним мне очень не понравился.

Откинув всякое лицепрятие, подобный поступок — без причины поругать слабую женщину — низок; несмотря на 1500 руб., которыми он за это обязан заплатить, страшат нас закрытием любимого трактира. Удивительно, как нас этим испугают, и много мы потеряем! Но оставим это. Пользуясь случаем слушать оправдания, я много говорил с недоступною, хвалил ее прелести: зубы, ножки (те и другие точно хороши), даже последние ласкал; на мои любовные слова отвечала она иногда улыбкою. Говоря с миленькой своей дочерью, она назвала ее сердцем (очень обыкновенное выражение у поляков). „Когда же вы меня так назовете?“ — спросил я, и, к удивлению моему, сложив с уст обыкновенную в таких случаях печать молчания, она отвечала „не знаю“; на другой ее ответ, что я над всеми так смеюсь, я отвечал: когда это насмешки, то она могла заметить, что я над нею одной так смеюсь. Конечно, я весьма медленно подвигаюсь вперед, но все еще бе



з у м н о й надежды не теряю, тем более, что это единственное развлечение, которым я могу пользоваться в бедном образе моей жизни.

17. Возвратясь из Сквиры, вот два дня, как я живу почти не выходя из моей хаты, окруженный, присланными мне матерью, Литературной газетой, издаваемою Дельвигом и Сомовым, их же Северный Цветок на этот год, Телеграфом и письмами из дому и от Анны Петровны. От чтения первых я перехожу к занятию последними, на которые я уже приготовил ответы к завтрашней почте. С матерью и сестрою я говорю почти только о моей нужде и деньгах, а с Анной Петровной об ее страсти, чрезвычайно замечательной не столько потому, что она уже не в годах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Про сердце женщин после этого можно сказать, что оно свойства непромокаемого, *imperméable* (Вяз)., — опытность скользит по ним. Пятнадцать лет почти непрерывных несчастий, унижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце, или воображение, по сию пору оно как бы в первый раз вспыхнуло. Какая разница между ей и мною. Едва узнавший, однажды познавший существо любви, — в 24 года, я, кажется, так остыл, что не имею более духу уверять, что люблю!!!

Северные цветы на 1830 год никак не могут сравниться с вышедшими в 29, которые решительно лучше своих прежних, и стоят на ряду с предшественниками своими. Даже отделение поэзии, всегда и во всех альманахах превосходящее прозу, весьма бедно. Отрывок из VII гл. Онегина, описание весны, довольно вяло; маленькие, альбомные его стишки, я вас любил и т. п. не лучше, точно также, как и эпиграммы его и Баратынского очень тупы.

Последнего отрывок поэмы Вера и неверие написан хорошими стихами, но холоден. Из идилий Дельвига понравилась мне одна Изобретение ваяния, еще Подолинского Гурия и наконец Плетнева отрывок перевода Ромео и Джульетты. Об остальном балласте и не стоит говорить<sup>1</sup>.

Из прозаических статей замечательны: Вор Сеньковского и Кикимора Сомова, обзор же его очень плох. Литературная газета, ими же издаваемая, заслужила справедливую похвалу публики. Оригинальные повести (отрывки из романа Погорельского), помещенные в ней, отличаются прекрасным слогом и верным описанием наших нравов<sup>2</sup>; выбор переводных статей также хорош; критика очень умеренная. Нельзя тоже сказать про Полевого, который сделался литературным демагогом Sansculotte, который кричит и ругает литературную аристократию,— Дантон журнальный ругающий всех, без исключения, знаменитых, как он иронически называет; в этих критиках пристрастие его слишком явно<sup>3</sup>. Журнал его еще занимателен разнообразностью помещаемых статей. Между ними часто появляются тоже хорошие отрывки из новых народных романов. Картины нравов похожи на прежде помещаемые в Северной Пчеле, но уступают им в слог. В обоих журналах очень мало появляется хороших стихотворений (исключая двух басен Крылова и несколько пьес Пушкина, особенно двух: Арион и Смуглянка<sup>4</sup>, и Пловца Языкова — напечатанных в Литературной газете), особенно в Телеграфе; за то уже брани в нем за болгаринского Выжигина и Дмитрия Самозванца в Литературной газете больше, чем должно позволять<sup>5</sup>. В последней Полевого Историю называют образцовою глупостью и спекуляциею на деньги подписчиков<sup>6</sup>.

22... Мое волокитство за Паною Фил., кажется, кончилось: в этот трактир теперь никто не ходит, след-

ственно, и мне неловко там бывать и нежничать с побитою красавицей. Зато другой трактирщик, Блезер, недавно женился на хорошенькой девочке, лет 15-ти. Вся молодежь вертится теперь около ее; она гораздо милее и не так недоступна, как моя дура.

23

... В последних числах октября.  
(Презренной прозой) говоря,  
В деревне скучно...<sup>1</sup> —

В моем Антонове, и особенно, когда в нем живешь по нужде без денег,— не раз вспомнишь этот стих Пушкина. Сегодня был прекрасный осенний день; мороз очистил атмосферу и высушил землю, солнце ярко светило и даже грело. Озеро, видимое из окон моей хаты, или став, как здесь называют запруженные речки, простирающиеся более, чем на версту от плотины, близ которой я живу, было спокойно и ярко отражало светлую синеву чистого неба, свежую зелень нив и обнаженные красноватые рощи, окружающие оное. Прекрасные сии виды веселили взор и любителя прекрасного, и неутомимого охотника, но не меня. Они ни на минуту не разогнали моих забот, а охоту бродить с ружьем я также покинул давно. Бремя их тяготит меня и не дает места никакому другому чувству.— Против обыкновения, сегодня вечер провожу я дома, потому что Ушакова нет дома, а то бы и сегодня двенадцатью робертами заключился мой дневной труд. Хочу воспользоваться вечером, написав к сестре письмо.

25.— Точно также и вчера я весь день, сидя один дома, читал Телеграф— одно мое спасение от скуки; но и это удовольствие скоро кончится...

Вот два года, что я с каждым днем вижу только новые заботы, и не имел ни одной минуты чистой, не омраченной неприятностями. Правда, я теперь излечился

от того безграничного честолюбия, которое меня закинуло сюда; понятие о моих достоинствах ограничилось тоже; я приобрел много опытности в обхождении с людьми,—но какую ценою покупаю я все это...

27. Чудное утро теперь! Мороз осеребрил поля, поднимающееся солнце начинает согревать воздух, поверхность озера чиста и спокойна.

Если вспомнишь, какая в это время у нас на севере бывает погода, то как не благословлять здешнее небо...

4 ноября... Волокитство наше расстроилось: красавица общая уехала на неделю в Бердичев к своей матери. От того нам кажется вдесятеро скучнее прежнего; не знаешь точно, что делать из дня.

5 ноября... Мать прислала мне Жан Поля<sup>1</sup>; но о деньгах говорит только, что лен подымается в цене, почему и надеется мне через короткое время выслать оных. Вместе получил я и несколько следующих №№ Литературной Газеты. Все это средства против царствующей здесь скуки, весь день нас жителей Сквиры преследующей. Утром я менее ее чувствую, потому что часть оного провожу на службе, бывая всякий день на разводе, зато остальное время не знаю я как употреблять.

Недавно с Вульфом<sup>2</sup> мы разговаривали о власти привычек над человеком. Их влиянию я очень подвержен: переменив местопребывание, я долго не привыкаю к новому; на новой квартире, пока не обживусь, я не в состоянии заниматься, даже долго оставаться дома. К моей теперешней еще труднее привыкнуть, потому что живу с хозяевами в одной комнате, следовательно, никогда совершенно не свободен, а всегда сжат.

Полученные мною книги я чрезвычайно скуп читать, особенно журналы; всякий день я читаю только по несколько страничек, опасаясь все скоро прочесть; я даже

совещусь, ежели любопытство меня иногда увлекает, как ребенок, который с'едает свои конфеты.

*6 ноября...* Вчера, просидев все после обеда у Голубинина с Рославлевым и Туманским<sup>1</sup>, недавно приехавшим из Одессы, оставивши Красовского, при котором он находился и который привез с собой несколько книг, мы читали вместе Сен-Мара, переведенного Очкиным. Вечером я пошел ужинать к Блезеруи, к удивлению моему, нашел его женочку, предмет общих желаний, возвратившуюся уже из Бердичева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду и нашел ее еще милее прежнего, может статься от того, что холод прелестно ее нарумянил. Предвижу и предчувствую теперь, что вероятно я опять буду просиживать целые дни в трактире...

*7 ноября.* Эти дни я все сижу у Голубинина, где поселился Рославлев и Туманский; читаю там, играю с ними в вист и, перебежав через двор, волочусь за красавицей, доселе еще не внимающей моим любовным мольбам. В карты я проиграл безделицу, а в биллиард выиграл 4 билета театра...

*9 ноября...* Вчера я играл несчастливо и проиграл 60 рублей. Поутру я отдал письмо к матери на почту, а остальной день читал Сен-Мара. Перевод этого прекрасного романа Альфреда де Виньи довольно хорош, а достоинства романа признаны всеми<sup>2</sup>.

Про жизнь мою здесь не знаю, что сказать, — она до крайности скучна и бездушна.

*10 ноября...* Вот и пороша: в ночь выпало вершка на два снегу. В Сарикой я бы нынешнее утро приятнее провел, — я бы уже следил зайцев...

Я начал читать 12 том Истории Карамзина. Какой слог! он приводит в восторг простотою и величием своего рассказа. Это простодушная летопись и вместе эпопея.

Его изображение исторических лиц столько живо и ярко, что к ним привязываешься, гордишься именовани-ем их соотечественниками.

Везде видно, что он трудился с любовью к предмету, а не из корысти или из суетного славолубия.

*11 ноября...* Вчера вечером возвратился полковник из Бердичева. В привезенных им французских Петербургских газетах прочитал я указ, которым повелено 1 и 2 пехотным и 3 и 5 резервным кавалерийским корпусам считаться на военном основании и выступить к границам. С кем же мы будем воевать — не могу понять! Вероятно эти движения имеют целью удержать дух мятежей, распространяющийся в средней Европе. Я чрезвычайно рад, что нас оставляют в покое, по всем причинам: раз, что я нисколько не хочу участвовать в угнетении человечества, во-вторых, собственные мои обстоятельства не такого рода, чтобы позволяли мне выдержать еще войну, в которую я могу заслужить Анну 4-й степени, а потерять не только здоровье, но и жизнь. Я знаю теперь, сколько можно полагаться на счастье, и другой раз не хочу быть в дураках...

*12 ноября.* Всегда, когда приедут офицеры из лейб-эскадрона: Ломоносов, Штенбок или Милорадович, то без шампанского не обходится, и часто пьют до тех пор, пока не станет в Сквире вина; так случилось и вчера, когда у Блезера явилась и музыка, состоявшая из кларнета, скрипки и виолончели. Разгоряченная прыганьем, молодежь напрасно желала утолить свою жажду шипящей, пенистой влагой...

*14...* Вчера заходил я к Туманскому, который болен был, но теперь уже выздоравливает. Он привез из Одессы много книг, которыми можно пользоваться.

Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методу Мефистофеля, надо ее воображение занять сладострастными картинами<sup>1</sup>; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности. Для опыта я хочу посмотреть, успею ли я просветить ее, способен ли я к этому. Надо начать с рассказа ей любовных моих походов.

15... Погода стоит настоящая осенняя, снег все еще лежит; вчера сделалась гололедица и с моею красавицей, которая рассердилась на меня.

16... Вечером вчера был я у выздоравливающего Туманского и играл с ним и с Кольчигиным в вист,— на этот раз был я счастливее обыкновенного, выиграл рублей 30. У Туманского же я взял Монастырку, I часть романа Г. Перовского, которой отрывки я уже читал в Литературной Газете, где, кажется, справедливо, хвалят это сочинение<sup>2</sup>. Полевой, напротив, нападает, но в одном он только прав: зачем было пускать в свет одну только часть, а не целое,— ведь это не глава Онегина...

17... Вчера вечером, вместо того, чтобы идти в театр, играл я в вист — и очень несчастливо,— проиграл более ста рублей; против Туманского я не могу играть.

18... И вчера я опять проиграл в вист, но что еще не лучше — попался в секунданты к Милорадовичу. Этот вздорливый человек, которого я уже раз мирил, обидел без всякой причины Голубинина за что этот и вызвал его. Вчера, пришедши в трактир, встретил меня первой просьбой быть его вторым; не имея причины ему отказать, я должен был принять его предложение и сказал, что я всегда рад служить тому, кто требует

моей помощи. Поблагодарив меня, он был столько любезен, что прибавил:— „я всегда прошу в таком случае первого, который мне встретится“. Дело будет после смотра; с моей стороны я употреблю все возможное, чтобы сделать оное сколько можно менее кровопролитным. Завтра я еду в эскадрон, чтобы приготовиться к будущему смотру. Сейчас отправил я письмо к Анне Петровне; она что-то давно ко мне не пишет.

*19 ноября.*.. Вчера у нас в театре давали Казака стихотворца для бенефиса Гж. Г о р л и ц к о й<sup>1</sup>. Она играла М а р у с ю довольно хорошо, про пенье ее нельзя сказать того же. Роли Прудюса и Грицка особенно были очень порядочно сыграны, а Климовского как нельзя хуже. Театр был полон до возможности, и бенефициантка довольна сбором; таким образом, все довольны.

*Антоново, 24 ноября.* Возвратившись 19 числа сюда, чтобы приготовиться к смотру, я на другой день поехал с Вормсом опять в Сквиру, чтобы быть вечером в театре, куда ожидали соседних помещиц, и волочиться за красавицей. Вместо первых, получил я в театре письмо от матери, которое меня очень огорчило; она говорит, что я не могу и не должен идти в отставку, и что могла бы скоро мне прислать денег, если бы не холера, прерывающая теперь все сообщения.

27. Вчера вечером возвратился я из Сквиры, куда ездил более для окончания дуэли Милорадовича. Счастье помогло мне оную кончить без кровопролития и без лишней траты пороху. Милорадович, которого главный недостаток есть вспыльчивость, и не дурные правила, убежденный неделью размышления в несправедливости своего поступка, казалось, был миролюбиво расположен, особенно после разговоров с Штенбоком, старавшимся их помирить, но ошибочно воображавшим, что время упущено, к оному утверждал, будто бы тот:



час вслед за ссорой более бывают расположены к мировой, чем впоследствии. Я еще более надеялся окончить дело счастливо, потому что узнал от Штенбока намерение Милорадовича предоставить противнику первый выстрел и, выдержав оный, предложить примирение, не пользуясь своим. Это намерение, хотя и узнал Голубинин, но был столько умен, что не дал себя вовлечь в ложный поступок, и об'явил, что он не будет щадить своего противника. Все шло хорошо, почему я не входил с моим дуэлянтом ни в какие подробности до решительной минуты. Мы все ожидали, что ожидаемым промахом Голубинина все благополучно кончится. Якоби, мой сотрудник, как отличный стрелок, имел обязанность пистолеты, которую он хотя исполнил со старанием, а не с обыкновенной нерадивостью секунданта, но несчастливи, ибо выбранные пистолеты были с дурными замками и дали бы несколько осечек (как после было при стрельянии в мою шапку), что непростительно со стороны секундантов. Утром, в часов 9, поехали мы на двух санях, по прекрасной, недавно установившейся, сегодня уже сошедшей — зимней дороге; если бы не сильный туман, на 100 шагов перед глазами скрывавший предметы, то утро можно бы было назвать хорошим. От'ехав по Бердичевской с версту, мы поворотили влево и расположились в ближней ложине. Зарядив, как следует, в присутствии противников, пистолеты и выторговав у Якоби 15 прешироких шагов, готовы мы были поставить противников на роковое расстояние с тем, чтобы Г о л у б и н и н стрелял первый. Но прежде, об'явил я, есть моя обязанность, как секунданта, в последний раз, употребить мои старания к примирению. Подойдя к Милорадовичу, я сказал: „Вы, М. Г., сознавались, что обидели Гн. Голубинина; я надеюсь, что поэтому, сознаваясь в своем поступке, вы не откажетесь подать

первый руку к примирению“. Получив желаемый ответ, я обратился к Голубинину:— „Милорадович сознается, что он Вас обидел в жару, и желает, чтобы Вы прошедшее забыли и были снова ему добрым товарищем и приятелем“. „Когда Милорадович сознается, что он виноват предо мною,— то я доволен“, отвечал Голубинин. Между тем Штенбок, видя счастливый оборот, который берут мои, очень нескладные убеждения присоединил свои убедительною силою истины и искренним желанием помирить,— и после еще нескольких слов мы свели противников и обнялись по-братски все вместе. Для Якоби было это совершенно неожиданно; он думал, что без выстрелов никак нельзя обойтись и с пистолетами в руках будто нельзя мириться. Я сам, признаюсь, не ожидал такого легкого успеха, это была счастливая минута,— ибо иногда, несмотря на тайное обоюдное желание примириться, не решаясь никто сделать первого шага, опасаясь показаться боязливым, убивают друг друга. К чести нынешнего времени можно отнести, что поединки становятся реже. Забияки, или бретеры, носят на себе заслуживаемое ими справедливо презрение всякого благовоспитанного человека.

По древнему обычаю, новая дружба соперников запита была несколькими бутылками шампанского, из которых одною и я должен был пожертвовать, несмотря на мои расстроенные обстоятельства.

...Сегодня целый день я просидел, не выходя из хаты,— писал ответы на печальные письма. Нервы мои так раздражены всегдашней грустью и заботами, что, остановившись на размышлении о моем положении, как у слабой женщины, наворачиваются у меня слезы на глазах. Ах, прежде одна любовь заставляла меня их проливать! Это, может быть, слабость, приличная только другому полу. Пристойнее бы было деятельностью раз-

гонять тоску, но и мою (?) ведь не облегчают меня; со слезою с ресницы не скатывается, как у женщин, у меня печаль души,—это только выражение оной или выражение неспособности помочь самому себе. Это, однако, есть слабость.

Я читаю теперь Записки графа Тилли, бывшего пажем королевы Марии Антуанеты: это изображение нравов в последние десятилетия прошлого столетия. Самое занимательное в них есть описание характера многих известных лиц того времени, несколько анекдотов и наконец любовные его связи, которых он, как весьма счастливый волокита,—*homme à bonne fortune*,—имел очень много. Слог его прост и жив, в некоторых местах остер. Рассуждения же долженствовавшие иметь нравственную цель (которые прославляет издатель), весьма слабы и плохое противоядие против соблазнительных его поступков, в естественных последствиях которой более гораздо нравоучения, чем в его восклицаниях о непостоянстве мирских вещей, наших чувств, правил, мыслей и т. п. Всякий от души поверит, что посвятившего себя единственно волокитству, развращению женщин, в будущем ожидает жалкая доля душевной пустоты, охлаждение ко всем изящным чувствам, пресыщение. Но во многих его взглядах на вещи он поверхностен и ошибается. В искусстве же соблазна он Мефистофель. Кстати о волокитстве прибавлю, что мое за трактирщицей не клеится, она ко мне совершенно еще равнодушна и как, кажется, ко всем.

28. Сегодня, как вчера, я просидел дома за письмами и за мемуарами Tilly...

1 декабря. Новость за новостью. Получен Приказ, чтобы Гг. офицеры не отлучались от своих взводов без особенного позволения на то командира, который оное только в праве давать в случае крайней надобности,

вследствие чего все проживающие в Сквире должны были ее немедленно оставить. Эскадронным командирам даны какие-то тайные приказания, которые они скрывают с весьма важным видом (т.-е. Ушаков), объявляя только, что можно ежечасно ожидать повеления выступить через 24 часа в поход...

2 декабря. Сейчас я получил письмо Анны Петровны, которое немного облегчило мне скуку просидеть одному этот вечер. Между прочим она пишет, что Дельвиг получил порядочный нагоняй от Бенкендорфа за помещение в 61 номере Литературной Газеты надписи сочинения de la Vigne на монументе, воздвигнутом в память погибших защитников свободы 27, 28 июля сего года. Вот она:

France! Dis moi leurs noms? Je n'en vois point paraître  
Sur ce funebre monument.

Ils ont vaincu si promptement

Que tu es libre avant de les connaître“.

Точно, в русской литературной газете они неуместны; цензурная терпимость, однако, заслуживает хвалу, что она их не столько испугалась, как Бенкендорф<sup>1</sup>.

3. Утром ездил я верхом, чтобы сделать какого-либо рода движение, а потом остаток дня я читал Ж. Поля Христоматию. История войны 13 года Коха, которую тоже читаю, была бы чрезвычайно любопытна, если бы ее можно было читать с картами и планами, но без оных она теряет много интересу. Ушаков еще не воротился из Сквира, следственно, нового ничего я не знаю, скучная же жизнь ничем не изменяется вот уже с неделю. С час назад я строил воздушные замки, основанные на нескольких тысячах рублях, которые изменили бы меня совершенно. Я мечтал себя в Дерпте уплачивающим остаток студенческих долгов и прельщающим добродетельных лифляндок, с их розовыми личиками, гусарским

мундиром и усами; оттуда я перелетел в город скучный, город бедный, — но как описать, что здесь воображение может чаровать перед нами! Но, расставшись с Петербургом, где и в мечтах я слишком много проживал денег, воображение мое так разлакомилось, что принялось и за командуемой мною взвод; расхаживая по квартире Ушакова я воображал до какого совершенства я доведу каждого из моих гусар. Но, возвратясь с вечерней прогулки, в продолжении которой я так размечтался, все рассеялось, и скука встретила меня опять в моей хате.

До сих пор я был чрезвычайно разборчив в женщинах, в полном смысле аристократ на этот счет, всегда удивлялся сельским ловеласам, — а теперь сам волочусь за моей хозяйкой — вот как обстоятельства переменяют нас!

4. Туманский прислал мне Записки о Жозефине, относящиеся ко времени ее жизни после развода. Автор оных, женщина, не мешается в политику; как собрание анекдотов, рассказанных просто, они довольно любопытны<sup>1</sup>.

5. Теперь уже не тайна, что в Варшаве было возмущение, чем же оно кончилось неизвестно, точно также и причина оно; говорят, будто Курута убит, а Константин уехал оттуда. Все это слухи, которые еще не достоверны, но очень вероподобны, и, кажется, поход наш неизбежен...

6. Утром я ездил верхом и все собирался высечь здешнего соцкого за то, что он, поставив к мужикам, у которых я и человек мой стоим, еще рекрут, не хотел ко мне прийти когда за ним я посылал; но когда его привели ко мне, и гусары готовы уже были к экзекуции, то я, как всегда, умилоствовался. По сию пору я так слаб, что не могу наказывать виноватых, и их всегда лучше оправдываю внутренно, чем они сами себя...

Вот еще подробности варшавского возмущения. Константин, уведомленный о бунте, призвал к себе два батальона для защиты дворца. Чернь была остановлена оными и бросилась на другие жертвы своего неистовства; оными сделались генералы Курута, Красицкий и многие другие. На другое утро Константин выступил с своей гвардией из Варшавы и собрал польские войска, которые сначала не принимали участия в возмущении, но, стараясь усмирить, большая часть оных взяла сторону возмутителей, вследствие чего великий князь продолжал свое отступление и находится теперь уже в Волынской губернии, куда и все наши войска собираются.

9. Сестра пишет ко мне, но она очень печальна. И как не быть такою, живучи без выезда в Тригорском девушке в тридцать лет? Бедный мой друг, когда-то увижу я тебя под брачным венком? Засветит ли кто тебе факел Гименея?

12. Варшавские происшествия об'явлены уже в ведомостях: правительство, по благоразумно принятому правилу, не делает из оных тайны. Государь, получив к ночи уведомление об оных, в следующее же утро сообщил их на разводе присутствовавшим офицерам, которые единодушно просили позволения усмирить мятежников. Он благодарил их за усердие и отвечал, что для сего достаточно будет войск, расположенных там вблизи.

14. Живучи здесь, я начну заниматься постоянно службою и русскою грамотою; сначала трудно будет и скучно последнее, но неужели я не буду иметь столько власти над собою, чтобы себя принудить?

15. Говорят, что почти все герцогство бунтует, и что Константин оказал себя весьма слабым при возмущении: он подписал какую-то, у него вынужденную, конвенцию и не позволял стрелять по бунтовщикам. Впрочем, эти слухи вовсе не достоверны...

*17. декабря.* Сегодня я стал годом еще старше, отжил и третьего десятка уже половину, едва ли не всю молодость мою. Оглянувшись назад, вспомнив, что я был и есть теперь, а посему представив себе и будущее, нигде не встречаешь предмета, на коем с удовольствием можно было остановиться. Несколько пламенных желаний, блестящих идей прекрасного: вот все, что мне осталось от прошедшего, если не упоминать все неисполнившиеся надежды и несколько поцелуев некогда любивших красавиц. Все это прошло невозвратно: ни сердце, ни рассудок не обольщаются, как сладкий сон не возвращается после досадного пробуждения. Не радостны те дни, где ищешь одного постоянного, полезного, когда для последнего отказываешься от шумных удовольствий, от честолюбия и от всего, что нам в молодости жизнь светскую делает столь ценною. Но судьба не допускает мне и там быть полезным, где единственно я оным могу стать. Я должен служить, жить в нужде иногда, всегда в бездеятельности и следственно скуке, без всякой видимой, и, рассудительно, для кого-либо ожидаемой пользы. Это печально — в первый и последний день года.

*18...* Собственные мои занятия еще менее занимательны и разнообразны; я читаю все что мне под руки попадает: записки о французской революции и об войнах оной, иногда наши литературные журналы, касающиеся до фрунтовой службы, и даже пробегаю грамматику Греча<sup>1</sup>. Вот в каких занятиях провожу я те часы дня, которые не могу проспать.

*19...* Утро сегодня превосходное, солнце выкатилось на чистое, яркое небо, и золотые лучи его, скользят по земле, которую небольшой мороз обелил, воздух сух и чист, одним словом это настоящее прекрасное северное зимнее утро, с тою только разницею, что оно

имеет десятую часть его холода, т.-е. не 10°, а может только 1° холода.

Сегодня день рождения сестры,—пусть будет у них, по крайней мере, такая же погода в Тригорском,—я не знаю, что можно бы было еще пожелать. Последние письма ее очень печальны, но как ей помочь?..

23... Из дому я не получил писем, но зато одно очень милое от Анны Петровны...

В Бердичеве точно появилась холера, от которой уже там погибло человек 150. В других уездных городах тоже, говорят, она показалась,—а именно в Василькове, в Б. Церкви, в С. Павловичах и других, но это не достоверно, о Бердичеве же об'явлено официально. Никакие меры предосторожности не в силах, кажется, остановить распространение сего бедствия: от пределов Сибири медленно она все подвигается к западу, и едва ли не дойдет она до сердца Европы. Она, мне кажется, губительнее чумы турецкой, которая, по крайней мере, весьма редко прокрадывается через карантинны<sup>1</sup>.

30... Сестра Анна пишет, что будто бы Литературную Газету запретили за стихи, о которых мне писала Анна Петровна<sup>2</sup>. Пушкин все еще не женился, а брат его Лев уверяет, что если Гончарова не выйдет замуж за Александра Сергеевича, то будет его невестою<sup>3</sup>. Всего приятнее для меня новость, что Софья кормит сама грудью своего ребенка и живет с мужем, как нельзя лучше,—дай бог, чтобы их семейственное счастье продолилось; никто более барона оного не достоин.

... Был я у Рудольтовского Он недавно возвратился из Одессы с тем, чтобы подать здесь в отставку, Служив также безуспешно, как я, в 29 году, он, по крайней мере, счастливее тем, что выходит теперь из службы. Хотя он и поляк в душе, но, получив евро-



пейское воспитание, в нем не осталось ничего, что мне и вообще всем нам русским, не нравится в его соотечественниках; я к нему очень хорошо расположен.

Как из'явление таковых же чувств его ко мне, должен я принять его подарок: кусок дерева от дуба, под которым Шекспир обыкновенно трудился над своими бессмертными произведениями, который он сам вывез из Англии.

Напившись у него чаю, пошли мы вместе на ожидаемый пир у Блезера, где мы надеялись видеть чрезвычайно много смешного. Вслед за нами начала собираться и публика. Полдюжины актеров, несколько земских чиновников начали бродить около биллиарда, на котором мы играли в ожидании, когда придет каждому очередь по личному вызову хозяина получить стакан пунша. Представительницы же прекрасного пола — две актрисы и белобрысая другая племянница Блезера — сидели в комнатах хозяина, покуда еще танцевальная зала не была освещена и жида не настроили своих скрипок. Казалось, что вот веселье и началось, потому что из биллиардной комнаты мы уже слышали музыку; оставив кои, и мы пошли туда, но нашли, что танцы что то не ладятся; наш приход также не споспешествовал оным. Хозяйка одна сделала с Гф. Маге несколько кругов мазурки, после которой ее больному мужу сделалось дурно и она ушла с ним: это было сигналом общего рассеяния, и мы остались одни; от нечего делать мы пустились сами вальсировать; но, как казалось, что наше присутствие помешало общему удовольствию, то и мы удалились. Через несколько времени опять послышалась музыка, которая, однако, замолкла при вторичном нашем появлении. Не было сомнения в том, что мы были здесь лишними, особенно, когда нам сказали, что Блезер сам

велел перестать играть. Вслед за хозяйкой с Горлицкой, пригласившей нас к себе, и мы оставили танцевальную залу. Скоро после этого В. вызвал меня оттуда, чтобы об'яснить мне причину этого расстройтва нынешнего вечера: он сказал мне, что слышал собственными ушами, как Блезер сказал, что он велит погасить в зале свечи, если мы не уйдем оттуда. Такое преступление против Их Благородий требовало неотлагаемого наказания: Вормс обещался клятвенно при первом удобном случае Блезера побить, а мы решились тотчас оставить трактир и, поужинав у Фил., ехать в эскадрон, куда нам и без того необходимо нужно было отправиться. Но как тот трактир был уже заперт, то мы с Вормсом и должны были возвратиться и закусить здесь.

Между тем Бася ходила около нас, значительно по-сматривала на меня и спрашивала, когда мы опять приедем, скоро ли? Я печально потряс головою и отвечал отрицательно. Вот мы оделись и пошли, чтобы сесть в сани, но, не переступя порог комнаты я встретил ее. На прощанье мое она отвечала об'яснением, что муж ее нисколько не виноват, что он сам сожалеет о расстройстве своей вечеринки и т. п. Я ей отвечал уверениями в своей любви и, будучи окружен толпою людей, должен был ее оставить. В сенях столкнулся я с Басею и начал с ней сентиментально прощаться, а вслед за нею явилась и моя прелесть; вот новые уверения в невинности мужа и просьба остаться, а с моей стороны в моей любви и что необходимость одна заставляет меня ехать, а не то, чтобы я считал себя обиженным. Я уже готов был подтвердить мои слова пламенным поцелуем, как и эта трогательная сцена была прервана внезапным появлением мужа. Оставив ее, шел я сесть в сани, Блезер остановил меня с новым об'яснением: утверждает, что он ни в чем не

виноват, что господа обиделись, к чему, он сознается, был повод, но вовсе без его дурного намерения, и пр. Я старался его разуверить, чтобы отвязаться от него, ибо внутренне чрезвычайно рад был этой катастрофе, во время которой я получил более изъявления участия, если не привязанности и любви, чем мог бы ожидать в самом шумном весельи.

31. Третьяго дня смотрел эскадрон полка, а вчера проезжал он мимо, чтобы сделать распоряжения в соседственных деревнях, где открывалась холера, точно так же как и в самой Сквире, где есть до 10 человек больных. Она появилась там во время праздников, — вероятно, от неумеренной пищи и пьянства во время разговен. В уезде же она показалась в разных местах почти в одно время, даже и у нас в деревне умер человек Рудольтовского, как говорят, от холеры. Сейчас я еду к Вормсу, чтобы с ним вместе ехать в Сквиру встретить новый год и заключить этот старый — с большими надеждами на любовные успехи. Но исполнятся ли они?

1831.

*Антоново, 4 января...* Нынешний год не встретил я столько приятно, сколько обещали мне любовные мои мечты. После трогательного расставания наше свидание с красавицею было довольно холодно; это меня до того взбесило, что ее роговое колечко, которое я взял с тем, чтобы сентиментально велеть обдѣлать в золото, тут же подарил Горлицкой. На другой день она была милее, но все не столько, сколько должно, так что в эти 3 дня я едва ли несколькими шагами подвинулся, потому что два-три вынужденных поцелуев, вырванных мною, нельзя считать за успех...

*Белая Церковь, 6 января...* Наняв вчера наконец лошадей, приехал я сюда скорее, чем ожидал. Я чрезвычайно не любил всякого рода поездки, которые простираются далее десяти верст, и потому, ехав сюда я терпел все неприятности, которые чувствует человек, отправляющийся против воли в дальний путь. Но во сколько раз усилились эти ощущения, когда, прибыв сюда, узнал я, что не только скоро отправиться я не могу, но должен здесь прожить по крайней мере с неделю. Это от того, что рекрутские партии, из которых должно выбирать в нашу дивизию, еще не прибыли.

*7 января.* Лишним бы было упоминать, что здесь несносно скучно, что я не могу здесь ничего делать и даже не имею свободной минуты написать несколько строк, потому что живу на одной квартире с Ушаковым. Эта скука тем горче для меня, что теперь в Сквире я бы по крайней мере волочился за молоденькой моею Мариною. Без меня я чувствую, что Рудольтовский ее совершенно отобьет и возьмет в руки к себе. Единственным делом и развлечением для меня эти дни было чтение нескольких книг из полковой библиотеки здесь расположенного 19 Егерского полка. Нельзя довольно похвалить офицеров здешнего полка, почувствовавших такую надобность, — видно, что просвещение входит и в ряды воинов. Я успел прочитать Паризину перевод Вердеревского, Дмитрия Самозанца и теперь у меня Борский Подолинского. Первый перевод довольно хорош; Булгарина же роман лучше, нежели я ожидал, судя по разборам в Литературной Газете, но и не совершенство, за которое хотят выдать его почитатели сочинителя онаго. Слог онаго, хотя и всегда чист и правилен, но, как и в Выжигине, не разнообразчен и холоден.

Изображение действующих лиц, исторических и вводных, тоже слабо; сам герой романа без нужды обременен убийствами и злодействами; в описании нравов и обычаев того времени, он более всего успел. В Б о р с к о м есть несколько хороших стихов, это все, что можно в его пользу сказать<sup>1</sup>...

9. Проезжали здесь вчера Л о м о н о с о в и М и л о р а д о в и ч, которых, неведомо по какой причине, требуют в 4 гусарскую дивизию. Если их точно возьмут из полка, то мы потеряем двух из лучших наших товарищей. Милорадович с того времени, как я кончил его дуэль, переменился совершенно в обращении со мною и сознается теперь, что он прежде не знал меня; я тоже с тех пор открыл в нем более хороших качеств, чем ожидал. Мы расстались лучшими товарищами, сердечно сожалевшими, что судьба нас снова разметывает. Л о м о н о с о в в своем роде человек тоже очень милый и умный и в полном смысле слова Гусар-товарищ. При прощании с такими людьми можно ли было не выпить лишней рюмки вина? Хотя я, как всегда, старался пить как можно меньше, но от смешения разных напитков и теперь болит немного у меня голова.

Хочу сегодня ехать в Сквиру по той причине, что рекрутские партии прежде 15 числа не прибудут сюда.

10. Антоново. После часов трех езды по ровно накатанной дороге в почтовой карете, очутился я из Белой церкви в Сквире у ног моей красавицы, разлука с которою казалось была главнейшею причиною, почему пребывание мое в Белой Церкви мне столь несносно было. Она приняла меня довольно мило, но весь вечер я не имел свободной минуты остаться с ней наедине; за то от Рудольтовского узнал я, к великому моему удовольствию, что он уже не в большой милости у нее.

Утро сегодня я все почти провел с нею: то разматывал нитки, то рисовал ей узоры. Перед самым отъездом сюда, когда лошади мои уже стояли у подъезда и я ходил по комнате, ожидая Арсения, она совершенно неожиданно вышла ко мне из другой комнаты, где спал ее муж; я не успел воспользоваться выгодою моего положения, ибо вовсе некстати воротился Арсений. Я должен был ехать, но, одевшись в шинель, я воротился, и она не ушла в заповедную комнату, а допустила еще раз вынудить у себя поцелуй. Сегодня я был и здесь счастлив; возвратясь, я нашёл у себя в хате Софью, она осталась топить печку, в которое время я употребил все свое красноречие, чтобы убедить ее притти после ко мне: она и согласилась, обещав завтра притти, — увидим, сдержит ли она слово?

В два дня, которые я хочу провести здесь, хочется мне написать домой ответы на последние мною полученные письма.

О делах польских слышно только, что их, вероятно, окончат без кровопролития, еще менее должно ожидать европейской войны, хотя мы и двигаем теперь большие силы.

12. Вчера я просидел весь день у Ушакова, так что не успел окончить одного письма к матери. Софья меня обманула и не пришла, как обещалась, эту ночь, почему сегодняшней день, хотя и именины Евпраксеи и Татьяны, я начал не в веселом расположении духа. В ночи выпал небольшой снежок, который выманивает меня в поле; погода стала теплее, есть надежда, что будет санная дорога.

14. Весь вчерашний день я пролежал больной от угара, и только вечером голова моя освободилась от чада; в это время принесли мне письма из дому и объявление на 500 рублей. Деньги приходят всегда в пору

и кстати, но должно сознаться, что я их совершенно не ожидал. Хотя на прожитые у меня теперь и нет денег, но эти я хочу почти все отдать за лошадь, т.-е. я оставлю себе из них третное жалованье, а получив оное, я его отдам в эту сумму.

Письмо матери очень мило; она поздравляет меня с моим днем рождения и вместе с новым годом. Сестра тоже очень нежна, она нездорова, а Евпраксея приложила к письму тоже свой лоскуток бумажки, на котором она мне передает поклоны от Катеньки Вильяшовой и поцелуй от Катеньки Гладковой; последняя уверяет, что много про меня говорила с какими-то Пашковыми, в доме у которых я будто бы волочился за одной девушкой. Вот знакомство, про которое и во сне не снилось: правда, ведь, нашей братии, Вульфов, так много под луню, что легко можно принять одного за другого; я любопытен, однако, знать, что это за Пашковы.

20. Пять дней прожил я совсем против моей охоты в Сквире и вовсе не с удовольствием: отправив лошадей, я не сказал, когда им приезжать за мной, а в Сквире хотели с меня так много взять, что я не решался нанимать мошенников евреев. Наконец, уже сегодня удалось мне выехать с Вормсом. Кроме 500 рублей, я получил еще от матери посылку с бельем, которая меня чрезвычайно обрадовала, ибо в этом отношении я был в крайней нужде. Обещание матери в скором времени мне выслать еще тысячу рублей обеспечивает меня покуда насчет будущего.

В любовном отношении пребывание мое в Сквире не было успешно: не только я в это время нисколько не подвинулся вперед, но, напротив, совершенно почти прервал мое волокитство, потому что нет никакой надежды ей понравиться... Для порядочной связи она и

молода, и холодна, и глупа, муж же ее жестоко записывает за все — вот почему я хочу обеих впредь оставить в покое.

Под печатью тайны сказал мне сегодня Вормс, что здесь в Повете открыли у одного помещика Туркула злоумышленное сходбище поляков. Ротмистр Погорский, в месте расположения которого эскадрона живет этот помещик, поскакал туда разведать, что там делается, и если он откроет что-нибудь, то наш эскадрон, как ближний, может завтра поведут туда. Так думает Вормс, мне же кажется все это бреднями и вздором...

21. Утром я не писал писем, как это прежде предполагал, но читал Виктора Гюго драму Кромвель, которая очень занимательна.

Бросив мою трактирщицу:

Любовь покинул я, но в душу  
Не возвращается покой.

Меня томит желание быть с женщинами, если нельзя их иметь...

29. Вчера был у нас смотр эскадрона. О нем нечего сказать, потому что ни верховая езда гусар, ни сухое обращение Плаутина с Муравьевым, которые друг друга очень не жалуют, ни глупости, деланные и сказанные Ушаковым, не стоят упоминания. Все это меня не столько забавляло, чтобы отвлечь мое внимание от третьего дня полученных писем, которыми я и теперь еще радуюсь. Мать описывает очень нежно, как она, встречая новый год в Острове у Валеева вспоминала обо мне, а сестра Анна — как они довольно приятно там провели праздники, и что Евпраксея сделала завоевания барона Вревского, из которого она говорит, что могут быть важные следствия; я, однако, этому не верю, не слишком



ли далеко они увлекаются своими браколюбивыми мечтами. Еще передает она мне чрезвычайно милый поклон от Ольги Васильевны Борисовой, которая ей созналась, что еще ребенком (если не ошибаюсь, то это было в 17 году) она была в меня влюблена. Эту милую женщину после того я встретил только раз через десять лет, т.-е. в 27 году, когда я с братом Алекс. Яковлевичем Ганнибалом (ей внучатым братом тоже) проезжал Остров, где тогда лечилась ее мать. Я нашел ее уже женой тамошнего помещика Гн. Борисова, она мне тогда чрезвычайно понравилась, но, к сожалению, я с ней более не встречался. Если мне случится в нынешнем году быть в Псковской губернии, то, несмотря на ревность ее мужа, я употреблю все мое старание, чтобы познакомиться с нею...

30. Путешествие Mollien в Колумбию <sup>1)</sup> не так любопытно, как я ожидал, из одного я не получил столько сведений о крае, сколько я надеялся найти; этот дневник путешествия его по рекам Св. Магдалины и Кауке, в хребет Кордильеров около Богаты — чрезвычайно скучен. Сведения, которые он дает о правлении новой республики, о духе и обычаях народа — очень кратки, а рассказ его чрезвычайно сух. Прочитав эти два тома, я ничего не встретил в них мне нового...

В моей бесдейственной жизни время для меня бежит с необычайной скоростью. Мне кажется, что течение одного подвержено одному закону с падением тел, скорость которого увеличивается с тяжестью оных и с вышиною падения, или, чем время скучнее, и мы чем, старше становимся, тем оно скорее для нас летит...

8 февраля. Сквиря. Не могу верить, что печальное известие, слышанное мною вчера, будто бы в газетах петербургских извещают о смерти барона Антона Антоновича Дельвига, было справедливо, пока

сам не прочитаю. <sup>1)</sup> Если, к несчастью, это известие достоверно, то какого прекраснейшего человека лишились все те, которые его знали. Нежный родственник, примерный муж, верный друг, присоединял он к этим редким качествам необыкновенное добродушие, приветливость и простоту в обращении, привлекавших к нему всякого, кто был столько счастлив познакомиться с ним. Эти прекрасные свойства души его не нужно было открывать в нем через долговременное знакомство; при первой встрече с ним их можно было видеть в его благородной наружности и обращении.

Достоинства его, как писателя, давно уже оценены. Поэзия его — отпечаток души, олицетворенные мечты, также прекрасна, как и она; в ней является та же простота, та же чистота и изящность форм. В народной поэзии он явился самостоятельным гением, — его песни, кажется, слышались нам в самой колыбели; они останутся у нас в памяти вместе с баснями Крылова.

Бедная Софья Михайловна! Какая для нее потеря в то самое время, когда она только что начала носить имя счастливой супруги и матери! Ее положение должно быть тем ужаснее, что с ее пылкими чувствами она едва ли имеет друга, который облегчил бы ей перенесение такой потери. Я опасаюсь за ее здоровье <sup>2)</sup>.

9. Вчера получил я письмо от Анны Петровны, в конце которого она прибавляет: „Забыла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет „ревности и воздыханий!“ Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями. Утешительно из этого заключить, как в таком случае и об нас бы долго вспоминали.

То, что она говорит, про Софью Михайловну, тоже было мне не очень приятно читать, тем более, что,

два года живучи вне общества женского, мнение мое об них стало незаметно лучше. Довольно об этом: остановившись на предмете, я выскажу более, чем еще в голове образовалось мыслей, которые, приняв однажды форму, уже выходят из власти нашей.

10. Туманского книги нам доставляют большое утешение; у него я взял теперь XII том Истории Карамзина. Слог его так увлекателен, что с сожалением оставляешь книгу, прочитав ее. Любовь, с которою он описывал великие события своей отчизны, дышет в каждом слове. Некоторые лица умиляют нас своей любовью к отечеству и возвышенностью чувств, например, Михаил Скопин-Шуйский Ермоген и другие; даже неприятелям он отдает справедливость: Болотникову, Делагарди, Гетману Жолкевскому.

24. В караульне было так холодно, что я только пробыл до половины ночи; остальную я проспал дома. В манеже поутру я ездил тоже. Вечером возвратился из Бердичева полковник с известиями, что под Варшавою было кровопролитное дело, в котором мы хотя и одержали верх, но с потерею, и поляки очень хорошо дрались, и с важнейшим для нас известием, что I бригада получила повеление идти в Дубно, и что нас ожидает тоже и смотр послезавтра Кайсарова.

26. Вчера вечером у стряпчего играли в фанты; это довольно было смешно, особенно для меня, отвыкшего от подобных невинных деревенских удовольствий...

27. Майор князь Трубецкой, недавно к нам переведенный из гвардии, и которого посылали в Дубно курьером, привез сюда известие о втором деле, решившем судьбу армии бунтовщиков. Оно было также весьма кровопролитно и кончилось совершенным рассеянием оной на малые партии. Потеря с нашей сторо-

ны была очень значительна. Генерал от артиллерии Сухозанет умер от ран; даже говорят, будто бы и Дибич ранен...

28. Этот поход мне не по душе; я готов сделать все возможное, чтобы избежать онаго. Нужно же для этих безмозглых дураков переносить мне неприятности, которым совершенно все равно, Хлопицкий ли, или Константин с ними возится. Ах, когда бы мать согласилась на мою отставку, я был бы спокойным зрителем теперь, а не страждущим членом. Вместо того, вот сколько времени что не имеем спокойной минуты, кроме скуки, которую питаемся...

*1 марта.* Вчера после обеда мы точно получили повеление выступить в Бердичев, и сегодня мы оставляем Сквиру; я наряжен квартиргером и должен был еще отправиться в ночь, но успел отправить людей только в эту минуту...

Полагают, что мы далее Бердичева не пойдем; я душевно этого желал бы. Расставаясь, и моя трактирщица была со мною очень мила, просила меня непременно быть опять здесь в Сквире.

*Бердичев. 5 марта.* Здесь время проходит для меня очень медленно и скучно, особенно потому, что у меня нет денег. Голубинин, оставшийся в Сквире, привез мне письмо от Анны Петровны и сестры. Первая пишет, что она чрезвычайно счастлива тем, что родила себе сына (!!), а вторая, что они во Пскове на ярмарке и что мать по следующей почте вышлет мне деньги — обстоятельство для меня чрезвычайно утешительное...

12. Время для меня проходит довольно скоро. За дурною погодою сижу поутру я теперь дома, читаю Vidocu мемуары, о полиции.<sup>1</sup> Он был главным сыщиком парижских воров, и его наблюдения за оными чрезвычайно любопытны.

По вечерам мы обыкновенно играем в вист, чем и оканчивается мое дневное занятие.

Кроме того, что я хорошо теперь ем, живучи с Туманским, других выгод и удовольствий бердическая жизнь мне не представляет, и я бы очень был рад возвратиться в Сквиру.

Чем далее я веду нашу военную жизнь, тем более я чувствую все невыгоды оной; дай бог только дожить спокойно до осени. Приехав однажды домой, мне не трудно будет доказать, что, служа последним корнетом, потому что мое прошение о возвращении моего старшинства не уважено корпусным начальником, я не могу надеяться много выслужить.

17. Третьего дня вечером, в то время, когда я с полковником сидел у Челищевых, на несколько дней сюда приезжавших, прискакал курьер от Ридигера с повелением по первому предписанию быть готовыми к выступлению через 12 часов по получении онаго. Вот как он нас гоняет из одного места в другое. На другой день, т.-е. вчера, получили мы и это повеление; но, несмотря на оное, мы еще благополучно стоим здесь, а пойдет один полк гр. Витгенштейна...

28 марта. Около Дубно. Сегодня Ушакова брат привез из Москвы известие, что Пушкин, наконец, женился, и поклоны от тверских сестричек. Говорят, что наш корпус назначен блокировать Замосц.

Савинов прислал нам литературных подарков: Юрия Милославского, Поездку в Германию Греча, которую я уже почти прочитал, и, признаюсь, без большого удовольствия. О книгах скажу, прочитав их, теперь же Туманский хочет спать, и свеча мешает ему.

10 мая. М. Кашовка. Вот уже десять дней, что мы, окончив кампанию против Дверницкого, стоим здесь, в углу Волынской губернии, в лесах Ковельского уезда,

которые нам поручено очищать от взбунтовавшихся здешних помещиков, под начальством Ворцеля и графа Олизара, составивших было несколько шаек, называемых Рухавками, которые, однако, еще до прихода нашего были рассеяны против них посланными войсками, а со времени уничтожения Дворницкого и сам Олизар с Ворцелем скрылись.

На последних переходах сюда получил я почти неожиданно письма из дому и от Анны Петровны. Мать прислала и 600 рублей денег, которыми я сегодня уплатил полковнику мой долг. На оные я уже и отвечал.

Сестры пишут про редкие правила барона Бориса Сердобина, т.-е., что будто бы он имеет намерение предложить свою руку Евпраксии — для меня чрезвычайно трудно этому поверить, впрочем, невозможного тут нет.

Сознаться должно, что здесь стоять нам чрезвычайно скучно; одно у нас утешение, что на квартире полковника, у помещика в доме, есть биллиард, на котором зато мы непрерывно и играем. Меня ежедневно радует только то, как быстро проходит время, что до сентября уже осталось только  $2\frac{1}{2}$  месяца. Этим только и живешь.

12. М. Вчера пришло к нам много новостей: первую, что мы должны выступить отсюда с 3-мя эскадронами и 2 от. в Устилуг, а 4-й эскадрон останется здесь, привез гр. Штейнбок, возвратившийся из отпуска, а прочие Голубинин из Луцка, где он дожидался возвращения из Бердичева Лошкарева, в окрестностях которого тоже появилась было Рухавка, против которой послали только-что туда прибывшие наши резервные эскадроны. Это часть шайки, набранной в Подольской губернии помещиком Собанским и другими, которую

Г. Рот рассеял; часть оной даже была вблизи Сквиры, в 30 верстах оттуда она разграбила Челищевой М. Ружин; он сам, говорят, едва успел уйти. Рассказывают, что Рот, разбив бунтовщиков, несколько верст гнал их одними картечными выстрелами на ближнюю дистанцию и произвел ужасное кровопролитие.

В газетах прочитали мы подробное и красноречивое описание разбития Серавского Крейцом и реляцию об Баромельском деле и прогнании их за границу; то и другое никак не узнать из описания; в первом он утверждает, что рассеял всю неприятельскую пехоту, которой и не было в деле, и что ночь не позволила ему преследовать неприятеля, тогда, когда он на поле сражения оставил 5 орудий, и неприятель в виду его всю ночь пировал в Баромелье. Что об этом он не упоминает, это естественно; но как не сказать ничего про полк, который один спас весь его отряд и его толстую фигуру. Говорят, что мы в России служим из одной чести. Какая же тут честь, когда храброго и труса совершенно одинаково ценят: одного не награждают, а другого не наказывают. Из чего после этого должны мы служить? В посылке, привезенном Голубининым, нашлось и ко мне два письма: одно от сестры, другое от Анны Петровны. Оба они давнишние и долго лежали в Бердичеве; сестрино письмо из Пскова с описанием веселостей, в которых они провели масляницу; Анна Петровна пишет много про Софью Михайловну и мало хорошего; разобрать тут трудно, тем более, что она не говорит, чем виновата. Семейственное ее благополучие не изменилось и все еще стоит на высшей точке возможности, — дай бог, чтобы долго оно не упадало!

24 мая. Д. Шепель около Луцка... Последние же новости из армии суть разбитие главных сил мятежников под начальством Скржинецкого при Остроленке,

хотевших остановить новые наступательные движения Дибича; подробностей дела мы еще наверно не знаем, хотя об оном и было вчера благодарственное молебствие в Луцке.

Теперь только я замечаю, как странно, что я, тот самый, который прежде принимал такое живое участие во всем, что происходило не только в России, но и во всем образованном мире, немалейше не имел любопытства узнать, о чем именно было молебствие, так что, когда, возвратившись, полковник стал у меня расспрашивать новости, то я и не знал, что ему сказать. Такое равнодушие (*apathie*) приписать мне должно или тому, что я уже столько раз читал о разбитии неприятеля, которые никогда не имели никаких выгодных для нас следствий, и после которых неприятель всегда нас встречал в превосходных силах (которые, не постигаю, с неба ли, или из-под земли являлись), что я уже начал этим победам мало верить, или же бесконечным толкам об этой войне, в которых никак не дойдешь до истины, и которые путают известия одно с другим...

Наш же друг и приятель Ридигер находится теперь с своим отрядом около Замосця. За истребление Дверницкого сделан он генерал адъютантом, — награждение не блистательное, но заслуг его не превышающее. Прочитав его донесение о сражении 6 апреля под Хрениками, где он отдал справедливость храбрым Егерям № 19, 20 и прикрасил только свой успех взятием 4 орудий, в сущности, бывшие только пушки, валявшиеся в винокурне, — мы ожидали, что в реляции 7 числа он и нам отдаст таковую же, но весьма ошиблись; в последней он только говорит, что „генерал Ридигер, атаковав неприятеля при м. Баромели, совершенно уничтожил их пехоту“. В этом донесении только две лжи, а именно: те что ни его, ни пехоты польской не было.



в деле. Прошу после этого верить донесениям, — чем же персидские, помещенные в Северной Пчеле из похождений Хаджи Бабы, хуже наших<sup>1</sup>.

25. Образом нашей жизни нельзя похвалиться: он скучен до крайности. Мы не имеем удобств постоянных квартир, ни выгод и разнообразия военных действий, но терпим одни лишения и несносную неизвестность касательно будущего, которое можно только угадывать. Если Дибичу достаточно будет войск, которыми он в эту минуту действует, то вероятно не пойдём мы вперед: если же он присоединит к себе отряд Ридигера, то нас подвинут на его место, — вот вероятности ожидающего нас в будущем. Об войне же с Францией или с другой европейской державой я не стану и упоминать, хотя многие оной бредят, ибо должно слишком мало знать вещи, чтобы повторять такие невозможности.

30. Вследствие вчерашней тревоги, произошедшей от того, что вчера же утром в 10 ч. толпа Рухавки перебралась в верстах 20 отсюда через Буг в Польшу, та самая, которая была около Ковеля, — получили мы (2-й эск.), сегодня повеление от г. Лошкарева вместе с 3-м эскадром, под начальством нового нашего подполковника Булацеля, итти ее преследовать до М. Ухани, в 40 верстах отсюда. Необъяснимый случай, что 3 эскадрон, будучи только в 4 верстах отсюда, и к которому утром еще послано повеление, доселе (6 час. пополуд.) не прибыл, делает мало вероятным, чтобы нам удалось нагнать эту шайку; хотя и должно отдать справедливость мудрости распоряжений, которые предпринимали, зная, что они бесполезны...

1 июня. Устилуг. Выступив третьего дня в 6 часов вечера, шли мы без отдыха всю ночь, только раз остановившись, чтобы разделить принятые сухари, надели мы людям торбы. Со светом, подходя к м. Ухани,

услышали мы ружейные выстрелы. Полагая, что это верно нападение Рухавки, подполковник Булацель приказал дивизиону итти рысью; около местечка встретили мы Конно-Егерский пикет, который не мог нам об'яснить причину тревоги. Не дождавшись посланных вперед разузнать унтер-сфицеров, бросились эскадроны в местечко, чтобы скорей самим подоспеть на поле битвы, которое должно было находиться за селением, ибо там был лагерь Конно-Егерский. Мы уже проскакали большую часть деревни, как вдруг бросились к нам навстречу сотня казаков, бегущих от поляков; в улице, и без того не широкой, сделалась ужасная теснота от натиска с двух сторон, так что невозможно было подвинуться ни туда, ни сюда; одно средство было — выскочить назад из деревни, чтобы за нею опять построиться, — к нему то толпа сама собой и прибегла. Через несколько минут, после жестокой давки, вся толпа выскакала из деревни, не преследуемая поляками; надобно было ее построить опять в эскадроны, что стоило много труда и крику, от которого я совсем охрип. Как скоро пришло все в порядок, то Булацель послал меня с карабинерами 2 эскадрона открыть неприятеля; в селении я его не нашел, а увидел уже за оным вправо от дороги Люблинской, от которой его фронт был отделен оврагом. Чтобы удостовериться, что это точно неприятель, то с одним карабинером я прокрался через сады к самому плетню, к которому он опирался левым своим флангом. Здесь я удостоверился, что между егерскими шалашами раз'езжают действительно поляки, в шинелях и пики с флюгерами, следовательно, вовсе не Рухавка, а регулярные войска. Отсюда я возвратился опять на дорогу к карабинерам, откуда позиция их была виднее; передо мною было выстроено до трех эскадронов, которые сидели на конях; что же от них вправо

тянулось, то нельзя было различить, потому что еще не совсем рассвело, и что та сторона оврага, на которой они стояли, значительно возвышала саднь нашей. Обо всем этом мною виденном донес я подполковнику. Уваров, посланный налево, около деревни увидел пехоту и 3 орудия. Из сих донесений удостоверившись в превосходстве неприятельских сил, и от усталости наших лошадей не будучи в состоянии напасть на него, решился подполковник отступить, чтобы накормить и дать отдохнуть лошадям, а казаков оставил перед селением, чтобы наблюдать за неприятелем, занявшим оное. Во время стычки с казаками и поляками ранено у нас в эскадроне 3 рядовых и юнкер Мешаев, но легко.

Отправив казака с донесением о случившемся, отступили мы верст за 10 к первой деревне, где был водопой; подходя к оной, встретили мы и Ахтырский эскадрон, следовавший за нами. Здесь получили мы известие, что неприятель пошел обратно к Замосцю, и что за ними следуют казаки. Отдохнув, пошли мы назад к м. Городне, где на привале получили, в ответ на наше донесение, повеление преследовать и бить неприятеля; не имея возможности оное исполнить, полковник послал прибывшего с Ахтырской пехотой офицера Туманского, находящегося при корпусном начал. и служившего у нас в полку юнкером, испросить новые повеления, во исполнение коих мы остались ночевать в местечке, а сегодня поутру возвратились в Устилуг. Неудача нашей экспедиции должно, всего более приписать во первых тому, что мы слишком выступили, во вторых, что изнурили лошадей сильным переходом и, наконец, еще неопытности и торопливости начальника.

3 июня. Носятся слухи о вторичном решительном поражении неприятеля при Плоцке, в котором неприятель

тель потерял до 20 тысяч убитыми и ранеными, 7 тысяч пленными и всю свою артиллерию; говорят даже, что и Варшава сдалась. С нетерпением я ожидаю подтверждения всего этого, как верного знака окончания нашей глупой войны...

*Царство Польское, Лагерь при местечке Грубешеве. 10 июня.* Из новостей самая любопытная, самая неожиданная и вместе печальная — есть известие, что главнокомандующим действующей армией назначен граф Эриванский, и что предместник его не перенес удара, а на другой день, по получении сего известия, скончался. Это происшествие так важно, что я ничего не смею сказать об оном, не зная подробностей. Одно только мне кажется странным: как сместить человека, как бы неспособного, недавно еще славимого героем, поставленного на высшую степень величия гражданского.

После такой переменчивости может ли поступивший на его место быть уверен, что его при первом несчастье также не столкнут? —

Теперь остается нам одно: желать, чтобы Паскевич оправдал доверие, которое к нему имеют, — тогда в короткое время забудут о существовании мужа, восстановившего честь нашего оружия за Дунаем...

*Устилуг. 24 июня.* Кроме инспекторского смотра, бывшего 22 числа с. м., у нас здесь ничего замечательного не происходило, и ничего не было слышно из главной армии. Вчера вечером проехал только начальник штаба I армии, Красовский, в нашу корпусную квартиру: может быть, он привез какие-нибудь новости. —

Не писав более месяца, удалось мне сегодня, наконец, окончить письмо к матери; кажется, если я прослужу еще несколько лет, то и переписки мои кончатся,

потому что заметно, как я начинаю реже и реже все писать. —

Здесь в окрестности есть русское семейство Палицыных; хозяин, екатерининский полковник 80 лет, и хозяйка—добрые простые люди; у них три дочери довольно миленькие, но жаль, что одна простее другой, в их лета это очень не кстати. Кроме их, в Устилуге я заслужил благорасположение двух девушек, сестер таможенного чиновника, которые хотя и не красавицы и не очень молоды, — однако, за неимением лучшего, сносные. —

28. Сегодня был здесь Воейков, поручик лейб Гусарского полка, а за месяц перед сим бывший корнет в нашем полку. Этот прыжок сделал он, с'ездив в Петербург с донесением о разбитии Дверницкого. Во время действий против него Ридигер посылал его с отрядами казаков для разузнания о неприятеле. За эти то подвиги он, кроме полученного, представлен еще к Анне 3 степени и Владимиру 4-ой. Если он все это получит, то справедливо может сказать, что первая треть апрельской луны была для него счастлива. — Говорят, что мы будто бы пойдем вперед за Вислу: я этому не очень радуюсь, я обленился, да и пример такого счастья меня не увлекает, разве что перемена места немного развлечет и дадут полугодовое жалованье серебром, — с другой же стороны биваки скучны. —

*Бивак под Кр. Замосцской.* Простояв почти с месяц спокойно в Устилуге, двинулся наш корпус в первых числах сего месяца через Буг и обложил крепость Замосць. Наш полк выступил из Устилуга 3 числа и пришел на настоящую позицию только 12 числа, с которого числа только и можно сказать, что крепость обложена.

Корпус наш состоит из 3-х бригад, 2 Егерских и одной пехотной, из нашей дивизии Кав. и нескольких

сотен казаков. Остальные полки остались за Бугом, а 10 пехотная дивизия и 2 бригада пошли к Ридигеру.

*Бивак под крепостью Замосцской. 11 августа.* Месяц почти, что мы здесь стоим, и я так разленился, что во все время не написал строки, между тем, как случилось много достопримечательного.

Начнем с того, что касается меня в частности. Выступая из Устилуга, 3 июля, я получил из Тригорского письма с известием, что сестра Евпраксия помолвлена за барона Бориса Александровича Вревского, всеми хвалимого молодого человека лет 25, с хорошим состоянием и ближнего нашего соседа,—одним словом, партия, какой нельзя было лучше для нее желать, ибо, если бы он был богаче, то это неравенство не было бы для нее столь выгодно. Свадьба назначена была в половине июля; одна холера, появившаяся в тех краях затрудняла приготовления к оной<sup>1</sup>.—Вслед за первым письмом, я получил несколько их в короткое время одно за другим, от матери, Евпраксии и сестры, которой последнее обещает в скором времени сообщить столь же приятную новость и о Сашеньке; этому я еще не смею верить, но радовался бы столь же много, если не более, по многим причинам. Вот в какое радостное для нашего семейства время я осужден скитаться без пути и цели по концам земли! В первый раз счастье, кажется, улыбается нашему дому, а я не могу разделять с моими мне общее удовольствие. Не удивительно будет после этого никому, если я скажу, что эта война мне в высшей степени противна, и что я всякий день теряю терпение и браню всех, за то, что в течение оного не получено известие о взятии Варшавы...

Я с фланкерами нашего эскадрона находился между крепостью и форштатом, так близко к оной (на 2 руж. выстр.), что ядра и гранаты все перелетали не только

через нас, но и через эскадрон, шагов 500 стоявших за нами.

Мы стояли здесь в надежде перехватить тех, которые из местечка побежали бы в крепость, но к несчастью нашему, из редута никто почти не ушел. С рассветом получил я повеление ретироваться вслед за эскадроном, но не успев еще присоединиться к ним, был остановлен для прикрытия пехоты, еще не отошедшей от местечка; тут начали по нас сильно действовать гранаты, которые стали лопаться между карабинерами, ибо стало так светло, что из крепости ясно нас было видно; чтобы укрыться от этих выстрелов, я с моими фланкерами спустился в лощину, где нас не было бы заметно. В это время услышали мы налево от нас, в местечке, крики: ура! Приняв оные за атаку казаков отряда Лошкарева, зажигавших деревню, я не обратил на это внимания, а остался на месте: но казаки донские с первого фланга моего поскакали туда, потом за ними и Ахтырские с левого фланга; видя, что „ура!“ все не умолкает, я поскакал на высоту закрывавшую от нас местечко, чтобы узнать причину оною. Оттуда я увидел, что казаки с Ахтырцами, атаковав неприятельскую кавалерию, были опрокинуты оною. Против моего приказанья, фланкеры мои были уже за мною. Не останавливая долее их рвение, пошел я с ними на неприятеля.

Наше появление остановило наших, а неприятеля принудило поворотить; мы погнались за ним и уже думали настичь его бегущего в деревню, как вдруг перед местечком встретила нас пехота батарейным огнем; свист неприятельских пуль нас скоро остановил. В это время за нами показавшийся дивизион наш, который воротился, услыша наши атаки, не позволил нам выскакать из выстрелов, а остановил нас впереди себя. Никогда я не находился в таком сильном ружейном

огне: под ногами лошадей пули падали, казалось, как редкий крупный дождь, а мимо ушей свистали, как рой пчел. Покуда эскадроны вздумали ретироваться шахматами и шагом, неприятель подвез два орудия и начал действовать гранатами; первые два выстрела были так метки, что оба ударили в наш эскадрон, но опять так счастливо, что не сделали никакого вреда. Первым сбило у гусара кивер с головы, а второй пронесло между ног лошади. Следующие выстрелы не могли уже нам быть столько опасными, ибо эскадроны сошли в лощины, а они потеряли направление нашей ретирады; это, однако, не помешало им еще убить ядром одну карабин. лошадь. Кроме сего, потеря в нашем эскадроне состояла в 5-ти лошадях пулями раненых,— что, судя по огню, в котором мы несколько часов находились, весьма счастливо, особенно для карабинеров, между которыми разорвало несколько гранат; ружейные же пули так нас освистывали, что я под конец только удивлялся, отчего в нас они не попадали. Собственно, наши подвиги этим кончились...

18 августа. В описании наших военных действий я был прерван поручением иного рода. Четвертого дня получил я повеление отправиться в м. Войславицы, отдать владетельнице оною, графине Полетике, письмо корпусного начальника и просить ее приехать со мною в лагерь к Кайсарову. Все это поручено мне было сделать с возможной вежливостью, но, не менее того, во всяком случае исполнить предписание. Выступив из лагеря с вверенным мне взводом, я встретил полковника Фридерихса, начальника корпусного штаба; он подтвердил мне наставления Плаутина об вежливости, прибавив, что посланный передо мною туда Захаров полк. и командир корп. кварт. наделал там глупостей.— С такими наставлениями прибыл я вечером к месту моего назна-



чения и, не об'являя своего поручения, занял в помещичьем дворе конюшню своему взводу и себе комнату в доме, а наконец, явившись к графине, отдал ей порученное мне письмо. Покуда она читала его, имел я время рассмотреть лица, составлявшие круг, в который я в это время вступил неожиданным образом. После графини, женщины лет 40, с очень хорошим тоном и наружностью, бывшей в свое время прекрасною,— вышла на сцену ее родственница и соседка, женщина также уже в известных летах, но в которой еще видны были притязания на внимание мужчин. Наконец, три молоденькие личика, из коих одна была дочь хозяйки, а другие также родственницы, обратили свое внимание на неожиданного гостя. Графиня не могла разобрать вежливого обращения Кайсарова, и удивление ее было велико, когда я на словах должен был об'яснить оное; за оным последовали жалобы на неприличие оногo, на шумный набег Захарова и ложный его донос, под конец слезы и разные причины, делающие невозможным исполнение желания Кайсарова. Тут, когда, казалось, графиня так расстроилась, что должна была выйти, вступила в переговоры со мною, в должности домашнего дипломата, почтенная родственница; с ней то уже на другое утро окончили мы дружелюбно условия, и в четверг графиня с двумя дочерьми (меньшая ребенок) в моем сопровождении отправились в коляске, несмотря на дождь и дурную погоду, в лагерь. Между тем успел я моих пленниц немного успокоить, уверив, как я сам думал, что когда Кайсаров увидит ложность донесения, то тотчас же их отправит назад. Под'езжая к лагерю, пушечные выстрелы начали пугать путешественниц.

К нашему несчастью, завязалась перестрелка на аванпостах; мы не застали Кайсарова, который был там, и я должен был отвезти графиню на назначенную ей квар-

тиру — разоренный дом управителя, где помещалась разная лагерная сволочь; должно было нам и этим довольствоваться, ибо другого строения вблизи лагеря не находилось. Совестью мне было поместить в такую мерзость наших гостей, и я ожидал с нетерпением приезда Кайсарова. Наконец, он прислал за мною и стал расспрашивать, как я нашел графиню; я успел его, кажется, уверить, в неосновательности доноса, будто бы у ней есть заготовления оружия, военных припасов и т. п. Потом поехал он к графине, обошелся с ней очень вежливо, успокоил ее, но не отпустил, а оставил ее ночевать, между тем, как в местечко к ней отправил целый отряд с генералом (каких много, к несчастью, у нас есть), чтобы сделать обыск. К несчастью, дом в котором находилась графиня, был весьма близко к нашей передовой цепи; всякий ружейный выстрел был им слышен, не упоминая уже о пушечных; но несноснее самых выстрелов были внешние враги — блохи, которые нещадно кусали. Одна надежда, что с этой ночью все настоящие и будущие неприятности их кончатся, давала мне дух оставаться при них.— Когда на другой день я благополучно отвез назад графиню, то ее приняли домашние, как воскресшую из мертвых, а мне едва ли не как испуганного.

За исполнение этого поручения Кайсаров меня очень благодарил и вскоре, в знак своей благосклонности, дал другое, а именно: схватить одного агента революционного правления, который старался организовать всеобщее восстание (Посполитое Рушение) и скрывавшегося в лесах около австрийской границы. Начальником экспедиции был нашего полка майор князь Трубецкой, а я был придан ему в роде офицера Г. Штаба. Его торопливость была причиною, что пан Роморску в наших глазах ушел в лес, и мы только нашли его любовницу, молодую

недурную женщину, еще в постели, из которой приятель успел только что выскочить. К счастью, сметливые егеря отыскали под полом амбара его бумаги, а то бы наша экспедиция не была блистательна...

Сварив кашу и покормив немного лошадей, в полночь с 25 на 26, пошел отряд к с. Высокое, надеясь застать неприятеля еще на ночлеге. Кто испытал трудность ночных переходов, кто знает, как они утомительны для войска, как медленны — особенно в неизвестном краю, по проселочным дорогам без хороших проводников, как с нами это было, — тот не удивится, слыша, что отряд шел всю ночь до с. Высокого. Там узнали, что неприятель расположился в небольшом фольварке в нескольких верстах от селения. Чем ближе мы подвигались к неприятелю, тем осторожнее должно было идти, чтобы нечаянно не наткнуться на его аванпосты, и тем медленнее становилось наше движение. Вот открылся бивачной огонь, — мы построились в боевой порядок; надежда на верный успех разогнала и усталость нашу, и сон. — Пошли вперед и... нашли пустой бивак, на дворе господского дома, где помещался, кажется, весь отрядец его, только что ушедший в противоположную сторону той, с которой мы приближались, — и единственную, которая ему не была пересечена, по дороге или, лучше сказать, по тропинке, про которую, кажется, никто не знал из наших начальников. Она шла через болотистый ручей, сзади фольварка, который мы считали непроходимым, и вела в леса, которые отсюда простираются к югу по направлению к Янову.

Несмотря на досаду, что обманулись в ожидании нашем, мы так были уставши от похода в продолжении целого дня и ночи — уже рассветало, — что каждый из нас рад был найти в господском домике уголок, где бы мог немного уснуть. Солома, разостланная по полу

для поляков, пригодилась и нам, а у огней, ими разведенных, уселись наши гусары: так в военное время все неверно и переходчиво! — Мы не захватили неприятеля по причине независевшей от нас, по игре случая, всегда самовластного, особенно же в военных действиях, и против неудач коего никогда невозможно предостеречься. Аванпост наш из казаков, шедший по другой дороге, наткнулся в темноте на их аванпосты, приняв оные сначала за отряд Гернета, которого полагали встретить в этом направлении. Встревоженные, таким образом, поляки тотчас же поднялись и, благодаря своей счастливой звезде и Гернету, спаслись от плена.

...В последнее время стояния нашего под Замосцем неожиданно сделалась в службе моей весьма выгодная перемена; я сделался полковым адъютантом совсем случайно. В отсутствие Г. М. Муравьева, нашего бригадного, Плаутин (за Баромельское дело произведенный в генералы) назначен был командовать цепью аванпостов, почему и переехал в лагерь казаков; Шедевер, исправлявший должность полкового адъютанта (настоящего в полку давно не было), отправился с ним туда же, на время же занял я его место у командующего полком подп. Булацеля. Когда через неделю Плаутин возвратился в полк, то Шедевер не взял у меня назад своей должности, потому что Плаутин, оставляя его при себе, как будущего своего генеральского адъютанта, желал, чтобы я исполнял должность полкового с тем, чтобы уже оным и остаться впредь при будущем полковом командире, коего назначения он ежедневно ожидал, а тем бы познакомился с моею будущею обязанностью.

Я этим был весьма доволен уже и из той одной причины, что в холод осенней ночи не обязан был ездить на пикеты. Приятно мне было также вытти из

отношений подчиненного к моему эскадронному командиру Г. Ушакову, который, хотя и добрый малый, но глупый и несносный начальник.

Не упомяну уже о том, сколько приятно было мне сблизиться с человеком, столь любезного и благородного характера, как Плаутин, по службе находясь при нем. И честолюбивым моим мечтам открывалось тут же новое поприще.

Кроме Шедевера, в полковом штабе я нашел столь же доброго сослуживца Голубинина и так же мне благоволящего; мы стали служить вместе, и я на некоторое время увидел перед собою преприятную службу.

Пользуясь близким квартированием нашим, ездил я посетить графиню Полетику, которую недавно возил к Кайсарову, но не остался доволен ее вежливым приемом; это семейство слишком либерально и исполнено патриотического духа, чтобы благосклонно смотреть на русского офицера; от этого другой раз и не поехал к ней. Я не люблю этих предрассудков, кои не различают правительства или народ в целом от частного лица. У меня привязанность к родине смягчена космополитизмом, вместе предохраняющим меня и от народных слепых ненавистей. Я не смотрю завистливо на трудолюбивого немца, которого иногда справедливо, и даже против воли, предпочитают самонадеянному невежеству любезного соотечественника; не вижу в каждом поляке своего врага, в французе только хвастуна и т. д. Этим я, кажется, обязан истинным либеральным правилам, кои я почерпнул в университете в борении с себялюбивыми землячествами (Landsmanschaften).

В конце октября пошли мы на назначенные нам квартиры в Краковское воеводство. Переправясь в Рахове через Вислу, пошли мы вверх по оной на Завиховость и Сандомир.

Ноября 3 числа пришел полк на зимние свои квартиры в Стопницу, обводовой город Кельцкого воеводства, лежащий недалеко от Вислы, расстоянием от Кракова в 12 милях. Первая забота была, разумеется, отыскать удобные квартиры, т.-е. такие, которые кроме обыкновенных выгод дома, соединяли бы и не менее для нас важную — хорошеньких хозяек.

С первого взгляда на городок мы убедились, что выгод первого разряда нам ожидать нельзя; с трудом мы нашли для себя такие квартиры, где можно было поместиться и то должны были стать вместе с хозяевами. Один только Голубинин, приехавший ранее, занял себе порядочную квартирку, единственно, однако, потому, что в ней была хорошенькая молоденькая хозяйка. Эта теснота в помещении полкового штаба и побудила Плаутина переехать в с. Сборов в 4 верстах от Стопницы, где оставался пустым большой прекрасный каменный господский дом госпожи Виелоглоской, находившейся в то время в Кракове. С ним вместе переехали туда Шедевер, Голубинин и я с полковой канцелярией. Плаутин занял средний или бельэтаж, мы верхний, а канцелярия помещена была в нижнем. Дом нашли мы преудобным: просторным, теплым и порядочно меблированным. В числе мебели нашли мы биллиард, который тотчас и поставили.

Жители приняли нас в Степнице и окрестных местечках, где расположились эскадроны, лучше, чем бы полагать должно было после народной войны. Старожилы смотрели на нас, как на знакомых, ибо случайно наш полк стал теперь в тех же самых местах, в которых стоял после французской войны в 15 году. Ротмистр Адамов, единственный офицер, оставшийся от того времени, нашел еще старых знакомых. Шумную, веселую жизнь тогдашних белорусцев еще свежо пом-

нили некоторые из стариков помещиков и с восторгом вспоминали, как дружно они тогда вместе гуливали. Этот героический век наших гусаров Бурцовых и других давно уже миновался у нас; у них же, оставшихся на том же месте, и едва ли не на той же самой точке просвещения, склонность к несколько буйным удовольствиям осталась; как предки свои, они смело еще пили венгерское и радушно потчивали им гостей своих. Эта несоответственность вкусов была теперь, может быть, причиною, что мы менее сошлись с жителями, чем предшественники наши, судя, по тому, что гласит предание. Женщины и теперь остались верными себе: они встретили нас столь же благосклонно, как и прежде. Пользуясь близостью Кракова, который еще занят был нашими войсками, Плаутин, Шедевер и Голубинин тотчас же поехали туда; во всем штабе остался один я и майор наш, князь Трубецкой. Я переехал в Стопницу, куда скоро из Кракова возвратился и Голубинин. Вдруг дали нам знать, что денежный полковой ящик, находившийся в Сборове и при коем оставался ефрейтор караульным, разбит. Тотчас же я с Трубецким поскакали в Сборов освидетельствовать неслыханное в русской армии событие (исключая один пример в каком-то кон. Егерском полку, где часовые увезли целый ящик). Точно, мы нашли замок от ящика отбитым, печати сорванные даже и с внутренних ящичков, в коих хранилась денежная сумма, тысяч до 30 рублей; но, к нашему непонятному счастью, она оказалась нетронутою,—не доставало только одного рубля серебром, который лежал особенно. Это успокоило нас, бывшими в весьма неприятном положении; меня, с получения известия о случившемся, заставляло надеяться, что деньги целы, то, что ни один из караульных не скрылся. Арестовав тотчас тех часовых, которые стояли в продолжении ночи, в которую

это случилось, Трубецкой стал их допрашивать, но напрасно: никто не сознавался, почему и оставили разыскание дела до возвращения Плаутина. Со всяким другим начальником и человеком этот несчастный случай мог бы меня ввести, если не в большую ответственность, то, по крайней мере, в неприятности, но он, как рассудительный, видя, что это было не от моего нерадения к службе, даже, я уверен, и не подумал меня в чем-либо тут обвинить,—не только, чтобы показал свое неудовольствие. Деньги нашлись все в целости,—над виноватыми поручили Трубецкому сделать следствие,—и дело было забыто. Через несколько недель, когда Трубецкой уехал в отпуск, не открыв виновного, приказал Плаутин, примерно, наказав ефрейтора и часовых, в стояние на часах, коих преступление случилось, распустить их в эскадроны. На одном из последних явно лежало подозрение, как на известном мошеннике, почему я и наказывал его очень сильно,—на другой день сознался дурак, что это он точно отбил ящик. Плаутин возвратился из Кракова в очень хорошем расположении духа, всем показывал покупки, которые там сделал, утверждая, что они обошлись очень дешево; мы, т.-е. штабные, соглашались с ним в ином, подшучивали в другом, особенно же радовались запасу винному, который он оттуда привез. Через несколько дней вслед за этим прибыл из Кракова и другого рода запас. Приехала дама его навестить, с которою он там познакомился и пригласил к себе заехать по пути в Варшаву, куда она утверждала, что едет хлопотать о позволении для возвращения в Польшу своего мужа грф. Косовского, офицера революционных польских войск, перешедшего в Галицию. Она осталась с нами пожить недели две и чрезвычайно оживила однообразие монашеской жизни нашей. Родом вольная гражданка Женевы, полуфранцуженка, она чрезвычайно



скоро нашлась в довольно затруднительном своем положении. Не будучи вовсе красавицею, любезностью своею и приветливым своим обращением скоро приобрела она благорасположение всего нашего полкового семейства Сборовского. С первого взгляда наружность ее не показалась привлекательною, но, узнав другие ее милые качества, я забыл об этом и очень полюбил ее без всяких намерений. Она также вскоре познакомилась со мною короче и благоволила ко мне. Мои же любовные поиски в это время обращены были совсем в другую сторону.

Хорошенькая хозяйка Голубинина, жена уездного землемера господина Черинга, истинного патагонца, которые, несмотря на 6 фут роста, бывают также, как и другие, с рогами, обращала на себя все мое внимание. Несмотря на переселение наше в Сборов, эта квартира за Голубининым оставалась, и, бывая часто в городе, мы останавливались всегда в ней. Долго не имел я случая с нею познакомиться; я видал ее только у окна или в общей кухне; болезнь мужа ее, лежавшего в постели, не позволяла мне итти познакомиться с ним. С моею застенчивостью и недоверчивостью к себе, овладевшею мною еще более с тех пор, как в Сквире я напрасно за двумя трактирщицами волочился,—довольствовался я одним старанием встречаться почаще с красавицею в коридоре или ходить мимо окон.

Однажды, приехав с Голубининым, вечером удалось мне в коридоре, разделявшем их половину дома от нашей, встретить мою черноокою, милую... Я стоял на одном крыльце, которое к улице, она на другом, которое на двор, и никак не решался подойти к ней. Двери к нам в комнаты были у того крыльца, у которого я стоял против наших; следственно, чтобы возвратиться из кухни, откуда шедши она остановилась, не ведаю

что смотреть на дворе, к себе,—должно было ей итти мимо меня. Как скоро она предприняла это движение, то я пошел навстречу к ней; на поклон ее и приветствие отвечал я таким же, как водится; сказал ей что-то о погоде, на каком же языке и сам того решить не могу; она же, отворив двери, пригласила взойти к ним. Я так этому обрадовался, что не пошел тотчас за нею, а бросился к Голубинину в комнату сообщить ему неожиданное это событие и чтобы вместе с ним итти. Хозяина дома нашли мы лежавшего в постели от лихорадки, которая начинала уже проходить у него. И так как он говорил по-немецки и по-французски, то мы без всякого затруднения и беседовали. Говоря с ним, занимался я, однако, более его женочкою, которую теперь в первый раз мог хорошенько рассмотреть. Она была молода, лет 20 (после узнал я, что ей только 18 лет, и что она родилась со мною в один день: я 17 декабря старого стиля, она 29 нового), казалась росту среднего, очень стройного, несмотря на то, что довольно плохой капот ее на вате, обыкновенная одежда полёк, не обрисовывал стан. Отличительные черты лица ее были большие кругловатые черные глаза, высокий лоб, белизна коего казалась еще ярче от черных, как смоль, ее волос, и маленький ротик, который, улыбаясь, открывал ряд перловых зубов. От внимательного моего взгляда не укрылись хорошенькие ее ручки, которые так я люблю. В выражении лица ее не видно было особенных, блестящих качеств ума, но за то умильные, томные, влажные глаза ее обещали многое тому, кому бы удалось вблизи всмотреться в них. Первым этим посещением остался я очень доволен.

Через несколько дней, будучи в городе, заходил я опять к ним и нашел уже хозяина выздоровевшим, а красавицу еще милее прежнего, но сказать это ей ста-

рался я только взглядами, всегда понятными тому, кто захочет в них читать. Кроме молодых супругов, только год еще в супружестве живших, была еще в доме и третья особа, молодая девушка, родственница хозяйки, которая была бы хорошенькою, если бы, к несчастью, не хромала весьма заметно, что портило ее талию, и делало ее еще меньше, чем она была ростом. Раппа Ева Jurkowska была очень добрая девка и впоследствии мне очень полезная; ей-то публично посвятил я себя. —

В Николин день, 6 декабря, назначен был церковный парад, этот же день избран был местным начальством города для возобновления присяги; все жители были в церкви и после на параде любовались нашими блестящими мундирами — в том числе, разумеется, и моя красота. Возвратясь после одного домой, слезая с коня, я встретил уже ее и, в ответ на приветствие мое, услышал от нее уверение — „que je ne dois pas douter de son coeur“. — В восторге успел я только произнести: Charmante; — как уже она скрылась, опасаясь, чтобы нас не застали вместе. Никак я не ожидал столь скорого успеха и об'яснения на французском языке (правда, какого-то особенного наречия, в роде нашего нижегородского), чрезвычайно довольный тем, что я теперь в состоянии буду об'ясняться на языке, обоим нам понятном. В следующий приезд мой застал я ее одну дома, и только что после первого поцелуя хотел насладиться вполне упоением чувств, о котором давно уже мне только снилось, как на несчастье приехал какой-то католик, а потом возвратилась домой Ева. Другой вечер просидев с ними втроем, — муж играл у приятелей в вист, — я убедился в том, что при первом случае вполне буду владеть моею прелестницею. Она не отказывала мне ни в чем, что прихотливое воображение мое ни придумывало, в замену высшего наслаждения, которого лишал

нас третий собеседник. В этого рода подвигах я не был уже новичком; двухлетняя опытность собственная с двумя девами, с коими незаметно от платонической идеальности я переходил до эпикурейской вещественности, поверяя на деле все, что слышал от других, и кои, несмотря на то, остались добродетельными (!!), как говорят обыкновенно,—служить может порукою в моих достоинствах. Ожиданный отъезд мужа в уезд по делам был условлен для будущего свидания. Этот желанный день и наступил скоро. После вечера, также проведенного, как последний, ночь увенчала мои страстные желанья развернув вполне передо мною об'ятия любовницы, в которые я ринулся с трепетом первых восторгов юноши. Отвыкнув от благосклонностей красавиц, я едва верил своему счастью; прощаясь вечером с моими собеседницами и получив уже согласие через час возвратиться к той, которой влажные, блуждающие взоры и неясное лепетание уст увлекательнее всех очарований, высказывавших ее томление чувств, я опять был раз в жизни счастлив, как редко им был! Вот пришел условленный час,—я осторожно отворяю скрипучие двери, одни, другие,—и я уже там, где покоится моя краса, одна благосклонная темнота скрывает ее...

Вот был первый приветливый на меня взгляд свое нравной богини Фортуны с тех пор, как я пошел на поле брани за ее дарами. После трехлетних неудач во всех моих надеждах, непрерывных нужд, неприятностей ежедневных, горького опыта, кажется, навсегда исцелившего не только от надежд, но и от желаний, потеряв наконец веру в самого себя, способность к чему-либо,—это была первая радость, проникшая в душу мою, первый луч света, озаривший мрак, который облегал ее. Я сделался испытанным столь недоверчив к самому себе, что едва сам верил своему счастью (удаче,

сказать лучше, но для меня казалось это именно счастьем).

Мои ощущения были тем живее, что я никогда еще с такою полнотою не наслаждался дарами Пафийской богини; Анна Петровна единственная почти предшественница этой, не довольно их делила со мною, по причине, быть может, моей неопытности, и, несмотря на страсть мою к ней,—никого я не любил, и вероятно, не буду так любить, как ее,—я не столько наслаждался с нею.

Другие были девственницы, или в самом деле, или должны были оставаться такими. Эта сила ощущений, для меня новых, и заменяла во мне так называемую любовь к моей красавице; и несмотря на то, что не имела она ни блестящего ума, ни образованности, ни ловкости, которая могла бы меня в нее заставить влюбиться,—ее....добродушного нрава достаточно было для того, чтобы всякий день меня более к ней привязывать,—тем более, что случай к свиданиям нашим были довольно редки, чтобы могли мы друг другу наскучить. От'езды мужа давали их нам только... Я радовался, что чувствовал в себе нечто похожее на любовь, сей пламень все оживляющий. Тот не совершенно счастлив в любви, кто не имеет поверенного. Я имел их разного рода.

...Но венками Леля не ограничились в этот раз дары слепого счастья. Между роз вплело оно и лавры, коих еще менее чем первых я ожидал, и кои были, может статья, от того еще значительнее. В числе 4-х офицеров, награжденных за кампанию, к удивлению моему, нашел я и себя награжденным чином Поручика. Мне, последнему корнету, не только небывшему в комплекте, а числом, кажется, 30-му, подобное и во сне не снилось: все, чего я мог надеяться,—это была 4 сте-

пени Анна, к которой я был представлен — награждение, справедливо сравниваемое с коровьею оспою. К моему счастью, у нас было так мало поручиков, что я стал 7-м, следовательно, мог вскоре ожидать и дальнейшего производства. Этим нечаянным награждением обязан я был, во-первых, корпусному начальнику нашему Кайсарову: оставшись довольным исполнением собственных поручений его на меня возложенных, представление мое, к кресту переменял он к чину. Потом и за это, как и за многое другое, обязан я прекрасному полу, потому что в оба поручения, сделанные мне Кайсаровым, вмешаны были женщины. Так в военной службе я всем обязан им. Ради прекрасных уст Анны Петровны, генерал Свечин, ее постоянный обожатель и следовательно несчастный, выхлопотал, что меня в несколько дней приняли в службу, а графиня Полетика дала мне чин поручика. Какая же святая выхлопочет мне теперь отставку !!!

Незадолго перед сим воспользовался я и последовавшим разрешением отпусков, подав в конце ноября прошение об оном на четыре месяца. Жизнь наша в Сборове, несмотря на свое однообразие, останется у меня в памяти, как время весьма приятно проведенное. Занятия мои по службе полкового адъютантства были весьма незначительны; как и прежде во время моих предместников, Плаутин сам занимался полковыми письменными делами. В другие части должности этой я также мало входил, а передавал только ежедневные приказания и исполнял то, что именно мне было поручаемо.

... Обыкновенный порядок дня у нас был следующий: около полудня мы с делами вниз к генералу; окончив их и особенно завтрак, отправлялись в биллиардную, между тем графиня наша одевалась. Обедали в 4 часа, весьма вкусно, ибо, кроме весьма доброго

краковского вина, приятная семейственная беседа нашей гостью, очень веселого нрава, приправляла наши яства. Вечер, если не уезжал я к моей красавице, то оставались мы вместе часов до 9-ти, потом уходили наверх и заключали день партией виста.—Сначала был Плаутин очень застенчив против нас и не знал, как поставить себя, что было для меня весьма забавно. Я едва мог себя удерживать от смеха, когда он в первые дни торжественно вводил в столовую, где мы почтительно стояли, свою гостью. Но скоро мы обжились, она привыкла к нам и, без зазрения совести, говоря, что я принадлежу к семейству, при мне дурачилась, врала и нежничала с Плаутиным. Я однако вел себя чрезвычайно осторожно, нисколько не волочился за красавицею, но любил ее и с нею быть, единственно ради ее любезности и добродушия. — От нее же я узнал весьма для меня приятное обстоятельство, что Плаутин ко мне благорасположен, в чем я не очень был уверен, несмотря на то, что при нем находился. Это сказала она мне однажды, когда мы обедали вдвоем; у нас за общим столом было много чужих, и случилось, что мне не осталось места, почему я и был с нею,—признаваясь, что сначала я ей не очень понравился и показался fat, что на наш язык довольно трудно перевести, разве: много воображающим о себе; говорила, что Плаутин заступался за меня, называя очень добрым малым, и что это только педантизм молодого студента. Она уверяла даже, что он любит меня. Душевно рад был бы я, если точно бы так было, но никак далее благорасположения я не могу распространить его чувства ко мне. Сам же я точно люблю и уважаю его...

Первая моя мысль была, прежде, чем поеду домой, съездить к брату в Ченстохов и узнать, как он живет. Получив позволение Плаутина, я и отправился туда... Выехав, пришла мне в голову (о, любовь, это твой грех)

мысль ехать не в Ченстохов, а в Краков, чтобы там сделать некоторые покупки себе и моей красавице, рассуждая, что брату большой радости от того не будет, что он меня увидит и что денег ему теперь так нужно быть не может, ибо жалованье он только что получил. Ежели же я бы к нему приехал, то должно бы было ему дать или денег и остаться не ехав в отпуск, или не дать и ехать — также неприятное обстоятельство. Сообразив все это, подстрекаемый желаньем привести подарков красавице, поехал я в Краков<sup>1</sup>.

Этот поступок не прощу я себе никогда, что ради красавицы моей не захотел я взять на себя труд проехать сотню верст, чтобы побывать у брата, узнать его обстоятельства, тем более, что, ехав домой, я мог бы помочь в том, чем он нуждался, об'яснив все дома. Но такова наша слабость, что неприятности двухдневного пути остановили меня в исполнении должного, которому предпочел приветливый взгляд женщины! Скоро познал я всю слабость, весь эгоизм свой, — раскаивался в оном, и теперь каюсь, но этим не могу помочь невозвратимому. Хорошо, если после сего я впредь не впаду в подобный поступок; он останется всегда темным пятном на памяти моей, которого ничто не изгладит...

Пробыв менее двух суток в Кракове, я поспешил, издержав все деньги, в об'ятия моей красавицы. На возвратном пути я также имел на пути неприятности: кроме того, что на таможне в мерзкой корчме, принужден был ночевать и ссориться с казацким офицером, почти на каждой станции ломалась у меня бричка; но, несмотря на все, к вечеру на другой день приехал я к моей красавице — и к довершению удовольствия, которое ей сделали мои подарки (которые, однако, не дошли даже и до сотни рублей), не застал я мужа дома, так что мы вполне на свободе насладились нашим свидан-



нием. Не много оставалось мне проводить таких приятных минут,—собираться надо было в дорогу во свояси, тем более, что скоро и полку наступало время выступления. Еще несколько ночей, и я должен был расстаться с моею миленькою, добренькою Гонориною, которую едва ли мне, к сердечному сожалению, удастся еще раз увидеть! Если она не имела ко мне страсти, то, по крайней мере, была нежна со мною, верна (вероятно, потому, что не было случая изменить), и с нею я знал одно только удовольствие; ни одной печали или неприятности не была она мне причиною,—и потому всегда с любовью и благодарностью я буду ее помнить...

Этим окончились счастливые дни моего пребывания в Краковском воеводстве, моей службы при Плаутине, одних из счастливейших дней моей жизни, коим цену я всякий день более и более познаю, и подобных коим я не надеюсь впредь увидеть<sup>1</sup>. — После осьмидневного пути, от подошвы Карпатских гор, я уже в стране знаменитой Псковитян, где некогда жилали вольные сыны воинственных славян, в Языковом воспетом Тригорске, куда приезд мой был совсем неожиданным. Кроме замужества Евпраксии за молодого соседа, барона Вревского,—сына князя Куракина, известного нашего вельможи-министра, я никакой значительной не нашел в нем перемены. Меньшие сестры мои, Осиповы<sup>2</sup>, подросли, разумеется, как с детьми бывает, в четыре года так, что я едва их узнал. — Евпраксия из стройной девы уже успела сделаться полною женщиною и беременною, — Анна сестра, разумеется,—тоже не помолодела и не вышла замуж, как и Саша. Брата Валериана я не видел, он был в Дерпте, где как и я, пользуется он учением германскому просвещению; хорошо, если оно ему принесет хоть столько пользы, как мне принесло, хотя это и немного. Хозяйство домашнее нашел я в прежнем положении. Всег-

дашнее безденежье и опасенье, что за неуплату казенных долгов и податей ожидают всегда описи и взятия в опеку имения..., что нисколько меня не утешило... Исключая две или три поездки во Псков, где я познакомился с знакомыми матушки моей: семейством губернатора, Бибиковыми, я все время отпуска не выезжал никуда, а провел в домашней жизни, в чтении из хорошей библиотеки моего зятя<sup>1</sup>, в сценах с Сашей, вроде прежних, в беседах с сестрою и в безуспешном волокитстве за ее горничною девкой. Такая жизнь была мне, конечно, приятна только в сравнении с полковою, а как я надеялся, что теперь последняя для меня изменится, уже и тем, что полк шел в Варшаву для содержания там караула, то, возвращаясь в конце апреля 1832 года к своему месту, я и был в ожиданий великих и многих благ для меня, из коих ни одно, разве исключая надежду на дружбу графини, на деле не исполнилось.

1832.

9 июня. *Варшава*. После четырех лет кочующей жизни, в продолжении которой почти все связи мои были прерваны со всеми, исключая своей семьи, начинаю опять понемногу входить в прежний круг людей, с которыми в разные времена моей жизни я встречался и с коими я более или менее был связан узами дружбы или любви. Первый шаг к тому была поездка в отпуск, в продолжении которого я возобновил одну после другой все нити, которые меня соединяли с людьми мне милыми. Я отыскал Языкова, Лизу, а мой единственный Франциус, прекраснейшее из созданий, украшающих этот мир, — над раннею могилой, куда его низводит неизбежная судьба, вспомнил об отдаленном друге его молодости

и, несмотря на многолетнее его молчание, которое всякий бы принял за забвение, подал мне дружескую руку, чтобы еще раз в этом мире приветствовать меня. Возвратившись, таким образом, опять к обществу, я берусь с новым удовольствием за ежедневный отчет о самом себе.

Я бы мог теперь быть доволен моим положением, на время, если бы не смертельная болезнь брата Михаила. Возвращаясь из отпуска, нашел я его в Бресте чрезвычайно слабым, до высшей степени изнуренным болезнью, и оставил там с надеждою в выздоровление. Но теперь мне пишут, что она исчезла; я прошусь в отпуск на 28 дней, чтобы съездить к нему, но не знаю, застану ли в живых... Недостаток денег заботит тоже меня. Жизнь здешняя разорительна, а из дому скоро получить тоже едва ли будет возможно. Вот достаточные причины, по которым жизнь мою здесь нельзя назвать приятною.

*10 июня.* В Варшаву ехавши, я ожидал найти здесь кучу удовольствий, но чрезвычайно ошибся, потому что никаких не нашел, кроме встречи с двумя или тремя молодыми людьми. Из них Лев Пушкин, с детства мне знакомый, более всех других меня утешает. С ним я говорю об домашних моих, об поэзии и поэтах—наших друзьях, об любви, в которой мы тоже сходились к одному предмету, и даже о вине и обеде, которым он искушает мой карман.

*12 июня.* Вчера получил я прискорбное известие о кончине брата Михаила, последовавшей 20-го числа прошлого месяца, в тот самый день, в который Гаврило написал мне, что он опасно заболел. Бедный брат! Для чего он родился? Разве для того, чтобы перенести столько страданий! А мы зачем живем? Мне больно, что обстоятельства не позволили мне еще раз его увидеть: его

умирающий взор не встретил ни одного родного, последний час его был столь же печален, как и вся его жизнь. Будет ли он утешен там, где говорят, уравновесят наше бытие? Хотя цель его существования и не была достигнута, но он мог бы еще вкусить много радостей — ибо где те люди, которые постоянно стремятся к достойному? Алексей Дмитриевич Богушевский, бывший его эскадронный командир, а ныне начальник пограничной стражи в Брест-Литовске, показал себя истинным благодетелем моему брату: он пекся об нем с отеческой нежностью и был для него самым нежным родственником. Он же меня известил, как о смерти брата, так и о том, что ему отдал последний долг, проводив останки его к месту покоя. Встреча в жизни с такими людьми, как Богушевский, утешительна; она делает нас самих лучшими, мирит с остальным человечеством.

15 июня. Большую часть моего времени, вне дома, провожу я с Львом Пушкиным. Он меня завел здесь и к своей знакомой — г-же Вольф, где я бываю по вечерам; она приняла меня сначала более чем с расprostертыми объятиями, но заметив, что меня одурить ей не удалось, она возвратилась ко Льву и продолжает с ним проделывать разные фарсы.

Я познакомился с Очкиным, старым приятелем Языкова<sup>1</sup>; он, кажется, очень добрый малый. Рассказы про жизнь его в Грузии чрезвычайно любопытны; он был там при Паскевиче и с ним сюда приехал.

18 (30) июня. Вот и к Анне Петровне написал я письмо; остаются теперь неудовлетворенными Франциус и Языков. Я так отвык от немецкого языка, так разучился ему, что мне чрезвычайного труда стоит письмо к нему. Так всякое знание требует постоянного занятия оным, без которого в непродолжительном времени все изглаживается в нетвердой памяти. Как-то она пере-

несла потерю своей матери? Пушкина писала Льву, что она очень больна; но как уже тому более месяца и в последних письмах об ней ничего не говорит, то это меня успокаивает: если бы ей сделалось хуже, то верно бы она написала. Я недоволен образом жизни, который веду: хочу чем-либо заняться; но я так отвык от умственного труда, что не знаю, как и начать.

19 июня. Все та же г-жа Вольф, тот же обед в трактире, те же знакомые и такой же, как прежние, бесполезный день! Я теперь ничего не читаю, чтобы скорее написать письмо Франциусу, но оно не подвигается вперед.

Я видел здесь одну книгу запрещенного нашего журнала московского *Европеец*, который начал издавать Киреевский, известный читающей публике своими ценными критиками. Этот журнал обещал многое, но, к несчастью, кажется, пустился в политику, почему и остановлен правительством<sup>1</sup>. В этой книге нашел я три прекрасные стихотворения Языкова, и каждое из них принадлежит своей эпохе его стихотворческой деятельности. „Воспоминания о Воейковой“ принадлежит ко времени его любви к ней, его студенческой жизни<sup>2</sup>. Оно чисто, пламенно, исполнено чувств и юношеских восторгов. „Конь“ принадлежит к его немногим пьесам, в которых, как в „Водопаде“, он изумляет смелостью, сжатостью и силой языка. „Элегия“ его дышит негой сладострастия, но не столь нескромного, как его песни цыганкам; это—соблазны теплой летней ночи, которые прикрыты собственным ее мраком. Жуковского перевод с немецкого гекзаметрами „Войны мышей с лягушками“ чрезвычайно хорош. Он имеет дар во всех своих переводах казаться самобытным. Есть тут же два хороших стихотворения Хомякова и Баратынского „Послание к Языкову“. Прозаические статьи—повести, критики, смесь не отли-

чаются особенно ничем, кроме одной антикритики на разбор „Наложницы“ Баратынского, весьма отчетисто, благопристойно написанный<sup>1</sup>. Недавно я прочитал давно известного „Юрия Милославского“ с удовольствием: все, что можно сказать про него, ибо ни слог, ни характеры, ни занимательность и искусство в завязке похвалить особенно нельзя. Из русских до него писателей, конечно, он первый.

*23 июня.* В военном нашем быту есть новости. Пехоте велено так же, как и легкой кавалерии, носить усы. Поговаривают, что офицерам позволено будет носить фраки; это мне кажется невероятным. Образ моей жизни совершенно городской и столичный: встаю я очень поздно, выхожу из дому обедать обыкновенно около пяти часов, а возвращаюсь домой всегда после полуночи. По примеру Пушкина, которого теперь трясет лихорадка, стал я гастрономом, но надеюсь, что обойдусь без оной. Со всем своим умом иногда он очень забавен. По сию пору он еще пьет на славу, чтобы дивились тому, сколько он выпивает, не пьянея, твердит о том, что несколько лет не был в церкви и обещался никогда не входить, наконец, хочет переупрямить лихорадку, как будто бы она — Вольфша! Или этим он доказывает свое молодечество? Таковы-то мы все люди: у всякого есть своя пята, как у богоподобного.

*25 июня.* Наконец отправил я вчера свое послание к Франциусу. Дай бог, чтобы оно доставило столько же удовольствия, как его письмо мне. Остается теперь мне один Николай Михайлович; сейчас же пишу к нему.

*26 июня.* Меня сегодня нарядили в разезд, завтра, быть может, в караул и т. д. Хорошо, что я окончил свои письма: к Языкову, последнее, лежит уже готовое, а то я долго бы теперь не собрался. С завтрашнего дня

я намереваюсь вести жизнь добропорядочную. Стану брать из библиотеки книги и реже ходить к Пушкину.

Письма я все еще не получил. Вот и оно, в сопровождении другого — от сестры Анны. В последнем, как и везде, печаль сливается с радостью. После известия о смерти Трескиной, бывшей Вревской, она пишет о предстоящем замужестве Саши. Дай бог ей скорее выйти, а ему, господину псковскому полицеймейстеру Баклешову, дай в ней добрую жену. Она говорит, что ненавидит и ругает меня; но мне это не мешает ее любить и сделать все возможное, что будет зависеть от меня к ее благополучию. Анна осталась одна в Тригорском; бедной, должно быть, скучненько; что делать!

*27 июня.* Возвращаясь домой, я шел мимо квартиры Ушакова; он еще не спал. Это мне пригодилось, потому что, пришедши домой, я нашел на дверях запор, а верного моего служителя, кто знает, а только не я, где. Я принужден был воротиться к Ушакову, посидел у него и взял в запас французский перевод последних песней „Don Juan“, и хорошо сделал, потому что успел прочесть (было утро) целую песню, пока дождался мучителя моего. Может быть, не оттого ли и „Жуан“ в случае мне не понравился. Так проведенная ночь отзывается во мне теперь.

*28 июня.* Здесь я встретил одного из моих собратьев-студентов, с которым вместе слушал лекции военной науки у почтенного Адеркаса, которого даже ввел в наше университетское братство (Burschenschaft)<sup>1</sup>. Всю Турецкую войну служили мы в одном корпусе; в одном лагере, под Шумлою, простояли целое лето и ни разу не встречались; недавно сошлись мы в одной лавке. Он служит теперь в генеральном штабе и отправляется на тригонометрическую с'емку. Вчера на прощанье выпили мы в память прошлых дней несколько бутылок

вина. Он добрый, честный малый, несмотря на то, что в университете не постигал ни нас, ни цели, к которой мы стремились. Это не мешает быть ему хорошим офицером, гражданином, быть может, полезнейшем, чем мы, энтузиасты. Если последние блещут, увлекают, как поэзия, то первые, как проза жизни, постоянным трудом идут к той же цели.

*3 июня.* Два дня я занимался составлением журнала военных действий нашего полка и окончил первую кампанию 1828 года. На 29-ом году мне будет труднее, ибо я должен совершенно из памяти составлять описание дел, зато он гораздо короче: одно Кулевчанское дело только и есть. Сегодня бы я написал и это, но меня нарядили дежурным по полку.

*11 августа...* Вчера, совсем неожиданно, получил я дружеский ответ Франциуса и Рама; они мне сообщают известия об остальных моих товарищах-студентах. Одного из них уже не стало: Лейтганг, последний из семи, оставшийся со мною в Дерпте, погиб жертвой своей обязанности в чумном госпитале, бывшем в его ведении в Варне. Это второй (после Кошкуля), выбывший из круга нашего, и к несчастью, третий, достойнейший из всех, неминуемо должен вскоре последовать за ним.. Исполненная возвышенных чувств пламенная грудь Франциуса разрушается... Он знает, как глубоко смерть уж гнездится в нем, сколько дней еще ему отсчитано, и мужественно встречает ее, умоляя только краткий срок, чтобы окончить изящный труд, который он хочет нам оставить, как памятник своего существования, в котором он желает отразить свою душу и доказать, сколько в ней было любви к прекрасному. Несчастный друг, как жесток твой удел.

Я имею теперь некоторое понятие о том, как проведу эту зиму. Я назначен в учебную команду при дивизи-



зионной квартире, которая соберется, когда полки возвратятся из караула на свои квартиры. Этому радуюсь я: буду иметь по крайней мере полезное занятие, покада не сподоблюсь выйти в отставку. Во всяком случае, приятнее быть при дивизионной квартире, чем жить в какой-либо деревне со взводом.

*21 августа.* Трехдневный срок содержания моего в карауле исполнился сегодня. Время на оном проходило для меня так скоро, что я не успел, в продолжении двух дней, прочитать трех книжечек очень занимательного романа „Le rouge et le noir“, par Stendhal. Прекрасный сад дворцовый, в глуши дерев коего потонула гауптвахта, посещения товарищей вечером, прекрасная музыка, свет луны попеременно занимали мои досуги.

*23 августа.* Давно не читал я столь занимательного романа, как этот — Стендаля.

*26 августа.* Сегодня годовщина<sup>1</sup> штурма Варшавского. Кичливые бунтовщики в это время, не смиренные первым ударом, еще мечтали о возможности противостоять. Напрасно: упорное мужество сокрушило все твердыни, и свобода Польши пала, быть может, надолго!

*27 августа.* „Дочь купца Желобова“, роман Калашникова, читаю я теперь, но с меньшим удовольствием, как ожидал.

*1 сентября.* Сегодня бы я уже мог подать прошение об отставке, если бы я в состоянии был определить мою будущность; но на это я не могу еще решиться. Все, что я сделаю, будет то, что напишу к матери, сколько мне мало можно ожидать от моей службы, и сколь велико мое денежное затруднение. Если бы ей удалось перезаложить Тригорское скорее, тогда бы можно было надеяться получить тысячи две, иначе же трудно мне что-либо получить теперь. Не понимаю, отчего Богушевский не шлет мне по сию пору тех, кото-

рые у него остались. Скоро я буду в большом затруднении. Служба, между тем, идет своим чередом; вчера был я ординарцем у светлейшего.

*13 октября.* На этих днях приехала из Петербурга давно ожидаемая Ольга Сергеевна Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду, как ради удовольствия видеть ее, так и потому, что с нею я могу говорить обо всех лицах, меня некогда занимавших в Петербурге. Она не переменилась, сколько я замечаю; мила и забавна, как была прежде до своей болезни. Вечера у ней будут для меня верным убежищем от скуки.

*16 октября.* У Павлищевых я обедал вчера и провел остаток дня. Ольга мила, как всегда; но сегодня что буду делать?

*17 октября.* Ничего решительно, кроме того, что обедал. Даже к Павлищевым не пошел вечером, а прямо домой, чтобы за романом Кока заснуть в 10 час. вечера.

*27 октября.* Вчера с Ольгой Сергеевной ходил я гулять в Лазенки и Бельведер; в последнем убирают уже все вещи и перевозят в Петербург. Нам показали, как самое любопытное, кровь генерала Жандра, оставшуюся на стенах, и его шляпу. Один из наших верноподданных написал на стене, что он целовал и ту, и другую с благоговением. С первого взгляда оно кажется довольно смешным — прикладываться к крови Жандра, но рассудив, что он погиб как будто бы жертвою привязанности и верности, кровь его некоторым образом смывает пятна с его характера и пробуждает сожаления в постороннем зрителе. Как Милорадович, он умер на своем месте, на пороге своего господина, сделал все, что мог лучшего, хоть может быть и против воли; но так глубоко не должно вникать в причины наших поступков.

*Город Холм, 19 февраля (3 марта). Воскресенье.*  
 Перечитывая варшавские мои записки, родилось во мне от удовольствия, которое они мне доставили, снова желание продолжать их. Не имея теперь на душе никакого дела (кроме письма Языкову, которому я не отвечал с августа, что мне да простит всевышний), а более, чем нужно, свободного времени и при порядочном образе жизни, я с наслаждением берусь за перо, ибо оно будет часто выносить из настоящей скуки меня в область воспоминаний, в которой всегда только цветущее видишь.

10 часов утра. Сейчас отправил я письма к матери, сестре и Саше в ответ на два, от них полученных мною на прошлой неделе. Болезнь Анны удерживала их еще 4-го февраля в Петербурге, так что мать вынуждена была послать свое благословение на бракосочетание Саши с Беклешовым для того, чтобы не отсрочивать до Святой недели свадьбы. В эту минуту должны быть все уже в Тригорском. К Франциусу я, наконец, тоже собрался с силами и отвечал на два его письма от 1-го августа и 20-го ноября. К нему писать мне вовсе не шутка, отвыкнув совершенно от немецкого языка. Он чрезвычайно добр ко мне, в беспримерной снисходительности к моей лени. Как душевно скорблю я о том, что дни его сочтены, и что столько высоких его способностей должны исчезнуть, как исчезает в пространстве пламя, слетая с пепла. Желал бы еще раз на него взглянуть и посмотреть, сколько телесны немощи властны над нашим духом. Рам — пишет он — женится и влюблен по уши; этому человеку, совершенному прозаику, можно смело предсказывать все счастье в жизни, на которое имеет право честный, благоразумный и трудолюбивый

гражданин. Прошло десять лет, как мы семеро постановили наш союз во имя бога, чести свободы и отчизны. Честь одного принадлежит вся Франциусу: он нас соединил и дал направление юношеским нашим умам к высокой цели добра. С того времени я стал постигать благородное назначение жизни. В нем одном себялюбие жизни не ослабило прекрасного стремления, и он, благороднейший, уже на краю могилы! Еще, быть может, немного дней, и того, кого я более всех люблю (скажу, как Байрон, всегда исключая прекрасный пол), уже не будет.

*20 февраля. Понедельник.* Я нахожусь здесь в городе для проверки полковых счетных книг. Они еще не готовы, и следовательно, и комиссии нашей нет еще никакого дела. Утро провожу я обыкновенно дома, читая что-нибудь (мемуары Байрона теперь); потом бродишь по городу, обедаешь у подполковника Булацеля, человека очень порядочного и ко мне благосклонного, а вечер играешь в карты: единственное утешение в столь скучном месте, где мы, праздно живущий народ, лишены способов к развлечению. Не будучи никогда игроком азартным, я если и не сделался теперь им, но все успел проиграть 900 рублей по той причине, что, кроме редкого несчастья, которое я всегда имел, (исключая однажды в жизни, под Замосцем, где я шутя сорвал 38 банков сряду и на 39-м почти все проиграл назад), я мало опытен в расчете игры. Такой образ жизни не только вовсе не приятен, но даже и вреден здоровью. Коль скоро земля скоро просохнет, то я намерен много ходить, хотя без какой-либо цели я и не люблю этого делать.

Из Варшавы выехал я довольно удачно. Потеряв надежду получить там деньги, не видя возможности без больших неприятностей, то-есть, занимая у приятелей

деньги, долее так существовать, сел я в отправляющуюся оттуда новую коляску Плаутина, деланную под моим надзором, и пустился в путь. С Варшавой мне не было очень трудно расставаться, потому что, кроме Льва Пушкина и Ольги Сергеевны, да еще доброго обеда у старика Chovot, ничего для меня там не было привлекательного. Всех трогательнее была моя разлука с Ольгой, тем более, что ей она была совершенно неожиданною, почему при ней она и выказала более свое дружеское благорасположение ко мне, чем бы она это сделала в другом случае, но все не столько, сколько я бы желал в ней найти; ибо я ее очень люблю.

После долгой нерешимости и внутреннего борения между убеждением невыгоды продолжать мне службу и заманчивыми надеждами на будущее, которые некоторым образом подкреплялись вероятностью в непродолжительности получить несколько чинов (у нас выбыло в короткое время много офицеров из полка, и лучшие, к сожалению), рассудок мой одержал верх, и декабря 1-го дня я подал прошение об отставке. Скоро после того я получил от матери письма, в которых она просит меня остаться служить; если бы они не приходили долгое время, как деньги, то вероятно, их бы было достаточно, чтобы остановить меня. Но теперь все кончено, чему я очень рад, тем более, что по последнему письму матери вижу, что она не имеет намерения, как я это ей предлагал, остановить в Петербурге ход моего прошения. Все мои надежды и планы основываются теперь на том, чтобы хоть месяца через три моя отставка вышла, и мне бы выслали столько денег к тому времени, чтобы благопристойно можно возвратиться во-свояси, а не блудным сыном. Хотя с некоторого времени и родилось во мне желание пошататься по свету образованному и необразованному, но я не смею предаваться

оному, не видя никакой возможности к исполнению  
оного.

При таком образе жизни, скучном и бесцветном, как мой, с тех пор, как я здесь, в Холме, мерзком городишке, где даже недостаток чрезвычайный в квартирах для нас, были для меня Мура „Переписка и записки о Байроне“ драгоценностью. Всегда предпочитал я и любил преимущественно этого певца, как величайшего гения, но с тех пор, как Мур раскрыл передо мною с величайшим искусством жизнеописателя, которое при первом взгляде же бросается в глаза, всю жизнь его и показал характер его со всех сторон, во всех положениях его жизни и в постепенном развитии оного, то сделался я даже пристрастным обожателем его слабостей в такой же мере, как любишь недостатки своей любовницы. Я, кажется, теперь совершенно понял этот великий дух (довольно самонадеянно) и узнал всю прелесть как наружную, телесную, так и нравственную его. Кажется, будто бы я вместе с ним жил,—так живо я себе представляю его образ жизни, его привычки, странности. Даже умственное бытие его, то, что мучило и улаждало дух его творческий, как поэта и как простого человека, стремящегося к истинному и идеальному, постигая и как обыкновенно это случается, сверяя с своими идеями, находил часто сходными, вероятно, потому, что прежде, быть может, почерпнув их от него же, присвоив себе считал за собственные. Всю турецкую войну возил я его творения с собою,—теперь же они будут со мною неразлучны. Наполеон и Байрон заключают в себе все великое, что я знаю.

*21 февраля. Вторник.* Прочитав Байрона, я взял Руссо, которого я не знаю. Жаль, что и самое издание отнимает охоту его читать: так мелки буквы, что трудно глазам читать. Не знаю, буду ли иметь

терпение дочитать его „Элоизу“: это будет третий опыт.

*23 февраля. Четверг.* Я был в 20 лет хватом, слыл забиякою (чего тогда и желал, не будучи им никогда), пил также в свое время из удалства, потом волочился за женщинами, как франт. Наконец, оставалось мне испытать только игру, чтобы заключить курс моей молодости, что теперь я, кажется, и делаю. Не имея с природы пылких страстей, тем более, что с молодости я в достоинство ставил их обуздывать, не знал я страсти к игре. Теперь вижу я, что от праздной жизни можно легко ее получить и что она может сделаться самой сильною. Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, потому что совершенно, неопределенна, неограниченна, что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех, или просто в величайшем проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слышал от страстных игроков, например, от Пушкина (поэта) и теперь я признаю справедливость его слов. Вчера я был и в игре чрезвычайно счастлив: для перемены попробовал метать банк и выиграл 150 рублей; сегодня утром тоже выиграл.

*24 февраля. Пятница.* Услужливая лень породила во мне престранную мысль не писать к Языкову, пока не получу отставки. Но я ее с негодованием отвергаю, как недостойную чувств моих к любезному Николаю Михайловичу, и тотчас же сажусь отвечать, если можно назвать ответом письмо, полгода позже, чем следует, отправляемое.

*25 февраля.* Все, что я был в выигрыше, рублей 160, проиграл я вчера опять. Поставлю себе за правило каждый день ограничивать проигрыш известной суммою. Сегодня день прекрасный; я воспользуюсь им окончить к Языкову письмо. Ясная погода делает и наш дух светлее.

Я читаю теперь знаменитый „Contrat social“ Rousseau, который во мне родил мысль, что частные лица, коих имущество (земля и пр.) уступается одним государством другому, должны бы иметь право требовать вознаграждения за переходящие в другое владение их земли от того, в пользу чью сия уступка делается, разумеется, только в таком случае, когда они не пожелают переходить и сами с их собственностью, что всегда должно быть предоставлено их произволу.

*1 марта. Среда.* Чтение мое теперь ограничено творениями Байрона и Руссо. Я начал сочинения последнего с политики, с „Contrat social“ („Условие общества“), который я нахожу достойным славы своей. В Байроновом „Пророчестве Данте“ остановился я на мысли, что тот, кто входит гостем в дом тирана, становится его рабом. Она сказана в предостережение поэтам-лауреатам, которых Байрон очень не жалует. Он повторяет часто, что великим поэтом может только сделаться независимый. Мысля об этом, я рассчитываю, как мало осталось вероятностей к будущим успехам Пушкина, ибо он не только в милости, но и женат.

*2 марта.* „Должно избегать случая, в котором обязанности в противоречии с нашими выгодами“, говорит Руссо. Правило столь же истинное, как и то, что несчастье других не вселяет в нас столь живого участия, чтобы тотчас не видеть в нем собственных выгод своих, если они от оного могут произойти.

*3 марта.* Вчера я немного отыгрался: я выиграл сотню рублей. День целый я провожу, читая Руссо; для перемены я за его „Исповедью“ теперь. Молодость его была такова, что ожидать было нечего от него. Безрассудность, непостоянство, слабость характера, не поставили бы его на степень величайших писателей своей страны и не сделали бы проповедником истины и сво-



боды, если бы не ранее расстройство здоровья, которое ограничило деятельность его духа одним направлением к учению и, умерив пыл его страстей, сделало их постояннее.

8 марта. Есть у меня в голове две мысли, коих пластически я никак не могу выразить. Одна, которая родилась, мне кажется, из девиза Байрона: „Сроус Вугон“—„верь мне“; другая, кажется,—плод собственного размышления: „изменяясь я усовершенствуюсь“; последняя даже не полно выражается. Что избрать символом первой? Что в этом мире вещественном признано может быть за неизменное? Одно разве целое, то-есть, весь мир, вся природа. Другая же тогда задача бытию всего человечества еще менее способна к изображению чем-либо вещественным, когда оно есть только понятие невыразимое, точно так же, как божество, коему другого не могли дать имени, как сый, сущий и пр. Вот два эпиграфа, которые я имею дерзость, надменность выбрать для себя. Если первым я слишком много от других требую, то-есть веру в меня, то вторым я, по крайней мере, показываю, что знаю, к чему я должен стремиться; делаю ли я, или нет—это уже другой вопрос.

24 марта. Из секретных предписаний Ридигера, вследствие сообщений графа Витта, командующего царством на время отсутствия Паскевича, видно, что поляки, находящиеся теперь в разных странах и частях света, не оставили намерения какими бы то ни было средствами (отъявленные либералы не разборчивы в выборе их) противодействовать правительству русскому, хотя бы сие и привело к конечному разорению края и уничтожению последней самобытности царства. Сии революционисты точно так же, кажется, далеки от истинного либерализма в своих понятиях, как и в поступках.

Только народ, достигший известной точки просвещения, может пользоваться истинною гражданскою свободою. Польша весьма далека от оной. Созревший народ никогда не оставался в рабстве и неволе: тому нет примера в истории. Преждевременные же попытки только удаляют от желанного времени. Ридигер пишет, что 20-го марта (вероятно, нового исчисления) схвачен был некто Джевицкий, офицер известного прежнего 4-го линейного полка, перебравшийся из Галиции под видом ремесленника и который вскоре отравился, не сделав никаких показаний. Но от другого захваченного, унтер-офицера прежних войск, и из переписок поляков, находящихся за границей, узнали, что он, Джевицкий, прибыл из Франции с намерением образовать шайки партизанов, которые, скрываясь в лесах, старались бы по возможности вредить русским и бунтовать край и наводнить ими все царство. С 25 человеками ему и удалось прорваться в Сандомирское воеводство. Другая партия, под командою капитана Вронского, должна была действовать в Краковском. В Люблинском также намеревались нарушить спокойствие. В непродолжительном времени сии показания и оправдались: в Ленчинском обводе Мазовецкого воеводства показалась шайка, начавшая свои операции забиранием у жителей скота, хлеба и т. п. В Люблинском, в лесах, около Янова, показалась другая и взяла направление на М. Быхово, Пяски, пробираясь лесами, коими покрыто все сие пространство. Наконец, полагают, что и в Беловежской пуще, в Гродненской губернии, должна скрываться таковая же. Из всего этого заключает правительство, что злоумышленники в этих частных нарушениях спокойствия следуют общему предначертанию, и что скопища сии состоят в связи одно с другим, почему и приказано усугубить со стороны воинских чинов наблюдение за всем,

что происходит в местах расположения войск, и все меры предосторожности против неожиданных случаев, особенно в продолжении наступивших праздничных дней, в кои жители собирающиеся вместе, более подвержены злонамеренным внушениям, нежели в обыкновенное время. Полиции предписано строго рассматривать паспорта вновь прибывших из-за границы ремесленников и художников, ибо известно, что с таковыми многие, из удалившихся за границу возвращаются назад. Даже многие с намерением вступали в учение разным ремеслам или в фабрики, чтобы от оных получить виды, под коими, не обращая на себя подозрения правительства, проникнув в царство, им бы возможно было действовать на умы. Вот план, сознаться должно, весьма остроумно придуманный, но приведет ли он к желанной цели? Весьма сомнительно. Когда целый народ, восставший единодушно, не мог противостоять, то чего надеются несколько сотен людей, не имеющих ничего, кроме жизни своей, которую не знают, чем поддерживать, и что из нее сделать.

*29 марта.* Я прочитал трагедию Хомякова „Ермак“. В ней казаки-разбойники, завоеватели Сибири, говорят языком семейства Атридов во французской трагедии. Сам Ермак какой-то унылый мечтатель, который в длинных монологах, под бледным сиянием луны, все вздыхает об минувших годах молодости, угнетен проклятием отца и разлукою с любовницею своею. И эта любовь даже не придает никакой занимательности ходу пьесы, которая тянется бесконечными монологами, хотя и писанными хорошими стихами, но не менее того утомительными. Как в первом опыте молодого писателя, нельзя в трагедии его искать ярко очерченных характеров, ни искусства в ходе драмы. Такие произведения у нас не первые в своем роде: Ростовцев, Катенин дарили нас

такими же. Говорят, Хомяков пишет теперь „Самозванца“: в этом предмете он найдет более способов.

Еще прочел я историю последней турецкой войны Валентини; он поторопился с нею, написав ее по одним официальным донесениям и по запискам, весьма кратким, одного офицера, вероятно делавшего одну кампанию 1828 года и, кажется, находившегося при Евгении Виртембергском, ибо одни только действия 7-го корпуса, который принц принял под Шумлою от Воинова, рассказаны подробно, остальные же происшествия обеих кампаний автору, видно, известны по одним газетным реляциям, которые всегда недостаточны и редко справедливы бывают. Общий его взгляд на войну, несмотря на то, верен и довольно беспристрастен, то-есть не скрывает ошибок наших полководцев. Мысли его об образе войны с турками весьма основательны, и по всему видно, что он говорит об предметах, которые не только что сам видел, но на кои глядел глазами человека, знающего свое дело.

*23 апреля. Воскресенье.* Сейчас получил я прискорбное известие, что Франциус скончался, прежде получения моего последнего письма, еще прошлого декабря 6-го дня! Итак, свершилось то, чего я уже давно страшился, о чем я скорбел душевно прежде, чем неизбежное исполнилось! Прекраснейшее и благороднейшее существо, коего чистый дух, кажется, ничем земным не был омрачен, прошел своею чередою, и как упавшая звезда после себя только на несколько минут в падении блестит, так и память об нем, быть может, только недолго, проживет в памяти его друзей и потом исчезнет в общем мраке. Я не встречал еще человека, который так пламенно, как он, любил истину, все высокое и изящное, в котором бы лета жизни; обычный быт, опытность, приобретаемая ежедневными обманами, физиче-

ские, наконец, страдания, которые ежедневно видимо, вели его к ранней могиле,—так мало ослабили его стремления к идеальному. Этот цвет молодости нашей был неизменным качеством его пламенной души. Как человечество вообще, столь же пламенно, с таким же самоотвержением любил он каждого из своих друзей. Эту чувствительную прекрасную душу озарял светлый и мощный дух. Познав истину, он везде исповедывал оную, смело и мужественно восставал за оную не только против частных лиц, но даже против самовластного общего мнения. Так в университете не усумнился он, собрав около себя несколько человек, в число коих благосклонная судьба и меня ввела, восстать против всего университета, распавшегося на землячества и ордена (вечная причина междуусобной ненависти, вражды и буйства студентов не только во время академической их жизни, но переходящим и в гражданскую позднюю), и проповедывать первые истины, либеральные идеи, недавно возникшие в германских университетах, клонящиеся к тому, чтобы распространить истинное образование и искоренить в юношестве направление к буйству и разврату. Как всякое восстание против общих пороков общества никогда без возмездия с его стороны не остается, так и здесь оно мстило клеветою на его характер, которая сколько бы лжива ни была, но всегда нам вредит; зависть назвала его буйным и развратным за то, что он искал слишком много, быть может, обыкновенную жизнь возвысить до идеальной. Но она бессильна была оспорить его умственные редкие способности. Самые неприятели его соглашались в обширности дарований, коими природа его украсила: он обладал умом верным, быстрым и обширным и приятные пламенные свои чувства из'яснял он всегда с увлекательным красноречием равно пером, как и в благоразумной речи своей. В обществе студентов, пирующих на

веками освященных своих празднествах или беседующих об знаниях, ежедневно приобретаемых каждым из них, был он всегда душой всеоживляющею, веселя блистательным остроумием и сатирою, иногда очень едкою, но никогда с намерением обиды. Божественный дар поэзии согревал его душу; он пел, и песни его также чисты были, как она. Многие из его произведений (которые теперь выдаются в свет) имеют много лирического достоинства; почитатель Шиллера, он и был счастливым его последователем. Наружность его была привлекательная; рост имел средний, очень стройный, прекрасную голову с темнорусыми кудрявыми волосами и лицом, полным жизни и выражения в голубых его глазах и прекрасно очерченном рте, определенных, чистых формах коего можно было узнать живой и смелый его дух.

Вот некоторые отличительные черты блистательнейшего создания, которое я знал. Встреча с таковым показала мне, что есть в мире люди, коих действия не основаны на одном себялюбии, о чем бы я без того долго сомневался. Рам пишет мне, что и в последние минуты своей жизни он вспоминал обо мне и завещал мне дружеский поклон. Вот лучшее доказательство, как он любил своих друзей, и свежести его души, которая при гробе еще сохраняла впечатления, многими годами ослабленные. Душевно сожалею я о том, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладеющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом.

*29 апреля.* В последнем номере *Инвалида* читал, я об'явление о выходе в свет стихотворений Н. М. Языкова. Верно цензура много подстригла кудрей у его студенческой вольнолюбивой музы. Воейков хвалит его

самобытность, но сожалеет только, что он не воспекает как французы, воинских подвигов христолюбивого нашего воинства. Истинный издатель „военных ведомостей!“ Прощу угодить всем: один хочет торжественных од, другой—поэм народных оригинальных, третий—исторических драм! Любопытен я видеть, чем нас подарил мой ленивый певец! Не напишет ли мне он что-либо в ответ на мое послание к нему?

3 (15) мая. Я читаю теперь историю Франции Rouon сочинение весьма обыкновенного разряда. Повествование довольно скучное очень не занимательных событий первых веков существования Франции. Она написана без всякого общего взгляда на события и на людей; и только не что иное есть, как повествование об сражениях, кой-где распещренное анекдотами. По времени (1819 год), в которое это сочинение издано, его можно назвать очень запоздалым: веком бы назад оно было в своем месте на ряду с сочинениями Роллена, Миллота, Шрекка и других. Давно не читав ничего исторического и никогда—вполне подробную историю Франции, я читаю ее теперь с удовольствием.

5 (17) мая. Не ошибся я в моем предположении, что мать только обещала написать, а, верно, не исполнит: вот прошла и другая почта, а обещанного письма нет. К счастью, в Инвалиде нет еще и моей отставки.

Горный кадетский корпус переименован в горный институт и у воспитанников отменены кивера, тесаки и пр., весьма благоразумное преобразование. Отдать должно полную справедливость, что меры, принимаемые правительством при преобразованиях по всем частям государственного управления, всегда клонятся к явной пользе, сообразны с целью, которой желают достигнуть, и менее, чем прежде, находятся под влиянием солда-тизма.

15 мая. Сегодня получил неожиданное письмо от Языкова, письмо, меня несказанно радующее, хотя, по привычке своей, он и мало говорит про себя. Извещая о выходе из печати своих стихотворений, обещает выслать мне экземпляр оных в память студенческой жизни. Он все еще не имеет оседлости и будто бы от того ничего значительного не предпринимает; меня же благославляет на мирную жизнь.

16 (28) мая. Вторник. Жаль, что Николай Михайлович, мой вселюбнейший (его выражение в последнем письме) певец, не берется ни за что дельное, а вот лет десять уже, все обещает только: публика ожидала многого от него, но, кажется, все обманываясь в своих надеждах, охладела к нему приметно. Журналисты давно перестали его ласкать и частенько бранят его студенческую музу. Пора, пора! Не то—так пройдет молодость, а с нею и вдохновение. Он говорит, что, верно, мне наскучила так называемая поэзия военной жизни, и прав в этом, даже в такой степени, как я не ожидал от него, не выдавшего этой поэзии. Я вижу давно уже, что поэзия живет в нашей душе, а не в предметах так называемых поэтических. Пламенное воображение облечет каждый в изящный идеальный образ, тогда когда холодное видит только одно, так сказать, чувствами и рассудком осязаемое. Часто даже воспоминание сильнее на нас действует, чем самый предмет оного.

17 (9) мая. Среда. Сегодня, как вчера было и как будет завтра: все одно и то же, скучно, да делать нечего. Единственное мое занятие—г. Рою; несмотря на свой ultra-роялизм и иезуитизм и то, что он ожидает канонизации Лудвига XVI, сознается он в том, что причиною революции были ложные меры правительства и слабость оного. Оно в такой степени было ничтожно, что без досады на него нельзя читать истории этого времени.



Хорош так же и г. Неккер! Наполеон справедливо назвал его главнейшим участником и причиною революции. Всего забавнее в моем почтенном историографе, что царствование последнего, Наполеона, он вовсе не признает.

*18 мая.* Утром читали с Шедевром роман, а именно: „La tour de Mouthéry“ исторический роман XII столетия, довольно занимательный тем, что выведены в нем на сцену известные лица того времени, например, Suger, Элоиза, и несколько очерков нравов того времени.

Государь, осматривая войска 1-го пехотного корпуса, был до такой степени недоволен 1-ю гусарской дивизией за незнание своей обязанности офицерами (верховой езды), что на месте смотра у начальника дивизии, генерал-майора Ланского, отнял оную, точно так же сменил и одного из полковых командиров, на место которого назначен приятель мой Кусовников. Такая строгость заставила и наших генералов подумать об езде офицерской. Остальными войсками, в том числе гренадерами, которых смотрел в Луге и Пскове, государь был очень доволен.

*13-го июня...* Прочитав г. Рою, одного из несноснейших историков нынешних времен, каких я читывал когда-либо, заступника всего, что только было близко престолу, еще более, кажется, иезуитов и церковного самовластия (феократии) и противника всего, что только есть либерального, — теперь же нашел я у Булацеля „Les Ruines“ Вольнея, совершенно противоположное в рассуждении о происхождении и развитии религиозных идей: этот выводит не только что происхождение всех вер есть общее, одинаковое, но даже и то, что ни одна из них, самая христианская, не основана на так называемом „откровении“. Он также объясняет, как и Dupuis, сочинитель „Origines de toutes les cultes“, что христианство есть сабзеим, почитание солнца, составленный из мифо-

логии египтян, индейцев, последователей Зердуша или магов, а жизнь Христа — аллегорическое описание годовичного течения солнца.

*15 июня.* С большим удовольствием перечел и сегодня 8-ю и вместе последнюю главу „Онегина“, одну из лучших глав всего романа, который всегда останется одним из блистательнейших произведений Пушкина, украшением нынешней нашей литературы, довольно верною картиною нравов, а для меня лично — источником воспоминаний весьма приятных по большей части, потому что он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был действующим лицом в описаниях деревенской жизни Онегина, ибо она вся взята из пребывания Пушкина у нас, „в губернии Псковской“. Так я, дерптский студент, явился в виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть образцы его деревенских барышень, и чуть не Татьяна ли одна из них <sup>1</sup>. Многие из мыслей, прежде чем я прочел в „Онегине“, были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным, в Михайловском, пересуждаемы между нами, а после я встречал их, как старых знакомых. Так в глазах моих написал он и „Бориса Годунова“ в 1825 году, а в 1828 читал мне „Полтаву“, которую он написал весьма скоро — недели в три. Лето 1826 года, которое провел я с Пушкиным и Языковым, будет всегда мне памятным, как одно из прекраснейших. Последний ознаменовал оное и пребывание свое в Тригорском прекрасными стихами и самонадеянно прорек, что оно

. . . из рода в род,  
Как драгоценность, перейдет,  
Зане Языковым воспето.

*14-го (26-го) июля.* ...Прочел я теперь две драмы Гете: „Тассо“ и „Незаконная дочь“. Первая имеет свое

достоинство, как живое изображение восторженной страсти поэта и своенравия его; к тому же в ней высказано прекрасно много истин. Вторая же пьеса так слаба, что едва находишь в себе терпение ее дочитать: просто, это одни возгласы, декламация. Трудно узнать в ней первостепенного поэта Германии.

*22-го июля.* Моя отставка вышла. Принес сейчас Мануйлов мне радостное известие, и все заботы мои кончились; настали другие только более утешительные. Не могу опомниться от радости.

*24-го июля.* Понедельник. Вслед за получением моей отставки начались поздравления моих сослуживцев с оною. Приехал ко мне мой бывший эскадронный командир Аминов, с ним Голубинин. Пили чай, а после одного угостил я их емкою, „сим напитком благородным“, прославленным Пушкиным и Языковым.

*29-го июля.* Булацелю вздумалось третьего дня вдруг пригласить меня съездить с ним в Грубешов, и я, которому так трудно отказывать, согласился с ним ехать, несмотря на то, что очень не люблю поездки. За мое снисхождение я и был награжден, во-первых, тем, что Шепелев отдал мне небольшой должок, а, во-вторых, что у него прочел знаменитого Бальзака, коего по сию пору знал только по слуху. Небольшая повесть его „La Vendetta“ передо мною оправдала его европейскую славу. Слог его истинно превосходный и мне показался выше всего, что я ни читал из нынешних и прежних произведений французских писателей.

*24-го августа.* Варшава. Вот, наконец, после долговременной скитающейся жизни в Холме, Люблине и самой Варшаве, где я уже живу другую неделю,— первая минута свободная для меня, что я могу помыслить, опомниться и сообразить все случившееся со мною в продолжение трех недель, как я странствую.

27-го августа (8 сентября). Воскресенье. ...Все это время шатаюсь по лавкам, закупая разные разности моего нового убора. Теперь ожидаю я от портного платье, так что я сегодня буду в первый раз одет в партикулярное платье. После пятилетней военной жизни кочевой, цыганской, я возвращаюсь снова в общество людей с удовольствием, без сожаления о том, что оставляю. Мне должно, по крайней мере, благодарить за то судьбу, что каждая перемена моего образа жизни была добровольная, своевременная, в которой я доселе еще не раскаивался, начиная от студенческого значка до чина штабс-ротмистра, мною ныне добытого, если не кровью, то такую жизнью, которая много оной портит.

9-го сентября (с. н.). ...Ольга Сергеевна, повидимому, ко мне очень благорасположена: это видно не только из всего обращения со мною, но еще более по довольно забавному предложению, которое она мне недавно сделала: она просила меня как можно более публично заниматься ею по той причине, что в варшавском кругу ее знакомых говорят, что будто бы она кокетничает с одним юношей — г. Софиано, который, кажется, влюблен в нее.

Лев, — все тот же, свою скуку мыкающий в Саксонском саду или Розмайтостях и, к несчастью, в совершенном безденежьи. Он имел неосновательность проиграть не только все деньги, которые он получил от отца и занял от других, но даже более, чем трудно помочь.

5-го сентября. ...Прочел я теперь несколько повестей Eugène Sue, знаменитого сочинителя „Саламандры“, которую все не могу я прочесть еще. Некоторые из этих повестей имеют свое достоинство, как свежее, живое изображение страстей необузданных.

22-го сентября. ...Войска, занимающие царство Польское, собраны теперь почти все около Модлина,

для маневров. Сегодня ожидали туда и государя, возвращающегося с конгресса, о коем ничего я не знаю основательного. Этот проезд инкогнито через царство Польское занимает теперь все умы, и мнения об оном несходны весьма. Одни находят, что он хорошо делает, осматривая свои войска и не обращая внимания на жителей; другие не согласны в том и думают, что неприлично Николаю таиться от своих подданных; явив же себя им, должно облечь себя в милость и разлить около себя одно благотворение, показать себя народу истинным солнцем все оживляющим. Прибытие его в Модлин ожидали вчера; не известно мне, исполнилось ли ожидание. Сегодня имел быть смотр войскам. Погода ему по крайней мере, не благоприятствует: она стоит совершенно осенняя, дождлива и туманна.

*12-го (24-го) сентября.* ...Вчерашний Курьер Варшавский возвестил жителям кичливой Варшавы что „наияснейший цесарж и круль“ прибыл 10-го (22-го) числа в Модлин, что 11-го числа (вчера) назначен был смотр войскам, там находящимся, а сегодня—маневры. Это известие следовало бы, по моему, напечатать не просто, как о приехавшем каком-либо шляхтиче, а огненными буквами: так важно должно быть это событие для жителей сего царства; Варшаве же всей, всей следовало бы к нему выйти с повинной головой—от первого сенатора царства до последней обитательницы улицы Фурманской. Верно бы это умилило его грозное чело. Рассказывают, что в Калише встретил народ его с коленопреклонением, что, принимая генералитет, он был с ним чрезвычайно ласков, но про Варшаву сказал он Панкратьеву, что она „не стоит того, чтобы ему в ней быть“.

Такая фарса, как этот выход с хлебом и солью, мог бы много принести пользы. Народ, вообще всякая толпа, так глупа, что, твердя ей одно, можно уверить в том

даже, что противно истинному образу ее мыслей. Если бы ей (толпе) чаще твердили, что она любит своего монарха, то она бы и поверила этому, особенно, когда бы этому присоединились две-три высочайших улыбки, которые всегда имеют чарующую силу. Странно, что правительство, употребляя столько людей на то, чтобы наблюдать за общественным мнением, чтобы отыскивать каждую сказанную глупость, так мало заботится о том, чтобы управлять этим общественным мнением. Это, мне кажется, было бы не только легче, но и полезнее; менее было бы случаев делать людей несчастливых, да и самое ремесло было бы чище, следственно, и лучших бы людей можно бы было на оное употреблять. Судьба столь многих не была бы в руках столь низких, коим поневоле правительство должно отдавать на жертву.

... У меня теперь последний роман Вальтера Скотта: „Опасный замок“. И в нем видна широкая и могучая кисть романиста, но мне кажется, что уже в ней менее жизни, менее свежести и яркости в красках, что все подернуто тем же туманом, под коим и в повести многое делается. В описаниях же подробностей и лиц он — все тот же.

*13-го (25-го) сентября.* Вчера в 4 часа пополудни государь был здесь, то-есть, в здешней цитадели, осмотрев которую и войска, составляющие гарнизон городской, отправился в дальнейший путь — в Брест-Литовский. Представленных ему членов правления здешнего принимал он очень ласково, и они остались очень довольны сим приемом. Красотою его не могут они нахвалиться. Варшавских же жителей он не жалует: не захотел принять и депутации их, которая долженствовала просить его осчастливить их его присутствием.

*20-го сентября (2-го октября).* Среда... Из писателей, утешающих скучные мои дни, Бальзак есть решительно первый: все, что ни прочел я из его пове-

стей, прекрасно. „Les contes drolatiques“ совершенны в своем роде. Он выбрал для них древний французский слог, тот, которым писал его учитель Раблэ, как он говорит. Прочитав несколько страниц, к нему так привыкаешь, что понимаешь, остальное без труда. Рассказ очень вольный этих повестей чрезвычайно смешон; конечно, не многим женщинам можно читать эти повести, потому что они довольно сильно действуют на чувственность, но которая их прочтет, будет довольна ими и не найдет их приторными, ради игривости их, заглушающей остальные впечатления.

Повестями Jules Janin не столько я остался доволен: это все журнальные, эфемерные статьи, интерес коих исчезает за изменениями политическими, потому что политика в них занимает первое место, литературное же достоинство — второе. Кроме того, он чрезвычайно многословен, как всякий журналист.

*17-го октября.* Сегодня уехал или уезжает мой добрый приятель Лев Пушкин. Судьба сжалилась над ним в особе Аничкова, который увозит его в Петербург так, как Ушаков хотел увезти меня в Москву. Он жил здесь два года для того, чтобы быть исключенным из службы за неявкою в полк (ходатайством фельдмаршала переменили выключку в отставку) и чтобы нажить несколько тысяч долгу, которого, вероятно, он никогда не уплатит. Счастье его, что он еще нашел приятеля, который его вывез из этого неприятного положения, в котором он бедствовал. Хотя я и душевно радуюсь, что он выехал, но мне теперь в моей болезни это большая потеря: я остаюсь в совершенном одиночестве, потому что если кто будет меня навещать, то это все люди, с которыми у меня мало общего.

*18-го октября.* ...Я читаю теперь знаменитую книгу сто-одного писателя „Le livre des cent-et-un“, или

изображение Парижа. Большая часть статей, составляющих оную, весьма любопытна, как по содержанию своему, так и по слогу, которым они написаны. Одна из них — „Дуэль“ снова привела мне на память все, что мы (Burschenschafter) десять лет мыслили об нем, и все старания, которые мы принимали к искоренению оногo.

24-го октября. ...Есть один роман J. Janin под названием „Barnave“, одно из произведений его пера, составившее ему известность писателя, которою он теперь и пользуется довольно справедливо, несмотря на журнальную, французскую плодовитость его слова. В этом романе вывел он на сцену, кроме самого Барнава и Мирабо преимущественно, еще несколько лиц того времени. С первого взгляда я узнал, что он их очертил вовсе не в историческом образе, а совершенно в идеальном, так что этот роман нельзя назвать и историческим. В этом мнении моем я еще более убедился теперь, прочитав книгу „Les souvenirs sur Mirabeau“, в коей автор оной весьма просто и вероподобно рассказывает, что все почти речи, говоренные Мирабо в национальном собрании, сочинены его сотрудниками, из коих он сам был один из трудолюбивейших и что во всех остальных сочинениях Мирабо, если бы всякий из его приятелей взял бы назад свое, то у него бы мало что осталось, кроме великого достоинства его собирать и обдѣлывать по своему чужие материалы. Этим даром — говорит повествователь — владел он в высокой степени; кроме того, имел он и другой — заставлять сотрудников своих работать и поощрять в их занятиях. Полную справедливость отдает далее автор книги силе и могуществу его слова, которое заглушало, побеждало все. Способности же защищать свое мнение он не имел и в этом случае далеко уступал Барнаву, великому диалектику и



логистику. Прозорливость Мирабо была, так сказать, пророческая. Она была следствием знания его людей и света, приобретенного им в течение бурной и буйной его жизни. С первого взгляда он безошибочно узнавал людей и всегда умел, когда хотел, снискивать их благорасположение, употреблять их в свою пользу. С начала революции предвидел он и предсказал ход ее.

*17-го (29-го) октября. Вторник.* ...Одно утешение моей жизни здешней — это Ольга Сергеевна. Она истинно, кажется, ко мне расположена дружески. Третьего дня была она со мною так откровенна, что не только читала мне свои стихотворные произведения, но и сказала, что меня так любит, что сожалеет, зачем я не женщина, чтобы со мною быть еще откровеннее.

*8-го ноября (н. с.).* Вчера был для меня день исповеди. Ольга поверила мне не только историю чувств своих с самого раннего детства, из коих многие мне уже знакомы были, но и самое настоящее положение ее сердца. Она так со мною была откровенна, как едва ли она была с кем другим когда-либо, и я дорого ценю эту откровенность.

*20-го ноября. Тригорское.* Исполнились мои желания: возвратился я в дом отцов моих, к жизни новой, единственной оставшейся мне на выбор после испытанных. Не привлекательная она, не заманивает она наше воображение ни разнообразием ни прелестью видов. Один постоянный труд может сделать ее сносною, может укротить не вовсе еще потухшие страсти — честолюбие и жажду наслаждений. Испытаем ее!

После десятидневного пути от Варшавы, довольно благополучно, без особенных происшествий, с обыкновенными неприятностями путешествия в такое время

года в скромном перекладном экипаже, приехав, нашел я всех моих домашних — мать и сестер замужних и незамужних здравствующими: это все, чего я только и желал. Несмотря на тяжелый от общих неурожаев год, кажется, и хозяйство не в нужде, по крайней мере, сколько мне известно про оное: также важная причина к общему удовольствию.

*23-го ноября. Четверг.* Я застал еще здесь отцов Пушкиных, собиравшихся в путь ко Льву в Петербург, и которые радовались моему приезду, как радуются приезду родного. Провожал их до Врева — баронское владение Евпраксии.

...Хотя я и нисколько не сожалею о том, что оставил службу военную, и не желаю снова начать гражданскую, разве в таком случае, что представились бы мне в какой-либо особенные выгоды, — но все сельская жизнь землепашца, помещика, пугает меня своим однообразием и отчуждение от движущегося и живущего мира.

Я уже решил, что, хотя присутствие мое в тверской деревне и необходимо нужно, жить там один постоянно я не намерен, тем более, что это вовлекло бы меня в большие издержки, чем доходы наши это позволяют. Должно бы было тогда жить двумя домами, двумя хозяйствами. Мои желания теперь ограничиваются тем, что узнав настоящую цену и доходы имения, мне бы удалось найти управителя, которому бы можно было поручить оное под собственным моим надзором, а самому живучи здесь в Тригорском, разнообразить мой быт хоть кратковременным пребыванием в одной из столиц.

Вчера я приписывал в сестрином письме к Ольге Сергеевне и так расписался в душевном удовольствии, как никакой из приятельниц моих не писывал.

Я руки в боки упираю  
 И вдохновенно восклицаю:  
 „Здесь дома я, здесь лучше, мне!  
 Вот так-то мы остепенимся“!

*18-го февраля. Село Малинники.*

Вот эпиграф к настоящему моему быту из последнего послания ко мне возлюбленного Николая Михайловича. На пути из Псковской губернии в сию<sup>1</sup> заезжал я на несколько дней в Петроград, чтобы в день именин Анны Петровны навестить ее, и нашел у А. Пушкина, что ныне камер-юнкер, послание ко мне, про существование коего мне и не снилось. Эти четыре стиха я выписал из оногo<sup>2</sup>.

*19-го февраля. Понедельник.* Кроме удовольствия обнять Анну Петровну, после пятилетней разлуки и найти, что она меня не разлюбила, несмотря на то, что я не возвращался с нею к прежнему нашему быту, имел я еще и несколько других, а именно: познакомился с двумя братьями моего зятюшки Бориса — с баронами Михаилом Сердобиным и Степаном Вревским, людьми очень милыми в своем роде; потом представлялся я родственницам и приятельницам матери — госпожам Кашкиным, на свидание с коими мать теперь поехала туда же; рад я был видеть и недоступных Бегичевых, из коих старшей я подрядился чинить перья; наконец, у стариков Пушкиных в доме я успел расцеловать и пленившую меня недавно Ольгу. Вот перечень всего случившегося со мною в столице севера, если я прибавлю еще то, что видел моего сожителя варшавского Льва Пушкина, который помешался, кажется, на рифмоплетении; в этом занятии он нашел себе достойного сподвижника<sup>3</sup> в Солевецком, который, по возвращении своем из чужих краев, стал сноснее, чем он был прежде. Я было и за-

был, заметить также, что удостоился лицезреть супругу Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи.

*1-го апреля.* ...Две недели тому назад познакомился я с родственницами, довольно дальними, с которыми бы можно было даже законно сблизиться священными узам: с девицами Бакуниными. Числом их шесть сестриц, очень милые, кажется, к тому же и певицы, и плясавицы, но все это никак не манит меня к супружеской жизни. Отец их — препочтенный и преобразованный старик, которого я очень полюбил; и хозяйка, настоящая то родственница наша, прелюбезная женщина, которая меня обласкала, как истинно родного.

*23-го августа.* ...Шесть месяцев, что я живу в одиночестве здесь, прошли так быстро, что я их не заметил. Ежедневный надзор за хозяйством оставлял мне мало времени для других занятий, а еще менее — для жизни умственной с самим собою. Физическая деятельность и отдых после оной сменялись только раз'ездами к почтенной моей родне.

Заехав однажды, в Троицын день, в Тверской уезд, в дом Ушаковых (они — родня моей родне, и у сына их я служил три года в эскадроне), нашел я там, кроме трех премиленьких девочек (хозяйка дома — одна, а две — мои здешние соседки Ермолаевы), очень приятное общество и молодежь нынешнего и прошлого века, так что три дня, которые там я провел, кажутся мне теперь

столь приятными, как редко я их проводил. С Ермолаевыми я врал и нежничал, а с одним юношей-поэтом князем Козловским <sup>1</sup> — твердил стихи Языкова; это первого встречаю человека, который, не зная Языкова, знал бы наизусть столько же стихов, сколько и я их знаю. Чего же мне нужно более? Потом я встречался опять с некоторыми из лиц, там бывших: с двумя темнорусыми сестрицами Ермолаевыми, но все мне не казалось столь приятным их общество, как в первый раз это было. Они пленяли меня в разных видах и уборах и песнями, и плясками, но очарование новизны исчезло, точно так и надежды на быстрые успехи, которые всегда сначала мне льстят...

*4-го сентября.* Чтение меня это время так избаловало, что я не берусь приняться и за хозяйственное писание, еще менее — за какое-либо другое. Сначала прочел я пресловутую „Историю Русского народа“ (4 части), сочиняемую Полевым, и нашел ее лучше, чем ожидал оную найти. Он по крайней мере понимает, как история должна писаться, и делает по силам: на Карамзина он нападает с пристрастием иногда, но вообще бывает более правым в своем мнении об нем. Взгляд его на разные эпохи русской истории вернее его предшественников, и некоторые лица оной являются у него в совершенно новом виде, чем у прежних историков. Везде видно, что он учился и трудился по новым германским образцам, кои так далеко подвинули вперед науку деесписания.

Потом прочел я две книги нового журнала Библиотека для Чтения, сотрудниками коего суть все наши литературные знаменитости от Пушкина до Полевого. Главные его редакторы — Греч и Сенковский; последний однако удалился от издания и вошел в ряды простых сотрудников.

3-го октября. Новые приятели мои — Ермолаевы — снабжают меня и книгами; последняя, которую они мне дали, и я теперь только прочел, а именно „Résignée“ par G. Drouineau, есть что-то „не христианское“ (и выражение то мне не понятно), чего я никак не понимаю. Автор старается доказать лицами, у него действующими, во-первых, превосходство своего нехристианского исповедания, потом — ничтожность и пустоту материализма и рационализма, проповедуя, что вне веры нет спасения и жизни в этом мире. Этот господин сперва доказывает весьма многословно и высокопарно существование божие, в чем однако еще никто, кажется, и не сомневается. Но от существования божия до христианства, и особенно до нехристианства, еще весьма далеко. Читая эту книгу, я невольно почувствовал желание отдать отчет самому себе, в своих понятиях о сем предмете и должен сознаться, что нашел в себе одно только сомнение или чистый скептицизм, или неверие и сомнение во всем, что относится к религиозным понятиям, к так-называемым обязанностям человека к божеству. Что же касается до взаимных обязанностей людей, одного человека к другому, и до общественных, то дело другое: тут все положительно, и сомнений нет. Любить другого, как самого себя или еще более, как христианство гласит, есть идеал высокий; но не делать другому того, чего не желаешь самому себе,—возможно не всякому.

1836.

8-го декабря. Вот через два года, откинув лень, эту постоянную мою слабость, от которой ни лета, ни убеждения не исправляют, вздумалось мне взяться за перо, чтобы отменить эти минуты жизни моей. Следо-

вало бы сперва сделать очерк самого себя и прибавить, в чем я думаю, что изменился с того времени, как письменно не излагал отчетов о самом себе. Но я не живописец и едва ли буду уметь то сделать; по крайней мере, до этого времени мне никогда не удавались портреты. Постараюсь, однако, надо же испытать свои силы.

Начну с тела: состояние его важнее, чем многие думают. Эти два года был я совершенно здоров; довольно однообразная, воздержная жизнь, свежий воздух, здоровый климат и телесная деятельность, сопряженная с надзором за хозяйством, предохранили меня от всяких болезней. Вот все, кажется, что можно сказать о брэнном теле. Успехов от развития его сил в эти лета и в нашем образе жизни почти нет: все поглощают умственные занятия. Разве назвать успехом то, что, будучи прошлое лето в Петербурге, я взял несколько уроков в танцевании и теперь, танцуя без усталости, заслуживаю часто похвалу хозяек дома, нуждающихся в неутомимых плясунах.

После телесных следует, разумеется, заметить умственные перемены (успехами едва ли можно назвать): они незначительны. Кажется, опыт этих двух лет только развил и подтвердил во мне начала, уже существовавшие, признанные мною. По образу жизни—новых познаний приобрел я только несколько практических, относящихся к главному занятию моему. От других я совершенно отлучился—более от лени, чем по другой какой-либо причине. Поэтому я стал еще реальнее прежнего и во время почти оставил идеализм, с которого прежде все начинал. Это господствующее направление заметно и в нравственном состоянии моем. Страсти мои вещественны: я не увлекаюсь надеждами славы, ни даже честолюбия. Я почти ограничиваюсь минутным успехом. Женщины—все еще главный и почти единственный

двигатель души-моей, а может быть и чувственности. Богатство не занимает меня, и жажда его не возрастет во мне до страсти. Если бы я мог пристраститься еще, то это — к азартным играм: они довольно сильно действуют на меня. Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей. Уединенная, одинокая, ни от кого не зависящая жизнь, привычка всегда повелевать ими, иногда вредное влияние, на наш нрав делает его самовластным, нетерпеливым, вспыльчивым. Трудно мне будет избежать от этого влияния, особенно с моим запасом самосознания. Меня обвиняют в слишком высоком мнении те (женщины—с мужчинами я мало рассуждаю), с которыми я иногда разговариваю, потому что, говоря о себе, я выставляю себя таким, иногда до бессмыслия; они верят на слово и по нем составляют себе обо мне понятие. Увы, кто лучше меня знает, как мало во мне дельного. Что в других я его тоже не много встречаю, не есть причина себя высоко ценить. Таким ли бы я желал быть, каким я себя чувствую. Большой недостаток твердости в исполнении воли я постоянно вижу в себе и мало замечаю успеха, так что мне гораздо лучше бы было следовать минутному впечатлению, не вдаваясь в рассуждения: совсем наоборот, чем советуют другим людям, у которых страсти берут верх над рассудком.

Очередь теперь сердечным ощущениям. Иные утверждают, что я решительно не способен стал к ним, а может — и был; это мне трудно определить. Я ценю любовь самоотвержением и по степени его определяю и ту. Таким образом, сколько собственного блага, удовольствий, спокойствия, труда, наконец лишений я в силах принести за тех, кого люблю, можно только узнать по опыту. Убежденный в необходимости пожертвования я думаю, что буду способен к нему.



Занятия мои ограничивались одним распоряжением хозяйства моего. Успехи в них не соответствуют ожиданиям, какие следовало бы иметь. И причины тому ясны: это лень и слабость характера. Знания в деле достаточны бы были, но исполнение не достаточно. Особенно нынешний год понес я убытки значительные от беспечности и нерадения. Я искренне убежден в этих моих недостатках и проступках, которые ежедневно я чувствую, но, увы, мало исправляюсь. Я читаю больше, чем следовало бы, романов и журналов, потом все, что выходит из печати по части главного предмета моих занятий, но не довольно его изучаю.

На выборах дворянских нынешнего года взял я на себя обязанность непременно члена губернской комиссии народного продовольствия — место, которое не требовало много занятий, но в 14-ти классной табели наших чинов занимало шестое место, то-есть, в чине полковника или коллежского советника. Я то сделал, чтобы показать, что я не чуждаюсь ни светской, ни служебной черни. И я не сожалею о том, тем более, что через месяц потом этой должности, бывшей без жалования, назначен был соответственный чину 1.500-рублевый оклад жалованья. Этот случай можно мне назвать счастливым, точно так и все начало моей дворянской службы. После трехлетия меня в ней можно будет выбирать только в высшие должности — предводителя и тому подобные.

*10 декабря.* Занятия по этой моей должности почти ничтожны и не требуют постоянного присутствия в губернском городе. Прежде службы моей познакомился я в Твери со всеми властвующими. Губернатор, граф Толстой, Александр Петрович, сын генерала-от-инфантерии Петра Александровича Толстого, человек очень достойный и благонамеренный, с познаниями, приобре-

тёнными в путешествиях, в службе военной; был флигель-адъютантом, из высшей аристократии, с обращением человека светского и образованного, к тому же очень простой и добрый; с первого знакомства через Александра Михайловича Бакунина был чрезвычайно любезен со мною. Губернский предводитель Алексей Маркович Полторацкий был приятелем отца моего и припомнил даже, что был мне крестным отцом, чего я до сего времени и не подозревал, точно также всегда был ко мне очень хорош. Эти связи поставили меня тотчас на первую степень тверского общества и много содействовали успеху моему и на выборах. При баллотировке положило дворянство мне 160 белых и 20 с чем-то, если не ошибаюсь, черных шаров. Всего лестнее было для меня здесь слышать общий голос похвалы деду моему Ивану Петровичу и отцу моему. Память добродетелей первого и любезных качеств другого все еще свежа в тех, которые их знали. Несколько раз я слышал вопрос: „Какой это Вульф?“ „Сын Николая Ивановича“. „О, так ему надо положить белый шар“.

Со времени моего приезда сюда я ездил два раза к матери в Псковскую губернию и по пути заезжал в Петербург. Кроме того, в 1835 году я был летом там же по делам опекунского совета и в феврале этого года прожил две недели по той же причине в Москве. Эти поездки и кратковременное пребывание в столицах замечательны только для меня тем, что ввели в значительные издержки, но пользы и, следовательно, удовольствия мало мне принесли...

На московский свет я только успел взглянуть мельком, и то во время Великого поста, следовательно, не в минуту полной жизни. Был я и в известном собрании московского дворянства, которое точно лучше и блистательнее всех других, какие я видал. Там я неожиданно

обрадован был встречею с несколькими старыми, десятилетними знакомцами: с Шепелевым, моим академическим приятелем, который вместе с Языковым, был из соотечественников моих единственным моим задушевым приятелем; потом с братом Языкова, Александром Михайловичем, которого знавал в Петербурге. Он, кажется, порадовался мне искренне, написав об встрече со мною тотчас же к брату, так что вскоре после возвращения моего из Москвы я получил от Николая Михайловича письмо, меня чрезвычайно утешившее: я думал, что он забыл про то, что я его так люблю. После получил я другое в ответ на мое, но странное дело, он опять замолчал. Недавно, в октябре я спрашивал снова его о причине, но еще не получил ответа. Говоря о Москве нельзя умолчать о первой ее красе—ее девицах; искони ими она богата и славится. Одну из этих пресловутых (Екатерина Николаевна Ушакова), знакомую мне по наслышке много уже лет по дружбе с Пушкиным, Александром. Этот тип московских девушек был со мною чрезвычайно любезен так, как будто бы мы уже знали друг друга с тех пор, как друг о друге слышали; обо мне однако слухи дошли до нее, вероятно, не так давно, как я об ней слышал. Вот все почти, что на этот раз осталось в памяти моей об Белокаменной.

1842.

9-го января. Пятница. ...Кроме хозяйства, мои занятия заключаются в чтении. Эти дни в руках у меня было несколько номеров *Revue des deux mondes* прошлых месяцев. Кроме литературных статей, в нем много и политических, очень хорошо писанных. Первые, разумеется, как и во всех нынешних повременных изданиях, все

повести лучших французских писателей, и читаешь их всегда с удовольствием. Читал я эти дни также собрание повестей в пользу Смирдина, изданных под заглавием Русской Беседы. Русские писатели хотели этой Беседой вознаградить Смирдина, за то что он разорился из приязни и самоотвержения к русской литературе: такую нелепость он напечатал при об'явлении об издании Беседы. И нельзя сказать, чтобы г. г. писатели наши оказались щедрыми в этом случае. Первый том вышел ниже посредственности, так что Отечественные Записки не нашли в нем ничего похвалить лучшего, кроме басни, чьей же?—Бориса Федорова! Второй том немного лучше: там хоть и не встретишь также ни одной из наших знаменитостей, но, по крайней мере из патриотизма, более самоотверженного, чем все издания Смирдина, можно прочесть повести Основьяненка и Сологуба. Третий, надеяться можно, будет еще лучше. Надо заметить, что книгопродавцы наши ведут свои дела очень плохо. Хотя книги у нас дороже, чем когда-либо, а главное торговцы ими все разоряются. Все, которые из них брались за издание книг, обанкротились: Плюшар с своим „Энциклопедическим лексиконом“ и роскошными иллюстрированными изданиями, московский член разных ученых обществ Ширяев—своими хозяйственными и общепольными изданиями дошел до того, что после смерти его в прошлом году книжная лавка его также закрылась; наконец Смирдин, издавший на несколько миллионов сочинений русских классических писателей, тем самым расстроил совершенно свои дела, как сами писатели то публично об'яснили. Такому общему несчастью этих книгопродавцев однако же причиною не книги, не писатели наши, а просто их собственная безграмотность. Трудно поверить, в какой запутанности и безотчетности были их дела.

У Ширяева, например, не было каталога, по которому можно бы было отыскать книгу, за год у него же перед тем вышедшую. Лажечников, наш знаменитый романист и сосед по Старицкому уезду, рассказывал, что он однажды с Смирдиным несколько месяцев не мог расчитаться, чтобы только узнать, кто из них кому должен; и ни с ним одним это случилось. После таких примеров можно себе представить порядок в делах этих торговцев, и как шли их обороты. Покуда торговали они книгами, как в гостинном дворе торгуют московскими ситцами, дела были у них хороши; но как скоро обороты от успеха стали у них обширнее, взялись за издание книг, то по совершенной безграмотности своей они должны были разориться, особенно когда сами писатели и преимущественно журналисты наши воспользовались этим. Булгарин своею „Россией“<sup>1</sup> подорвал Плюшар, Сенковский за редакцию Библиотека для чтения тоже со Смирдина брал столько, что тому немного от нее оставалось. Эти господа составили себе большое состояние; а книгопродавцы разорились.

*21-го марта. В Малинниках.* Весь февраль прожил я в Тригорском в ожидании снега и только в конце оного дождался; это было на масляной неделе. Его было однако так еще мало, что с трудом доехали мы с братом до Острова, где и провели неделю с сестрами очень весело. Первым удовольствием для меня была неожиданная встреча с Львом Пушкиным. На пути с Кавказа в Петербург, разумеется, не на прямом, как он всегда странствует, заехал он к нам в Тригорское навестить нас, да взглянуть на могилу своей матери и брата, лежащих теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Обоих он не видал перед смертью и, в

1835 году, расставаясь с ними, никак не думал, что так скоро в одной могиле заплачет над ними. Александр Сергеевич, отправляя его тогда на Кавказ (он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва), говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником, потому что все случаи смертности на его стороне; раз, что он едет в край, где чума потом — горцы, и наконец, как военный и холостой человек, он может быть еще убитым на дуэли. Вышло же наоборот: он — женатый, отец семейства, знаменитый — погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом, а этот под пулями черкесов беспечно пил кахетинское и также мало потерпел от одних, как от другого. Такова судьба наша или, вернее сказать, так неизбежны следствия поступков наших. Преждевременная смерть в прошлом году Лермонтова, еще одного первоклассного таланта, который вырос у нас не по дням, а по часам, в два или три года сделавшегося первым из всех живших поэтов, застреленного на дуэли из-за пустой шутки на Кавказских водах, служит другим доказательством, как от страстей своих никто не уходит безнаказанно. Лев рассказывал, как очный свидетель этой печальной потери, которую понесла в Лермонтове вся мыслящая Русь. Прошлую зиму я встретился с ним в Петербурге в одном доме, именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть напечатления этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был не велик и не строен; в движениях не было ни ловкости, ни развязности, ни силы; видно, что тело не было у него никогда ни напрягаемо, ни развиваемо; это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его пока-

зался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица и черные глаза, черные волосы, широкое скулистое лицо напомнили мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые известно, что происходят от арапа, воспитанного Петром Великим, и от которого по матери и Пушкин происходит. Хотя, вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, и мы часто при встрече с великими талантами слышим, как повторяют, что наружность такого то великого писателя не соответствует тому, что мы от него ожидали (и со мною это случилось), но все, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылкие отражались в больших, широко расставленных черных глазах, под широким нависшим лбом и в остальных крупных (не знаю, как иначе выразить противоположность „тонких“) очерках его лица. Я не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах. Не могу однако расстаться со Львом, не заметив, что восемь лет его очень мало изменили: он — все такой же милый собеседник, каким узнал я его в Варшаве; как тогда готов дни просиживать за обедом, а ночи — за пуншем и т. п. Разница между нами стала только в том, что в его курчавых белокурых висках просела седина, а у меня стали волосы редеть. Морально же мы каждый своим путем: я стал еще холоднее и рассудительнее, он же — беззаботнее, кажется.

*19 ноября.* Весь прошлый месяц октябрь мы здесь так много веселились как только возможно было. Была сначала у Панафидиных свадьба. После истинного пира свадебного настала пора охоты, и мы отправились в от'езд сначала поближе — к Казнакову, нашему уездному предводителю (семейство все чрезвычайно свое-

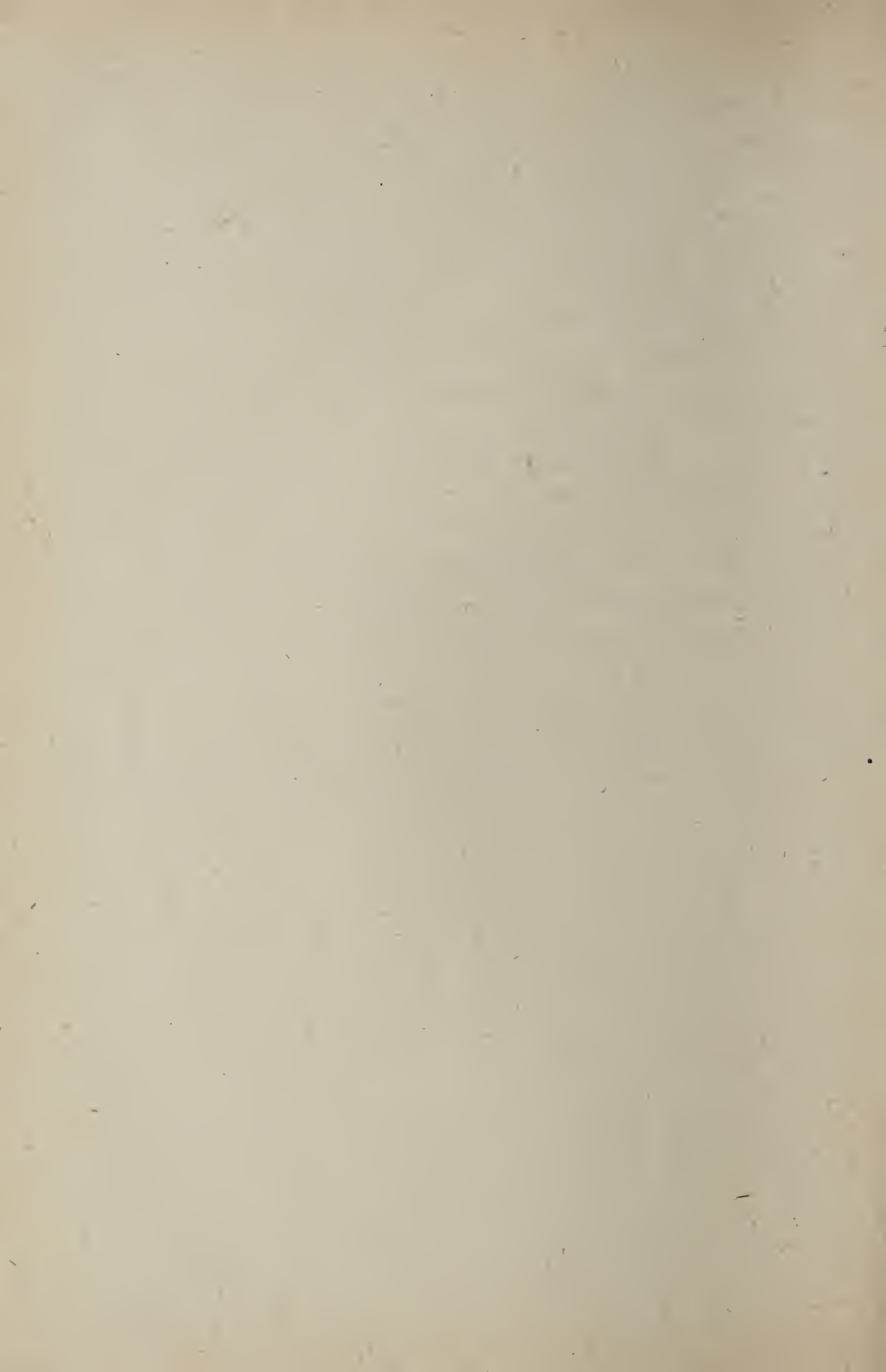
образное), принимавшему нас очень радушно. Потом и далее—к Бакуниным. Никогда я так безусловно приятно, без всяких особенных видов, как было прежде, когда так с'езжался с своими соседками, не гостил. Отчасти тому причиною, что встретил там моих молоденьких и хорошеньких приятельниц, тоже Полторацких, с коими танцевали мы опять три дня сряду, как на свадьбе, и снова я приобрел похвалу и признательность танцующих за добрый пример, который им подавал. Так-то! Мы еще не очень постарели и еще имеем некоторые успехи в деревенском безлюдии. Это новое поколение выросло недавно на наших глазах, так я и смотрю на них, как на детей, а они уже твердят, что „нам семнадцать лет и стали невестами“. Любезничать же с ними попрежнему, как с их предшественницами, как-то совестно. Тут опять вспомнишь приятеля нашего Александра Сергеевича, который тоже говорил в свое время:

Мне не к лицу и не по летам... и т. д.

Как верно он передавал ощущения наши, своих почти современников, или, сказать вернее, нас, его учеников и последователей!



*КОММЕНТАРИИ*



## I. «ПОЕЗДКА В ТРИГОРСКОЕ» М. И. СЕМЕВСКОГО

К с т р. 31.

<sup>1</sup> Пушкинские места Псковской губернии — Михайловское, Тригорское, Голубово, Святые Горы—привлекали к себе внимание пушкинистов и журналистов: их начали посещать еще с конца 1840-х годов. Паломничество в эти края продолжается вплоть до наших дней, при чем особенно усиливаются они в юбилейные годы: так, в 1889 г. (столетие рождения поэта), 1927 г. (90 летие со дня его смерти), туда отправлялись целые экскурсии с целью непосредственного знакомства с краем, в котором проживал поэт. Посещения этих мест пушкинистами—М. И. Семевским, Л. Н. Майковым, Б. Л. Модзалевским, М. Л. Гофманом, главным образом, связывалось с разысканием каких-нибудь вещественных памятников, касающихся пребывания Пушкина в этих местах или с собиранием местных воспоминаний, преданий и слухов, связанных с личностью поэта.

К с т р. 32.

<sup>1</sup> С поэтом Н. М. Языковым (4 марта 1783 г. + 1846 г.) А. Н. Вульф подружился еще в 1823 году в Дерптском университете, в котором они были однокурсниками. С уверенностью можно сказать, что эта дружба, а также жизнь Языкова в Тригорском с Пушкиным и семьей А. Н. Вульфа, вдохновили его на создание лучших стихотворений его: «А. С. Пушкину», «Тригорское», «П. А. Осиповой», «К няне А. С. Пушкина», «Евпраксии Николаевне Вульф».—Ни же М. И. Семевский указывает, что А. Н. Вульфу посвящено 11 языковских стихотворений; в другой же своей статье («Н. М. Языков. Новые стихи его и письма», «Русский Архив» 1867 г., стр. 717), Семевский пишет, что «Вульфу посвящено до 12 посланий Языкова». Между тем, до наших дней дошло только 7 стихотворений поэта, обращенных к Вульфу: «Скажу-ль тебе...» (1825), «Мой друг, учи меня рубиться...» (1826), «Поверь, товарищ...» (1827), «Теперь я в Камби» (1827), «Помнишь ли, мой друг застольный» (1828), «Прощай, неси...» (1828) и «Прошли молодые наши года...» (1833); стихотворение—«Нам было весело, друзья...» (1826) обращено к А. Н. Вульфу, А. Н. Тютчеву и П. Н. Шепелеву.

К стр. 35.

<sup>1</sup> Характеристика. П. А. Осиповой, (род. 23 сентября 1781 г. + 8 апреля 1859 г.) в основных чертах верная, дана Семевским во втором очерке.

<sup>2</sup> Всего у П. А. Осиповой от Н. А. Вульфа было пятеро детей: Анна Николаевна (10 декабря 1799 + 2 сентября 1857 г.); Алексей Николаевич (17 декабря 1805 г. + 17 апреля 1881 г.); Евпраксия Николаевна (12 октября 1810 г. + 22 марта 1883 г.); Михаил Николаевич (1808 г. + 20 мая 1832 г.); Валерьян Николаевич (1812 г. + 13 марта 1844 г.).

К стр. 36.

<sup>1</sup> Семейные предания М. И. Осиповой (род. в 1820 г., умерла в 1895 г.) записывались с ее слов и другими пушкинистами — П. А. Ефремовым (напечатаны в «Русской Старине» 1879 г., № 11, стр. 519), В. П. Острогорским (напечатаны в статье «Пушкинский уголок земли» — «Мир Божий» 1898 г., № 9, стр. 225; вошло в книгу В. П. Острогорского и В. М. Максимова «Альбом Пушкинский уголок». М. 1899 г.).

К стр. 37.

<sup>1</sup> Об этом роялино Тишнера см. в статье К—н. «Еще о Пушкинских местах» — «Исторический Вестник» 1909 г., № 11, стр. 592; оно сохранилось в Тригорском до сих пор, несмотря на то, что дом в Тригорском и все что в нем было, сожжено во время революции.

<sup>2</sup> Лишь в 1902 году эту библиотеку по поручению отделения русского языка и словесности Академии Наук, описал Б. Л. Модзалевский; см. его статью «Поездка в село Тригорское», «Пушкин и его современники» 1903 г., вып. 1, стр. 19—52. В настоящее время библиотека эта находится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

К стр. 38.

<sup>1</sup> Большинство этих книг не сохранилось даже до начала XX века, почти все они исчезли из библиотеки Тригорского еще до поездки туда Б. Л. Модзалевского.

<sup>2</sup> Александр Максимович Вымдонский, отец П. А. Осиповой, был сыном Шлиссельбургского коменданта генерала М. Д. Вымдонского, которому за службу в качестве надсмотрщика за заточенными Анною Леопольдовною и юным экс-императором Иоанном Антоновичем, Екатерина II пожаловала 29 июля 1762 г. село Тригорское с 1085 душами крестьян. А. М. Вымдонский умер 12 февраля 1813 года в чине полковника. Его перу принадлежит выдержавшая два издания (в 1800 и 1803 гг.) «Записка, каким образом сделать из простого горячего вина самую лучшую французскую водку; подчеркнутые к сему правила из опыта почтенной публики и любителям хозяйства сообщает Александр Вымдонской».

<sup>3</sup> Среди этих портретов находилась одна из ценнейших прижизненных зарисовок Пушкина — карандашный рисунок работы

J. Vivien. Об этом портрете сын поэта—А. А. Пушкин писал 8 сентября 1880 года В. П. Гаевскому, что он был одарен самим Пушкиным П. А. Осиповой (см. Б. Л. Модзалевский. «Список рукописей и некоторых других предметов, принадлежавших Пушкинскому Дому» — «Известия Академии Наук» 1911 г., стр. 520—521). В 1900-х гг. рисунок этот был вывезен из Тригорского и ныне хранится в Пушкинском Доме.

<sup>4</sup> Это гравюра Гейтмана, приложенная к первому изданию «Кавказского Пленника».

<sup>5</sup> «Вы желали иметь портрет мой, коего оригинал писан Брюловым; под эгидою таланта посылаю я его для Тригорского вашего кабинета»—писал 10 февраля 1837 года А. И. Тургенев, посылая свой портрет П. А. Осиповой.

<sup>6</sup> Их дружба относится к концу 1830 гг., когда в феврале 1837 года А. И. Тургенев приехал, сопровождая тело Пушкина, в Тригорское. К этому времени относятся записи А. И. Тургенева в альбом П. А. Осиповой, найденные и опубликованные М. И. Семевским в статье «К биографии Пушкина» («Русский Вестник» 1869 г., № 11, стр. 93), а также их переписка, найденная и опубликованная Б. Л. Модзалевским («Пушкин и его современники» 1903 г., вып. I, стр. 53—64), и А. А. Фоминым («Пушкин и его современники» 1908 г., вып. IV, стр. 79—80 и «Русский библиофил» 1911 г. № 5, стр. 25—30); ср. записи в дневнике А. И. Тургенева о его встречах с Осиповой в книге П. Е. Щеголева. Дуэль и смерть Пушкина. Издание третье, просмотренное и дополненное, ГИЗ, 1928 г., стр. 294—297.

К с т р. 39.

<sup>1</sup> Колоритнейшая запись о внешнем облике Пушкина в ту эпоху сохранилась в дневнике псковского купца И. И. Лапина; под 29 мая 1825 года в этом дневнике записано (сохраняем транскрипцию подлинника): «В св. Горах был о девятой пятницы... и здесь имел щастие видеть Александру Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одежою, а на прим. У него была надета на голове соломенная шляпа—в ситцевой красной рубашке, опоясовши голубою ленточкою с железною в руке тростью с предлинными чор. бакинбардами, которые более походят на бороду так же с предлинными ногтями с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом я думаю около ½ дюж.» См. Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков 1912, стр. 203. В июле следующего 1826 года на той же ярмарке Святогорского Монастыря Пушкина видели в таком же виде, о чем секретный агент III-го отделения А. К. Бошняк общал в рапорте генералу графу Витте; см. Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. П. 1922 г., стр. 13—16.

<sup>2</sup> Этому свидетельству Е. Н. Вульф несколько противоречит следующее показание дворового Петра, служившего у Пушкина в кучерах: «Ярмарка тут в монастыре бывает в девятую пятницу перед Петровками; народу много собирается; и он туда хаживал, как есть, бывало, как дома: рубаха красная, не брит, не стрижен, чудно так, палка железная в руках, придет в народ, тут гулянье,

а он сядет на-земь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают. Так вот было раз, еще спервоначалу, приехал туда капитан исправник: ходит, смотрит, что за человек чудной в красной рубахе с нищими сидит? Посылает старосту спросить, кто, мол, такой? А Александр-то Сергеич тоже на него смотрит, зло так, да и говорит эдак скоро (грубо так он всегда говорил): «скажи капитану-исправнику, что он меня не боится и я его не боюсь, а если надо ему знать, так я—Пушкин». Капитан ничто взяло, с тем и уехал, а Ал. Сер. бросил слепцам беленькую, да тоже домой пошел».—См. К. Я. Тимофеев. «Могила Пушкина и село Михайловское».—«Журнал Министерства народного просвещения» 1857 г., т. 103, отдел II, стр. 148.—Этот же рассказ в другой редакции и с иным концом—Пушкин, якобы был арестован исправником—имеется в книге Игумена Иоанна. Описание Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии. Псков, 1899 г., стр. 111.

<sup>3</sup> Несомненно, мемуаристика здесь не точна. Сохранилось несколько мемуарных свидетельств, опровергающих это показание современницы. Так, по рассказам С. М. Бородина, жившего в Бернове в семи верстах от Малинников, «А. С. был всегда весел, любил танцы, много гулял в саду и по окрестным лесам, не чуждался крестьян и дворовых, и часто с ними разговаривал и шутил, и крестьяне его так же не чуждались, любили с ним беседовать и считали его за человека доброго, веселого и большого шутника (см. И. А. Иванов. «О пребывании А. С. Пушкина в Тверской губернии»—«Сборник Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания». Тверь, 1903 г., вып. I, стр. 243). Другое интересное показание имеется в воспоминаниях племянницы А. Н. Вульфа, Анны Николаевны Панафидиной (в печати целиком до сих пор не известны—подлинник в Тверском Государственном музее): «Как особенность его [А. С.], рассказывали, что он очень любил общество женской прислуги—экономок, приживалок и горничных. Одна почтенная старушка, некая Наталья Филипповна, прислуга дяди, Алексея Николаевича Вульфа, рассказывала мне, как Пушкин любил вставать рано и зимой, когда девушки топили печи, и в доме еще была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал. В обращении с ними он был так прост, что они отвечали ему шутками, называли его «фармазоном», и, глядя на его длинные выхоленные ногти, называли его «дьяволом с когтями». (См. С. А. Фессалоницкий. «Пушкин в кругу старицких дворян». — «Материалы общества изучения Тверского края». 1927 г. Вып. 6-й, стр. 20).

<sup>4</sup> Это свидетельство подтверждается и другим современником поэта, Ник. Ив. Вульфом (двоюродный брат А. Н. Вульфа). А. С. Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа на постели, положив бумагу на подогнутые колена»; см. В. Колосов. «А. С. Пушкин в Тверской губернии»—«Русская Старина» 1888 г., № 10, стр. 99.

<sup>5</sup> В 1902 году Б. Д. Модзалевский вывез из Тригорского серебряный ковшик на длинной ручке, в котором, по преданию, Евпраксия Вульф варила жженку для Пушкина; ныне ковшик в Пушкинском Доме.

Сам Пушкин (в оны дни опальной  
 Блестите в памяти моей—  
 Звезда тех милых светлых дней,  
 Когда, гуляка вдохновенной  
 И полный свежих чувств и сил,  
 Я в мир пролады деревенской  
 Весь свой разгул души студентской—  
 В Ваш дом и сад переносил;  
 Когда прекрасно, достохвально  
 Вы угощали там двоих  
 Певцов,—и был один из них  
 Сам Пушкин (в оны дни опальной  
 Певец свободы), а другой...  
 Другой был я, его послушник,  
 Его избранник и подручник,  
 И собутыльник молодой.—  
 Как хорошо тогда мы жили!  
 Такой огонь нам в душу лили  
 Стаканы джонки ромовой!  
 Ее Вы сами сочиняли:  
 Сладка была она, хмельна;  
 Ее Вы сами разливали,—  
 И горячо пилаась она...

Так писал Языков к Евпраксии Вульф в 1845 году; подлинный автограф этого послания оказался вложенным в одну из книг Тригорской библиотеки и был извлечен оттуда Б. Л. Модзалевским. Между прочим, в последнем издании стихотворений Языкова (в Суворинском, 1898 г.), стихотворение это пропущено: см. «Пушкин и его современники» 1903 г., вып. I, стр. 6 и 120—122.

К стр. 40.

<sup>1</sup> Следует отметить, что несмотря на истечение 30-ти летнего периода со времени рассказанных событий, память не изменила П. А. Осиповой; так, в месяцеслове на 1835 год, сохранившемся в Тригорской библиотеке, а ныне находящемся в библиотеке Пушкинского Дома, имеется следующая запись П. А. Осиповой: «Мая 8-го неожиданно приехал в Тригорское Александр Сергеевич Пушкин. Пробыл до 12-го числа и уехал в Петерб. обратно».

<sup>2</sup> В семейном архиве барона П. А. Вревского, находившемся в Голубове, в 1913 году была найдена связка писем Анны Николаевны Вульф к ее сестре Евпраксии Николаевне (тогда жене Вревского). Одно из этих писем—от 24-го мая 1835 года—сохранило в себе интересные сообщения о причинах приезда Пушкина в 1835 году: «Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия. Но я думаю,—это просто было для того, чтобы проехаться повидать тебя и маменьку, в Тригорское, Голубово и Михайловское, потому что никакой другой благовидной причины я не вижу. Возможно ли, чтобы он предпринял это путешествие в подобное время, чтобы поговорить с маменькой

о двух тысячах рублей, которые он ей должен.. Пушкин в восхищении от деревенской жизни, и говорит, что это вызывает в нем желание там оставаться. Но его жена не имеет к этому никакого желания, и потом, его не отпустят. Я думаю, он хочет купить имение, но без денег это трудно.» (Текст письма — по французски; см. «Пушкин и его современники». 1915 г., вып. XXI—XXII, стр. 325.).

<sup>3</sup> До недавнего времени панорама Тригорского сохраняла многое со времен Пушкинской эпохи: «В парке Тригорского до настоящего времени указывают плато, где, среди деревьев на лугу, под открытым небом происходили танцы под звуки шарманки; там же заметно сохраняются солнечные часы. Это — ничто иное, как большой круг, по периферии которого посажено 12 дубов и столько же других деревьев. В парке два пруда и несколько аллей. Там особенно обращает на себя внимание вековая ель, стоящая одиноко среди парка. В Тригорском от времени Пушкина сохранился, как самый дом, так и множество предметов в доме. Передают, что Пушкину, когда он приезжал в Тригорское, отводилась комната в два окна, приходящаяся теперь над входом в подвальное помещение; в комнату ему ставили обычно рабочий столик небольшого размера, но очень тяжелый»; см. Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. 1912, стр. 205.

К стр. 41.

<sup>1</sup> О достопримечательностях на берегах Сороти, сохранившихся еще к началу нашего столетия, один из посетителей этих мест пишет: «Ширь и даль без конца; красавица зеркальная Сороть с чистым, песчаным дном; густой сад с вековыми деревьями; длинный одноэтажный городской дом, с чудным видом с балкона вдаль на расстилающиеся поля и деревушки, с мостом через Сороть... Очень красива часть сада, спускающаяся к реке Сороти. На берегу, на скате, старая баня. В этой бане жил Пушкин в веселое лето 1826 года с Вульфom и поэтом Языковым, и отсюда прямо спускался к реке купаться... От садовой старины, связанной с обитателями Тригорского, сохранилось немного: лужайка, вся окруженная липами, так наз. липовая зала, где, по рассказам Марии Ив. Осиповой, часто танцевали под струвующий, заходивший сюда по временам оркестр. Очень хороша громаднейшая ель, под которой сиживал Пушкин, да большой старый дуб окруженный террасой со сходом, едва уже заметными ступеньками, к воротам из яблонь, от которых шла аллея», (См. В. П. Острогорский. «Пушкинский уголок, земли». — «Мир Божий» 1898 г., № 9, стр. 225—226).

К стр. 50.

<sup>1</sup> Умер 12 февраля 1812 года; похоронен у погоста Городище в 1/2 версте от Тригорского.

<sup>2</sup> О браке П. А. Вымдонской с Н. И. Вульфom сохранилось следующее замечание в воспоминаниях А. П. Керн: «Это была замечательная пара: муж нянчился с детьми, варил в шлафорке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала «Римскую



Историю». Оба они, однако, были люди достойные любви и уважения»; см. А. П. Маркова-Виноградская. «Из воспоминаний о моем детстве».—«Русский Архив» 1893 г., стр. 330.

<sup>3</sup> Ошибка: П. А. Осипова имела от него еще сыновей Михаила и Валерьяна.

<sup>4</sup> Ошибка: И. С. Осипов умер 5-го февраля 1824 года и похоронен на кладбище погоста Городище.

<sup>5</sup> Следует указать, что через Надежду Осиповну Пушкину, мать поэта, П. А. Осипова была в свойстве с поэтом. О его знакомстве с П. А. Осиповой, М. И. Семевский в одной из своих работ, пишет: «П. А. Осипова с давнего времени была весьма близка к семейству С. Л. Пушкина, но Александра Сергеевича, кажется, узнала только с первого года по выходе его из Лицея. Молодой Пушкин скоро привязался к другу его семейства, и эта привязанность обратилась в чувство глубокой и искренней дружбы с того времени, когда поэт наш, летом 1824 года, водворен был на жительство в Михайловском или (как он любил ошибаться, называя свое местожительство) Тригорском»; (см. «Русский Архив» 1867 г. стр. 119—120).

К с т р. 51.

<sup>1</sup> Интересно отметить то, что многочисленные, сохранившиеся в Тригорском, бумаги по управлению имением: заявления, жалобы, протесты, расчеты и учеты, весьма своеобразно рисуют Вульфа в старости, который из «геттингенского студента с вольнолюбивыми мечтами, духом пылким и восторженной речью», столь прельщавшими Пушкина и Языкова, превратился в хозяина-скопидома на первый план поставившего заботы о своем хозяйстве и о приращении своих доходов. Кроме того, эти бумаги рисуют отношение Вульфа к реформе 1861 года, в которой он хотя и принимал активное участие, в качестве члена Тверского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян (1858 год), но на которую смотрел со своей точки зрения, слишком ревниво отстаивая свои «права» от посягательства принадлежавших ему «душ» мужеска и женска пола, в которых видел своих личных врагов. Часть бумаг, касающихся имений Вульфов и Осиповых, напечатаны приложением к статье Б. Л. Модзалевского «Поездка в Тригорское» в сборнике «Пушкин и его современники», вып. I, стр. 123—138. Отметим кстати, что даже в эти годы А. Н. Вульф «безудержно отдается удовлетворению чувственности»; со слов современников А. Н. Вульфа, М. Л. Гофман рассказывает, что в Малинниках он устроил себе гарем из 12 крепостных девушек; кроме того, он присвоил себе *jus primae noctis* (право первой ночи);— см. «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 256.

К с т р. 52.

<sup>1</sup> Эта гипотеза М. И. Семевского о «возвышенной любви», поддержанная П. В. Анненковым и Б. Л. Модзалевским, и квалифицированная М. Л. Гофманом, «как легкое увлечение, перешедшее в дружбу» («Пушкин и его современник», вып. XXI—XXII, стр. 413), разобрана В. В. Вересаевым в его «Заметках о Пушкине» («Новый

Мир» 1927 г., № 1, стр. 184—194). Сопоставлением ряда фактов. Вересаев доказывает близость поэта с Евпраксией Вульф. Между прочим, ей посвящены стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет» (1825) и «Зине» (1826). Имя ее имеется в Дон-Жуанском списке Пушкина. Интересно отметить, что когда слухи об отношениях Пушкина к Евпраксии дошли до Наталии Николаевны, то Анна Николаевна Вульф написала ей в 1831 году (после замужества Евпраксии за бароном Вревским, которое состоялось 8 июля 1831 года): «Как вздумалось Вам ревновать мою сестру, дорогой друг мой. Если бы даже муж Ваш и действительно любил сестру, как Вам угодно непременно думать,—настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тенью, называемой одним воображением и оставляющей после себя менее следов, чем сон. Но Вы — Вы владеете действительностью и все будущее перед Вами». (П. В. Анненков. «Пушкин в Александровскую эпоху», стр. 280).

К стр. 53.

<sup>1</sup> До наших дней дошло 25 писем Пушкина П. А. Осиповой. Двадцать четыре письма Пушкина к П. А. Осиповой, большинство автографов которых находится ныне в Ленинградской Публичной Библиотеке и в Пушкинском Доме, напечатаны в трехтомном академическом издании переписки Пушкина. Одно же письмо — от 22 декабря 1836 года — было напечатано впервые А. А. Фоминым, по оригиналу, хранящемуся в рукописном отделении библиотеки Академии Наук СССР, в «Русском Библиофиле» 1911 г., № 5, стр. 22—23 (перепечатано в издании «Письма Пушкина и к Пушкину, не вошедшие в изданную Российской Академией Наук переписку Пушкина». Под редакцией М. А. Цявловского, стр. 40—41).—15 писем из этой серии — за 1825—30 гг.—переизданы с комментариями Б. Л. Модзалевского в первых двух томах издания «Пушкин. Письма...»

<sup>2</sup> Письмо Плетнева П. А. Осиповой, присланное Пушкиным в этом письме, было от 1-го июля 1825 года; письмо это до сих пор в печати не известно; подлинник его находится в Пушкинском Доме. В этом письме Плетнев извиняется, что в течение трех месяцев не отвечал на письмо к нему Осиповой.

К стр. 54.

<sup>1</sup> Дело в том, что Надежда Осиповна в конце мая 1825 г. обратилась с прошением к Александру I: «Мать писала государю и просила, чтобы сыну позволили приехать в Ригу или другое место для операции»—писал 22 июня своей жене князь П. А. Вяземский (см. «Остафьевский Архив», т. V, вып. I, стр. 47). Но так как первая просьба не достигла результатов, Н. О. намеревалась обратиться с вторичным прошением к Александру I: «Мать кажется еще просила государя»—писал 11 июня своей жене из Ревеля, где находилась семья Пушкиных, П. А. Вяземский (см. там же, стр. 57); об этом то, очевидно, Пушкин и не знал. И если в первом прошении Н. О. просила Александра I: «Благоволите моему сыну приехать в Ригу», то во втором прошении она уже просит: «Соизвольте, государь, разрешить ему переехать в другое место,

где он смог бы найти более знающего врача». (Курсив наш; черновики обоих прошений ныне хранятся во Всесоюзной Публичной Библиотеке им. Ленина. Подлинный текст их с переводами впервые опубликованы М. А. Цявловским в статье «Тоска по чужбине у Пушкина» — «Голос Минувшего» 1916 г., № 1, стр. 44—47). Как мы увидим ниже, Пушкин затеял всю историю с операцией для получения разрешения ехать за границу.

Но со вторым прошением Н. О. не обратилась к Александру I: вероятно, неожиданная смерть его лишила ее возможности сделать это. Находясь летом следующего года вместе с мужем и дочерью на морских купаньях в Ревеле, Н. О. Пушкина обратилась к находившемуся там Николаю I с прошением, в котором уже прямо просила о одном помиловании сына: «Изясная, что ветрянные поступки по молодости вовлеки сына ее в несчастье заслужить гнев покойного государя, и он третий год живет в деревне, страдая аневризмом без всякой помощи; но ныне сознавая ошибки свои, он желает загладить оные, а она, как мать, просит обратить внимание на сына ее, даровав ему прощение». (см. Б. Л. Модзалевский. «Эпизод из жизни Пушкина» — «Красная газета» (вечерний выпуск) 1927 год, № 34, а также комментарии Б. Л. Модзалевского к изданию «Пушкин. Письма...», т. II, стр. 174—175).

<sup>2</sup> Зашифровав эту фамилию буквой Р., Семевский в примечании указал только: «Один богатый помещик Псковской губернии». Пользуясь соседством Рокотова с Пушкиным, Псковский губернатор Б. А. Адеркас, по соглашению с губернским предводителем дворянства А. И. Львовым, предложил Рокотову взять на себя надзор за поведением поэта. Это предписание было сделано псковским генерал-губернатором, маркизом Ф. О. Паулуччи, по указанию министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде, под начальством которого когда-то служил Рокотов, но Рокотов, ссылаясь на расстроенное своё здоровье, отказался от этой роли (о чем Адеркас известил маркиза Паулуччи рапортом от 4 октября 1824 года — см. «Русская Старина» 1908 г., № 10, стр. 112—113). Тогда, по распоряжению маркиза Паулуччи, сообщено было Опочетскому уездному предводителю дворянства А. Н. Пещурову, «что если статский советник Пушкин (отец поэта) даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, то в сем случае последний может оставаться под присмотром своего отца и без избрания особого к таковому надзору дворянина, тем более, что отец Пушкина есть из числа добронравнейших и честнейших людей» («Псковские Губернские Ведомости» 1868 г., № 10: ср. М. И. Семевский. К биографии Пушкина — «Русский Вестник» 1869 г. № 11—12). Рокотов затем иногда посещал Пушкина в Михайловском, но среди дворовых Пушкина держалось убеждение, что он ездит за Пушкиным; так в 1850 году кучер Пушкина Петр рассказывал К. Н. Тимофееву, на вопрос о том, приезжал ли ктонибудь к Пушкину в Михайловское: «Ездили тут вот, опекуны к нему были приставлены из помещиков: Рокотов да Пещуров. Пещурова то он хорошо принимал, но а того — так, бывало скажет: «Опять ко мне

тащится, я его когда-нибудь в окошко выброшу» (см. «Журнал Министерства Народного Просвещения» 1859 г., т. 103).

<sup>2</sup> Письмо это впервые было напечатано в «Русском Архиве», 1867 г., стр. 125. По подлиннику, хранящемуся в Пушкинском Доме напечатано в издании «Пушкин. Письма...». Т. I, стр. 149.

К с т р. 55.

<sup>1</sup> Проф. Дерптского Университета Иван Филиппович Мойер, действительно был женат на Марии Андреевне Протасовой, племяннице Жуковского. В одной из своих статей М. И. Семевский опубликовал следующие слова А. Н. Вульфа о Мойере: «У Мойера собирался время-от времени небольшой кружок русской молодежи, находившейся в Дерпте. Бывало, как рассказывает А. Н. Вульф, недели в две придет раз и наш дикарь Языков, заберется в угол, промолчит весь вечер, полюбуется Воейковой, выпьет стакан чаю, а потом в стихах и изливает пламенную страсть свою к красавице, с которой слова то бывало не промолвит» («Русский Архив» 1867 г., стр. 720).

<sup>2</sup> М. И. Семевскому в то время не было еще известно, что Пушкин, узнав о написании Жуковским письма Мойеру с просьбой приехать в Псков для совершения операции ссыльному поэту, отправил 29 июля письмо Мойеру, в котором писал: «Умоляю вас ради бога, не приезжайте, и не беспокойтесь обо мне». (см. «Пушкин. Письма...» Т. I, стр. 146).—Интересно отметить то, что слухи о болезни Пушкина распространились широко и были приняты всеми всерьез. Так, например, 9 августа поэт Языков писал своему брату Александру Михайловичу из Дерпта: «Вот тебе анекдот, про Пушкина. Ты, верно, слышал, что он болен аневризмом; его не пускают лечиться дальше Пскова, почему Жуковский и просил известного здешнего оператора Мойера туда к нему съездить и сделать операцию; Мойер разумеется согласился и собирался уже в дорогу, как вдруг получил письмо от Пушкина, в котором сей просит его не приезжать и не беспокоиться о его здоровья. Письмо написано очень учтиво и сверкает блесками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина. Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здорового разума» («Языковский Архив». Вып. I. П., 1913, стр. 196).—В самом же деле, вся история с Мойером была придумана для получения у него свидетельства о безнадежном состоянии здоровья Пушкина. «Пушкин физически ничем не страдал,—пишет П. В. Анненков («Пушкин в Александровскую эпоху», стр. 287), свидетельство же могло пригодиться поэту как предлог для поездки за границу».

К с т р. 56.

<sup>1</sup> Письмо это не сохранилось до наших дней и в печати не известно.

<sup>2</sup> Особа, служившая у П. А. Осиповой.

<sup>3</sup> Ермолай Федорович Керн, генерал-майор; с января 1817 г. муж Анны Петровны. П. А. Осипова в течение нескольких лет старалась помирить Анну Петровну с мужем, но безуспешно, и в 1828 году Анна Петровна окончательно разошлась с ним. В 1825 году генерал Керн был комендантом Риги и, вероятно,

Пушкин предполагал, что Керн причастен к тем мерам, которые применялись к нему во время жизни его в Михайловском.

К с т р. 57.

<sup>1</sup> Младшая дочь П. А. Осиповой — Екатерина Ивановна (родилась 17 июня 1823 года, скончалась в 1902 году в Севастополе). Ее воспоминания о Пушкине см. В. П. Острогорский и В. Н. Максимов. «Альбом Пушкинский уголок». М. 1899 г., стр. 112—115.

<sup>2</sup> В то время Пещуров был опочецким уездным предводителем дворянства.

<sup>3</sup> «Дедушка» Пушкина — Петр Абрамович Ганнибал (родился 21 июля 1742 г.), второй сын «Арапа Петра Великого» и старший брат отца матери поэта, в то время проживал в имении своем — сельце Петровском, Опочецкого уезда, в нескольких верстах от Михайловского. Пушкин находясь в ссылке, неоднократно посещал его; сохранился единственный листок, уцелевший от записок Пушкина, веденных им в Михайловском и датированный 19 ноября 1824 г., где он рассказывает об одном посещении Ганнибала в Петровском (по подлинному автографу, ныне хранящемуся в Майковском собрании в рукописном отделении Академии Наук СССР, листок этот напечатан в книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики». По неизданным материалам 1928 г. — «Записки, относящиеся до моего прадеда» — вероятно, немецкая биография Абрама Ганнибала — «Арапа Петра Великого», сохранившаяся среди бумаг поэта (ныне в тетради № 2387 во Всесоюзной Публичной библиотеке им. Ленина). — П. В. Анненков («Пушкин в Александровскую эпоху») пишет, что Петр Ганнибал умер в 1822 году, но это не верно, судя о настоящему письму Пушкина.

К с т р. 58.

<sup>1</sup> Семевский совершенно неправильно связывает напечатанное письмо Жуковского с намерениями Пушкина уехать за границу. Чтобы понять смысл письма Жуковского к П. А. Осиповой, необходимо сообщить следующее. — Вскоре после приезда в ссылку в Михайловское, поэт написал — в конце октября 1824 года — чрезвычайно резкое письмо псковскому гражданскому губернатору Б. А. Адеркасу. До наших дней сохранилась только современная копия П. А. Осиповой (копия эта ныне находится в бумагах Жуковского в Ленинградской Публичной библиотеке), но и по ней можно догадаться о том скандале, который произошел, если бы оно прибыло по назначению: «Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. — Решился для его спокойствия и своего собственного просить Е. И. В. да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего Превосходительства».

Это письмо к Адеркасу было послано Пушкиным с нарочным во Псков, но по назначению не дошло; по одним известиям, посланный не застал губернатора и вернулся в Михайловское с пакетом, который Пушкин и истребил, по предположению же П. О. Морозова, (сочинения Пушкина, изд. «Просвещение», т. VIII, стр. 448), Пушкин написал это письмо в минуту сильного возбуждения и после ссоры с отцом, а П. А. Осипова приказала слуге не передавать письма по адресу и вернуть его под предлогом, будто губернатора не было в городе.— Узнав же об этой истории и прочитав письмо Пушкина, П. А. Осипова тогда сняла копию и послала ее к Жуковскому вместе со следующим своим письмом: «Милостливый государь, Василий Андреевич. Искреннее участие (не светское), которое я с тех пор, как себя понимать начала, принимаю в участии Пушкина, оправдывают в сию минуту перед вами меня, милостивый государь, в том, что не имея чести быть вам знакомой, решилась начертать строки. Из здесь приложенного письма усмотрите вы в каком положении находится молодой, пылкий человек, который кажется, увлеченный сильным воображением, часто к несчастью своему и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после.— Вследствие некоторых недоразумений или, лучше сказать, разных мнений, по одному же, однако, предмету, с отцом своим,— вот какую просьбу послал Александр к нашему Адеркасу. Я все то сделала, что могла, чтобы предупредить следствие оной; но не знаю удачно ли: потому что г. Адеркас, хотя человек и добрый, но был прежде полицмейстер... Не дайте погибнуть сему молодому, но, право, хорошему любимцу муз. Помогите ему там, где вы; а я, пользуясь несколько его дружбой и доверенностью, постараюсь, если не угасить вулкан,— по крайней мере направить путь лавы безвредно для него»... (См. «Русский Архив» 1872 г., стр. 2358—2359).— Итак ничего «неясного и неопределенного» в письме П. А. Осиповой, как выше пишет Семевский, не было.

<sup>2</sup> Это — письмо Пушкина от 31 октября, в котором он писал Жуковскому: «Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении... Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним об'ясниться; я решился молчать... Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения об'ясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата, и повелевает ему не знаться avec ce monstre ce fils dénaturé (с этим чудовищем, с этим сыном извратившим всякие законы природы)... Жуковский, думай о моем положении и суди. Голова моя закипела. Иду к отцу, пахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю том, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому

объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить... Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем...» (См. «Пушкин. Письма...», т. I, стр. 94—95).

<sup>3</sup> В ответ на это письмо, П. А. Осипова писала 22 ноября Жуковскому: «...Приятной обязанностью себе поставляю исполнить желание ваше насчет положения для любезного нашего поэта. К походу письма его смело можно сказать, что на сей раз Pouchkin fût plus heureux que sage (Пушкин был более счастлив, чем благоразумен). У вас был ужасный потоп, а у нас распутица. Посланный его не нашедши губернатора во Пскове, через неделю возвратился, не отдав письма никому. Теперь отдал его А. С—чу и сказал мне вчера, что его уничтожил, и душе моей стало легче...»

По поводу этой истории П. И. Бартенев говорит, что во время ссылки «поэт нашел себе нравственное убежище у П. А. Осиповой, которая вместе с Жуковским сумела понять чутким, все извиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами сохранялась во всей чистоте не одна гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми» («Русский Архив» 1872 г., стр. 23—62).

К стр. 59.

<sup>1</sup> Барон А. А. Дельви́г женился позже—30 октября 1825 г.—на Софье Михайловне Салтыковой (о ней подробно см. в комментариях к дневнику А. Н. Вульф). Письма Дельвига-жениха к невесте напечатаны М. Л. Гофманом в «Сборнике Пушкинского Дома» на 1923 г., стр. 78—96.

<sup>2</sup> Участие в судьбе Боратынского было проявлено П. А. Осиповой в связи с прощением поэту его тяжелого поступка, из-за которого он был разжалован в солдаты; лишь в апреле 1825 года, после хлопот его друзей, в том числе и А. П. Осиповой, Боратынский был произведен в прапорщики.

<sup>3</sup> Альбом А. Н. Вульф ныне хранится в Пушкинском Доме. Во «Временнике Пушкинского дома» на 1914 год, воспроизведены (стр. 9 и 33) записи Пушкина и Дельвига, сделанные в этом альбоме.—Е. А. Боратынский вписал в этот альбом стихотворение\*\* («Где сладкий шопот...»); см. Полное собрание сочинений Е. А. Боратынского од редакцией и с примечаниями М. Л. Гофмана, т. I, стр. 136 и 288.

К стр. 60.

<sup>1</sup> Перебеленный автограф этого стихотворения, в котором отразились планы Пушкина о побеге за границу, находился в альбоме П. А. Осиповой. Стихотворение без заглавия и с подписью «А. П. с. Михайловское, 22 июня 1825»; впервые оно было напечатано в альманахе «Северные Цветы» на 1829 год, стр. 183, под заглавием «П. А. О.»—Альбом, в котором находился этот автограф до революции принадлежал княгине А. А. Хованской, где находится ныне—неизвестно.

<sup>2</sup> Альбом Е. Н. Вульф не сохранился до наших дней; копия этого стихотворения, сделанная рукою П. А. Осиповой, хранилась в ее альбоме, принадлежавшем кн. Хованской. В этой копии стихотворение носит заглавие: «Стихи в альбом Ев. Н. В., 1825 году».

К с т р. 61.

<sup>1</sup> Лайон — Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта; анахорет — отшельник.

<sup>2</sup> Автограф этого письма до революции находился у кн. А. А. Хованской, внучки А. А. Осиповой, где находится теперь — неизвестно.

К с т р. 62.

<sup>1</sup> Автор этой приписки Анна Николаевна Вульф (10 декабря 1799 года + 2 сентября 1857 года), в юности — романтическая девушка страстно и безнадежно полюбившая Пушкина (сохранилось несколько ее писем к Пушкину, писанных в 1826 году — см. Академическое издание переписки Пушкина, Т. I.). К среднему возрасту она стала скучающей и апатичной старой девой. — О ней см. «Пушкин и его современники» вып. I, стр. 81 — 119, где опубликована связка писем Алексея Вульфа к ней и «Пушкин и его современники» вып. 21 — 22, стр. 208, где приведены выдержки из неизданных писем о ней ее сестер к Алексею Вульфу.

<sup>2</sup> Пушкин прибыл в Михайловское 9 августа (см. Сочинения Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VI, стр. 120).

К с т р. 63.

<sup>1</sup> Из вышеприведенных материалов видно, что в действительности вокруг Пушкина, по приказанию тогдашнего министра иностранных дел Нессельроде, была устроена целая система сыска, которая не ослаблялась до его отъезда из ссылки.

<sup>2</sup> Нельзя не отметить того, что Языков, в противоположность повышенно-восторженному отношению к нему Пушкина, относился к великому современнику и к его произведениям скверно и в своей интимной переписке почти всегда поносил и осмеивал Пушкина. Относительно его приглашения (в вышеприведенном стихотворном письме к Вульфу), которое А. Н. не замедлил сообщить Языкову, последний, в письме от 20 февраля 1825 года, писал своему брату Петру из оп меня зовет к себе — не знаю, что отвечать на это:

Дерпта: «Пушкин живет теперь верст 200 отсюда за Псковом;

Ведь с ними вязаться —

Лишь грех и суета.

Впрочем, впрочем... теперь я никак не могу ехать к нему; что будет далее, теперь не могу знать» (см. «Языковский Архив» вып. I, под ред. Е. В. Петухова, стр. 155; ср. Д. Садовников, «Отзывы современников о Пушкине» — «Исторический Вестник» 1883 г., № 12, стр. 522).



К стр. 64.

<sup>1</sup> Языков гостил у П. А. Осиповой в Тригорском с середины июня по 20 июля 1826 г.; к этому времени относится его знакомство с Пушкиным. Говоря о лете 1826 года, Анненков пишет, что оно «было знойно в Псковской губернии. Недели три проходили без облачка на небе, без освежительного дождя и ветра. Пушкин почти бросил все занятия свои, ища прохлады в садах Тригорского и Михайловского и дожидаясь осени, которая приносила ему, как известно, бодрость и веселье». («Материалы для биографии Пушкина» изд. 1873 г., стр. 162). В другой своей книге Анненков пишет: «Лето 1826 г. сделалось для обывателей Тригорского и Михайловского непрерывным рядом праздников, гуляний, шумных бесед, поэтических и дружеских излияний, благодаря тому, что в среде их находился Н. М. Языков, привезенный наконец из Дерпта А. Н. Вульфom. Более двух лет его звали и ожидали в Михайловском и только в 1826 году он сдался на просьбы Пушкина и приглашения Прасковьи Александровны» («Пушкин в Александровскую эпоху» стр. 318). В письме же к своему брату Петру, Языков писал 11 августа 1826 года: «Об знакомстве моем с Пушкиным и о пребывании в Тригорском я уже писал вам довольно подробно; могу прибавить только то, что последнее мне было так приятно и сладостно, что моя муза начала уже воспевать оное в образе небольшой поэмы, пламенно и восторженно», (к сожалению, упомянутое письмо Языкова с описанием знакомства с Пушкиным до нас не дошло, поэма же начатая им,—его послание к П. А. Осиповой «Тригорское»; см. «Языковский Архив» вып. I, стр. 259).

<sup>2</sup> Послание Языкова было обращено к Пушкину и служило ответом на послание Пушкина к нему от 20 сентября 1824 года («издревле сладостный союз...»). Языков долго не мог собраться откликнуться на стихи Пушкина и еще 1 февраля 1825 года писал своему брату Александру: «Не знаю скоро ли буду в духе ответить Пушкину» («Языковский Архив» вып. I, стр. 467). Послание Языкова (Нач.: «Не вовсе чуя бога света») появилось в печати после смерти Пушкина — в «Современнике» 1837 года, № 6.

К стр. 65.

<sup>1</sup> «Будь здоров, сын мой по духу».

<sup>2</sup> По словам П. А. Ефремова, нецензурные стихи Языкова «Подите прочь — теперь не ночь», были присланы Пушкину из Дерпта Вульфom (см. Сочинения Пушкина, изд. 1882 г., т. VII, стр. 239). Начало своего подражания Языковской «Элегии» Пушкин, по просьбе Вульфа, сообщил ему в письме от 10 октября.

<sup>3</sup> Эти инициалы Семевский зашифровал буквами Н. Н. А. П. Керн приезжала с мужем своим генералом Е. Ф. Керном в Тригорское для примирения со своей тетушкой П. А. Осиповой, с которой она не задолго до этого рассорилась. Пушкин неоднократно встречался здесь с А. П. «Пушкина тут не было,—

писала много лет спустя — 6 июня 1859 года — А. П. Керн к П. В. Анненкову, — но я его несколько раз видела; он очень не поладил с мужем, а со мною опять был попрежнему и даже больше — нежен, боясь всех глаз, на него и на меня обращенных» (Л. Н. Майков. «Пушкин». П. 1899, стр. 246).

<sup>4</sup> Целиком письмо это, автограф которого хранится в Ленинградской Публичной Библиотеке, см. в издании «Пушкин. Письма...» стр. 166 — 167.

<sup>5</sup> Совершенно неверно. Ни о каком первом издании своих стихотворений Пушкин не советовался с Вульфом. Смысл этого письма заключается в планах поэта и Вульфа о побеге за границу, от которых он в то время уже отказался, как от невозможных; слова о сочинениях, Цензоре и наборщике — условные термины. Письмо же Пушкина написано в Дерпт, куда Вульф поехал из Риги 15 августа и заключает поручение подтвердить Мойеру просьбу Пушкина не приезжать во Псков для операции его аневризма. «Я грустен и обескуражен, мысль ехать во Псков представляется мне в высшей степени нелепой... О боже мой, избавь меня от друзей.» — пишет поэт сестре в начале августа 1825 года (письмо это недавно найдено в «Остафьевском Архиве» князей Вяземских; см. Б. Л. Модзалевский. Неизданное письмо Пушкина к сестре — «Известия Академии Наук СССР», 1927 г., стр. 151 — 156; ср. «Пушкин. Письма...» II, стр. 125).

К стр. 66.

<sup>1</sup> Экземпляр «Эды и Пиров» Баратынского, присланный Дельвигом П. А. Осиповой, имел на себе следующую надпись автора: «Прасковье Александровне Осиповой от Сочинителя». Он хранился в Тригорской библиотеке (см. Б. Л. Модзалевский. Поездка в с. Тригорское — «Пушкин и его современ.», вып. I, стр. 38), а ныне перешел в ее составе в Пушкинский Дом.

К стр. 68.

<sup>1</sup> Этот же рассказ с рядом вариантов записан М. П. Погодиным в его книге «Простая речь о мудреных вещах» (3-е, м. 1875 г. Отдел II, стр. 24): «Вот рассказ Пушкина, не раз слышанный мною при посторонних лицах. Известие о кончине императора Александра I и происходивших вследствие оногo колебаниях о престолонаследии, дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах, не обратят строго внимания на его непослушание, он решился отправиться в Петербург... Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, и от него заставить сведения. Итак Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути, из Тригорского в Михайловское, — еще раз заяц. Пушкин в досаде

приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину: он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «—А вот каковы были бы следствия моей поездки, — прибавлял Пушкин.—Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и следовательно попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь, и не сидел бы теперь с вами, мои милые».

К стр. 69.

<sup>1</sup> Поэт Н. М. Языков, которого тщательно ожидали в Тригорском еще летом 1825 года, 5 мая 1826 года писал своему брату из Дерпта: «Вот тебе новость о мне самом: в начале наших летних каникул я поехал на несколько дней к Пушкину». («Языковский архив» вып. 1, стр. 249).

<sup>2</sup> Языков и Вульф могли знать о маршруте больного Жуковского от его друга и родственника — дерптского профессора И. Ф. Мойера: «Жуковский бледен как смерть. Он в начале мая отправляется в Эмс. Это единственное для него спасение. Здесь бы он погиб» — пишет К. Я. Булгаков 22 апреля 1826 года своему брату в Москву (см. «Русский Архив» 1903 г., кн. II, стр. 430).

<sup>3</sup> Анна Николаевна Вульф, бывшая тогда в Тверской губ., и ведшая оттуда оживленную переписку с Пушкиным; письма поэта за этот период, к сожалению, не сохранились и в печати неизвестны (ответные письма Анны Вульф напечатаны в первом томе академического издания переписки Пушкина).

<sup>4</sup> Фамилии А. П. Керн, которую Пушкин назвал в письме «Вавилонской блудницей», ее мужа и Болтина, Семевским были зашифрованы буквами NN. Болтину Лев Сергеевич Пушкин в 1835 году проиграл 10.000 рублей, брат выкупил у Болтина вексель Льва Сергеевича.

<sup>5</sup> Это письмо Пушкина к Керн не сохранилось и в печати неизвестно.

<sup>6</sup> Filister по-немецки означает разночинец; в студенческом быту в германских университетов, старые студенты этим полупрезрительным словом называли рыночных торговцев и вообще всех граждан, не студентов. (См. Л. Н. Модзалевский. «Быт студентов в Германии», П. 1865, стр. 21 — 22).

К стр. 70.

<sup>1</sup> Синск или Синское Устье — почтовая станция на реке Великой в 80-ти верстах от Опочки. Из упоминаний Пушкина о Синске видно, что он совершил тогда поездку из Михайловского в Остров, а может быть, и во Псков. По предположению П. А. Ефремова, в Синске Пушкин видел нескромные стихи

«может быть написанные там на стене, на столе или на скамейке каким-нибудь проезжим, что в прежнее время практиковалось на всех почтовых станциях» (см. «Новое Время» 1903 г., № 9900).

К стр. 71.

<sup>1</sup> Семейский цитирует это стихотворение не по автографу, а по современной копии, находившейся в альбоме П. А. Осиповой; альбом этот до революции принадлежал кн. А. А. Хованской, где находится теперь — неизвестно.

К стр. 74.

<sup>1</sup> Вот описание комнаты Пушкина, сделанное И. И. Пущиным, посетившим поэта в его изгнании 11 января 1825 года: «Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, слышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого лица, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пальцев». — См. И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Под ред. С. Я. Штрайха. М., 1925 г., стр. 124.

<sup>2</sup> Воспоминания Петра, служившего у Пушкина в кучерах, были записаны в 1899 году К. Я. Тимофеевым. Петр рассказал не мало ценнейших фактов из быта Пушкина в Михайловском. Вот один отрывок из его воспоминаний: «Наш Ал. С—ч никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведывал; а ему, бывало, все равно, хошь мужик спи, хошь пей; он в эти дела не входил. — Ходил эдак чудно: красная рубашка на нем кушаком подвязана, штаны широкие, белая шляпа на голове, волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил, — подстрижет эдак макушечку, додит. Палка у него завсегда железная в руках, девять фунтов весу; уйдет в поля, палку вверх бросает, ловит ее на лету. А не то дома вот с утра из пистолетов жарит в погребе, вот тут за баней, да раз сто эдак и выпалит в утро-то. — А на охоту ходил он? — Нет, охотиться не охотился; так все в цель жарил... — Хорошо плавал Александр Сергеевич? — Плавать, плавал, да не любил долго в воде оставаться. Бросится, уйдет во глубь и — назад. Он и зимою тоже купался в бане; завсегда ему была вода в ванне приготовлена. Утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад; потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу: лошадь взмылет и пойдет к себе. Он все с Ариной Родионовной, коли дома. Чуть встанет утром, уж бежит ее глядеть: «здорова ли мама». Он ее все мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): батюшка ты, за что ты меня все мамой

зевешь, какая я тебе мать... И уж чуть старуха занеможет там что ли, он уже все за ней...» (см. К. Я. Тимофеев. «Могила Пушкина и село Михайловское». — «Журнал Министерства Народного Просвещения» 1859 г., т. 103, стр. 144—150).

К с т р. 78.

<sup>1</sup> В распоряжении М. И. Семевского находилось 37 писем Языкова к Алексею Николаевичу Вульфу за период времени с 1825—1846 г. (см. его статью—«Н. М. Языков. Новые стихи его и письма» — «Русский Архив» 1867 г., № 5—6, стр. 712). Кроме ряда отрывков из этих писем, приведенных в «Прогулке в Тригорское», несколько писем опубликовано в упомянутой статье Семеновского. В начале 1900-х годов вся связка автографов писем Языкова, вместе с письмами Пушкина к Вульфу, поступила в рукописное отделение Ленинградской Публичной Библиотеки. Из этой же связки И. А. Бычков извлек 7 неизданных писем Языкова к Вульфу и опубликовал их в статье «Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова» — «Русская старина» 1903 г., № 3, стр. 485—496.

<sup>2</sup> По возвращении из Михайловского Языков писал своей матери из Дерпта 28 июля 1826 года: «Лето провел в Псковской губернии у г-жи Осиповой, матери одного здешнего студента, доброго моего приятеля,—и провел в полном удовольствии. Изобилие плодов земных, благорастворение воздуха, благорасположение ко мне хозяйки, женщины умной и доброй, милосердие и нравственная любезность и прекрасная образованность дочерей ее, жизнь или, лучше скажу, «обхождение совершенно вольное и беззаботное, потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и проч.—все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом — житье!» («Языковский Архив», вып. I, стр. 256—257).

К с т р. 80.

<sup>1</sup> Ошибка. Это произошло 3 сентября. П. А. Осипова отметила в календаре своем: «В ночь с 3-е на 4-е число (сентября) прискакал офицер из Пскова к Пушкину и вместе уехали на заре» (см. Б. Л. Модзалевский. «Поездка в Тригорское» — «Пушкин и его современники», вып. I, стр. 141).

<sup>2</sup> В беседе с П. И. Бартеневым, П. В. Нащокин рассказал ему подробности этих событий; рассказы Нащокина исправляют неточности Семевского: «Послан был нарочный сперва к Псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему рассказывают о приезде фельд'егеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение «Пророк», где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря». См. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов

его друзей П. И. Бартеневым». Вступительная статья и примечания М. А. Цявловского. М. 1925 г., стр. 34.

<sup>3</sup> Другой свидетель этого происшествия — дворовый Петр так передавал эпизод приезда офицера за Пушкиным: «Приехал вдруг ночью жандармский офицер из городу, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем — неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич ее утешает: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды не пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу, да мы все позамешкались: надо было в Тригорское посылать за пистолетами, они там были оставши: ну Архипа-садовника и послали. Как привез он пистолеты-то, маленькие такие были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». — «А мне какое дело. Мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха».

К стр. 81.

<sup>1</sup> Это письмо Б. А. Адеркаса к Пушкину от 3 сент. 1826 г., см. академическое издание переписки Пушкина, т. I, стр. 238.

<sup>2</sup> Семевский не располагая в то время никакими документальными данными, спутал два разных события жизни Пушкина, случайно совпавшие. — Дело в том, что еще 19 июля 1826 г. по приказу генерала графа И. О. Витта в Псковскую губернию был послан секретный агент А. К. Бошняк «для возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и в сочинении и пении возмутительных песен». Несмотря на то, что ряд местных чиновников и помещиков, знавших и встречавших Пушкина (уездный судья Толстой, смотритель по винной части Трояновский, предводитель дворянства, Львов, уездный заседатель Чихачев), в своих отзывах не пожалели темных красок при характеристике поэта, они все же опровергнули подозрение в его «поступках, ко вреду государства устремленных» см. А. А. Шилов «К биографии Пушкина». «Былое» 1918 г., № 2, стр. 67—77. Розыск этот совпал с подачей Пушкиным прошения Николаю I, в котором поэт просил для лечения аневризма «позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края» (напечатано в издании «Пушкин. Письма». т. II, стр. 10—11). Почти одновременно со следствием Бошняка и с подачею просьбы Пушкина в Петербурге, в начале августа, возникло так называемое «дело Алексеева». Отрывок элегии «Андрей Шенье» 1826 года, попав в руки полицейского агента Коноплева был приурочен к событиям 14 декабря и передан ген. И. Н. Скобелеву. Такие стихи как:

О горе, о безумный сон!

Где вольность и закон? Над нами

Единый властвует топор.

Мы свергнули царей? Убийцу с палачами

Избрали мы в царя! О ужас, о позор! и т. д.

были приняты Бенкендорфом, как написанные на вступление Николая I на престол и на казнь декабристов, на самом же деле это писалось про Робеспьера и Конвент. И, несомненно, что резолюция, наложенная по приказанию Николая I на прощении Пушкина и гласившая «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда, для сопровождения его командировать фельд'егеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельд'егеря, не в виде арестанта. Пушкину ехать прямо ко мне. Писать о сем Псковскому губернатору» — находилась в связи с распространением стихов из «Андрея Шенье». И, конечно, вызов этот не знаменовал помилование: Пушкин лично перед Николаем I должен был разрешить недоумение, вызываемое авторством стихов «На 14 декабря» (под таким заглавием они распространялись) и дальнейшая участь его зависела от его ответа. Судьба его висела на волоске — см. П. Е. Щеголев «Пушкин на политическом процессе» — в книге «Пушкин. Очерки» стр. 258—259.

К стр. 83.

<sup>1</sup> Это не совсем так, но доля истины имеется в этом рассказе. Об этом эпизоде сохранилось достоверное показание друга Пушкина — С. А. Соболевского. В письме к М. П. Погодину, Соболевский, осматривавший в 1867 году квартиру, в которой он жил с Пушкиным в 1826 году, писал: «Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостинная, в которой мы сходились из своих половин, и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его; вот где так нежно возился и нянчился с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил (к счастью, что не в кабинете императора) свое стихотворение «На 14 декабря», что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось» (письмо это напечатано М. П. Погодиным в газете «Русский» за 1867 г., лист 7—8, стр. 112). На основании этого показания, а также, на основании показаний других современников поэта — А. В. Веневитинова и С. П. Шеверева — можно утверждать, что осенью 1826 года Пушкин действительно привез в Москву конец «Пророка» со стихами против Николая I. См. статью Н. О. Лернера в «Пушкине и его современниках» вып. 13, стр. 18—29, а также комментарии М. А. Цявловского в книге: «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». М. 1925 г., стр. 91—94.

<sup>2</sup> О свидании Пушкина с царем сохранился собственный рассказ поэта в очень достоверных «Воспоминаниях» А. Г. Хомутовой: «Фельд'егерь выхватил меня из моего насильственного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль, и всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» — Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: Пушкин, принял ли бы ты участие в «14 декабря», если б был в Петербурге? — Непременно государь, — все друзья мои были в заговоре,

и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога.— Довольно ты подурчился,— возразил император: надеюсь, теперь будешь рассудителен и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором» («Русский Архив» 1867 г., стр. 1066).— По другому рассказу — Аркадия Россета, брата Смирновой, «император Николай на аудиенции, данной Пушкину в Москве, спросил его, между прочим: «Что же ты теперь пишешь?»— Почти ничего, ваше величество: цензура очень строга.— «Зачем же ты пишешь такое, что не пропускает цензура?»— Цензора не пропускают и самых невинных вещей: они действуют крайне нерассудительно.— «Ну, так я сам буду твоим цензором,— сказал государь,— присылай мне все, что напишешь (см. Я. К. Грот. «Пушкинский Лицей». П., 1893 г., стр. 288).

Интересно отметить, что о свидании с поэтом Николай I вынес положительное впечатление: «Знаешь ли, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» — сказал он Д. Н. Блудову, и на недоумение последнего пояснил, что имеет в виду Пушкина. («Русский Архив» 1865 г., стр. 96 и 389).— Позднее, в 1848 году, Николай I, вспоминая об этом свидании, рассказывал барону М. А. Корфу: «Я впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву, совсем больного и покрытого ранами известной болезнью. «Что сделали бы вы, если бы 14-го декабря были в Петербурге?» — спросил я его, между прочим,— «Стал бы в ряды мятежников» — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14-го декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим» («Из записок гр. М. А. Корфа» — Русская Старина» 1900 г. № 3, стр. 574).

Сравним впечатления поэта о праздничной столице с впечатлениями С. Т. Аксакова, в один день с Пушкиным — 8 сен. 1826 г. — в'ехавшего в Москву: «Москва, еще полная гостей, с'ехавшихся на коронацию из целой России, Петербурга, Европы, страшно гудела в тишине темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-Колежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще неснящего четырехсот тысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами...». См. «Пушкин. Письма...» Т. II, стр. 180.

К стр. 84.

<sup>1</sup> Народный праздник на Девичьем Поле состоялся на следующий день (16 сентября). Интереснейшие картины этого «праздника» и дикие сцены, здесь разыгравшиеся, описаны в книге J. Ancelot. «Six mois en Russie». 1827 г., стр. 404 — 408.

<sup>2</sup> Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, обладавшая несметными богатствами и отличавшаяся крайней религиоз-



постью. Ее отношение к архимандриту Фотию дали повод для написания Пушкиным двух известных эпиграмм на нее.

<sup>3</sup> Одновременно с этим письмом Дельвиг писал поэту: «Поздравляем тебя, милый Пушкин, с переменной судьбы твоей. У нас даже люди прыгают от радости. Я с братом Львом развез прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнев, Козлов, Гнедич, Сленин, Керн, Анна Николаевна — все прыгают и поздравляют тебя». (Акад. издание Переписки Пушкина. Т. I).

К стр. 86.

<sup>1</sup> Языков подразумевает письмо Пушкина к себе от 21 декабря 1826 года, в котором поэт писал: «Вы знаете по газетам что я участвую в «Московском Вестнике» следственно и вы также. Адресуйте же ваши стихи: В Москву на Молчановку в дом Ренкевичевой, оттуда передам их во храм бессмертия... Рады ли вы журналу? Пора задушить Альманахи».

К стр. 87.

<sup>1</sup> То же самое Языков писал своему брату Петру: «О Пушкине ничего не слышно; в начале сего месяца я писал к нему в Москву, где он тогда находился, по его собственному ко мне писанию, но до сих пор не имею от него ответа» (письмо от 23 февраля 1827 года. «Языковский Архив» вып. I, стр. 314).

К стр. 90.

<sup>1</sup> Письмо это датируется Б. Л. Модзалевским началом июня. Письмо это является ответом на письмо Осиповой от мая 1827 года, при котором она послала поэту копию с послания Языкова «К няне»; до наших дней сохранилась только вторая четверка этого письма — см. И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг, А. С. Пушкин, стр. 125—126.

<sup>2</sup> Интересно сопоставить этот отзыв Пушкина с его позднейшими отзывами о Петербурге и Москве в «Мыслях на дороге».

<sup>3</sup> Подлинник этого письма в 1879 году попал в руки М. И. Семевского, и отрывок из него был напечатан в «Русской Старине» 1879 г., т. 26, стр. 326—328; ныне — в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

К стр. 92.

<sup>1</sup> Т.-е. альманах «Северные Цветы», редактором которого он состоял.

К стр. 93.

<sup>1</sup> Барон Дельвиг в конце января 1828 года был командирован министерством внутренних дел, при котором он состоял чиновником особых поручений, в Харьков на следствие по заготовлению провианта для войск по высоким ценам.

К стр. 95.

<sup>1</sup> Пушкин послал Евпраксии Вульф четвертую-пятую главы «Евгения Онегина», сделав на книжке надпись: «Евпраксии

Николаевне Вульф от автора.—Твоя от Твоих. 28 февр. 1828 г.»; в этой надписи исследователи находили подтверждение мнения о том, что Евпраксия Вульф послужила прототипом Татьяны Лариной. М. Л. Гофман показал, что слова надписи относятся только к одному месту «Евгения Онегина»,—именно к XXXII строфе пятой главы, в которой имеются стихи, несомненно относящиеся к Евпраксии Вульф или Зизи, как звали ее в семье.

... Вот в бутылке засмоленной,  
Между жарким и бланманже  
Цимлянское несут уже;  
За ним строй рюмок узких, длинных,  
Подобно талии твоей  
Зизи, кристалл души моей,  
Предмет стихов моих невинных.  
Любви приманчивой фиал,  
Ты, от кого я пьян бывал..

См. М. Л. Гофман. «Из пушкинских мест».— «Пушкин и его современники», в. XIX—XX, стр., 101—105.— Экземпляр этих глав «Евгения Онегина», как и экземпляры шестой главы (с надписью «Евпраксии Николаевне Вульф») и последней главы, ныне находится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

<sup>2</sup> О получении этого письма Вульф в своем дневнике сделал запись (см. дневник).

<sup>3</sup> Ловелас — герой нравоописательного романа Ричардсона «Кларисса Гардоу». — Вальмон — главное действующее лицо в нравоописательном романе Шодорло-де-Лакло «Les Liaisons dangeureuses...».

К с т р. 96.

<sup>1</sup> Дочь тверского помещика, жившая в доме Петра Ивановича Вульфа, дяди Алексея Вульфа. По словам В. И. Колосова «она была очень красива, имела выразительные глаза и черные волосы».

К с т р. 102.

<sup>1</sup> В своем дневнике Алексей Вульф, получивший это письмо лишь 15 февраля 1830 года, сделал подробную запись (см. дневник). На другой день—16 февраля—Вульф писал Анне Николаевне Вульф: «Как Сомов в «Северных Цветах» ежегодно дает обзор годовой литературы, точно так же Александр Сергеевич сообщает мне известия о Тверских красавицах. Кажется, самое время не имеет власти над ним, он не перемениется: везде и всегда один и тот же. Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекало его Netty, которой он говорит нежности или относя их к другой, или от нечего делать...»— См. Б. Л. Модзалевский, «Поездка в Тригорское»— «Пушкин и его современники» вып. I, стр. 85—86.

<sup>1</sup> Т.-е. офицеров стоящего на квартирах в городе Старице Оренбургского Уланского полка, командиром которого был полковник граф Торнау.—Р е д.

<sup>2</sup> Семевский так сокращена фамилия Алексея Михайловича Кусовникова, и выпущена часть характеристики. Это—поручик Оренбургского полка; участвовал в Отечественной войне, затем с 1815 по 1825 г. служил в Гусарском полку в Царском Селе, где с ним, по мнению Б. Л. Модзалевского, был знаком Пушкин. В конце 1829 года он был назначен полковым командиром Тираспольского конно-егерского полка и покинул Старицу, что весьма огорчило Анну Вульф, мечтавшую о выходе за него замуж. О нем см. в дневнике Вульфа.

<sup>3</sup> Это—Александр Тихонович Юргенев, впоследствии помещик сельца Подсосенье, Старицкого уезда.

<sup>4</sup> Это—Екатерина Васильевна Вельяшева, кузина А. Н. Вульфа. Е. Е. Синицина в своих воспоминаниях о пребывании Пушкина в Старице, рассказывает, что заметила, как Пушкин с другим молодым человеком (Алексеем Вульфом «постоянно вертелись около Е. В. Вельяшевой». Дальше в этих воспоминаниях записано о Вельяшевой: «она была очень миленькая девушка: особенно чудные у ней были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молоденьких барышень и мучить их». (В. Колосов «А. С. Пушкин в Тверской губернии». Тверь, 1888 г., стр. 10—11).—Подробно о ней см. в дневнике Вульфа.

<sup>5</sup> Павловское — имение дяди А. Н. Вульфа — Павла Ивановича Вульфа в Старицком уезде недалеко от Малинников.—Фредерика Ивановна, жена П. И. Вульфа, по определению Вульфа «гамбургская красавица, которую дядя привез из похода и после женился на ней». М. Л. Гофман, побывавший в тех местах в 1910 году, передает, что «и до сих пор еще в Малинниках и в Бернове, а также и во всей Берновской округе сохраняются рассказы о том, как А. Н. Вульф и его друзья потешались над «Фрицинкой» (как ее в шутку называли), до конца дней своих безжалостно относившейся к русскому языку». «Пушкин и его современники» вып. 21—22, стр. 220.

<sup>6</sup> «Минервой» Пушкин называл кузину Вульфа Екатерину Ивановну Гладкову, старшую дочь Ивана Ивановича Вульфа и сестру Netty Вульф. Это была «очень красивая, пышная, молодая женщина», в январе 1825 года вышедшая замуж за ротмистра, стоявшего в Старице Оренбургского полка, Якова Гладкова. В дневнике Вульфа сохранилась подробная и интересная характеристика этой «Минервы».

<sup>7</sup> Анна Ивановна Вульф, по словам ее брата Николая Вульфа, была «очень умная, образованная и симпатичная девушка и при всем том — красавица» (В. И. Колосов... стр. 28). Поэт находился с ней в переписке, но письма их до нас не дошли. К 1829 г. относится шутливое стихотворение Пушкина «За Netty сердцем я летаю», ей посвященное.

<sup>8</sup> По мнению Б. Л. Модзалевского, это Екатерина Евграфовна Смирнова, 17-летняя дочь тверского священника, три года воспитывавшаяся у бездетного Павла Ивановича Вульфа. В 1888 г., будучи 76-летней старухой, она передала В. И. Колоссу несколько интересных рассказов о Пушкине.

<sup>9</sup> Писарев и Максютов — офицеры стоявшего в Старице Оренбургского уланского полка.

<sup>10</sup> Иван Иванович Вульф, отец вышеупомянутых Екатерины Гладковой и Netty, по словам своего племянника Алексея Вульфа, «поселившись в деревне, оставил жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил с дюжину детей, оставив попечение о законных своей жене. Такая жизнь сделала его совершенно чувственным, ни к чему другому не способным».

К с т р. 105.

<sup>1</sup> Эти письма Осиповой не сохранились до наших дней.

К с т р. 106.

<sup>1</sup> С. Л. Пушкин с женою и дочерью Ольгой проводил лето 1830 года в Михайловском, где и получил в конце августа известие о смерти своего брата — поэта Василия Львовича Пушкина. — Ни одного письма С. Л. Пушкина к сыну до нас не сохранилось.

<sup>2</sup> Из последних напечатанных произведений своих Пушкин имел в виду, вероятно, издание «Бахчисарайского фонтана» и седьмой главы «Евгения Онегина» (1830 года), «Графа Нулина» (издание 1827 года, но в продажу не выпущенного — см. Н. Синявский и М. А. Цявловский. «Пушкин в печати», стр. 116—117), «Полтаву» (1829 года и «Стихотворения Александра Пушкина» часть I и II (1829 года).

К с т р. 108.

<sup>1</sup> В ответ на этот «проект», Осипова в письме от 19 июля писала поэту: «Нравятся ли мне ваши воздушные замки? Я не успокоюсь, пока ваше желание не сбудется, если найду малейшую возможность осуществить его, — но если из этого ничего не выйдет, то на окраине моих владений, на берегу большой реки, находится маленький уголок — премилое местоположение, домик, окруженный красивой березовой рощей. Земля продастся одна без крестьян. Не хотите ли ее приобрести, если на это согласятся владельцы Савкина? К этому я приложу все мое старание». — (Письма Осиповой по-французски; даем их в переводе И. А. Шляпкина. «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». П. 1903 г., стр. 141).

К с т р. 110.

<sup>1</sup> 21 августа П. А. Осипова отвечала Пушкину на это письмо: «Я вас благодарю за доверие, оказанное мне, но чем оно больше, тем достойнее его должна быть я, иначе моя совесть не даст мне покоя. Вот почему, рискуя наскучить вам, мой друг, я спрашиваю, сколько хотите истратить вы на покупку «хижи-

ны», как вы ее называете? Обитатели Савкина имеют 42 десятины, разделенные между тремя владельцами. Двое из них почти согласны продать, но старший упрямится и поэтому назначает сумасшедшую цену. Если ж вы мне сообщите вашу сумму — найдем предлог согласовать желания ваши со стариковскими. Скажите, что стали б вы делать с усадьбой, отдаленной от Михайловского и Тригорского (осмеливаюсь так написать после вашего любезного выражения), Тригорского, которое только и привлекательно мне теперь надеждой вашего соседства? Поэтому я стою за Савкино, пока не потеряю последней надежды...» См. И. А. Шляпкин, стр. 144—145. Ответ на это письмо Осиповой Пушкин написал ей 11 сентября; впервые оно напечатано в Отчете Публичной библиотеки за 1897 год. П. 1900, стр. 92. См. в Академическом изд. Переписки, т. II.

К стр. 111.

<sup>1</sup> О Пушкине, как об инициаторе издания альманаха «Северные Цветы» за 1831 год, весь доход с которых был отдан вдове Дельвига—Софье Михайловне, см. в книге А. И. Дельвига «Мои воспоминания» т. I, стр. 56 и в письме Пушкина к М. Л. Яковлеву от 19 июля 1831 года.— В ответ на присылку Пушкиным экземпляра «Северных Цветов», Осипова писала поэту 25 января 1830 года: «Получение «Северных Цветов» доставило мне большое удовольствие, и что особенно меня трогает в этом знаке вашего внимания, горячо-любимый Александр, — это чудный цветок, брошенный на могилу нашего дорогого Дельвига, при воспоминании о котором горячие слезы до сей поры выступают на мои ресницы. Мне кажется, что этот сборник стихов — один из лучших за все время издания альманаха...». См. И. А. Шляпкина, стр. 159.

К стр. 112.

<sup>1</sup> Действительно, 19 мая у Пушкина родилась дочь Мария Александровна, в замужестве Гартунг.

<sup>2</sup> Письмо это датируется 16 мая 1832 года на том основании, что ответ на него датирован Осиповой в подлиннике 22-м мая 1832 года; цифра же «16» поставлена Осиповой, вероятно, со слов Алимона и означает день получения им письма от поэта. В сочинениях Пушкина под редакцией П. А. Ефремова (том VII, стр. 309—310) это письмо неправильно датировано осенью 1832 года. В книге Шляпкина это письмо почему-то датировано «около 18 мая» (*ibid.*, стр. 171).

К стр. 113.

<sup>1</sup> Ответ на это письмо Осипова послала 28 июня 1833 г. из Тригорского; см. И. А. Шляпкин... стр. 183—184.— Письмо же Пушкина представляет ответ на недошедшее до нас письмо П. А. Осиповой, украшенное виньеткой.

К стр. 114.

<sup>1</sup> Об отношениях Боратынского и Языкова см. статью А. С. Полякова в «Литературно-библиологическом сборнике» под ред. Л. К. Ильинского. П. 1918 г.

<sup>1</sup> На основании материалов, опубликованных после написания этой статьи, можно утверждать, что Пушкин осенью 1833 года в селе Языкове был не раз, как предполагал Семевский вслед за Анненковым (см. Сочинения Пушкина, изд. 1855 года, т. I, стр. 372) — он был там два раза. В первый приезд — 12 сентября — он не застал хозяев, вырезал на память алмазным перстнем на одном из стекол свое имя (см. В. Н. Поливанов. Село Языково. — «Исторический Вестник» 1896 г., № 12, стр. 988) и проехал в Симбирск. О втором приезде его — на обратном пути с Урала — имеется любопытное свидетельство одного из Языковых, Александра Михайловича; в его письме от 1 октября 1832 года к В. Д. Комовскому читаем: «Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга и с Яика в свою нижегородскую деревню, где пробудет месяца два, занимаясь священнодействием перед алтарем Камен. Он ездил-де собирать изустные и письменные известия о Пугачеве, историей времени которого будто бы теперь занимается. Из Питерских новостей он прочитал нам свою сказку «Гусар» (ее купил, дёскачь, у него Смирдин за 1.000 рублей сто стихов). Дело идет о похищении малороссийской ведьмы; написана она весьма живо и занимательно. Знаете ли вы, что Гоголь написал комедию «Чиновник»? Из нее Пушкин сказал нам несколько пассажей, чрезвычайно острых и объективных. Мы от него первые узнали, что он и Катенин избраны членами Российской Академии и что последнее производит там большой шум, оживляя сим сонных толкачей, иереев и моряков. Во второй уже раз дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов, непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего: зло посреди их; вековое спокойствие нарушено навсегда, или, по крайней мере, надолго». — Итак, во второй раз Пушкин был в Языкове 29—30 сентября. Здесь он застал всех трех братьев и познакомился впервые со старшим из них — П. М. Языковым. Как гласит семейное предание, Пушкин, застав братьев Языковых одетых по-домашнему, в халатах, пристыдил и разбил их за азиатские привычки. Пробыл он в Языковке почти два дня, которые прошли очень весело, и уезжая дал обещание быть зимой в Симбирске. — См. Д. Н. Садовников «Отзывы о Пушкине» — «Исторический Вестник» 1883 г., № 12, стр. 537.

<sup>2</sup> Откуда Семевский берет эту дату, нам неизвестно. По словам Л. Павлицева, племянника поэта («Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине». М. 1890 г., стр. 331), Пушкин возвратился в Петербург 20 ноября.

<sup>1</sup> Михаил Иванович Калашников и Осип Матвеевич Пеньковский — первый и второй управляющие Болдиным и Кистеневкой, пушкинскими вотчинами.

<sup>2</sup> Письмо, о котором пишет Пушкин, было послано Рейхманом 22 июня 1834 года из Твери; впервые оно напечатано в книге И. А. Шляпкина, стр. 202-203.

<sup>3</sup> В письме к жене Пушкин писал 11 июня 1834 года: «Сегодня еду к моим в деревню, и я их иду проводить до кареты, не до Царского Села, куда Лев Сергеевич ходит пешечком. Уж как меня теребили... да делать нечего. Если не взятыся за именис, то оно пропадет же даром: Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то заплачусь и заплачусь, а им горя мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья.» — Подробности о Пушкине-помещике, см. в вышедшей в издании «Федерации» книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики».

<sup>4</sup> Это письмо Пушкина является ответом на письма Осиповой к нему от 17 июня и от 24 июня 1834 года. В первом письме П. А. Осипова писала об управляющем Рейхмане: «Вы поверили рекомендации Алексея Вульфа, — Алексея, этой невинности по экономии, этому птенчику — который, найдя свое имение без куска хлеба — свои поля невспаханными, крестьян голодными, может назвать хорошим управляющим господина Рейхмана! И вы не спросите моего мнения, меня, которая осуждена вот уже шестой раз в жизни, исправлять экономические промахи господ немецких агрономов! Ради бога, ради вашего личного покоя, во имя крошечной частички дружбы, которую я желаю, чтобы вы питали ко мне, не доверяйте ему управление вашими имениями». — Во втором письме Осипова писала об этом Рейхману: «Ежедневно молясь моему небесному творцу, я вспоминаю Рейхмана, чтобы бог простил все его прегрешения относительно меня, но я не желала бы прощать ему долги с вашей стороны». — См. И. А. Шляпкин, стр. 200-205.

К стр. 118.

<sup>1</sup> Письмо до наших дней не сохранилось и в печати неизвестно. В своем месяцеслове под 28 ноября Осипова записала: «Писала А. С. Пушкину» («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 144).

К стр. 120.

<sup>1</sup> В ответ на это письмо Осипова писала 18 января 1836 г.: «Спешу известить вас, какое теплое чувство испытала я при известии об улучшении участи несчастных ссыльных декабристов; но правда ли это — не в Петербурге ли только так рассчитывать?.. Зачем вы продолжаете тревожиться о Надежде Осиповне? Ольга писала вам недавно, что она спит лучше и аппетит хорош — чего же лучшего вы еще хотите в наши годы? Вполне естественно, что она не выздоравливает так быстро, как это было возможно 10 лет тому назад»; см. И. А. Шляпкин... стр. 229-230.

К стр. 121.

<sup>1</sup> Неверно. Пушкин писал Осиповой еще 22 декабря 1836 г.; автограф этого письма нашелся в архиве Тургеневых и был

впервые напечатан в «Русском Библиофиле» 1911 г., № 5, стр. 22-23.

К с т р. 122.

<sup>1</sup> Автограф этого стихотворения до наших дней не сохранился. По словам академика Л. Н. Майкова (Академическое издание Пушкина, т. I, изд. 2, стр. 409), стихотворение это сохранилось на листке, вклеенном в альбом П. А. Осиповой, которая переписала на нем стихи Пушкина, якобы взамен вырезанного автографа поэта; на копии стоит помета: «1 сентября 1817 г.». Другой список этого стихотворения, также рукой Осиповой в другом Тригорском альбоме видел Семевский, который неправильно прочитал дату «10 сентября» (в этом альбоме оно датировано «16 сентября» (альбом ныне в Пушкинском Доме). Но все эти даты неверны, так как 1 сентября Пушкин не мог писать в альбом Осиповой, потому что в этот день он был уже в Петербурге и писал князю П. А. Вяземскому: «Я очень недавно приехал в Петербург».

Между тем в третьем Тригорском альбоме, принадлежавшем Анне Вульф (не Евпраксии, как считал М. Л. Гофман), тоже имеется копия этого стихотворения, сделанная Осиповой; здесь имеется помета: «17 августа». Эту дату нужно считать единственно достоверной, так как правильность ее подтверждается и тем, что именно альбом Анны Вульф находился в руках Пушкина, сделавшего в нем две записи. Разноречивые же даты в копиях одной и той же руки, можно объяснить тем, что П. А. Осипова «дарила своим дочерям альбомы, заполняя собственноручно первую страницу указанным стихотворением Пушкина и, быть может, выставляла дату, относящуюся к подарку альбома».

<sup>2</sup> В своей статье «Из пушкинских мест» («Пушкин и его современники», вып. XIX-XX, стр. 96) М. Л. Гофман, неизвестно на каком основании, говорит: «Всеми изданиями сочинений это стихотворение ошибочно принято за посмертное (оно печаталось при жизни Пушкина)». Это указание неверно; впервые стихотворение, действительно, было напечатано М. И. Семевским; лишь последнюю строку он напечатал неправильно: «Веселых граций и ума».



## ДНЕВНИКИ А. Н. ВУЛЬФА.

К с т р. 128.

<sup>1</sup> Елизавета Александровна Вымдонская вышла замуж за мичмана флота Якова Исаковича Ганнибала, внука «Арапа Петра Великого» и двоюродного брата Н. О. Пушкиной, матери поэта. — В своих «Воспоминаниях о Пушкине» («Библиотека для чтения» 1859 г., Март) А. П. Керн сообщает об этом браке следующее: «Елизавета Александровна, увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Ганнибала (отсюда я понимаю их сближение с семейством Пушкина); она, то-есть сестра Прасковьи Александровны, бежала из дома родительского. Он не мог ее простить и лишил наследства, отдав все П. А. Вульф; после смерти отца Прасковья Александровна разделила имение (состоявшее из 1200 душ) на две равные части и поделилась им с сестрой». Их дети: Александр Як. Ганнибал был женат на А. Е. Юреновой, и Евгения Як. Ганнибал была замужем за А. А. Глаубичем.

К с т р. 133.

<sup>1</sup> Интересно сопоставить эти строки с запиской Пушкина «О народном воспитании», поданной им в 1826 году Николаю I «...Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении... Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом. Слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников».

К с т р. 135.

<sup>1</sup> В селе Михайловском.

<sup>2</sup> Несомненно, поэта привело в деревню желание поработать: «Осенью он обыкновенно удалялся на два и три месяца в деревню, чтобы писать и не быть развлекаемым. В деревне он вел всегда одинаковую жизнь, весь день проводил в постели с карандашом в руках, занимался иногда по 12 часов в день, по-

утру освежался холодной ванной; перед обедом, несмотря даже на непогоду, скакал несколько верст верхом, и когда уставшая под вечер голова требовала отдыха, он играл один на бильярде или призывал с рассказами свою старую няню». — См. Н. М. Смирнов. «Из памятных заметок» — «Русский Архив» 1882 г., № 1, стр. 232.

К с т р. 136.

<sup>1</sup> В библиотеке Пушкина сохранился экземпляр „Oeuvres complètes de Montesquieu précédés de son Eloge par l'émbrt. [Nouvelle Edition Paris, 1827 an.], на обложке которого сохранилось факсимилие поэта см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека стр. 293. А. С. Пушкина «Пушкин и его современники» 1910 г., вып. IX—X, стр. 293.

<sup>2</sup> Эта книга сохранилась в Тригорской Библиотеке; ее точный заголовок:

„Bibliothèque de campagne, ou amusements de l'esprit et du coeur“ [Amsterdam, 1758—1779); ср. Б. Л. Модзалевский. Поездка в Тригорское—«П. и его С.», вып. I, стр. 25—Л. Н. Майков в делает такое примечание к этому месту: „Bibliothèque des villes et de campagne“

— беллетристический журнал прошлого века; из помещенной в нем повести «Histoire de Berolde de Savoie» Пушкин сделал извлечение, сохранившееся в его бумагах («Русская Старина» 1884 г., т. XLII, стр. 353), — и предлагал написать на этот сюжет драму».

<sup>3</sup> Этот «Журнал или подлинная записка, блаженные и вечнодостоинные памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштадтского мира...», изданный кн. М. М. Щербатовым, сохранился в библиотеке поэта; см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина..., стр. 117.

<sup>4</sup> В библиотеке поэта сохранилось также трехтомное издание «Tragedie scelte di Vittorio Alfieri...» 1825 an.

<sup>5</sup> В числе рукописей Пушкина, хранящихся во Всесоюзной Публичной Библиотеке им. Ленина сохранилось и две тетради «в черном сафьяне», в одной из которых, действительно, имеются рукописные наброски «Арапа Петра Великого»; см. «Русская Старина» 1884 г., том XLII, стр. 537.

<sup>6</sup> Замечания на «Годунова» и извлечения из него были сделаны для Николая I в III отделении одним из чиновников. Напечатаны они полностью в книге С. С. Сухотина «Дела III Отделения об А. С. Пушкине». П. 1906 г., стр. 23—27. Резолюция Николая I гласила: «Я щитаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Вальтера Скотта» (см. письмо к Пушкину А. Х. Бенкендорфа от 14 декабря 1825 года.— Акад. изд. Переписки, т. I, стр. 393).

К с т р. \*137.

<sup>1</sup> Эти произведения, конечно, не «в Москве цензуровали», а сам Николай I был их цензором. В письме А. Х. Бенкендорфа к

Пушкину от 22 августа 1827 года по поводу этих произведений написано следующее: «...Графа Нулина государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно, следующие два стиха:

Порою с барином шалит  
Коснуться хочет одеяла.

...Песни о Стеньке Разине при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему неприличны к печатанию. Сверх того церковь прокликает Разина, равно как и Пугачева». (См. Акад. изд. Переписки, т. II, стр. 39).—Кстати отметим, что текст этих «Песен» до наших дней не дошел, кроме черновиков двух записей; в Пушкинском Доме в архиве Плетнева нашлись Погодинские копии с песен о Стеньки Разине. Быть может, они были сделаны по записям Пушкина.

<sup>2</sup> История этой записки подробно рассказана по документам в статье М. И. Сухомлинова «Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений Пушкина» — «Исторический Вестник» 1884 г., № 1, стр. 78—87 и в книге «Исследования и статьи по русской литературе» (Спб., 1889 г., т. II, стр. 235—246). Там же и напечатана вся записка по рукописи, представленной Николаю I и испещренной его вопросительными знаками.

<sup>3</sup> В Пушкинском Доме хранятся биллиардные шары и кии из села Михайловского, которыми играл Пушкин.

<sup>4</sup> Историю Петра Великого Пушкин, действительно, собирался писать, но успел только собрать материал и приготовить конспект по Голикову; «материалы для истории Петра I», собранные поэтом, частично сохранились до наших дней, но до сих пор в печати неизвестны. Ныне они подготавливаются к печати П. Е. Щеголевым.

<sup>5</sup> Об этом письме Языкова, М. Л. Гофман в своих комментариях к дневнику Вульфа, пишет, что оно нам «неизвестно». Напечатано же оно в статье И. А. Бычкова «Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова» («Русская Старина» 1903 г., № 3, стр. 486—487) и датировано 4 августа 1828 года. В этом письме Языков пишет: «Желаю тебе всевозможного счастья на поле чести и славы, да сокрушит рука твоя тьмы турок, да украсится грудь твоя знаками побед блистательных и сердце воспоминаниями великими! Прошу у тебя обещания писать ко мне, хоть изредка, с поприща твоих подвигов, да извещаюсь об них самым героем—и послания лирические пельются, звонкие и торжественные!»—«Мечты»—поступление на военную службу и отправка на театр военных действий.

<sup>6</sup> Газетные сообщения Вульф черпал из «Петербургских Ведомостей» и «Северной Пчелы», (в комментариях к последующей части дневника Вульфа нами использованы материалы Гофмана из «Пушк. и его совр.», вып. 20—21).

К с т р. 138.

<sup>1</sup> Русско-Турецкая война началась 14 апреля 1828 года и закончилась Адрианопольским миром 2 сентября 1829 года.

<sup>2</sup> Прасковья Александровна Осипова и Анна Вульф. О них выше в примечаниях к «Прогулке в Тригорское».

<sup>3</sup> Это книга «Essai général d'éducation», принадлежащая перу Марка-Антуана Жюльена, основателя журнала «Revue Encyclopédique».

<sup>4</sup> Анна Петровна Керн и ее сестра Елизавета Петровна Полторацкая, впоследствии по мужу Решко. Они приходились двоюродными сестрами Алексею Вульфу (их мать, Екатерина Ивановна, была сестрою Н. И. Вульфа, отца А. Н.).

<sup>5</sup> Эти бумаги нужны были Вульфу для поступления в четвертое отделение Департамента Разных Подателей и Сборов («подлостей и вздоров», как тогда остряли).

К с т р. 139.

<sup>1</sup> Английский писатель Гораций Смит, автор многих исторических романов; его роман «Brambletye House» вышел в 1826 году.

<sup>2</sup> Французская комедия находилась в Михайловском театре. Отзыв об этом спектакле имеется в «Северной Пчеле» (№ 100, от 21 августа).

К с т р. 140.

<sup>1</sup> Николай I в то время находился в Одессе. 22-го же августа он поехал под Варну.

<sup>2</sup> Фридрих-Вильгельм Адеркас, майор прусской службы, занимавший с 1819 по 1830 г. г. кафедру военных наук на физико-математическом факультете Дерптского университета. Об отношении профессора Адеркаса к его ученику Вульфу, можно судить по письму Языкова к брату Александру Михайловичу: «Поводом к нашему знакомству (Языкова и Адеркаса) было желание его узнать что-нибудь о Вульфе, его любимце, моем приятеле»; «Языковский Архив», т. I, стр. 324.—Предполагая поступить на военную службу, Вульф предполагал использовать рекомендацию Адеркаса.

<sup>3</sup> В 1835 году эту повесть немецкого писателя Ла-Мот-Фуке перевел на русский язык Жуковский.

К с т р. 141.

<sup>1</sup> Вульф читал «Историю Шотландии» во французском переводе; в Тригорской библиотеке, ныне перевезенной в Пушкинский Дом, сохранилось трехтомное издание этого труда.

К с т р. 142.

<sup>1</sup> Двоюродная тетка А. Н., рожденная Вындомская, по мужу Бегичева.

<sup>2</sup> Крепость эта называется Ахалкалаки.

<sup>3</sup> Дальний родственник А. Н. коллежский ассесор.

<sup>4</sup> Критик Трилунный (Д. Ю. Струйский) писал о Шоберлехнер, которая в Петербурге выступала с восьмилетнего воз-

раста, что она «и во всей Европе не много имеет соперниц» («Литературная Газета» 1831 г., № 21, стр. 169).

К с т р. 143.

<sup>1</sup> Дядя Анны Петровны Керн и двоюродный дядя А. Н.

К с т р. 144.

<sup>1</sup> Немецкий писатель (1779—1824), заслуживший своими историческими романами название «немецкого Вальтер Скотта». В Тригорской библиотеке сохранился роман Ваи-дер-Вельде «Ained gyelenstierna».

К с т р. 145.

<sup>1</sup> В Дерптском университете между студентами нередко происходили дуэли по всяким ничтожным пустякам. В одном из писем Языкова, написанном им в период пребывания его в Дерпте, имеется следующее красочное описание этих дуэлей: «Точно как в германских университетах, редкий день проходит здесь без драки на саблях или пистолетах, и редко студент не носит на лице памятника своего школьнического героизма. Трудно, может быть, даже невозможно истребить этот дух рыцарства в здешнем университете, но, должно быть, потому, что много, очень много времени проходит у студентов в приготовлениях к дуэлям, в них самих и, наконец, в суждениях о достоинстве того или иного подвигов по сей части; когда двое дерутся, тогда, верно, пятьдесят стоят и смотрят, а дерутся каждый день; после дуэли сражавшиеся мирятся, пьют, пьянствуют, гуляют и, следственно, во всех сих обстоятельствах теряют время, ровно ничего не приобретая, кроме имени не труса между людьми, которых суждениями не дорожат люди, дорожащие своею пользою». — «Языковский Архив», т. I, стр. 106.

<sup>2</sup> Вероятно, Вульф находился на именинах Анны Ивановны Бегичевой, троюродной сестры своей; пригласила же его крестить с собой кузина его Анна Ивановна Вульф. Несколько писем А. И. Бегичевой к Вульфу, напечатаны Б. Л. Модзалевским в «Пушкине и его современниках», вып. I, стр. 159—177. — Анна Ивановна Вульф—Netty Вульф, которой Пушкин посвятил четверостишие «За Netty сердцем я летаю». О ней см. выше, в письме Пушкина к Вульфу от 16 октября 1829 г.

К с т р. 146.

<sup>1</sup> Петр Маркович Полторацкий, отец Анны Петровны и Лизы.

<sup>2</sup> Об отношениях Пушкина к Анне Николаевне Вульф, к сожалению, сохранилось мало материалов: из их переписки, несомненно, обширной, до нас дошло шесть ее писем к поэту и лишь одна записка Пушкина к ней. По словам М. Л. Гофмана, в 1913 году в Псковской губ. ходили упорные слухи, что баронесса С. Б. Вревская, исполняя завещание Анны Николаевны Вульф, сожгла всю ее переписку, которая может быть и пролила бы свет на отношения Анны Николаевны к Пушкину.

Некоторым намеком на эти отношения могут служить лексиконы П. А. Осиповой с пробами пера Анны Николаевны Вульф: «Милый и любезный друг Александр Сергеевич Пушкин», «Любезный верный друг Александр Сергеевич», «А. П.» (Эти лексиконы до революции находились в Тригорском и принадлежали Е. С. и М. Н. Понофидиным).

К с т р. 147.

<sup>1</sup> Алексей Александрович Шахматов, дед академика А. А. Шахматова. В 1828—29 г.г. он занимал должность начальника четвертого отделения Департамента Разных Податей и Сборов. — В 1928 году в Москве, у букиниста, проф. Н. К. Пиксанову среди старого хлама, удалось найти переплетенную тетрадь, в которой оказалась переписка А. Шахматова за 20—30 годы прошлого столетия; в переписке имеются интересные бытовые материалы. Тетрадь эта пожертвована в рукописное отделение библиотеки Академии Наук СССР.

<sup>1</sup> Николай Андреевич Всеволожский, родной дяди Никиты Всеволодовича Всеволожского — друга Пушкина, одного из основателей «Зеленой Лампы».

<sup>2</sup> Отец приятеля Пушкина, Всеволод Андреевич Всеволожский.

К с т р. 149.

<sup>1</sup> Этот портрет, исполненный художником Григорьевым, хранился до 1917 года в селе Тригорском у баронессы С. Б. Вревской («Пушкин и его современники», I, стр. 16). Воспроизведен этот портрет впервые в «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки», лист 21.

<sup>2</sup> Николай Иванович Павлищев, муж Ольги Сергеевны Пушкиной.

<sup>3</sup> Вульф — двоюродная тетка А. Н.

К с т р. 150.

<sup>1</sup> Двоюродный брат А. Н. Вульфа, женатый на Вере Александровне Слуцкой.

К с т р. 151.

<sup>1</sup> Не в Плимут, а в Фальмут.

<sup>2</sup> Приятель А. Н. по Дерптскому университету, Дмитрий Максимович Княжевич.

<sup>3</sup> Перевод Н. И. Гнедича «Илиады» вышел в свет только в декабре следующего года.

<sup>4</sup> Первая песня «Полтавы» была окончена 3 октября 1828 г. На одном из черновиков первой песни «Полтавы» сохранилась пометка: «5 апреля» («Русская Старина» 1884 г., № 7, стр. 39).

К с т р. 152.

<sup>1</sup> Лучший друг Вульфа в Дерптском университете. 23 апреля 1883 года Вульф, получив известие о смерти Франциуса, занес в свой дневник подробную его характеристику.

<sup>2</sup> А. А. Дельвиг в конце января 1828 года (а не в феврале, как пишет Гофман) отправился по служебным обязанностям в южные губернии России.

<sup>3</sup> Все люди, знавшие Дельвига, отзывались о нем, как о человеке редких качеств. Вот, например, отзыв А. П. Керн: «мне кажется, Дельвиг был одним из лучших, примечательнейших людей своего времени... Лучший из друзей, уж, конечно, он был и лучшим из мужей. Я никогда его не видала скучным или неприятным, слабым ли неровным». См. «Дельвиг и Пушкин». — «Письмо А. П. Керн к П. В. Анненкову». — «Пушкин и его современники», вып. V, стр. 142.

<sup>4</sup> Бальный вечер «Бал» — повесть в стихах Боратынского была издана в конце 1828 года вместе с «Графом Нулиным» Пушкина, отдельной книжкой. — Сказка Боратынского «Переселение душ» была напечатана Дельвигом в «Северных Цветах» на 1829 год.

<sup>5</sup> Барон А. И. Дельвиг — племянник поэта, так характеризует Софью Михайловну в 1827 году, к которому относится «прошлое» — Вульфа и С. М. «С. М. Дельвиг ко времени моего приезда в Петербург только что минуло 20 лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество у них собиравшееся». («Мои воспоминания», I, стр. 51).

К стр. 153.

<sup>1</sup> Егор Васильевич Аладьин — издатель «Невского Альманаха».

<sup>2</sup> Письмо Языкова датировано 26 сентября (отрывок его напечатан М. И. Семевским в «Русском Архиве» 1867, стр. 142 — 743. В этом письме он прислал Вульфу «на всякий случай послание» (полный текст его был напечатан в 1829 г. под заглавием «А. Н. В-фу» в альманахе «Северные Цветы».

<sup>3</sup> Все эти стихотворения Языкова были напечатаны в «Невском Альманахе» на 1829 год.

<sup>4</sup> Эти сведения об истории создания «Полтавы» лишний раз подтверждают тот краткий срок, в который было написано это произведение. Первая песнь «Полтавы» была окончена 3 октября, вторая 9 и третья — 16. Свидетельство же Вульфа ниже (под 13 октября) еще более сокращает срок создания «Полтавы», ибо в этот день Пушкин читал Вульфу «почти уже конченную поэму».

<sup>5</sup> Николай Михайлович Коншин (родился в 1793 г., умер 31 октября 1829 г.) посредственный поэт, одно время редактировавший альманах «Царское Село». В начале 20-х годов он был ротным командиром Боратынского по Нейшлотскому полку; через Боратынского он познакомился с поэтом Пушкинской плеяды. О Коншине см. статью А. И. Кирпичникова в его «Очерках по истории новой русской литературы», т. II, 1903, стр. 90—121.

<sup>6</sup> Потому, что они жили в одном доме (на Владимирской улице, в доме Алферова). Вот что пишет Керн о совместной жизни с семьей Дельвига: «Я с ним (Дельвигом) и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме; это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лениности произносить вполне мое имя или фамилию) название второй жены, которое за мной и осталось. См. «Дельвиг и Пушкин»... стр. 142.

<sup>7</sup> Это письмо до наших дней не сохранилось.

<sup>8</sup> Это место дневника Вульфа дает право предполагать, что Пушкин хотел назвать свою поэму «Кочубсем» или «Мазепой».

К стр. 154.

<sup>1</sup> Ценное замечание об отношении Дельвига к Боратынскому, которое имело большое значение для развития поэтического таланта последнего, сохранилось в том же письме А. П. Керн к П. В. Анненкову: «Дельвиг нежно любил и Боратынского и его произведения. Тут кстати заметить, что Боратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» Боратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала — много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки», — точки нигде не было и даже в конце пьесы стояла запятая!». — «Ты ввел меня в семейство добрых муз», писал Боратынский Дельвигу в своем послании 1822 года (до наших дней дошло семь стихотворений Боратынского, посвященных Дельвигу). — Сохранившаяся до наших дней переписка их, частью неизданная (она будет опубликована в подготовляемой к печати под ред. И. С. Зильберштейна переписке А. А. Дельвига) ярко характеризует их дружбу.

<sup>2</sup> Романтик Дельвиг строго относился к современной драматургии. В разговоре с В. Эртелем о русском театре, Дельвиг, говоря о драматургии Пушкина, сказал: «Поверьте мне, что он (Пушкин) освободится от сих суетных уз, когда обратит обширный дар свой к высшей поэзии, и тогда создаст новую эпоху, а русский театр получит совершенно новую форму» (см. В. Эртель «Выписки из бумаг дяди Александра» — «Русский Альманах» 1832 и 1833 г.г., стр. 285).

<sup>3</sup> Об Евпраксии Вульф см. выше в комментариях к «Прогулке в Тригорское».

<sup>4</sup> Ни одно из этих писем, как и ответов на них, до нашего времени не сохранилось.

К стр. 155.

<sup>1</sup> Возможно, что это «общее мнение» С. М. вычитала из пушкинских «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», напечатанных в «Северных Цветах» на 1828 год (которое она сама и корректировала): «Природа, одарив их тонким умом и чув-



ствительностью самую раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души: они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму» (последние слова, вероятно, были применимы к С. М., по отзывам современников часто певшей модные романсы).— Может же быть, что С. М. передавала недошедший до нас отзыв Пушкина, который она связывала с «прежними своими грехами».

К стр. 156.

<sup>1</sup> Это — вольно перефразированные стихи, из стихотворения «Разуверения»:

Не искушай меня без нужды  
Возвратом нежности твоей!..  
Уж я не верю увереньям,  
Уж я не верую в любовь...  
В душе моей одно волненье,  
А не любовь пробудишь ты!

К стр. 157.

<sup>1</sup> В тот же день Пушкин зашел к Анне Петровне и написал на бывшей с ним книжке „L'Achilléide et les sylves de stace“ шуточную напутственную песенку:

Вези, вези не жалей,  
Со мной ехать веселей.  
Мне изюм  
Не идет на ум,  
Цуккерброт'  
Не лезет в рот.  
Пастила не хороша  
Без тебя, моя душа.

Книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина (ныне в Пушкинском Доме).—Подорожная на эту поездку, выданная Пушкину до Торжка, напечатана в «Старине и Новизне» кн. 5, стр. 6.

<sup>2</sup> С. М. Дельвиг родилась 20 октября 1806 года.

К стр. 158.

<sup>1</sup> Это — повесть в стихах «Бал», «Княгиня» — княгиня Нина — главная героиня повести.

<sup>2</sup> Сергей Александрович Соболевский (10 сентября 1803 г., умер 6 октября 1870 г.), один из «архивных юношей», известный своими обширными литературными знакомствами, как в России, так и на Западе. Незаконный сын богача А. Н. Соймонова, Соболевский, числившийся на службе в архиве коллегии иностранных дел, часто ездил путешествовать за границу. Барон А. И. Дельвиг пишет о нем в своих воспоминаниях: «Нахальство его не понравилось жене Дельвига и потому, дабы избежать частых его посещений, она его не принимала в отсутствии мужа. Но это не помогло: он входил в кабинет Дельвига, ложился на диван, который служил мне кроватью, и читал до

обеда, а когда Дельви́г возвращался домой, то он входил вместе с ним и оставался обедать. Тот же А. И. Дельви́г пишет, что Соболевский «шутками своими оживлял все общество» у Дельви́гов. К «забавному вранью» Соболевского относится между прочим экспромт его:

У мадам Керны  
Ноги скверны.

О нем «Эпиграммы и экспромты Соболевского» под ред. В. В. Каллаша и см. книгу А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому». Московское Художественное изд., 1928 г.

К с т р. 159.

<sup>1</sup> Ольга Сергеевна Пушкина, в январе 1828 года вышедшая замуж за Н. П. Павлицева.

К с т р. 160.

<sup>1</sup> Товарищи А. Н. Вульфа по Дерптскому университету.

<sup>2</sup> Сергей Львович Пушкин — отец поэта, живший недалеко от Дельви́гов, — в Свечном переулке, в доме Касторской.

<sup>3</sup> Александра Иванова Осипова, сводная сестра А. Н., падчерица П. А. Осиповой. По отзыву Е. Н. Вревской (Евпраксии Вульф) она отличалась «воображением и пылкостью чувств». В 1824 году Пушкин посвятил ей стихотворение «Признание» («Я вас люблю, хоть я бешусь»). — Ее отношения с Вульфом в 1827 году, и в январе 1829 года (см. «дневник») были «вовсе не платонические», это давало ей право перед замужеством своим (в 1833 г. за псковским полицмейстером Беклешовым) говорить, что она «ненавидит и ругает» Вульфа (см. вступительную статью П. Е. Щеголева).

К с т р. 161.

<sup>1</sup> Алексей Демьянович Илличевский, в качестве товарища Пушкина по лицу, часто бывал у Дельви́гов. Сам литератор, Илличевский был остроумным собеседником.

<sup>2</sup> Лицеист второго курса, также часто бывавший у Дельви́гов на литературных вечерах, на которых нередко вместе с Дельви́гом и М. Л. Яковлевым пел романсы. «Сверх того, — говорит барон А. И. Дельви́г, — они оба (Яковлев и Эристов) умели делать разные шутки, фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов». В своих воспоминаниях А. П. Керн пишет об этих литературных вечерах: «В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельви́га, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский» (см. Л. Н. Майков, «Пушкин», стр. 253).

К с т р. 162.

<sup>1</sup> Это — «Карманная книга для русских воинов в турецких походах». В этой книжке имеются русско-турецкие разговоры, необходимые на войне и русско-турецкий словарь, заключающий

в себе до 4000 слов; в словаре все турецкие слова написаны русскими буквами.

<sup>2</sup> Петр Александрович Плетнев (1792—1865) писатель и поэт, впоследствии профессор русской словесности и ректор в Петербургском университете. Один из самых преданных друзей Пушкина, всегда заботливо помогавший поэту в его литературных и денежных делах.— В 1828 году начал занятия русским языком с наследником Александром Николаевичем (впоследствии Александром II).

<sup>3</sup> «Видение» — русская песня «Сон», напечатанная Дельвигом в «Северных Цветах» на 1829 год.— «Последняя идиллия», вероятно, стихотворение «Конец золотого века», вошедшее в издание сочинений Дельвига 1829 года.

<sup>4</sup> С М. И. Глинкой, в то время начинавшим композитором, Вульф встречался у Дельвигов. В своих воспоминаниях о литературных вечерах у Дельвигов, А. П. Керн пишет, что туда «иногда даже являлся Сергей Голицын и М. И. Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как свойственно гениальному существу».

К с т р. 163.

<sup>1</sup> Это письмо от 27 октября 1828 года из Малинников, см в дневнике Вульфа.

<sup>2</sup> Это письмо от 1 января 1828 года; отрывок из него напечатан в «Языковском Архиве» т. I, стр 414.

<sup>3</sup> Послание Языкова к «Барону А. И. Дельвигу», было напечатано в «Северных Цветах» на 1829 год, стр. 134—177.

К с т р. 165.

<sup>1</sup> Это — известный романс Глинки на слова «Разуверения» Боратынского.

<sup>2</sup> О нем А. И. Дельвиг в своих воспоминаниях пишет: «Не прошло двух месяцев после смерти Дельвига, как вдова его получила от Яковлева письмо, в котором он делал ей предложение выйти за него замуж. Она была и огорчена и оскорблена этим письмом по весьма понятным причинам. Яковлев в доме Дельвига всегда считался каким-то низшим существом, и если к нему были расположены в обществе Дельвига, то только потому, что он был товарищем последнего по Лицею и забавным подчас шутником».

<sup>3</sup> Это стихотворение 1828 года: «От'езд» и «Послание Альманахе» на 1829 год.

<sup>4</sup> Это стихотворение 1828 года: «От'езд» и «Послание, о журналистах».— «К барону» — послание Языкова «Барону А. А. Дельвигу».

К с т р. 166.

<sup>1</sup> Двоюродный брат А. Н. Вульфа

К с т р. 168.

<sup>1</sup> Вероятно, роман Ван-дер-Вельде «Посольство в Китай».

К с т р. 169.

<sup>1</sup> Граф Александр Манцони, известный итальянский писатель: Его роман «I promessi sposi» был переведен на все европейские языки, в том числе на русский — под заглавием «Сгоревшие».

К с т р. 170.

<sup>1</sup> Владимир Павлович Титов (28 февраля 1807 года, умер 15 сентября 1891 года) один из «архивных юношей», принимавший участие в современной литературе. Благодаря ему до нас дошел замысел рассказа Пушкина «Уединенный домик на Васильевском», который был записан Титовым со слов поэта и под псевдонимом «Тит Космократов» был напечатан в «Северных Цветах» на 1829 год.

<sup>2</sup> Иван Яковлевич Туманский, двоюродный брат поэта Ф. А. Туманского, с которым семья Вульфов была знакома. В альбоме Анны Николаевны Вульф, ныне хранящемся в Пушкинском Доме, имеется его запись стихотворения «Птичка». Воспроизведение этого стихотворения во «Временнике Пушкинского Дома» 1914 года, стр. 93.

<sup>3</sup> Орест Михайлович Сомов — ближайший помощник Дельвига по изданию «Северных Цветов» и «Литературной Газеты». О нем А. И. Дельвиг в своих воспоминаниях пишет: «Сомов, в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу. Вообще, постоянно чего-то опасующийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагодарного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем, все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные Цветы», и впоследствии «Литературной Газеты. Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные Цветы», что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее «Литературную Газету». Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова.— Интересная запись о Сомове сохранилась в дневнике А. В. Никитенко, где под 20 марта 1831 года записано: «Вечером был у Плетнева. Здесь познакомился с издателем «Литературной Газеты», О. М. Сомовым. Физиономия его неказиста. Разговор не отличает ни пылкости, ни остроумия» (А. В. Никитенко. Записки и Дневник. П. 1904 г., т. I. стр. 212).

К стр. 171.

<sup>1</sup> Л. С. Пушкин в 1828 году находился в действующей армии графа Паскевича на Кавказе, письмо это в печати неизвестно.

К стр. 172.

<sup>1</sup> Петр Николаевич Дирин, знакомый Вульфа по Дерпту. Он предполагал поступить в университет, но «рок воспротивился и дал ему подорожную в ваш славный Петербург, да служит царю и отечеству с мечем в руке, на коне сидя», как пишет Языков своему брату (2 января 1827 года), и он поступил в юнкерскую школу.

<sup>2</sup> Брат Н. П. Шепелева, товарища Вульфа и Языкова по Дерпту; Шепелеву Языков посвятил четыре стихотворения.

<sup>3</sup> Павла Ивановна Бегичева — кузина А. Н. Вульфа; впоследствии замужем за Я. А. Дашковым, отцом известного собирателя П. Я. Дашкова.

К стр. 173.

<sup>1</sup> Это — роман «The fair Maid of Reit», вышедший в 1828 году, во французском переводе. Экземпляр «Пертской красавицы» в переводе Defausonpret сохранился в Тригорской библиотеке, ныне в Пушкинском Доме.

К стр. 176.

<sup>1</sup> Этот портрет был подарен Анне Николаевне Вульф Пушкиным со следующей надписью: „Présenté par Alexandre Pouchkie à M-lle Annette Woulff. L'an 1828“, которая была обнаружена С. Н. Вревской в 1910 г. (см. М. Л. Гофман, „Из Пушкинских мест“, Пушкин и его современники“, вып. 18 — 20, стр. 105).

К стр. 177.

<sup>1</sup> Вульф познакомился с переводчиком Н. П. Вронченко еще в Дерпте. Блестящий светский офицер, он уже тогда переводил «Гамлета». В библиотеке Тригорского сохранился экземпляр этого перевода.

<sup>2</sup> Отрывки из шиллеровских переводов С. П. Шевырева были помещены в «Московском Вестнике» 1828 года. Что же касается до перевода трагедии Гете «Götz von Borlichingen», то А. Н. Вульф неверно приписал перевод Н. П. Погодина, вышедший отдельным изданием в 1828 году, С. П. Шевыреву.

<sup>3</sup> Этот отрывок был помещен в «Северных Цветах» на 1829 год.

<sup>4</sup> На полях Вульфом приписано: предчувствие сбылось—5 ноября 1829. Серикиной.

К стр. 178.

<sup>1</sup> А. И. Подолинский, тогда еще начинающий поэт; в 1827 г. выступил в печати с поэтом «Див и Пери», сочувственно встреченной Пушкиным и его друзьями. Это юношеское произведение Подолинского так и осталось вершиной его успеха; вышед-

шая в 1830 году поэма его «Нищий» встретила даже неблагоприятную рецензию Дельвига, которая и прервала их отношения.— А. И. Подолинский часто бывал на литературных вечерах у Дельвига, о котором сохранился его рассказ в «Русском Архиве» 1872 г., т. I, стр. 859—860.

<sup>2</sup> Об этом поляке сохранилась колоритная запись в воспоминаниях А. И. Дельвига: «В тот месяц (декабрь), который я провел в 1829 году у Дельвигов... у жены Дельвига часто болели зубы. Кроме обыкновенных зубных врачей, которых лекарства не помогали, призывали разных заговорщиц и заговорщиков и между прочим кистера какой-то церкви, который какой-то челюстью дотрагивался до больного зуба и заставлял пациентку повторять за собою: «Солнце, месяц, звезды», далее не помню. Он все слова произносил, не зная русского языка, до того неправильно, что не было возможности удержаться от смеха. Мицкевич уверил Дельвигов, что есть какой-то поляк, живущий в Петербурге, который имеет способность уничтожать зубную боль. Послали меня за ним. Он жил на Большой Миллионной, и я застал его за игрою в карты. Но он, узнав от меня о причине моего приезда, сейчас бросил игру, переделся и с перстнем на пальце, направился со мною на извозчике, и всю дорогу расфранченный и надушенный через меру, с большим бриллиантом, выговаривал мне, что я, при значительном холоде, так легко одет. Я был в фуражке и суконной шинели не только не на вате, но и без подкладки. Тогда кадеты не имели более теплой одежды. С появлением поляка, высокого и полного мужчины, утешилась зубная боль у жены Дельвига, что сейчас же приписали действию перстня и магической силе того, кто его имел на пальце».

<sup>3</sup> До опубликования дневника считали что Пушкин 12 декабря был уже в Москве («Пушкин», изд. Бартенева, вып. II, стр. 40): по словам же Вульфа можно предполагать, что Пушкин к тому числу уже несколько дней находился в Москве.

К стр. 179.

<sup>1</sup> Екатерина Васильевна Вельяшева; о ней см. ниже.

К стр. 180.

<sup>1</sup> Эта запись была последней, сделанной Вульфом перед отъездом в армию. В походе Вульф продолжал свои записи только с 21 декабря 1829 года, т.-е. спустя 11 с половиной месяцев. С 21 же декабря Вульф начал восполнять пробелы своего дневника для чего, по всей вероятности, пользовался своей памятной книжкой на 1829 год, найденной Б. Л. Модзалевским в селе Тригорском (напечатана в «Пушкине и его современниках», вып. I, стр. 147 — 153).

<sup>2</sup> Это двестише заимствовано из послания Языкова к Вульфу 1825 года («Скажу ль тебе, кого люблю я»).

К стр. 181.

<sup>1</sup> Елизавета Петровна Полторацкая, сестра Анны Петровны Керн.

К стр. 185.

<sup>1</sup> Панафидины жили недалеко от Бернова—в сельце Курове.

К стр. 186.

<sup>1</sup> Кузина А. Н. Екатерина Ивановна Вульф, бывшая за Я. П. Гладковым.

К стр. 187.

<sup>1</sup> Майор Оренбургского полка, Яков Павлович Гладков.

<sup>2</sup> «Мария Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перл в море, и что я намерен на-днях в нее влюбиться»—писал Пушкин Вульфу 27 октября 1829 года.

К стр. 191.

<sup>1</sup> На одной из дочерей этого Ермолаева Вульф предполагал позже жениться: «Очень тебе благодарна, мой ангел, за доверенность в моем выборе тебе невесты. Я употреблю все возможное выбрать достойную тебя подругу. Мне сдается, что мы назовем сестрою Анну Ермолаеву. С этим именем я передам ей все чувства нежности, принадлежащие ему» (из письма Е. Н. Вревской к Алексею Вульфу от 10 июня 1837 года — «П. и его совр.» в. XXI-XXII, стр. 245).

К стр. 192.

<sup>1</sup> В записной книжке А. Н. Вульфа от 16 января, записано: «поехал с Пушкиным в Петербург».

<sup>2</sup> Стихотворение А. И. Готовцевой, под заглавием «А. С. П.» было напечатано в «Северных Цветах» на 1825 год.

<sup>3</sup> Екатерина Васильевна Вельяшева, кузина А. Н. Вульфа.— 18 января 1829 года по дороге из Старицы в Петербург Пушкин сочинил в ее честь стихи, напечатанные затем в «Северных Цветах» на 1830 год — «К\*\*\*» («Под'езжая под Ижоры»). М. Л. Гофман, правильно определивший дату этого стихотворения, считает, что Вельяшевой же посвящено и другое стихотворение Пушкина (обычно относимое к Олениной)—«Приметы», написанное также в самом начале 1829 года. «Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве, но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу» — писал Пушкин жене 23 августа 1833 года из Павловского (около Малинников).

К стр. 193.

<sup>1</sup> Родной дядя А. Н., владелец сельца Павловского.

<sup>2</sup> Об этом происшествии пишет и В. Колосов в своей статье «А. С. Пушкин в Тверской губернии»: «Так, в январе 1827 года Александру Сергеевичу и Алексею Николаевичу случилось вместе гостить у одного Вульфовъ родственника, помещика Старицкого уезда; тут бывшему дерптскому студенту вздумалось приволокнуться за одною, жившею в этом же доме, молоденькою поповной, и он прокрался ночью в комнату, где она спала со служанкой; та проснулась, прикрикнула на неожиданного посетителя,—и он поспешил уйти; но наутро неудачное

похождение Вульфа стало всем известно. Пушкин превозносил девушку за смелость и находчивость, а приятеля беспощадно поднял насмех» («Русская Старина» 1888 г., № 10, стр. 94). В этом рассказе необходимо исправить ошибку: вместо января 1828 года нужно поставить январь 1829 г.

<sup>3</sup> Родной дядя А. Н. Вульфа: «Машенька» — его дочь.

К с т р. 194.

<sup>1</sup> Как предполагает М. Л. Гофман, это путешествие Пушкина с Вульфом отразилось в четвертой строфе «Путешествия Онегина», написанной в первой половине 1829 года.

Тоска, тоска!... Спешит Евгений  
Скорее далее... Теперь  
Мелькают мельком, будто тени,  
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.  
Тут у привязчивых крестьянок  
Берет три связки он баранок...

<sup>2</sup> Знание женского сердца Пушкиным признавалось в кругу Вульфов-Осиповых. Об этом свидетельствует и принадлежавший П. А. Осиповой экземпляр «Эды и Пиров» Боратынского, хранящиеся ныне в Пушкинской Доме, в котором П. А. заключила в чернильную рамку стих Боратынского о Пушкине в «Пирах»:

Быть сердца чудным знатоком.

<sup>3</sup> О Яжелбицких форелях говорит также Радищев в своем «Путешествии»; см. также М. Жданов «Путевые записки по России». П. 1848 г., стр. 25—26.

К с т р. 195.

<sup>1</sup> В записной книжке Вульфа на 1829 год отмечено: «18 января, в 8 час. вечера с Пушкиным приехал в Петербург» («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 147).

К с т р. 197.

<sup>1</sup> Племянник А. А. Дельвига, впоследствии сенатор и инженер-генерал, оставивший ценные воспоминания о Дельвиге и его окружении. По поводу этих строк Вульфа приведем следующий отрывок из воспоминаний А. И. Дельвига: «Жена Дельвига, несмотря на значительный ум, легко увлекалась, и одним из этих увлечений была ее дружба с А. П. Керн, которая наняла небольшую квартиру в одном доме с Дельвигами и целые дни проводила у них, а в 1829 г. переехала к ним и на нанятую ими дачу. Мне почему-то казалось, что она с непонятною целью хочет поссорить Дельвига с его женою, и потому я не был к ней расположен. Она замечала это и меня не долюбливала. Между тем, она свела интригу с братом моим Александром. Вскоре они за что-то поссорились. В 1829 г., когда А. П. Керн была уже в ссоре с братом Александром, она вдруг переменялась ко мне. Это, конечно, нравилось мне, тогда 16-летнему юноше, но ее ласки имели целью через меня примириться с братом, что, однако же не удалось. Возбужденные во мне ее



ласками надежды также не имели последствий. С дачи А. П. Керн переехала на квартиру, ею нанятую далеко от Дельвигов, и они более не виделись. Я продолжал у нее бывать, но очень редко; впрочем, произведенный 1830 г. в прапорщики, был у нее у первой в офицерском мундире...»

<sup>2</sup> О В. А. Щастном Анна Петровна Керн пишет в своих воспоминаниях: «К барону Дельвигу приходили на вечера Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Так, например, Щастный читал нам «Фариса», переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот период Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный, как поэт, был гораздо ниже других второстепенных писателей».

<sup>3</sup> Трактир этот приобрел известность уже с половины XVIII века. — Об этой поездке вспоминает и А. П. Керн: «Между многими катаниями за город мне памятна одна зимняя поездка в «Красный Кабачок», куда Дельвиг нас возил на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцовали мазурку и освещенные луною возвращались домой» (Л. Н. Майков, «Пушкин», стр. 259).

К стр. 198.

<sup>1</sup> Здесь нами выпущены 10 слов дневника.

К стр. 199.

<sup>1</sup> Многоточием заменено одно выпущенное слово.

<sup>2</sup> Об этом письме Пушкина ничего неизвестно.

К стр. 200.

<sup>1</sup> Двоюродный брат А. Н., через год вышедший в отставку штабс-капитаном.

К стр. 201.

<sup>1</sup> Новости об европейской жизни до Пушкина доходили, главным образом, через Е. М. Хитрово. О Пушкине, являвшемся связующим звеном между «светом» и Дельвиговским кружком, А. И. Дельвиг пишет: «Лето 1830 года Дельвиги жили на берегу Невы у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно удерживаемый от них Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать, хотя ежедневно, и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, «в своей тарелке».

К стр. 203.

<sup>1</sup> Я. И. Павлов в 1827—28 году женился на вдове Ф. И. Вульфа, В. А. Свечиной, продавшей П. А. Осиповой доставшееся ей от первого мужа имение «Нивы» (недалеко от Бернова).

К стр. 205.

<sup>1</sup> Во время пребывания Пушкина в Старице 6—16 января 1829 года.

<sup>2</sup> Пушкиным; см. выше в примечаниях к «Прогулке».

К стр. 210.

<sup>1</sup> Небольшое прозаическое описание студенческого праздника в Дерпте сохранилось в одном из писем Н. М. Языкова 1827 года: «21 сего месяца (апреля) был у студентов праздник основания университета... Как водится много было пьяных до упаду—я не из их числа; драки значительной не было, и вообще все прошло довольно плавно. Я, правда, пострадал, но слегка: прыгая через огонь, опалил брови и поджег фуражку; надобно все испытать—не так ли друзья мои?» («Языковский архив», Т. I, стр. 247—248).— Об этом «Празднике молодости» вспоминал Языков и в послании к А. Н. Вульфу:

Помнишь ли, мой друг застольный,  
Как в лесу, порою тьмы,  
Праздник молодости вольный  
Вместе праздновали мы?  
Хмеля сладостного полны,  
Мы лежали, а вдали  
Двух костров живые волны  
Разливались и росли...

К стр. 211.

<sup>1</sup> Поэт-славянофил А. С. Хомяков был в то время поручиком принца Оранского гусарского полка. 16 января 1829 г. Хомяков был назначен адъютантом к генерал-лейтенанту князю Мадатову.— В «Северных Цветах» на 1830 год было помещено «Прощание с Адрианополем» Хомякова.— Позже он женился на сестре Языкова—Екатерине Михайловне (см. «Русская Старина» 1903 г., № 3, стр. 489, где она ошибочно названа Прасковьей).

К стр. 214.

<sup>1</sup> В полку Вульф поселился вместе с майором этого полка, Денисьевым. Но скоро они расстались, так как Денисьев оказался очень беспокойным человеком и причинял много неприятностей Вульфу. Так, 15 апреля 1829 г. Вульф писал родным: «Я все еще в Яссах: опять с Денисьевым остались мы на дневке. Не знаю, как мы догоним полк, потому что мой приятель вчера пьяный проиграл все свои деньги, да вдобавок не дал мне ночью спать, привезши с собой девку. Теперь он занял у казначея денег и поехал отыгрываться. Вот каковы люди! Мне бы очень хотелось развязаться с ним»... 17 августа 1829 г. Вульф писал:

«Я давно нуждаюсь деньгами. Майор Денисьев, с которым я по сию пору вместе жил, давно уже занемог горячкою, так что от него не только не мог иметь помощи, но даже еще он мне остался должен. Перед его болезнью я еще разошелся с ним, потому что обоим нам жизнь вместе казалась слишком убыточной».

К стр. 218.

<sup>1</sup> Роман Фадея Булгарина вызвал оживленную полемику, в которой участвовали, как сотрудники «Литературной Газеты» — Пушкин, Вяземский, Дельви́г, так и представители всей тогдашней русской журналистики. Несмотря на то, что критика почти единодушно осудила этот квази—«сатирический роман», успех его в широкой публике был для того времени необыкновенный: через неделю после выхода в свет первого издания было уже приступлено к выпуску второго.

<sup>2</sup> В библиотеке Тригорского сохранился том произведений Байрона в немецком переводе.

К стр. 219.

<sup>1</sup> Трагедии Вольтера действительно считаются наименее удачными его произведениями.

К стр. 221.

<sup>1</sup> L'abbé Antoine-François Prévost — известный французский писатель. В Тригорской библиотеке сохранилось три тома «Oeuvres choisies de l'abbé Prévost», в которых, между прочим, находится и «Le boyen de Killerine».

К стр. 222.

<sup>1</sup> Это письмо Языкова не вошло в издание «Языковского архива» и, вероятно, до наших дней не сохранилось.—К. И. Петерсон был полковым врачом Ахтырского гусарского полка.

К стр. 228.

<sup>1</sup> Е. П. Полторацкая вскоре после рождественских праздников 1828—29 года уехала в Малороссию.

К стр. 229.

<sup>1</sup> Эти строки заимствованы из стихотворения Боратынского «Сердечно нежным языком»; здесь эти стихи читаются несколько иначе.

И сладострастных лобызаний  
Язык живой употребил...

К стр. 231.

<sup>1</sup> Байрон воспел Фредерика Говарда, убитого 18 июня 1815 г., в третьей песне «Паломничества Чайльд Горальда»..

<sup>2</sup> Вероятно, Вульф слышал «Конрада Валенрода» в чтении самого Мицкевича, часто бывавшего на литературных вечерах у барона Дельви́га.

К с т р. 235.

<sup>1</sup> Екатерина Васильевна Вельяшева и Екатерина Ивановна Гладкова.

<sup>2</sup> Екатерина Николаевна (рожденная Вындомская, тетка А. Н.) и Екатерина Ивановна (кузина А. Н.).

К с т р. 239.

<sup>1</sup> Кроме Грибоедова, 30 января 1829 года погибли: «второй секретарь миссии Аделунг, штабс-капитан Шах-Назаров, канцелярист князь Кабулов, переводчик князь Соломон Меликов, доктор Мальмберг, грузин Рустем Дадаш-бек, камердинер Грибоедова Александр Дмитриев, всего с казаками 37 человек».

<sup>2</sup> Это первый секретарь И. С. Мальцов. Вероятно, Вульф передает одну из легенд, ходивших тогда по России, так как причины убийства Грибоедова гораздо сложнее; см. «Грибоедов в воспоминаниях современников». Редакция Н. К. Пиксанова. Комментарии И. С. Зильберштейна. Изд. «Федерация», 1929 г.

<sup>3</sup> П. Н. Шепелев, товарищ Вульфа и Языкова по дерптскому университету, после сдачи экзаменов в 1828 году собиравшийся ехать в Тегеран вместе с Грибоедовым.

К с т р. 240.

<sup>1</sup> О трагедии Я. У. Ростовцева, написанной тяжелыми стихами, Языков писал в послании «К П. А. Осиповой»:

Мне жизнь горька и холодна,  
Как вялый стих, как Мельпомена  
Ростовцева иль Княжнина...

К с т р. 241.

<sup>1</sup> 13 декабря 1825 года Н. М. Языков писал брату Александру: «Вчера была на нашем университете печальная церемония по случаю смерти государя: обер-пастор и профессор богословия Ленц сказали прекрасную речь, были петы приличные стихи» («Языковский Архив» I, стр. 226 — 227).

К с т р. 243.

<sup>1</sup> Байрона «стихия» — море неоднократно им воспетое.

К с т р. 245.

<sup>1</sup> Описка — Бронский; корнет гусарского графа Витгенштейна полка.

К с т р. 246.

<sup>1</sup> Пушкин, после своего путешествия в Арзрум, приехал в Москву 20 сентября 1829 года.

К с т р. 247.

<sup>1</sup> Екатерина Ивановна Осипова, вторая дочь Прасковьи Александровны от брака с И. С. Осиповым.

К стр. 253.

<sup>1</sup> Вульф, очевидно, процитировал элегию Языкова 1823 года, начинающуюся строфой:

О деньги, деньги! для чего  
Вы не всегда в моем кармане?  
Теперь христово рождество  
И веселятся христиане;  
А я один, я чужд всего,  
Что мне надежды обещали:  
Мои мечты — мечты печали,  
Мои финансы — ничего!

К стр. 254.

<sup>1</sup> Брат А. Н., Михаил Николаевич Вульф.

К стр. 255.

<sup>1</sup> Об этом «Союзе во имя бога, чести, свободы и отчизны», см. запись в дневнике под 19 февраля 1833 года. Из этого союза «семи» с уверенностью можно назвать только пять человек: Франциуса, Вульфа, Кошкуля, Пейганга и Рама; другие два — по всей вероятности, Вессельс и Бауэр.

К стр. 256.

<sup>1</sup> В этих строках Вульф говорит о своем товарище Кошкуле.  
<sup>2</sup> Франциус, самый любимый школьный товарищ Вульфа.

К стр. 257.

<sup>1</sup> Эти строки дневника Вульфа, как и другие материалы, дают возможность считать брак этот счастливым. Впрочем, Н. Н. Кашкин в «Родословных разведках» говорит об этом браке П. А. Осиповой: «Что побудило ее, тридцатисемилетнюю женщину, к этому шагу и чем был обусловлен ее выбор, тем более странный, что Осипов тоже был вдовец и имел дочь Александру — остается загадкой. Можно думать, что она, утомленная заботами хозяйственными, искала помощника в них; можно предполагать и потребность сердца, разжигаемого чтением, которым она питалась, а *mésalliance* ее объясним скудостью представлявшегося ей, почти постоянной жительнице деревни, выбора».

К стр. 258.

<sup>1</sup> 16 февраля А. Н. Вульф писал в этом же роде к Анне Вульф: «Вторая новость была для меня еще занимательнее, ближе сердцу, а именно — помолвка Лизы за одного из своих соседей. Ежели бы я мог быть уверен, что она дала вместе со своим словом и сердце (как часто говорят), то это было бы для меня самое радостное известие, какое я теперь бы мог получить». («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 86 — 87). — Брак этот не состоялся; об этом см. ниже в дневнике.

<sup>2</sup> «Обещания», — вероятно, программа «Литературной Газеты», составленная Дельвигом и приложенная к первому но-

меру; (листок с программой весьма редок, т. к. известен только один экземпляр его, хранящийся ныне в Пушкинском Доме; экземпляры газеты, принадлежащие Государственной Публичной Библиотеке и Библиотеке Академии Наук, не имеют этого листка).

<sup>3</sup> Эти слухи дошли до А. Н. Вульфа через А. П. Керн, как на то указывает письмо его к Анне Вульф от 16 февраля 1830 г.: «По письму Анны Петровны он (Пушкин) уже в Петербурге; она одного мнения с тобою в том, что цинизм его увеличивается. Две новости, сию же не сообщенные, были также вовсе неожиданны: одна, что Ольга Сергеевна вылечилась тем, чтобы впредь уже не замогать, т.-е. раз'ехалась с Павлицевым».

К стр. 259.

<sup>1</sup> Это письмо Пушкина от 16 октября 1829 года из Малинников (см. выше в «Прогулке»).

К стр. 261.

<sup>1</sup> Накануне Вульф писал своей сестре Анне Николаевне: «Я совершенно согласен с тобой в мнении, которое ты имеешь об Анне Ивановне. Кто бы не захотел в нее влюбиться и не старался бы снискать взаимность? Но как можно было мне это сделать, когда в продолжение года я ничего другого от нее не слышал, как: «Давно ли вы получили от матушки или сестрицы письма?». — Я слишком рассудителен и холоден, чтобы питать безнадежные чувства».

К стр. 263.

<sup>1</sup> Эти стихи заимствованы из «Эпилога» Языкова, посвященного М. Н. Дириной.

К стр. 266.

<sup>1</sup> Слова няни Татьяны в «Евгении Онегине».

К стр. 268.

<sup>1</sup> Двоюродный брат А. Н., женившийся на А. Е. Юрениной.

<sup>2</sup> Это малосерьезное отношение к женитьбе Пушкина происходило оттого, что Вульф, вероятно, считал, что поэту придется носить рога и по милости самого Вульфа. 20 января 1831 г. Вульф писал своей сестре Анне Николаевне: «По твоим словам, Пушкин должен быть теперь женат, но я не столько нетерпелив видеть г-жу Пушкину, потому что я себя изведаль и смиряюсь».

<sup>3</sup> Дочь Елизавета родилась у А. А. Дельвига 7 мая 1830 г.; она умерла в 1913 году.

К стр. 277.

<sup>1</sup> Эти слова Вульфа о том, что Пушкин считал преждевременную рассудительность и степенность недостатком в молодости, находят себе подтверждение в следующем рассказе барона А. И. Дельвига: «Была уже темная августовская ночь.

Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами на счет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставанием до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старше... Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие 10 лет».

К с т р. 279.

<sup>1</sup> Василий Львович Пушкин умер 10 августа 1830 года в Москве.

<sup>2</sup> А. П. Керн была в это время в большой дружбе с Флоранским.

К с т р. 282.

<sup>1</sup> Как доказывает М. Л. Гофман, эта несправедливая и недоброжелательная оценка «Северных Цветов» объясняется тем, что Вульф приступил к чтению альманаха уже предупрежденный против него статьей в первой книжке на 1830 г. «Московского Телеграфа». Сопоставление отзывов Вульфа и «Московского Телеграфа» дает возможность установить даже общие выражения в них.

<sup>2</sup> В 1 и 2 №№ «Литературной Газеты» были помещены первые две главы из романа Антона Погорельского (Перов-

ского) «Магнетизер», а в 14 и 15 №№ первые две главы из первой части его романа «Монастырка».

<sup>3</sup> В связи с изданием «Литературной Газеты» Н. А. Полевой с январской книжки «Московского Телеграфа» открыл новый отдел «Литературное Зеркало», имевший почти единственную цель — осмеяние участников «Литературной Газеты», главным образом, Пушкина; Дельвига, Боратынского и Вяземского.

<sup>4</sup> Это стихотворение не принадлежит Пушкину, несмотря на то, что в газете, где оно не подписано, за ним напечатан Пушкинский «Арион». Кроме того, за авторство Пушкина имелись несколько отдельных данных, но М. Л. Гофман доказал принадлежность «Смуглянки» другому автору.

<sup>5</sup> Это мнение также вычитано им из «Московского Телеграфа». В майской книжке журнала по поводу второго издания сочинений Булгарина, рецензент писал: «Булгарин и без того может ожидать, что второе издание его сочинений возбудит желчь его многочисленных неприятелей. Того и смотри, что теперь опять по его сочинениям поползет отвратительная гусеница ферульного рода, или какой-нибудь газетный червяк мнимо литературной аристократии...» (аристократизм «Литературной Газеты» постоянно высмеивался «Московским Телеграфом»).

<sup>6</sup> В статье «Объяснения некоторых современных вопросов литературных», принадлежащей, по всей вероятности, перу П. А. Вяземского и напечатанной в № 32 «Литературной Газеты».

К стр. 283.

<sup>1</sup> Эти стихи заимствованы из «Графа Нулина», но несколько перефразированы.

К стр. 284.

<sup>1</sup> Jean Paul Frédéric Rihter — известный немецкий писатель. П. А. Осипова прислала Вульфу первый том хрестоматии главнейших его произведений; второй том этой хрестоматии сохранился в Тригорской библиотеке.

<sup>2</sup> Иван Петрович Вульф, однофамилец А. Н., поступивший в 1829 году унтер-офицером в тот же гусарский полк, где находился и А. Н.

К стр. 285.

<sup>1</sup> В. И. Туманский, брат поэта, с 1828 года корнет гусарского принца Оранского полка.

<sup>2</sup> Роман французского романтика Альфреда де-Виньи, «Cinq—Mars» был переведен на русский язык А. Н. Очкиным и вышел в 1829 г. в четырех частях.

К стр. 287.

<sup>1</sup> «Метод Мефистофеля» — метод Пушкина (см. выше в дневнике Вульфа).

<sup>2</sup> Благожелательный разбор «Монастырки», появившийся в «Литературной Газете», принадлежал А. А. Дельвигу.



К стр. 288.

<sup>1</sup> «Казак-стихотворец» — опера-водевиль князя А. А. Шаховского.

К стр. 292.

<sup>1</sup> Номер «Литературной Газеты», в котором появилось четверостишие Казимира Делавиня, вышел в свет 28 октября 1830 г. В своих воспоминаниях А. И. Дельвиг пишет о последствиях, вызванных этим четверостишием: «Казалось, что в этом четверостишии нет ничего противоцензурного; но вышло совсем напротив. Правительство сделало распоряжение, чтобы ничего, касающегося последней французской революции, не появлялось в журналах, не дало об этом знать журналистам, а только одним цензорам. В ноябре Бенкендорф потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенное?» Выражение «ты» вместо общеупотребительного «вы» не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал, и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати.... Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига словами: «Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь».

К стр. 293.

<sup>1</sup> Это трехтомное издание, выпущенное в Париже в 1828—1829 гг.; в 1830 году вышло в русском переводе Андрея Дешаплетта.

К стр. 295.

<sup>1</sup> Грамматики Н. И. Греча в те годы считались в числе лучших руководств и пользовались большой популярностью.

К стр. 296

<sup>1</sup> Интересно отметить, что почти в это же время Пушкин вспомнил о Вульфе: «В конце 1825 года я часто виделся с одним дерптским студентом, (ныне он — гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мной в шахматы и дав мат конем моему королю и королеве, он мне сказал: «Холера — morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас». О холере я имел довольно темное понятие, хотя в 1882 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне

в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей и животных, но и самые растения, что она желтой полосой стелется вверх по течению рек, что, по мнению некоторых она зарождается от гнилых плодов и прочее—все чему после мы успели наслыхаться. Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии, молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно, один по всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслью всей Европы».

<sup>2</sup> После скандала у Бенкендорфа последовала отставка цензора Семенова и запрещение «Литературной Газеты». Только заступничество Блудова окончательно спасло «Литературную Газету» от закрытия. Бенкендорф прислал своего чиновника заявить Дельвигу, что он «сам по нездоровью не может приехать, а прислал извиниться в том, что разгорячился при последнем свидании с Дельвигом, и что издание «Литературной Газеты» будет разрешено, но только под редакцией Сомова, а не Дельвига, так как уже состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакцию».

<sup>3</sup> Повидимому здесь описка и следует читать «невестою», но и при таком чтении это место остается неясным, так как об увлечении Льва Пушкина Н. Н. Гончаровой ничего неизвестно.

К стр. 301.

<sup>1</sup> «Разбор» романа Булгарина «Дмитрий Самозванец» в «Литературной Газете» были написаны Дельвигом (в № 14). Несмотря на то, что Вульф, как будто не соглашается с оценкой «Литературной Газеты», строки его дневника, несомненно, написаны под влиянием отзывов Дельвига.

К стр. 305.

<sup>1</sup> Comte Nicolas François Mollien — государственный деятель и писатель; А. Н. читал его «Путешествие в Колумбию».

К стр. 306.

<sup>1</sup> Разыгравшиеся события совершенно сразили хилого Дельвига: «Он, всегда хворый и постоянно принимающий лекарства, заболел сильнее прежнего, так что пользовавший его доктор запретил ему выходить из дому. Нравственное состояние Дельвига было самое грустное. Он впал в апатию, не хотел никого видеть, даже самых близких, и принимал посторонних лиц весьма редко... Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дому. Только 5 января 1831 года я с ним был у Сленина и в бывшем магазине казенной бумажной фабрики, ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11-го января почувствовал себя нехорошо... Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Соломоном, а я поехал за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим малые надежды к выздоровлению... 14 января, придя, по обыкновению, в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался..»

17 января в день именин Дельвига были его похороны... (см. А. И. Дельвиг «Мои воспоминания», Т. I, стр. 116—117).

<sup>2</sup> С. М. Дельвиг очень скоро успокоилась от «потери»: уже через полгода она вышла замуж за С. А. Боратынского, брата поэта.

К с т р. 308.

<sup>1</sup> Записки начальника парижской тайной полиции Видока вышли в Париже в 1828—1829 гг. в четырех томах (см. в № 20 «Литературной Газеты» заметку Пушкина о записках Видока, направленную против Булгарина).

К с т р. 313.

<sup>1</sup> В «Северной Пчеле» О. И. Сеньковский печатал свой перевод юмористическо-этнографического романа Мориера: «Хаджи-Баба-Испагани в Персии и Турции».

К с т р. 318.

<sup>1</sup> В архиве Вревских М. Л. Гофман нашел связку писем Евпраксии Вульф к Алексею Вульфу. Одно из этих писем — 7 мая 1831 года — содержит в себе следующие строки: «Ты, верно, удивился перемене моих выражений, и на место черных мыслей, которыми всегда были полны мои письма, я тебе говорю о моем счастье. Мне самой это кажется странно. Я не могу привыкнуть к моему благополучию: мне все кажется, что я его не стою. И одно о чем прошу я бога, чтоб, узнавши меня более, Борис не нашел бы меня хуже, чем я ему теперь кажусь, это бы было и для меня и для него ужасно. Черные мысли о будущем тоже исчезли. Оно мне теперь кажется прекрасным, потому, что цель моей жизни будет счастье человека, которого я, может быть, и не стою и который гораздо лучше меня. Вот, моя прелесть, как все переменяется: неделю тому назад я не думала и даже не желала быть счастливой в этом мире, а теперь отказаться от моего счастья мне невозможно, это бы было сверх сил. Я надеюсь, что мы теперь скоро увидимся, моя радость. Это непременно нужно для моего совершенного благополучия. Я бы очень желала, чтобы ты встретился и познакомился с будущим моим деверем Павлом Александровичем; я уверена, что ты его полюбишь, — он очень мил».

К с т р. 336.

<sup>1</sup> Вульф позже рассказывался в этой поездке, потому что, возвратившись из отпуска, он нашел Михаила Вульфа в Брест-Литовске «чрезвычайно слабым, до высшей степени изнуренным болезнью»; вскоре же М. Вульф умер.

К с т р. 337.

<sup>1</sup> А. Н. выехал в Тригорское 22 января 1832 года. «Вольные сыны воинственных славян» — выражение Языкова в послании Пушкину «Тригорское».

В стране, где вольные живали  
Сыны воинственных славян...

<sup>2</sup> Мария Ивановна и Екатерина Осиповы. Старшей из них — Марии — в то время шел 12-й год.

К с т р. 338.

<sup>1</sup> Богатая библиотека баронов Вревских, которой пользовался и Пушкин, сохранилась еще до революции в Голубове, где и была описана М. Л. Гофманом.

К с т р. 340.

<sup>1</sup> А. Н. Очкин, студент дерптского университета, занимавшийся переводами. С 1839 до 1863 года был редактором «Петербургских Ведомостей».

К с т р. 341.

<sup>1</sup> «Европеец» был запрещен по требованию А. Х. Бенкендорфа. Жуковский по поводу этого запрещения писал Киреевскому: «В статье твоей «XIX век» находят под выражениями явными тайный смысл и полагают, что она написана с худою целью. Обвиняют и в статье твоей о комедии «Горе от ума» твою выходку против любви к иностранцам, полагая, что ты разумеешь под именем иностранцев и тех русских, кои, нося фамилию не русскую, принадлежат к русским подданным, т.-е. жителей ваших немецких провинций». См. В. Лясковский. Братья Киреевские, их жизнь и труды. П. 1899 г., стр. 36—38.

<sup>2</sup> Александра Андреевна Воейкова, жена литератора А. Ф. Воейкова и племянница Жуковского, умерла в Италии в 1829 г.

К с т р. 342.

<sup>1</sup> Эта антикритика, направленная против Надеждина, разбиравшего «Наложницу» в журнале «Телескоп», была написана самим Боратынским.

К с т р. 343.

<sup>1</sup> Л. Н. Майков в примечаниях к этим строкам пишет, что речь идет о переводчике Н. П. Вронченко. — М. Л. Гофман сопоставлением ряда фактов вполне основательно оспаривает это мнение; см. «Пушкин и его современники», вып. 21—22, стр. 235.

К с т р. 345.

<sup>1</sup> «Этим выражением я не совсем еще доволен: оно, кажется, неточно. Я помню, как Пушкин, в 28-м году искал оно. Мы сбивались на какое-то другое слово, которого теперь не помню». (Примечание А. Н. Вульфа).

К с т р. 356.

<sup>1</sup> Трагедия Хомякова «Ермак» и «Дмитрий Самозванец» вышли последовательно, первая — в 1832 г., вторая — в 1833 г.

К с т р. 362.

<sup>1</sup> Совпадение имени Евпраксий и Татьяны (см. запись в дневнике под 12 января 1831 года) и послужило, повидимому,

для Вульфа поводом к этому ложному предположению, ныне категорически опровергнутому.

К стр. 371.

<sup>1</sup> Т. е. в Тверскую губернию, где в Старицком уезде находится село Малинники.

<sup>2</sup> Это послание написано Н. М. Языковым по возвращении из Дерпта в Симбирск и начинается стихом:

Прошли мои молодые годы.

К стр. 373.

<sup>1</sup> Князь И. М. Козловский, печатавший свои стихи в «Библиотеке для чтения» 30-х годов.

К стр. 381.

<sup>1</sup> Труд казанского профессора Н. М. Иванова, напечатанный под именем Булгарина в 1837 году.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
От редактора . . . . .	9
П. Е. Щеголев. Любовный быт Пушкинской эпохи	
Главы I . . . . .	13
II . . . . .	17
III . . . . .	21
М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское	
Главы I . . . . .	31
II . . . . .	46
III . . . . .	61
IV . . . . .	76
V . . . . .	92
VI . . . . .	109
А. Н. Вульф. Дневники 1827 — 1842 гг.	
1827 . . . . .	127
1828 . . . . .	137
1829 . . . . .	179
1830 . . . . .	182
1831 . . . . .	299
1832 . . . . .	380
И. С. Зильберштейн. Комментарии к „Прогулке в Тригорское“ М. И. Семевского и „Дневникам“ А. И. Вульфа	385
Приложения: Портрет А. С. Пушкина . . . . .	7
Портрет А. Н. Вульфа . . . . .	125
Группа: А. П. Керн, А. Н. Вульф, Е. Н. Вульф . . . . .	32
Дом П. А. Осиповой в Тригорском . . . . .	64
Баня, в которой жил Пушкин . . . . .	80
Автограф Пушкина и других лиц . . . . .	96
А. С. Хомяков . . . . .	112



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва-Центр, пл. Свердлова, Копьевский пер., 3.  
Телефон 4-46-74.

МЕМУАРЫ. ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ.  
ЗАПИСКИ.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

- Вигель, Ф. Ф.** — Записки. Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. С портретом Ф. Ф. Вигеля. (Артель писателей „Круг“). Том первый. Записки, части I, II, III, IV, письма Ф. Ф. Вигеля к А. С. Пушкину, Н. С. Алексееву, П. Я. Чаадаеву. Стр. 377. Ц. в папке 2 р. 50 к. Том второй. Записки части IV, V, VI, VII письма Ф. Ф. Вигеля к М. Н. Загоскину, В. А. Жуковскому. Стр. 356. Ц. в папке 2 р. 50 к.
- Гиляровский, В.** — Мои скитания. Повесть бродяжной жизни. Стр. 304. Ц. в папке 2 р. 65 к.
- Деникин, А.** — Поход на Москву. (Очерки русской смуты). Редакция П. Е. Щеголева. Предисловие Л. Китаева (Артель писателей „Круг“). Стр. 316. Ц. 1 р. 65 к., в пер. 1 р. 90 к.
- Менделеев, Д. И.** — По воспоминаниям О. Э. Озаровской. — С портретом и автогр. Д. И. Менделеева и друг. снимками. 146 стр. Ц. в пер. 1 р. 35 к.
- Смирнова, А. О.** Записки. Дневник. Воспоминания Письма. Со статьями и примеч. Л. Крестовой. Под ред. М. Цявловского 448 стр. Ц. в пер. 2 р. 75 к.
- Штрайх, С. Я.** — Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. С иллюстр. 344 стр. 6 вкл. лист. Ц. в пер. 3 р.
- Щеголев, П. Е.** Алексеевский Равелин. Книга о падении и величии человека. 384 стр. 5 вкл. лист. С портр. и автогр. узников Алексеевского равелина. Ц. 3 р. 50 к. в пер. 3 р. 75 к.
- Щепкина-Куперник, Т. Л.** — Дни моей жизни. Театр. Литература. Общественная жизнь Артель писателей «Круг» стр. 328. Ц. 2 р. 50 к. в художеств. переп. 2 р. 70 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА  
Москва, Богоявленский пер., 4 и во все маг. и отд. Госиздата



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3.  
Телефон 4-46-74.

## НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Некрасов, Н. Тонкий человек и др. неизданные произведения. Собрал и пояснил Корней Чуковский. 342 стр. Ц. 2 р. 10 к., в пер. 2 р. 35 к.
- Толстой, Л. Н. Неизданные произведения. Со вступительными статьями и заметками А. Грузинского и В. Саводника. 342 стр. Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 80 к.
- Тютчев, Ф. Новые стихотворения. Ред. и примеч. Г. Чулкова. С прилож. автографа. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Щеголев, П. Пушкин и мужики. По неизданным материалам. С автопортретом и автографами Пушкина и иллюстр. 288 стр. + 7 вкл. лист. Ц. 3 р. 10 к. в пер. 3 р. 35 к.

## НОВЫЕ КНИГИ

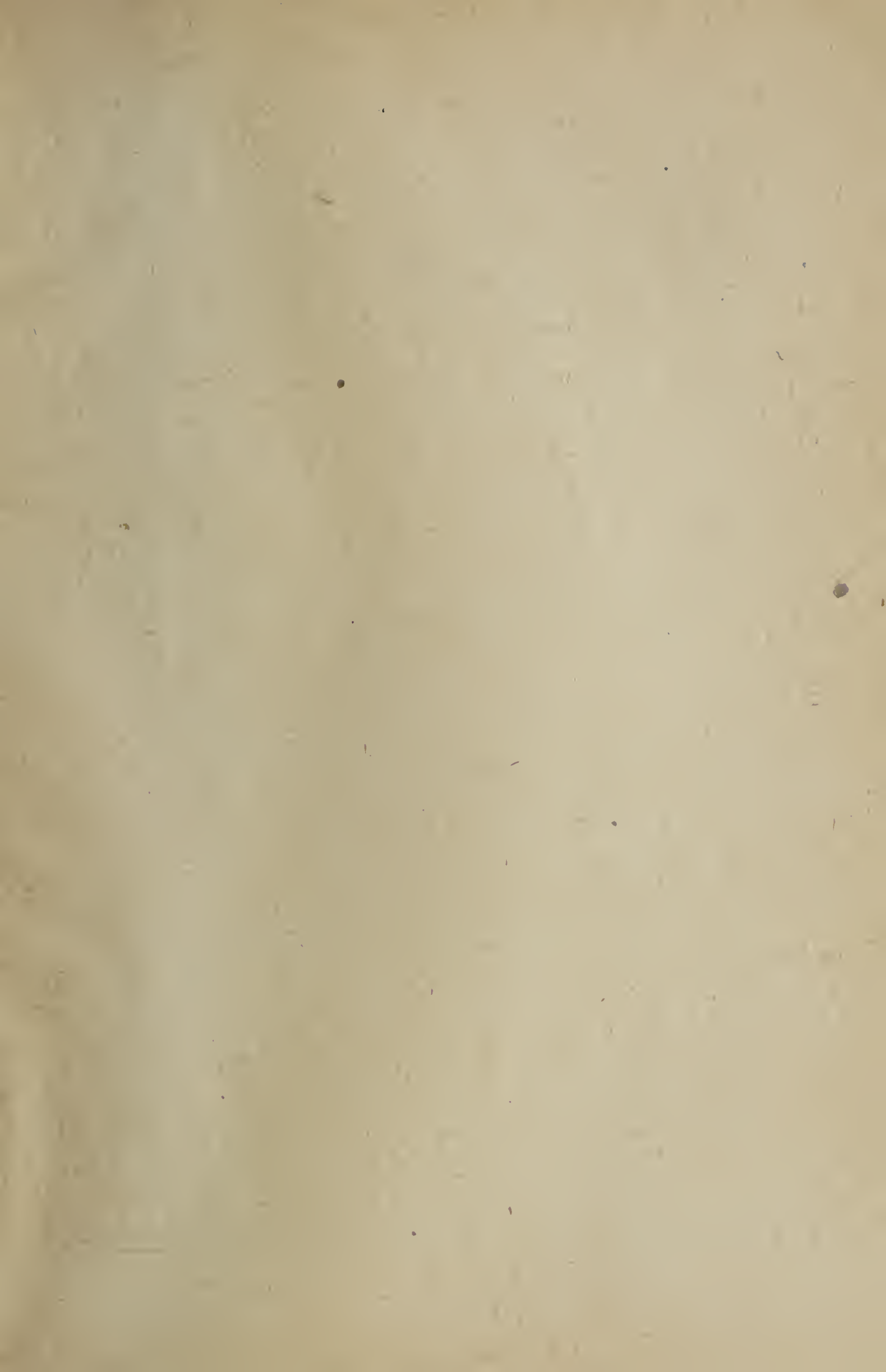
- Горбов, Д. — Поиски Галатеи. Статьи о литературе. 298 стр. Ц. в пер. 2 р. 60 к.
- А. С. Грибоедов. В воспоминаниях современников. Ред. и пред. Н. К. Пиксанова. С портр. А. Грибоедова. Ц. в пер. 3 р. 25 к.
- Тальников, Д. — Гул времени. Литература и современность. 312 стр. Ц. в пер. 2 р. 75 к.
- Чешихин, В. — (Ветринский) Г. И. Успенский. Биографический очерк. Ред. и вводная статья П. Сакулина с 4 портретами Г. Успенского. 382 стр. Ц. 3 р. 75 к., в пер. 4 р.
- Шкловский, В. — Материал и стиль в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» с 12 рис. 256 стр. Ц. в пер. 3 р. 50 к.

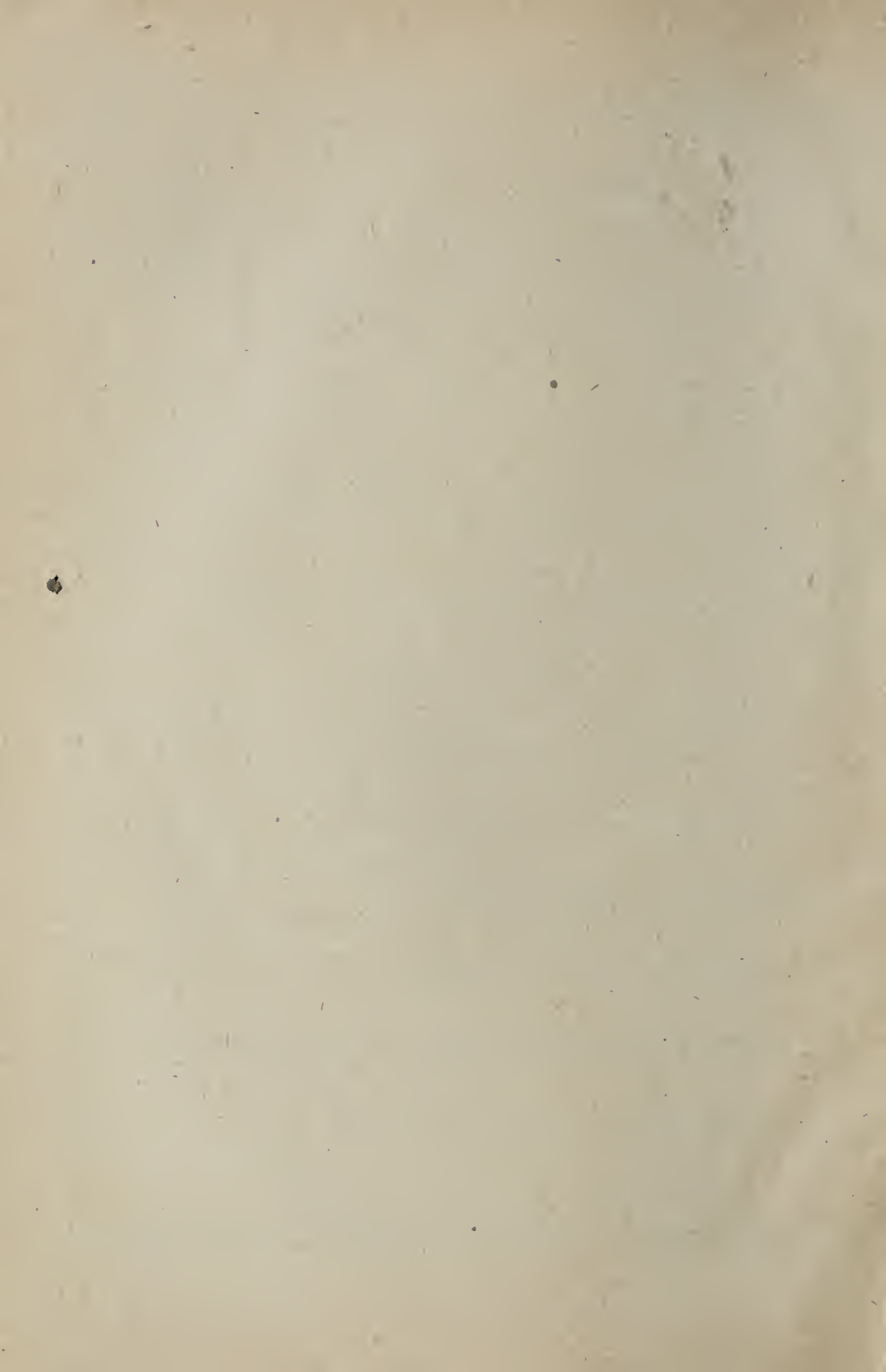
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

В ТОРГСЕКТОР ГОСИЗДАТА

Москва, Центр, Богоявленский пер., 4  
и его все магазины и отделения Госиздата.













UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 039707630